

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ И НА УЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



В. Мухина-Петринская

СМОТРЯЩИЕ ВПЕРЕД



Роман

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА**

1965

Рисунки Е. МЕШКОВА

OCR и редакция: 20 февраля 2004г, Александр Крупин
Библиотека «Книжные полки Вадима Ершова и К⁰»

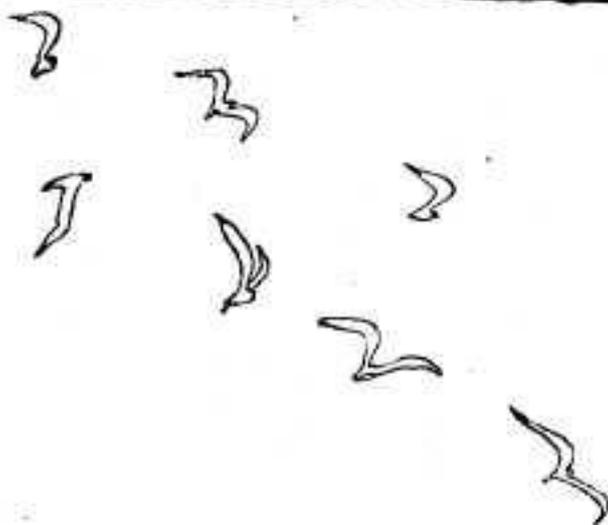
На заброшенном маяке среди песков живут брат и сестра, Яша и Лиза. Когда-то маяк стоял на берегу Каспийского моря, но море обмелело, ушло. Однажды на маяке появился молодой ученый Филипп Мальшет, который поставил своей целью вернуть изменчивое море родным берегам, обуздать его. Появление океанолога перевернуло жизнь Яши и Лизы. Мальшет нашел в них единомышленников, верных друзей и помощников. Так и шагают по жизни герои романов «Смотрящие вперед» и «Обсерватория в дюнах» вместе, в ногу. С хорошими людьми дружат, с врагами борются, потому что не равнодушны, потому что правдивы и честны. Такие люди создают наше будущее.

Если характеризовать творчество Валентины Михайловны Мухиной-Петринской одним словом, то можно сказать, что она писатель-романтик. Так мечтательны и горячи ее герои, так смелы и благородны их дела. И еще одна черта — увлеченность наукой. Будь то проблема Каспийского моря или проблема проникновения внутрь Земли (роман «Плато доктора Черкасова»), всегда чувствуется страстная заинтересованность писательницы в обновлении наших знаний о мире, интерес к тому, что является сегодня новым, малоизвестным. Мухина-Петринская много ездила по стране — была на Крайнем Севере, в Заполярье, знает Каспий, Среднюю Азию. Удивляешься, когда узнаешь, что она человек уже не молодой, проживший нелегкую жизнь, пострадавший в годы культа,— уж очень много в ее книгах задора и свежего ветра. Так и хочется закинуть рюкзак за плечи и отправиться вслед за героями в дальний путь.

*Преданному другу и мужу
Валериану Георгиевичу
посвящает автор*

ДОЛЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА
ТО, ЧТОБЫ СМОТЯЩИЕ ВПЕРЕД
ПОМЕЩАЛИСЬ НА КОРАБЛЕ В ТАКИХ
МЕСТАХ, ГДЕ КОРАБЕЛЬНЫЙ ШУМ
НАИМЕНЕЕ МЕШАЛ БЫ СЛЫШАТЬ ЗВУК
ТУМАННОГО СИГНАЛА...

Из лоции Каспийского моря



ЗАБРОШЕННЫЙ МАЯК

Глава первая

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Филипп Мальшет — вот к кому я был привязан с мальчишеских лет, кому подражал, кем восхищался. Я знаю, что если бы мы не повстречали Мальшета, жизнь моя и моей сестры Лизы пошла бы совсем другим путем. Поэтому свою повесть о необыкновенных приключениях, которые мне пришлось пережить, я начну с первого появления Филиппа Мальшета.

...Мне было тогда лет четырнадцать. Лиза двумя годами старше. Мы жили вместе с нашим отцом Николаем Ивановичем Ефремовым в бывшем маяке — высоченной старой каменной башне с облупившейся красной крышей.

Когда море ушло, оборудование перенесли на новый маяк, а здание временно передали линейно-техническому узлу.

Море ушло к югу, и наш поселок Бурунный остался на песке, как выброшенная прибоем рыба. Ловцы один за другим переселялись на выступивший из моря берег, пока мы не оказались совсем одни, рядом с покинутым поселком. Желтые зыбучие пески стали постепенно заносить глинобитные домишки. Заброшенный рыбозавод стоял на длинных сваях, как на ходулях, там, где еще так недавно — даже я это помнил—шумели волны и шли веселые реюшки, груженные рыбой. Соленый ветер, свистя, обшаривал пустые чаны, хлопал скрипучими тяжелыми дверьми. Песок добирался уже и до завода. До нас-то ему было не добраться.

Мои родители, деды и прадеды были каспийские рыбаки, но отец в войну служил связистом в артиллерийском полку и так увлекся новой профессией, что уже не вернулся после демобилизации в рыболовецкий колхоз. Отец объяснял это тем, что был контужен. Но он хотел и меня сделать связистом, поэтому я думаю, что отец никогда по-настоящему не любил море.

Отца назначили участковым надсмотрщиком важнейшей телефонно-телеграфной линии связи. Двадцать четыре километра участок, и на всем протяжении ни одного населенного пункта, только выгоревшие на солнце холмы, редкие кустарники, мелкие озера — русло пересохшей реки — и пески, движущиеся пески там, где раньше плескалось море.

Зимой здесь стаями бродили волки, но никогда не нападали, лишь провожали на издальках — куда ты, туда и они. Сколько раз они так провожали меня с сестрой, когда мы вечером возвращались из школы. Мы ходили в десятилетнюю школу в новом поселке.

Все жалели нас.

— Там одичаешь! — говорили про участок линейщики.

А отец пошел, он ничего не боялся. Мы с Лизой часто ходили помогать отцу на трассе, во всякую погоду. И вовсе мы не одичали. У нас был радиоприемник «Родина» и переносный телефон, всегда включенный в цепь служебной связи. Если соскучишься, можно поговорить со стационарным дежурным или позвонить

в школу.

Мне было жаль, что море ушло. Когда я спрашивал взрослых, почему море ушло от нас, они только пожимали плечами: «Каспий!»

Я рано проникся мыслью, что от Каспия можно чего угодно ожидать. Но втихомолку я всегда любил море — изменчивое, суровое, непонятное, прекрасное.

Однажды мы сидели с Лизонькой на каменных ступенях маяка, поджидая отца, который ушел на трассу с утра, когда мы еще спали, как вдруг увидели подходившего к нам незнакомого человека с рюкзаком за спиной. Иногда он останавливался и с задумчивым любопытством оглядывался вокруг. Ноги его, обутые в спортивные башмаки, чуть не по щиколотку увязали в песке, и все же как спокойно и уверенно шагал он по земле. Помню, меня это сразу в нем поразило.

На незнакомце был прорезиненный плащ, поношенный серый костюм и зеленоватая в полоску сорочка, как я потом убедился, совершенно под цвет его ярких зеленых глаз, резко обведенных черными ресницами. На пышных рыжевато-каштановых волосах — фетровая шляпа, как говорится, выдавшая виды.

Остановившись, он живо освободился от своей ноши и непринужденно уселся рядом с нами на ступеньках.

— Вы что тут делаете? — строго спросил он.

Я опешил, а Лиза с достоинством, которое с детства ей свойственно, объяснила, кто мы такие.

Лизонька была высокая для своих лет, но худенькая, длинноногая, в ситцевом, много раз стиранном платье и платочке, повязанном по-деревенски под подбородком. Несмотря на холодный день (дул ветер, и небо было затянуто слоистыми облаками), мы оба были по привычке босиком.

— А вы кто такой, что тут ходите? — спросила в свою очередь сестра.

— Я? Гм! Я путешественник!

Мы еще никогда в жизни не видели настоящего путешественника и уставились на него во все глаза. Но он не обращал больше на нас внимания и пошел осматривать маяк.

Когда возвратился отец, путешественник, насвистывая, стоял наверху. С верхней галереи маяка было видно далеко во все стороны — бесконечные дюны и блистающее море на горизонте.

Отец вежливо пригласил его в комнату.

— Если разрешите, то я поживу у вас с месяц, — весело сказал незнакомец, — я сейчас в отпуске.

Отец еле скрыл свое удивление. Не встречал он еще любителей проводить свой отпуск среди песков.

— Что ж, — подумав, произнес отец, — поместим вас в Лизиной комнатке, только ведь удобств никаких. И сквозняки тоже на маяке. Нынешнее лето холодное. А поухаживать за вами некому будет. Жена-то у меня умерла...

— Ничего, я сам привык заботиться о себе, — возразил неожиданный квартирант и попросил у Лизы воды, чтоб умыться, а меня послал за своим рюкзаком.

Так у нас поселился Филипп Михайлович Мальшет, океанолог. Он был человеком со странностями, начиная, конечно, с того, что предпочел дюны и заброшенный маяк южному курорту или хотя бы берегу моря, он ведь и в поселке мог снять комнату. Но Мальшет был прост в обращении, добродушен, весел и нисколько не кичился своей ученостью. Даже с нами, подростками, он

разговаривал, как с равными, не делая скидки ни на возраст, ни на развитие.

Целыми днями Мальшет бродил по окрестностям. Часто брал с собой меня и Лизу. Всего вероятнее, обращаясь к нам, он рассуждал сам с собой. Из того, что он говорил, мы понимали разве десятую часть. И все же слушать Мальшета было интересно. Я заметил, что и отец охотно с ним беседовал, любил слушать малопонятные речи. Правда, отец был человек бывалый, его тоже всякий мог заслушаться.

Вечерами мы засиживались у накрытого стола. Пили чай из старенького погнутого самовара, ели горячие лепешки с козьей брынзой, которую отец сам мастерски делал.

Чаще всего разговоры велись о Каспийском море. Море было страстью нашего гостя, Мальшет пересек его вдоль и поперек много раз и так интересно рассказывал о своих путешествиях. Если бы он только не употреблял непонятных слов: трансгрессия, регрессия моря... Они мне запомнились, я долго ломал себе голову над тем, что бы это могло обозначать, и, не выдержав, спросил Мальшета. Мы только что поужинали и еще сидели за столом, отец курил.

— Наступление и отступление моря,— коротко пояснил Мальшет.

— Значит, теперь у нас ре-гре-ссия? — подумав, спросил я.

— Да. Ты же видишь, море отступает с каждым годом.

— И они вечно сменяются, эти... регрессии, трансгрессии?

Мальшет рассказал о колебаниях уровня Каспия. Как я понял из его слов, Каспийское море со времен глубокой древности то медленно наступает на сушу, затопляя острова, поселения, целые города, то катастрофически отступает, и тогда пересыхают протоки — пути рыб, обнажаются береговые уступы, приморские селения рыбаков оказываются далеко на суше, и ловцы уходят (как у нас в Бурунном!).

— Значит, море еще вернется? — волнуясь, спросил я. — Несомненно.

— Вернется, а потом снова уйдет... — протянула сестра.

Мальшет взглянул на ее погрустневшее лицо и невольно усмехнулся.

— Так будет до тех пор, пока не вмешается человек,— серьезно заявил он.— Человек будет регулировать уровень моря. Мы обуздаем Каспий.

— Разве Каспий обуздаешь...—с сомнением протянул отец.

Мальшет взглянул на него.

— Надо перегородить море дамбой! — вдруг сказал он и впервые покраснел почему-то.

Отец рассмеялся: дескать, вздорная это чепуха или шутка? А у меня отчаянно заколотилось сердце. Я понял, что это заветная мечта молодого океанолога. Словно приоткрылось окно в чужой, заманчиво притягивающий дом, и я мог заглянуть в него.

Так вот он какой — Мальшет. Человек, мечтающий перегородить море дамбой.

Мы с Лизой невольно переглянулись, как всегда подумав одно.

— Каспий не перегородишь — сердитое море,— уверенно возразил отец, и от этой уверенности лицо его приняло почти самодовольное выражение,— разбушуете, снесет любую дамбу.

Филипп Михайлович как-то странно посмотрел на отца, улыбаясь своей мысли.

— Первый оппонент,— пробормотал он,— сколько их еще у меня будет... И все же — мой ли проект... или другой какой, но уровень Каспия будет регулировать сам человек!

Мальшет часто расспрашивал о нашей жизни. Особенно его заинтересовала и вызвала глубокое сочувствие история гибели нашей матери. Рассказывала ему Лиза, я лишь вставлял иногда слово-другое.

Вот как это случилось, что мы потеряли свою мать.

Когда отец ушел на фронт, мама заменила его в море. Все женщины заменяли тогда своих мужей, кроме матери Фомы Шалого. Но об этом позже. В море выходили женщины, старики и мальчишки. Я тогда был еще совсем мал. Ловили они частичковую рыбу, осетров, севрюг. Зимой ходили и на тюленя. Мы редко видели свою мать. Она приезжала измученная, продрогшая, озабоченная. Приласкает меня наспех, сделает что необходимо по дому, немного поспит и — снова в море. Лизонька помогала ей, как умела, я тоже.

Мы всегда, бывало, всплакнем, когда мама уедет. Немецкие самолеты ежедневно обстреливали мирные реюшки из пулеметов, сбрасывали бомбы, хитро раскидывали мины. Смерть грозила из-за каждой тучки, которая вот—вдруг — выросла и обернулась вражеским самолетом. Тяжелый в те годы был промысел, даже и для мужчины.

Мать у нас была сильная и здоровая, веселая — никогда не унывала, не жаловалась на судьбу или на людей. Даже когда неудачи преследовали ее или угнетала тревога за отца — письма приходили плохо. Всплакнет втихомолку и опять улыбается, песни поет. Она была мечтательница, любила рассказывать. Лиза помнит много морских легенд, которые нам рассказывала мать в бурные осенние вечера, когда рыбаки отсиживались дома. Вот кто действительно любил море — наша мать! Однажды мать сказала:

— Умирать никому не хочется, но ведь смерти не избежать! Я хотела бы, когда придет мой час, умереть не в постели, измученная долгой болезнью, а в море. Слишком рано сбылось это ее желание... Море тогда еще не ушло так далеко, и мы всегда ходили встречать маму на берег. Пошли мы и в тот роковой день, 20 апреля 1945 года.

Реюшки должны были возвратиться еще рано утром, но уже давно прошел полдень, а их все не было. И все-таки мы еще не очень беспокоились: рыбаки часто задерживаются в море...

Помню, словно это было вчера, как рябила зеленоватую воду легкая моряна, а солнце сверкало на гребнях волн. На ослепительно ярком песке лежали перевернутые вверх дном свежеокрашенные суда. У берега покачивались десятки бударок, блистающих осмоленными бортами. Развешенные на берегу для просушки рыбацкие сети тяжело покачивались от ветра. Как я любил их запах, соленый и терпкий!

Нас позвал сосед Иван Матвеич Шалый. Он выплескивал через борт накопившуюся в бударке воду, и она отливала на солнце всеми цветами радуги. Его сын Фома, угрюмый драчливый подросток, варил на костре ухи.

— Заждались, поди?—спросил Иван Матвеич приветливо.— Ничего, скоро придут реюшки. Есть хотите? Садитесь к костру, похлебаем ухи.

Иван Матвеич был первый друг нашей матери, очень он ее любил и уважал.

Уха уже бурлила в чугунном котелке. Над песчаной отмелью плыл едкий сизый дым сушняка. Мы не отказались и с аппетитом поели жирной ухи.

Иван Матвеич прежде слыл на Каспии искуснейшим лоцманом — до войны, до ранения. А теперь у него испортилось зрение, и он рыбачил со всеми наравне. Не помню, почему он в тот раз не вышел в море.

Сделав из ухи и ржаного хлебца тюрю, Иван Матвеич неторопливо ел, поглядывая на горизонт. Все-таки и он беспокоился.

Подошли мальчишки из нашего поселка, он и их угостил ущицей, налив всем в одну миску. Среди ребят был и мой закадычный друг Ефимка, с которым мы учились вместе с первого класса и всегда сидели на одной парте. Ефимка тоже ждал свою мать.

Вдруг показались реюшки. Суда шли медленно. Томительный час прошел, пока лодки подошли настолько, что можно было разглядеть на мачтах полуспущенные вымпелы — сигналы бедствия.

Случилась беда. Все, кто был на берегу, сбились в кучу и молча, пугливо ждали. Даже женщины не плакали и не кричали, они только ждали. Лиза стиснула мою руку и все вытягивала тоненькую шейку и приподнималась на цыпочки, чтоб лучше видеть. У некоторых реюшек были сломаны мачты или руль, порваны паруса. Одну, совсем изуродованную, тащили на буксире. Подчалив к берегу, ловцы мрачно сошли на землю. Рыба — они все же пришли с кое-каким уловом — блестела на солнце серебристой чешуей.

И вдруг я увидел, что все смотрят на нас — на меня и Лизоньку. Это было очень страшно, не знаю почему.



— А где мама? — звонко спросила сестра.

Ей никто не ответил, теперь они уже прятали от нас глаза.

Иван Матвеич что-то тихо спросил у бригадира и, когда тот неохотно ему ответил, молча, дрожащей рукой снял фуражку с лысого лба, а за ним и все ловцы обнажили головы.

И тогда мы поняли — это по нашей матери. Все вернулись живы и невредимы, только Марины, нашей мамы, не было.

Лиза вскрикнула и закрыла лицо руками, худенькие плечи ее затряслись. Тогда заголосили рыбачки.

Я не плакал, я в страхе смотрел на сестру, такую хрупкую, в коротком клетчатом платье и старой маминой жакетке. Из-под платка спускались две русые косички с бантиками на концах, и эти бантики вздрагивали, словно сами прыгали

по спине. А зеленоватая вода все так же рябила и сверкала на солнце, и от развешанных сетей шел терпкий запах моря. Костер еще не успел погаснуть, дымок стлался по земле. И уха еще, наверное, не остыла. Я вдруг почувствовал голод и подумал, что не скоро придется сегодня поесть. Я не доел своей порции, и ее выплеснули.

В тот день я еще не осознал так сразу, что мы потеряли. Все же я был очень мал.

После мы узнали, как погибла наша мать.

Ловили они на глубинах, то есть вдали от берегов. Заехали далеко. Неожиданно нагрянул косяк, досадно было упустить. Перебрали более ста перетяг, сгоряча не заметив, как изменилась погода. С утра был штиль, тишина, солнце, и вдруг закружились в небе неизвестно откуда взявшиеся штормовые облака. Море сначала потемнело, а потом сразу забелело, вспененное волнами.

Растерявшиеся рыбаки увидели приближающуюся с невероятной быстротой стену воды. Прежде чем успели подумать, что предпринять, огромный вал метра в два высотой обрушился на маленькую флотилию. Смыло сети, почти всю рыбу, сломало мачты, руль. Этот вал унес мою мать. Она и крикнуть не успела и не всплыла ни разу, словно кто на дно утащил. В поднявшейся неразберихе могли и не слышать ее крика о помощи, каждый из всех сил цеплялся за что попало, чтоб не быть снесенным в море.

По рассказам рыбаков, все это произошло при полном штиле. Ветер бесновался метрах в трехстах, а вокруг лодок воздух даже не шелохнулся. Грозный вал расправлялся в тишине.

Часов шесть трепало реюшки, затем все стихло, Каспий успокоился...

Мы долго грустили и плакали.

Вскоре вернулся с фронта отец. От удара, который ожидал его, он так и не оправился. Отец как-то сразу сдал — поседел, согнулся, какими-то слабыми стали его движения. Гибель жены его придавила, как нам казалось тогда, навсегда. Мы с Лизой были маленькие и думали, что в мире существует верность навсегда.

А Лиза все жаловалась, что у мамы даже могилки нет.

— Море — мамина могилка, — сказал я как-то.

Лиза так и сверкнула глазенками: проклятое море! И теперь, рассказав Мальшету о гибели мамы, она снова повторила:

— Ненавижу это море!

Мальшет с участием посмотрел на Лизу.

— Как можно ненавидеть то, что прекрасно, — природу? — мягко проговорил он. — Море — стихия, его просто надо обуздать.

— Каспий не обуздаешь, — вздохнул отец. — Он грозен, когда разойдется... Нет, его не обуздаешь.

Мальшет только улыбнулся в ответ.

Глава вторая

ЦЕЛЬ ФИЛИППА МАЛЬШЕТА

Вечерами свистел ветер в галереях погасшего маяка, принося с собой все запахи моря; за раскрытыми окнами мерцали на темно-синем небе далекие

звезды; на растрескавшийся каменный фундамент маяка напозлали дюны, я всегда их чувствовал. Мне казалось, что песок хочет сдвинуть старую башню с места, поглотить ее, как он поглотил покинутый поселок Бурунный.

Мальшет рассказывал о море. Иногда он говорил так понятно и интересно, а порой забывался и забредал в такие научные дебри, что мы совсем ничего не понимали. Или хватал карандаш и на первом попавшемся клочке бумаги что-то чертил... Зеленые глаза его разгорались, лицо бледнело, он с таким неистовством ерошил рыжевато-каштановые волосы, что они подымались дыбом. Отец начинал поглядывать на него с опаской. Действительно, моментами он походил на маньяка, но мы с Лизой верили ему с первого дня. Мы с ней готовы были совсем не ложиться спать, только слушать его, хоть всю ночь.

Загадочные наступления и отступления Каспия — вот что занимало и волновало Мальшета, вот о чем беспрестанно думал он и тогда и в последующие годы. Ни одно море на земном шаре не испытывало таких неожиданных и резких колебаний в своем уровне, как Каспийское. В совсем недавнее геологическое время его уровень подвергался колебаниям в сорок метров!

Несколько тысяч лет тому назад уровень Каспия был так высок, что его волны бились у широты теперешнего Волгограда. Именно тогда бурными полноводными реками пробрались в Каспий обитатели Северного Ледовитого океана — тюлень, лосось, белорыбица. За миллионы лет своего существования Каспийское море временами покрывало почти всю Европу, вторгалось на восток, в Среднюю Азию, вытягивалось на север. А то усыхало почти до размеров одной только южной своей части.

В XII веке уровень Каспия стоял ниже теперешнего метра на четыре. Тогда были построены в Баку Караван-Сарай и крепость Салгир, погруженные теперь в воду. В тихую погоду можно видеть на дне бухты затопленную дорогу от крепости на берег. В XIII—XIV столетиях за какие-нибудь 50—100 лет уровень моря повысился на 16 метров. На сохранившейся карте венецианского купца Марино Сонуго 1320 года его рукою написано: «В море был омут, в который уходили воды, но вследствие землетрясения он закрылся. По этой причине море прибывает на одну ладонь ежегодно, и уже многие хорошие города погибли». Катастрофа наступила, когда уровень Каспия поднялся почти на 13 метров. Марино Сонуго можно верить: генуэзские и венецианские купцы в те времена вывозили шелк с южных берегов Каспия и строили здесь корабли. Они были прекрасно знакомы с географией Каспийского моря.

Но, разумеется, насчет «омута», куда уходит вода Каспия, это сплошная выдумка, так сказать, гипотеза того времени. Надо же было как-нибудь объяснить колебания уровня этого странного и загадочного моря. Таких гипотез среди мореплавателей того времени было много, и самых фантастических.

Одни утверждали, что существует подземная связь Каспия с Черным и Аральским морями и даже с Персидским заливом; другие говорили о могучих вулканах на дне моря, которые то поглощают воду, то вновь извергают ее.

Но самые страшные легенды, пугавшие моряков в течение столетий, связаны с заливом Кара-Бугаз-Гол — по-русски черная пасть.

Есть на дне этой черной пасти ужасный водоворот, который втягивает воду внутрь земли. Горе кораблю, слишком приблизившемуся к роковому заливу; поток, мчащийся с невероятной силой, втянет его, как слабую рыбешку, и увлечет в бездонную пропасть — к центру земли.

Все эти непрерывные разговоры о море вызывали у меня какую-то нервозность. Каждую ночь мне снился этот проклятый водоворот, куда меня несет

со страшной силой не то на лодке, не то на льдине. Сердце замирает от ужаса, я хочу крикнуть — и не могу. Только смотрю широко открытыми глазами на приближающиеся темные громады скал, зияющее отверстие между ними — черную пасть.

Просыпался я весь в поту, с бьющимся сердцем и долго не мог уснуть, размышляя о слышанном от Мальшета.

По словам Мальшета выходило, что, поскольку в недалеком прошлом уровень Каспия был ниже современного метров на пять, естественно ожидать, что Каспий вернется к былому состоянию. Это была бы настоящая катастрофа: все каспийские порты очутились бы на суше, северная часть моря сделалась бы несудоходной, погибли бы богатейшие в мире рыбные нерестилища.

Но Мальшет был уверен, что человек никогда этого не допустит, он покорит море, будет сам, по своему желанию, регулировать его уровень. Вот какими мыслями был занят Филипп Мальшет. Он смотрел далеко вперед.

Однажды отец спросил его:

— Что вы за человек — смотрю на вас и не понимаю... Чего вы хотите от жизни? Какая у вас цель?

Мальшет задумчиво посмотрел на отца и сказал просто:

— Что тут понимать, человек я несложный... Цель у меня одна, ясная и простая: хочу добиться, чтобы уровнем Каспия можно было управлять. При современной технике это вполне осуществимо. Придется побороться кое с кем — я готов.

— Дело государственной важности, что говорить, — подтвердил отец, — но ведь это все по работе. А для себя-то лично чего вы хотите?

— Для себя этого и хочу, — как-то даже удивился Мальшет.

— Есть ли у вас невеста, ученое звание, дом или хорошая квартира? Кто ваши родители? Никогда вы не говорили о себе, а я любопытствую.

Мальшет с готовностью рассказал о себе.

Ученого звания и невесты у него пока еще нет. Живет у матери. Квартира небольшая, но изолированная — спокойно там работать, — и в центре Москвы, на Котельнической набережной. У каждого своя комнатка. Мать его замечательная женщина, поэт и переводчик, знаток восточных языков. Отец был инженер, строитель портовых сооружений, дамб, молмов. Умер перед самой войной.

Закончив свою автобиографию, Мальшет достал рюкзак и, порывшись, вытащил небольшой томик.

— Стихи моей матери, — с гордостью сказал он и протянул томик Лизе.

Лизонька почему-то очень покраснела и, почувствовав это, стала, низко наклонившись, листать страницы.

Вскоре Мальшет перестал бродить с нами по окрестностям. Целыми днями сидел он на верхней галерее маяка, где ему поставили стол, и работал над проектом дамбы, которой собирался перегородить море.

В еде он был совсем непряхотлив — что дадут, то и будет есть. Но очень любил жареную рыбу. Отец специально для него ездил на велосипеде в поселок за рыбой, а Лиза старательно жарила. Вообще мы, как могли, окружали его заботой.

Все же и мы не понимали, почему он не писал этот проект в своей отдельной комнате на Котельнической набережной. Быть может, чтобы покорить врага, надо иметь его перед собой? Пески неотступно надвигались, и Мальшет должен был видеть это собственными глазами, чтоб написать хороший проект.

Мы очень привыкли к Филиппу Мальшету, но приближался конец августа, и он уже должен был ехать в Москву. Перед самым отъездом ученый-океанолог так

удивил нас, что отец даже стал его меньше уважать после этого. Только не мы с Лизой.

Все случилось из-за Фомы Шалого. Вот уж кому подходила эта фамилия.

Глава третья

ФОМА ШАЛЫЙ

Фому у нас в поселке не уважали, потому что считали лодырем и хулиганом. Я один только всегда ждал от него чего-нибудь необыкновенного: подвига, или открытия, или просто доброго поступка. По-моему, Фома был хороший человек. В школе он учился так себе, посредственно — в начале четверти двойки, к концу натянет на тройки. Так бы на тройках и кончил десятилетку, но его исключили из десятого класса за драки.

Больше всего на свете Фома любил драться на кулаках. Когда он подрос, то поколотил почти каждого ловца и капитана в Бурунном и в соседних селах. Избив, чуть ли не со слезами просил прощения, уверяя, что не может не драться — такой уж уродился.

Когда мы изучали былинку о Ваське Буслаеве, я поднял руку и сказал учительнице, что у нас в Бурунном тоже есть Буслаев, это — Фома Шалый. В точности былинный богатырь, только он еще ни у кого не выдерживал рук и ног, а так, кулаками дает.

Учительница почему-то страшно возмутилась и заявила, что я говорю глупости. Никакой он не Буслаев, а просто хулиган, и напрасно никто не подаст на него в суд.

Все ребята, даже девочки, единодушно, поддержали меня. Во время проработки этой былинки все бегали смотреть на Фому, и его авторитет у школьников сильно возрос. Благодаря Фоме все ребята, даже заядлые двоечники, ответили про Василия Буслаева на пять и на экзамене про него знали лучше всего. Но учительница почему-то была недовольна.

В детстве мы жили по соседству, и часто, по просьбе своей матери Аграфены Гордеевны, Фома оставался у нас ночевать.

Его мать была «дурная женщина» — так все считали, так оно и было, хотя Фома, кажется, очень любил ее. Как мы ни были тогда малы, но уже могли наблюдать и сравнивать. У нас тоже отец на фронте, но мать оставалась верной. Она честно работала и не спекулировала.

Аграфена Гордеевна была необычайно красива, молода, крепка. Почему она не хотела честно трудиться, как другие женщины?

Мне было лет шесть, когда однажды зимним вечером вернулся с фронта отец Фомы Иван Матвеевич Шалый, правильнее сказать, из госпиталя, где он пролежал больше года после ранения ног и контузии. Ноги у него хотели отнять, но он не дался, и хорошо сделал: ноги зажили.

Дома он застал развеселую компанию, где несомненным председателем был огромного роста незнакомец — не то геолог, не то инженер какой-то. Он часто заглядывал в Бурунный (и тогда Фома приходил к нам ночевать).

Мы сидели у ярко пылающей плиты — мама, Фома, Лизонька и я. Слушали Лизу, она рассказывала «Таинственный остров» Жюль Верна, когда в окно громко

постучали. Мама быстро поднялась с табуретки и, посмотрев сквозь стекло, громко ахнула. Затем впустила в дом Ивана Матвеича.

Они молча, как родные, поцеловались три раза, а потом он уставился на вскочившего Фому.

— Сынок!..— сказал он хрипло и, шагнув вперед, прижал его к себе, да так и замер. Он и нас поцеловал, оцарапав мне нос колючей щекой. Только потом снял шинель и вещевой мешок. Затем присел на скамью у стола, обхватив голову руками, и замычал от боли.— Рассказывай, Марина, все равно уже многое знаю— писали добрые люди в госпиталь. Скорее бы с этим покончить.

— Узнаешь, погоди,— неохотно ответила мать,— как при детях рассказывать о твоей жене? Да разве и не ясно тебе! Что душу зря беречь... Но этот... высокий — что-то серьезное. Здесь любовь. Она стала лучше последнее время. Спекуляцию бросила, боится, как бы он не узнал.

Скоро пришла Аграфена Гордеевна, уже спровадившая гостей. Она была пьяна и расстроена. Но до чего же она была красива!

— Иди домой, все ушли,— позвала она мужа. Тот и не шевельнулся.

— Иди, будет притворяться-то, сам, поди, не монахом по фронтам ходил...

— Молчи!..— и обозвал ее нехорошим словом.

С каким-то детским удивлением он сказал моей матери:

— А ведь я был ей верен... такой.

Он посмотрел в покрасневшее, потное лицо жены с выбившимися прядями тяжелых черных волос и сжал кулаки.

— Бить хочешь? — дерзко спросила она.— Не те времена. Только напрасно так. Много ли ты слал мне? Ничего, как есть. А другие-некоторые своим женам посылку за посылкой. Жить-то мне надо было? У меня ведь сын... Не все такие герои, как Маринка, а я моря боюсь... и не мужик.

— Больше у тебя не будет сына,— глухо сказал Иван Матвеич.— Будешь судом требовать, засажу в тюрьму за спекуляцию. Свидетели найдутся. Уезжай с тем... пока цела.

— Не прогоняй, я и без того уйду. У его жены рак. Вот умрет, я туда и перееду. К нему, в Москву...

— Мразь... убью! —закричал Иван Матвеич, весь побелев от омерзения и гнева.

Моя мать их разняла.

Фома угрюмо смотрел в пол, ни кровинки не было в его лице.

На другой день Аграфена Гордеевна уехала вместе с незнакомцем. Больше мы ее и не видели.

Фома рос мрачным, драчливым, задиристым, никто его не любил в поселке, кроме меня да Ивана Матвеича. Мне кажется, в отношениях отца и сына не хватало теплоты. Скрытные были оба.

Все парни в поселке боялись и слушались Фому, но друга у него не было.

И вот этот самый Фома не надумал ничего лучшего, как влюбиться в четырнадцатилетнюю девчонку — мою сестру Лизу.

— Я буду ждать, когда ты вырастешь, и тогда на тебе женюсь,— объявил он ей,— буду верен тебе до тех пор... Впрочем, ты в этом еще ничего не понимаешь. В общем, буду тебя ждать.

— Ты дурак! — сказала Лиза, густо покраснев.— Я никогда не выйду замуж — еще чего.

Фома только ухмыльнулся.

— Так я буду ждать,— повторил он как угрозу.

Когда отец узнал об этом сватовстве, он просто из себя вышел. Нажаловался Ивану Матвейчу, но тот неожиданно принял сторону Фомы.

— Лучшей жены я бы ему не желал,— возразил он,— лет через пяток...

Отец чуть не задохнулся от гнева. Только пожалев Ивана Матвейча, не высказал он своего мнения о Фоме. Но старый лоцман понял и насупился — холодок с тех пор пробежал между давнишними друзьями. Это было года два назад.

И вот, прослышав, что у нас поселился молодой ученый из Москвы, этот чудак Фома возревновал.

Подождав, когда отец ушел на трассу, он явился к нам и потребовал, чтоб Мальшет стал драться с ним на кулаках.

Мы с Лизой просто обомлели. Мальшет с веселым изумлением разглядывал неожиданного противника. Он уже слышал о нем от меня, хотя Лиза и запретила рассказывать: она стеснялась.

Мы все четверо стояли на устланном камнем дворе маяка. Ветер трепал белье, сушившееся на веревке, протянутой через двор. Половина двора была в тени от башни, половина залита слепящим солнцем. Огромные, как горы, кучевые облака белели на голубом небе.

— Фома, уходи, как не стыдно! — звонко крикнула Лизонька.

Фома только сжал огромные кулаки и наклонил голову, словно собираясь бодаться.

— Это профессор, он проект пишет,— увещевала его Лиза (второпях произвела Мальшета в профессора!).— Понимаешь, он просто профессор!

— Ничего ему не сделается, если я его разок поколочу!— возразил Фома уже более миролюбиво.

Он именно так и понял Лизу, как она хотела, то есть что Филипп Михайлович не жених, а «просто профессор». Но от желания «задать ему взбучку» он уже не мог отступить.

К великому моему восторгу, Мальшет не стал отнекиваться, а деловито и спокойно снял пиджак, с улыбкой бросив его мне. Я подхватил пиджак на лету.

— Вот что, дорогой товарищ,— сказал он просто Фоме,— эта... гм... девушка не желает иметь с тобою никакого дела. Поэтому ходить сюда тебе незачем. Так я говорю, Лиза?

— Так.— Лиза торопливо закивала головой, покрасневшись от удовольствия, что ее назвали девушкой,— все считали ее девчонкой, кроме разве Фомы.

В ответ раздалась брань, и Фома, как буйволенок, налетел на океанолога. Мы с сестрой невольно попятнулись назад. Но Мальшет уже приготовился, и Фома наскочил на два небольших, но жестких, как железо, кулака. Парень опять выругался и стал по-медвежьи ходить вокруг Мальшета. Раза два ему удалось нанести ученому меткие удары под одним и другим глазом, на что он был большой мастер. Лиза смотрела на дерущихся серьезно и огорченно. Я же был в восхищении. Оба дрались весело, с явным удовольствием, даже подшучивая друг над другом. Настроение у Фомы заметно повысилось, драка была его стихия, призвание. На стороне рыбака были ловкость, сила, азарт — то, что в спортивном мире называется хорошей реакцией,— умение защищаться мгновенными, почти инстинктивными уходами и уклонами.

Но Мальшет отнюдь не робел перед своим мощным противником. Удары его сыпались с молниеносной быстротой, сливаясь в один ритм, как пулеметная очередь. Ростом он был несколько выше Фомы и умело пользовался этим преимуществом, прибегая к длинным прямым ударам, как бы держа Фому на

расстоянии. Фома двигался тяжеловато, неуклюже, тогда как Мальшет как бы скользил, словно на коньках по льду,— взад и вперед: шаг, требующий большой и упорной тренировки, как я узнал потом.

Поняв, что противник серьезен, Фома стал осторожнее. В то же время его сердило, что удары, которые он обрушивал на ученого, большей частью не доходили до цели, и он только бил воздух. Мальшет был словно неуязвим. Стройный, крепкий, легкий в движениях, он совсем не горячился, а настойчиво, словно по заранее задуманному плану, начинал оттеснять Фому в глубину двора.

Я замер, притаив дыхание, едва успеваю следить за стремительными движениями боксеров. Странно, но почему-то мне очень не хотелось тогда, чтоб Фома был побежден, я сам не знал почему. Какое-то смутное чувство справедливости: на долю Филиппа Мальшета и так было отпущено много. В этот момент Филипп получил такой сокрушительный удар сбоку, что отлетел назад, зашатался и повис на бельевой веревке, ухватившись за нее обеими руками, как на ринге...

Лиза метнулась вдруг к сараю и стала изо всей силы бить чем-то по ведру.

— Гонг! — закричала она.— Раунд кончился. Когда я вновь посмотрел на Мальшета, он лежал на земле, а Фома помогал ему подняться.

— Ничего...— бормотал Фома смущенно.— Разок подрались, я со всеми дерусь, такой уж уродился...

— Как тебе не стыдно! — вспылила сестра, подбежав к Фоме.— У-у, какой дурак!

— Из вас... ох... вышел бы первоклассный боксер,— простонал Мальшет, поднимаясь,— прирожденный боксер, просто поразительно... Такие способности пропадают

. никем не оцененные. Поучиться бы вам, и...— Филипп приложил ладони к заплывающим глазам,— вышел бы чемпион СССР.

— Чемпион! — восторженно выдохнул Фома, с обожанием смотря на Мальшета.

— Чемпион...— как эхо, повторил я,— а у нас его хулиганом объявили, всё собираются под суд отдать.

— Вы это серьезно, что ли? — по-детски наивно спрашивал Фома, умильно заглядывая в опухшую физиономию молодого ученого.

— Абсолютно серьезно, я вас и к тренеру хорошему направлю. Он сделает из вас настоящего боксера, будете на ринге выступать.

Тогда ошеломленный Фома уставился на Лизу. Может, в этот момент он впервые подумал о славе, чтоб победить с ее помощью непокорное девичье сердце. Как бы прочитав его мысли, Лиза, надувшись, отошла. Фома медленно повернулся к ученому:

— Вот спасибо, друг!

Обеими руками он стал жать его руку...

— Идите в дом, а то чай остынет,— сдержанно напомнила Лиза. Мы как раз собирались завтракать, когда пришел Фома.

— Лизочка, разрешите и ему войти,— попросил за Фому океанолог,у- надо же дать человеку адрес тренера.

Сестра уже скрылась в дверях. Мальшет подмигнул Фоме, и они, мирно разговаривая, стали подниматься по лестнице. Восхищенный, просто в упоении, я поднялся за ними.

После пережитого напряжения ароматный индийский чай вприкуску с арбузным медом показался невыразимо вкусным, и брынза тоже. Теперь Фома не

казался свирепым, наоборот, он выглядел кротким и смущенным. Яркий румянец заливал его смуглые скулы, черные сияющие глаза смотрели с доверчивым ожиданием. У него был резко очерченный мужественный рот, энергичный подбородок. По-моему, он был красив.

За чаем Мальшет рассказывал о разных знаменитых боксерах — целой плеяде чемпионов СССР. Яков Браун, например, начал заниматься боксом с четырнадцати лет. (А наш Фома с шести лет!) Шестнадцатилетним пареньком он уже стал чемпионом страны.

Мальшет рассказал о турнире лучших мастеров ринга в Берлине, когда боксеры двадцати трех стран боролись за почетный спортивный трофей — золотой пояс чемпиона Европы; о финальном бое Геннадия Шаткова со шведом Стигом Шелином, чемпионом Европы, призером Олимпийских игр в Хельсинки, четырехкратным чемпионом Швеции и Скандинавии.

Я вдруг увидел переполненный разгоряченной ревущей толпой огромный зал «Шпортпалас» в Берлине и на ослепительно освещенном ринге тяжело дышащего смущенного советского студента в тот момент, когда судья торжественно, при звуках фанфар, надевал на него золотой пояс чемпиона Европы.

Слушая, я от души радовался победе нашего боксера, но больше мне ни о чем это не говорило. Спортивные победы и поражения интересовали меня не более как любого мальчишку моих лет, но не затрагивали во мне основного — каких-то струн в сердце, что ли. Нет, это не было моим призванием.

Не то было с Фомой. Он даже о Лизе забыл, впившись взглядом в Мальшета. Еще, еще — молил этот взгляд, и Филипп добродушно рассказывал историю за историей. Фома бледнел и краснел, смеялся, испуганно охал, наклоняясь вперед, на его выпуклом упрямом лбу выступили капли пота. Недопитый чай стыл в стакане.

Как ни был я мал тогда, но понял, что присутствую при редком и прекрасном моменте в жизни человека, когда он находит себя, когда блеснет перед ним единственно верная дорога к заветной цели. Еще час назад Фома был хулиганом, драчуном, отщепенцем, а теперь — словно Мальшет прикоснулся к нему волшебной палочкой — это уже был боксер, деловито обсуждавший, где и с кем он будет тренироваться. Это чудо совершил Мальшет.

«Конечно, Фома тоже будет чемпионом, — думал я одобрительно, — ну что ж, тогда он, по крайней мере, сможет драться сколько душе угодно, и никто уже не скажет, что он хулиган».

— Но ведь бокс... это просто драка? — вдруг сказала сестра. — Разве это может стать целью жизни? Жалкая цель...

— У тебя неверные представления о боксе, — возразил, улыбаясь, Мальшет. Он был несколько бледен, глаза его совсем заплыли — каждый синяк с пятикопеечную монету. Фома посадил их так симметрично, словно вымерял циркулем. Теперь-то он раскаивался, но было поздно.

— Бокс — полезный и нужный вид спорта, — назидательно проговорил Мальшет и удивленно посмотрел на Лизу. Она так и покатила вдруг со смеху.

— Что ты понимаешь в боксе — ведь это мужское дело! — вспыхнул Фома и даже покраснел от гнева.

Как твердо и решительно отрубил он эту фразу! Затем Фома, о молчаливости которого знал весь район, продолжал со стремительностью:

— У русских с самых древних времен не было лучшей забавы, как молодецкий кулачный бой. Я читал в журнале, что еще в дружине князя Святослава был такой обычай: испытывать свою силу, ловкость, удалство в кулачных боях. Бойцы

честно вели поединок, по правилам. Нельзя подножку делать, в спину бить или лежачего. Потому и пословица: лежачего не бьют. Русские сроду любят кулачный бой, особенно по селам,— закончил он и, багрово покраснев, умолк.

Вот так Фома!

— Неужели тебе никогда не приходила в голову мысль сделаться боксером? — поинтересовался Филипп.

— Нет, я не догадывался. И все твердят: хулиган, хулиган, ну я и думаю, значит, правда хулиган, таким уж уродился. Меня ведь из школы исключили за это самое— кулачный бой, из десятого класса и... из комсомола. А вы вправду думаете, что я стану настоящим боксером?

— Уверен в этом! — убежденно проговорил Мальшет и, кряхтя, поднялся из-за стола.— Закурим? — предложил он Фоме, но тот отрицательно качнул головой:

— Не балуюсь этим!

С тех пор Фома стал часто бывать у нас. Однажды он спросил Мальшета, почему он сам не стал боксером, у него тоже ведь есть данные для этого? Мальшет усмехнулся.

— Море...— сказал он коротко.

Глава четвертая

СТАРАЯ, ПОТРЕПАННАЯ ЛОЦИЯ

За эти два месяца, что Мальшет провел у нас, он выучил меня и Лизу делать несложные метеорологические наблюдения: измерять температуру воздуха и давление (термометр у нас был, а также барометр-анероид), направление ветра по флюгеру на маяке, количество осадков, облачность и формы облаков, видимость. Он так накрепко вдолбил в нас классификацию облачности, что я не забуду ее, даже если доживу до полутора лет, что, несомненно, и будет, так как, пока я состарюсь, наука уже победит старость... Конечно, если я не погибну в какой-нибудь экспедиции.

Мы с Лизой завели специальный журнал, куда старательно заносили по три раза в день свои наблюдения. Например, так: (- 27°, ветер зюйд-зюйд-вест, осадки — 0, облачность три десятых, альто-кумулюс (высококучевые), давление 690 мм.

Кроме того, мы отмечали различные атмосферные явления: росу, туман, дымку, радугу, пыльную бурю (что у нас бывает очень часто), вихрь, зарницы, грозу, иней и всякие другие.

Теперь мы знали названия всех облаков: перистые, слоистые, кучевые, кучево-дождевые, разорванно-дождевые и так далее. И знали, как они по-латыни называются и на каком ярусе расположены, то есть в скольких километрах от земли. Мальшет все это нам рассказывал.

Мы с Лизой были просто в восторге от наблюдений, особенно когда узнали, что эти данные крайне необходимы Мальшету для его научной работы, и не только ему, но и другим советским ученым. Слишком мало метеорологических станций — вот в чем дело.

И совсем неожиданно наступил день отъезда Мальшета.

Лиза без стеснения плакала — ей что, ведь она девчонка, а я должен был удерживать себя изо всех сил. Мальшет тоже заметно разволновался. Только отец и был спокоен, потому что он, по его словам, «после той драки потерял уважение к Мальшету». Отец с таким равнодушием, будто так и надо, принял от Филиппа деньги — плата за стол и квартиру, — что мы с Лизой оба покраснели.

— Дорогие мои ребята!—воскликнул горячо Мальшет.— Что же мне подарить вам на память, самое дорогое?

Он схватил тщательно уложенный рюкзак и вывалил содержимое на стол. Там было несколько книжек, исписанная его размашистым почерком бумага, рубашки, белье и всякая мелочь. Папе он подарил шелковую рубашку, которую ему сунула в рюкзак его мать, а он так ни разу и не надел ее — другую носил.

Задумавшись, он рассеянно перебирал вещи, а мы с Лизой, вздыхая, молча смотрели на него. Только теперь я понял, что Филипп еще очень молод, — у него была тонкая шея и мальчишески озорные зеленые глаза, а рыжеватые волосы, сильно отросшие, торчали во все стороны. Вдруг он схватил в руку книгу в красном коленкором переплете, изрядно потрепанную — видно, он всюду возил ее с собой, и как-то странно посмотрел на меня.

— Вот, Яша, это лоция Каспийского моря, издания 1935 года... Ей цены нет, потому что нигде ее не достать. Дороже у меня ничего нет. Верю, что отдаю ее в надежные руки. Не благодари. Я знаю, что делаю...

Он что-то быстро написал на титульном листе и передал мне лоцию. Я тогда не знал еще, что он мне дарил, но сердце у меня забилося.

— А тебе, Лизонька,— обратился он к сестре,— нечего подарить... Тебе ведь надо самое лучшее или ничего. Так? Подарок будет за мной. Чего же ты плачешь, дурочка? — Он порывисто прижал ее к себе и горячо, как родную сестренку, несколько раз поцеловал.

Мальшет ушел с тяжелым рюкзаком за спиной, пешком, как и пришел, не оглянувшись, не помахав рукой. Не любил он оглядываться назад, на то, что оставляет. И опять я подумал: как он уверенно шагает по земле!

Может, он сразу и забыл нас. Что мы для него были? Двое ребят с заброшенного маяка. Но мы его не забыли.

Вслед за Мальшетом вскоре уехал и Фома.

...Зима в этом году была невероятно долгой — длилась и длилась, и не было ей конца. Лиза училась в девятом классе, я в седьмом. Как всегда, пока стояла сухая погода, мы ездили в школу на нашем единственном расшатанном велосипеде, в распутицу ходили пешком, в метель оставались ночевать у Ивана Матвейча, на которого мы привыкли смотреть, как на второго отца. Случалось, что мы по несколько дней сидели дома на маяке, если поднималась буря.

Иногда мы ходили помогать отцу на трассу и незаметно освоили линейные работы, но отец никогда не доверял нам что-нибудь делать самостоятельно. Чаще он оставлял нас дома. Особенно когда умер участковый надсмотрщик соседнего участка и отцу пришлось временно взять на себя его работу — некем было заменить. Вдова этого надсмотрщика, Прасковья Гордеевна, была родная тетка Фомы, сестра Аграфены Гордеевны. Только она не была на нее похожа — совсем не красавица, обыкновенная скромная женщина, очень хорошая хозяйка. Если заходил разговор о Прасковье Гордеевне, то обязательно кто-нибудь да говорил: «Вот хорошая хозяйка!» Лиза ее почему-то терпеть не могла, а я просто тогда о ней не думал.

Теперь, когда у отца прибавилось работы, мы целые вечера проводили с Лизой одни. Мы всегда любили читать, но в эту тяжелую зиму — я не знаю почему, но эта длинная зима всегда вспоминается мне как тяжелая — мы особенно пристрастились к чтению.

В Бурунном была очень хорошая библиотека, и мы читали запоем, даже немного во вред занятиям. Сделаем наскоро уроки — и читаем вслух по очереди. Вкусы у нас были почти одинаковые.

В ту зиму мы перечитали почти всего Диккенса, Стивенсона, Джека Лондона, Жюль Верна, а из наших советских писателей — Паустовского, Каверина, Катаева, Лавренева. Лиза доставала журналы: «Вокруг света», «Техника — молодежи», «Знание — сила»; на них была огромная очередь в библиотеке, так как они приходили лишь в одном экземпляре.

Но что мы перечитывали каждый день, с чем я засыпал, держа в руке или чувствуя под подушкой, так это лоция, подаренная Филиппом Мальшетом.

Натопив печку, чисто прибрал в сводчатой восьмиугольной комнате, мы раскладывали на большом обеденном столе карту Каспийского моря, раскрывали лоцию — и начиналось наше морское путешествие.

Уходящие в небо туманные вершины Эльбруса и Аркая; субтропические леса южных берегов, Кура-Арак-синская низменность, угрюмая и немая, над которой еще недавно шумели зеленые каспийские волны; скалистые бесплодные утесы Мангышлака; пески безводных пустынь Средней Азии — все это был Каспий. Непостижимое таинственное море, то поднимающееся, то опускающееся, протянувшееся от 47°13'0" широты на севере до 36°34'46" широты на юге. Его мелководные лагуны, малодоступные, необследованные острова, подводные отмели и банки, далекие склоны, покрытые дремучими лесами, или выжженные солнцем утесы, пенящиеся буруны — они не давали нам покоя, снились по ночам.

На море было много погибших кораблей, представлявших не малую опасность для мореплавателей. Вот как говорит о них лоция: «Затонувшее судно «Каспий» (широта 44°20'0", долгота 2°(У), в 15 милях на О от острова Тюлений. Окружающие глубины 11 метров. Над корпусом затонувшего судна глубина четыре метра. Местоположение приближенное».

«Затонувшее судно «Арач», широта 45°23', долгота 2° 19'. Окружающая глубина два метра. Судно представляет опасность для плавания».

«Между бум Трехбратинской косы и островами Пешными имеются затонувшие суда. Положение приближенное».

Затонувшие суда «Прилив», «Тигр», «Воротан», «Али-Дадаш» и многие другие суда и баржи, а также корабли, название которых не установлено».

Какие люди были на этих судах, что послужило причиной их гибели, кому удалось спастись, мужественно ли приняли смерть погибшие? Иногда до поздней ночи мы фантазировали, мечтали. Нам очень хотелось испытать кораблекрушение — разумеется, спастись. В возможность нашей смерти мы не верили.

Так мы дожили до марта... В марте наша жизнь резко изменилась — отец наш женился. На этой самой хорошей хозяйке Прасковье Гордеевне. Ну, и на маяке она жить не пожелала. У нее возле домика земля была подходящая для огорода, корова, теленок, два кабана, козы, овцы, куры и гуси. Мы переехали к ней со всеми вещами, а маяк заперли на большой тяжеленный замок.

Когда переехали к Прасковье Гордеевне, мы продолжали бегать для наблюдений на маяк, там во дворе была у нас установлена метеорологическая будка (ее соорудили еще вместе с Мальшетом). Метеорологические наблюдения мы аккуратно каждую декаду слали в Астраханское бюро погоды. Все это

делалось от Лизиного имени (я-то ей просто помогал), и она даже получила благодарность от бюро погоды.

Узнав, что мы ведем наблюдения «даром», то есть что за это не платят, Прасковья Гордеевна несказанно удивилась. Отец покраснел и смущенно объяснил ей, что у нас гостил молодой ученый, у которого «в голове не все в порядке» — он хотел море перегородить дамбой. Вот он и научил нас делать эти наблюдения.

Прасковья Гордеевна поджала губы и сказала, что лучше бы мы помогали ей по хозяйству. Отец поспешно с ней согласился и запретил нам вести наблюдения.

И тогда я впервые узнал, какая моя сестра вспыльчивая. Она так побледнела, что я даже испугался за нее. Светло-серые глаза ее потемнели, губы задрожали.

— Наблюдения мы будем делать! — сказала Лиза, отчеканивая каждое слово, и добавила, внимательно взглядевшись в отца: — Посмей только сломать будку! Я навсегда от тебя уйду, я уже не маленькая. А по хозяйству мы поможем. Только зачем столько овец и коз? Зачем продавать на базаре мясо и творог, разве нам не хватает зарплаты? Хватало же прежде. Другое дело — для себя держать корову...

— Это не твое дело, — огорченно возразил отец.

Он очутился между двух огней. Насчет наблюдений он все же уступил.

Лиза молчала целую неделю, думая, как ей поступить. Я уже говорил, что она терпеть не могла эту Пашу, как все ее звали.

Вскорости Лиза написала письмо в бюро погоды — просила работы. Она могла бы работать, например, практиканткой на какой-нибудь гидрометеостанции или хотя бы сторожем и одновременно учиться заочно в метеорологическом техникуме. Долго не было ответа, и Лиза ходила хмурая, грустная. И вдруг ответ пришел — на школу.

Все девятиклассники читали это письмо и радовались за Лизу. Гидрометеослужба предлагала командировать ее в Москву на годовичные курсы метеонаблюдателей для станций второго разряда. На курсы эти принимали только с законченным средним образованием, но для Лизы будет сделано исключение, поскольку она зарекомендовала себя. От нее только требовали справку за девять классов и табель с отметками.

Учителя, в общем, были довольны и поздравляли Лизу с первым самостоятельным шагом в жизни, только директор сказал, что лучше бы она сначала закончила школу.

— Я окончу ее заочно, когда уже буду работать, — возразила сияющая Лиза.

Накануне ее отъезда мы пошли в дюны, чтобы переговорить обо всем. Сели на песок на вершине холма. Небо было безоблачное, огромное — больше земли. На горизонте синело море. Далеко до него было идти.

— Мы оба выбрали море, — сказала Лиза. — Ты мужчина, ты будешь штурманом, а я недостаточно мужественна для этого. Я буду метеорологом.

— Навсегда? — спросил я.

Лиза исподлобья посмотрела на меня.

— Как знать вперед? Нет, не навсегда. Я не знаю, что выберу. А пока буду изучать метеорологию, после мне пригодится это... Плохо тебе будет без меня. Мы еще никогда не расставались.

— Плохо...

— Один год потерпи как-нибудь, ладно? А потом я получу место наблюдателя и заберу тебя. Как нам будет хорошо! Потерпишь?

— Угу. Она меня не обижает.

— Еще бы она посмела! Ты будь подальше от нее. Она страшная...

— Почему?

— Разве ты не заметил, она гасит все хорошее, возвышенное. Если бы просто не понимала. Но у нее хватает силы гасить. Она оглушает все. Ты при ней никогда не говори о море, о Мальшете, не произноси таких слов, как Родина, человечество, счастье. Это большая беда для отца, что он на ней женился. Как он мог... после того, как знал близко... Марину — нашу маму. Я горжусь ею, а ты?

— Конечно, мать была настоящий человек.

— Ты ближе сойдись с ребятами. До сих пор нашими друзьями были книги, потому что мы жили далеко от поселка. Ты под всяким предлогом оставайся ночевать у Ивана Матвейча или у кого-нибудь из ребят. А ее бойся, как бы она ни была ласкова. Это самые страшные люди, такие, как она, которые умеют гасить. Ты никогда не забудешь Мальшета?

— Что ты!..

— Ты хочешь быть таким, как он?

— Ну конечно... Только я все равно буду не таким самым. Лиза, а ты ведь можешь встретить его в Москве?

— Не знаю... Он ведь не написал нам. Во время своих путешествий он встречает много людей!.. Отец принял от него деньги... значит, мы просто квартирные хозяева.

— Не сходишь к нему?

— Не знаю.

— Ты будешь часто писать мне?

— Часто. И ты почаще пиши. И учись как можно лучше — на одни пятерки.

Штурман... или океанолог должен быть образованным человеком.

— Океанолог? Как Мальшет? Разве бы я мог...

— А почему же... если много-много учиться. Я тоже... быть может.

С удивлением и восторгом я смотрел на сестру. Какая она умная, смелая. Океанолог...

Я долго молчал, потрясенный открывшейся вдруг ослепительной перспективой. Лиза легко вскочила на ноги и, выпрямившись, смотрела на горизонт. Горячий ветер трепал ее штапельное короткое платьице, выбившиеся из кос темные пряди. Худенькой она была, длинноногой, стройной; темные волосы и светло-серые глаза, удивленные и восторженные, крупный рот и белые ровные зубы. Мне показалось вдруг, что она чем-то похожа на Мальшета.

Такой я и помнил ее весь тот год, покуда она училась на курсах в Москве. Мне было очень тоскливо без сестры. Хорошо, что у меня была моя лоция. Я знал ее уже чуть не наизусть. Учил уроки — она лежала возле тетрадки; мачеха подсчитывала, сколько она выручит в воскресенье на базаре, — я изучал туманные сигналы; ложась спать, клал старую лоцию под подушку — и мне снились яркие солнечные сны, будто я лечу над морем в голубой полдень. Никогда я столько не летал во сне, под самыми облаками, словно так и надо, и никогда не боялся упасть.

В эту зиму я крепко подружился с ребятами из школы, особенно с Ефимкой. Они меня без конца заставляли рассказывать о Каспийском море.

Глава пятая

ТУМАННЫЙ СИГНАЛ

Не забуду я день, когда принимали меня в комсомол. На уроках я был до того рассеян, что чуть не получил тройку по геометрии. Ефимка, сидевший со мной за одной партой, тоже волновался за меня.

— Рыжов Павлушка будет против,— шепнул он мне на ухо,— но тебя все равно примут, ребята за тебя.

Ефим Бурмистров похож на цыганенка — черноглазый, курчавый, смуглый и живой, как ртуть,—так и катается туда-сюда: не уследишь взглядом. Мать его рыбачка, отец умер.

В перемену меня подозвала Маргошка, единственная дочь Афанасия Афанасьевича, нашего географа и классного руководителя. Мать ее — врач, еще молодая и красивая. Маргошка, к сожалению, тоже очень красива.

— Девчонки будут задавать тебе каверзные вопросы,— зашептала она мне в самое ухо так, что стало щекотно.

Я не стал у нее спрашивать, какие вопросы.

— Они говорят, что ты слишком много думаешь и что это признак индивидуализма.

— Твои девчонки дуры! — рассердился я.

— Сам ты дурной! — возмутилась Маргошка. Женская солидарность взяла в ней верх над справедливостью.

Я махнул рукой и пошел в класс. Сегодня должны были разбирать восемь заявлений о приеме в комсомол, но почему-то ни о ком столько не говорили, как обо мне. Уроки тянулись без конца. Даже моя любимая география показалась сегодня скучной.

Комсомольское собрание проходило в зале, только члены бюро уселись не на сцене, а ближе к нам, перед задвинутым занавесом, на котором было нарисовано море и чайки. Начали сразу после уроков, потому что в нашу десятилетку ходят из других рабочих поселков за пять — восемь километров и ребятам надо до темноты добраться домой.

Когда стали обсуждать заявления, тихонечко вошел Афанасий Афанасьевич, по обыкновению с расстегнутым воротником (он иногда страдал удушьем). Пройдя на цыпочках, он сел у окна, раскрыв сначала форточку.

Так я эти дни тревожился, а как началось, наоборот, сразу успокоился, только весь как-то подобрался. Первым разбирали заявление Нины Воробьевой из нашего 9 «Б». И... не приняли. Потому что она плохо училась, ничего не читала, отказывалась наотрез от общественной работы и только и делала, что вышивала, даже в школе. Вышивает она замечательно, ее рукоделия даже на областную выставку послали. Нина так расплакалась, что икать начала. Она клялась, что исправится, но ребята были непреклонны. А наш секретарь Леша Морозов сказал ей:

— Ты сначала исправься, а потом приходи. Вторым разбирали Ваську Каблова из 9 «А» и тоже не приняли, потому что он получил четверку по поведению. Васька говорит:

— Так не двойка же? Четыре означает хо-ро-шо. Никак не могли ему толковать, что за поведение этого мало. Так и не захотев понять, он обиделся и

ушел, громко хлопнув дверью. Ефимка шепнул мне, что сначала разбирают плохих, а хороших, которые будут приняты, берегут «на загладку». Только он так сказал — и выкрикнули мою фамилию:

— Яша Ефремов!

Я не мог сразу сообразить, начиналась ли это уже «загладка» или еще длилось постыдное начало? Вышел к столу смущенным, одергивая новую гимнастерку, которую мне мачеха сшила к торжественному дню.

Все смотрели на меня как-то странно. Будто наши ребята и будто уже не они. Удивительно, как меняются лица, когда ты один, беззащитный, стоишь перед собранием людей. По отдельности я никого из них не боялся, а теперь просто дрожал от страха. Леша Морозов с загадочным выражением голубых выпуклых глаз (девчонки его зовут «лупоглазым») прочел мое коротенькое заявление. Один Афанасий Афанасьевич оставался таким, как всегда, и даже подмигнул мне: дескать, не робей, парень. И такой родной показалась мне вся его нескладная щуплая фигура, что у меня зашипало в глазах.

Павлушка Рыжов всегда изощрял над ним свое остроумие (разумеется, за глаза) и уверял, что Афанасий Афанасьевич пьет горькую и что жена ему изменяет. Все это было неправда, и я не раз во всеуслышание объявлял, что Павлушка подло лжет. Сейчас он смотрел на меня с плохо скрытым недоброжелательством. Уж очень ему не хотелось, чтоб и меня приняли в комсомол. Он словно чувствовал, что вдвоем нам будет в организации тесно. Рыхлый, толстый, с бесформенными губами, одетый, как всегда, лучше всех, лгун, лицемер и краснобай, он мне внушал мучительное отвращение.

— Расскажи свою биографию, — услышал я голос Морозова будто издалека.

Я рассказал очень коротко: что там было рассказывать — родился, учился... и, подумав, добавил: «Сейчас учусь в 9 «Б», а после школы стану — я на миг запнулся, ребята смотрели на меня с интересом — и я выпалил: буду штурманом!» И лучше бы мне этого не говорить. Все рассмеялись, и Афанасий Афанасьевич тоже.

— А трактористом не хочешь? — звонко выкрикнула одна из девчонок, и сразу посыпался ворох вопросов:

— А почему не просто ловцом в нашем колхозе?

— Если все будут капитанами, кто будет работать в колхозе?

— Почему это именно капитаном, чтоб распоряжаться?

— А на целину ты не поехал бы?

Кричали одни девчонки, даже покраснелись все от злости.

Справедливости ради отмечу, что вопросы эти были не так уж глупы, как это кажется. Дело в том, что в нашей школе почти все мальчишки мечтали стать капитанами и штурманами, и никто не хотел быть «простым» рыбаком. Другое дело, что редко кто становился капитаном. Но колхоз нуждался именно в рядовых ловцах. Столько лет прошло после войны, а до сих пор на рыбный лов выезжали в большинстве женщины, старики и подростки. Были, разумеется, среди ловцов и мужчины — те, кто не закончил школы, как Фома, например.

Леша Морозов нетерпеливо постучал по столу авторучкой.

— Что за неорганизованность. Вопросы надо задавать по очереди.

Все разом стихли. Девчонки со степенным видом спросили кое-что по уставу комсомола и международным событиям. Я отвечал в общем правильно. Но вот Павлушка поднял руку, и я застыл в ожидании неприятности.

— У меня такой вопрос, — гнусава и растягивая слива, начал Рыжов, — предположим, мы тебя примем, так? Если тебе скажут: или комсомол, или море.

Что ты выберешь?

— Никто не скажет,— загорячился я,— будто нельзя комсомольцам плавать в море...

— Конечно, можно! — дружно загалдели мальчишки. Но Павлушка стал настаивать на своем.

— Мне важно его отношение, как вы не понимаете. Если, к примеру, комсомол потребует от тебя: откажись навсегда от мысли стать штурманом. Что ты выберешь: штурманом быть или комсомольцем?

Я ответил, не задумываясь:

— Комсомольцем, конечно; а сам буду матросом или ловцом.

— Нет. Совсем отказаться от моря, навсегда! — поспешно поправил Рыжов, еще более гнусава.

Я покраснел мучительно, жгуче, мне вдруг сделалось так жарко, что я аж вспотел весь. Ребята притихли, их заинтересовала такая постановка вопроса. Я понял, они думали сейчас: «Как его принимать, если он еще колеблется, море ему выбрать или организацию». Леша Морозов вопросительно взглянул на учителя. Афанасий Афанасьевич уже хотел вмешаться, но я в этот момент сказал:

— Мне надо подумать!

— Подумай,— почти машинально согласился Леша и опять посмотрел на классного руководителя, но тот с большим любопытством разглядывал меня. Его, видимо, очень заинтересовало, как я отвечу.

Наступила невообразимая тишина. Даже стулом никто не скрипнул, не пошевелинулся.

Я стал думать.

О нет, я не выбирал. Я только представил себе, как я буду жить без моей мечты. И мир сразу как-то потускнел, увял, съезжился. Вот только еще минутой назад жизнь была захватывающе интересной, таинственной, полной глубины и смысла. Что-то яркое, праздничное, торжественное было в ней. И вдруг все потускнело. Я представил длинную череду самых обыкновенных дней, когда я честно и добросовестно тружусь в одной из любых неморских профессий. Что-то отлетело от жизни, ее душа, самая ее сущность.

Надо было скорее думать — все ждали моего ответа. А я смотрел в раскрытые окна на золотистый песок на площади, на развешанные для просушки сети, очертания маяка в голубоватой дымке, и в голову мне лезли обрывки из старой потрепанной лоции. «Должно обращать внимание на то, чтобы смотрящие вперед помещались на корабле в таких местах, где корабельный шум наименее мешал бы слышать звук туманного сигнала. На береговых маяках во время тумана, метели, выюги и пасмурности производится звон в колокол двойными ударами с перерывом не более трех минут».

Смотрящие вперед — это те, кто ведет корабли вперед, что бы там ни происходило на море. Пусть ночь, осенние злые штормы, гололедица, ревущие буруны, а внизу подводные скалы, затонувшие суда, которые «представляют опасность для мореплавания». Опасность, риск, разлука с близкими, тяжелые изнурительные вахты — я не обольщался, ведь я вырос среди моряков и знал, что такое труд моряка.

Маячный огонь светит в ночи, но так далеко; на мачте поднимаются штормовые сигналы, днем черные конусы, ночью красные фонари — так указано в лоции, и не всегда придут на помощь, если летит в эфир отчаянное 505. Не для них, ведущих вперед, якорные стоянки, тихие пристани. Никто не собьет их с курса...

И, словно Павлушка отнял у меня самое дорогое в жизни, я почувствовал к нему нестерпимую ненависть, от которой мне даже стало больно физически. Не помню, чтобы я когда-нибудь раньше чувствовал такой гнев. Сам не замечая того, я сжал кулаки и шагнул к Павлушке, сидевшему в первом ряду, — всегда и везде он лез в первые ряды. Он отшатнулся.

— Если мне как комсомольцу надо будет ехать на целину, — не своим голосом крикнул я, — или в тайгу, или в город, я поеду и выполню все, что от меня потребуется, не хуже всякого другого. Но комсомол никогда не потребует от человека, чтоб он навсегда отказался от заветной мечты... от своего призвания. Это только враг может такое потребовать... так надругаться над человеком!

Ох и крик поднялся после этих моих слов! Павлушка орал, что я его оскорбил, назвал фашистом и что он будет жаловаться директору. Ребята кричали, что такие вопросы при приеме не задают и что я прав, девчонки спорили между собой. Маргошка, покрасневшая, блестя глазами, хлопала в ладоши. Морозов изо всей силы стучал авторучкой о графин, призывая к порядку, но его и слышно не было.

— Я думаю, вопросов хватит, — спокойно заметил Афанасий Афанасьевич.

Странно, что его расслышали в таком шуме. Сразу стало тихо. Ребята были оживлены и благожелательно смотрели на меня. Павлушку у нас не любили за то, что он заносился своим отцом и дядей «областного масштаба» и вообще за его подлый нрав.

Высказались все за меня. Вспомнили, что я помог электрифицировать школу и вообще не отлынивал ни от какой работы и что я хороший товарищ. Афанасий Афанасьевич как классный руководитель дал мне хорошую характеристику. В заключение он сказал:

— Мечтает каждый человек, но не каждый может биться за свою мечту до конца — до самой смерти. Счастье не в том, что мечта сбывается скоро и легко — этого почти не бывает, а в том, чтобы остаться ей верным, несмотря ни на что. Не всякий это может.

Помолчав (ребята внимательно ждали, что он еще скажет), Афанасий Афанасьевич сказал:

— По-моему, Яша Ефремов будет хорошим комсомольцем. Ошибаться он будет часто, слишком он горяч и порывист, но у него всегда хватит мужества признать свою ошибку и исправить ее, так же как хватит мужества не уступить в борьбе за свое мнение, если он считает его единственно верным. Думаю, что комсомолу нужны именно такие принципиальные люди.

Я был принят почти единогласно — против был один Павлушка. Воздержавшихся ни одного. На улицу я вышел с таким ощущением, будто стал выше на целую голову.

Теперь я был комсомолец!

Надо было так построить свою жизнь, чтоб оказаться достойным этого звания. Мужество, гордая правдивость, честь, отзывчивость, преданность своему народу, родине, комсомолу — вот какие качества должны были стать моими.

Как я был счастлив! Торжество мое омрачила лишь одна мысль, одно горестное недоумение. Это сознание, что Павлушка Рыжов почему-то состоит в комсомоле. По моему глубочайшему убеждению, ему — подлизе, лгуну и коварному лицемеру — там никак не было места. А его и не собирались исключать, наоборот, в школе он считался самым активным, так как выступал на каждом собрании, а однажды даже выступил с районной трибуны. Язык-то у него был привешен неплохо, а пакости он делал исподтишка.

Я мчался на велосипеде домой — ветер бил в лицо песком — и думал. В

комсомол не должны принимать людей следующих категорий (в партию тем более): лгунов, эгоистов, глупых, трусливых, чрезмерно осторожных—таких, как Беликов, подхалимов, жестоких, подлых, нечестных, всяких властолюбцев, равнодушных или думающих о собственной выгоде.

Как ни был мал собственный мой опыт, но я начинал уже и среди взрослых различать таких, как Павлушка.

И вдруг я подумал: если бы от меня ушла моя мечта и я не смог стать штурманом (например, потерял руку, сделалось заражение крови, и ее отрезали), то я посвятил бы свою жизнь борьбе с этими мешающими идти.

Даже один человек может сделать очень много, а я ведь не один, нас поколение. Смотрящие вперед должны остерегаться подводных препятствий. Прислушиваться к туманному сигналу. Нас-то никто не собьет с курса. И этот курс — на коммунизм.

Как хорошо жить на свете, когда есть цель в жизни, и такая цель — коммунизм, то есть общество, где каждый будет работать по призванию. Жизнь есть борьба. Выбирай, против чего будешь бороться — с природой, стихиями или против вот таких людей, которые тоже вроде злой стихии.

Дома меня ждал праздничный обед — мои любимые вареники с творогом, жареная козлятина, пироги и даже бутылка портвейна.

Поздравляя меня, отец прослезился. Он теперь опять помолодел, казался бодрым, меньше стало морщин на сухом обветренном лице, он пополнил, на нем была прекрасно выстиранная, накрахмаленная рубашка. Мачеха водила нас чисто.

Она тоже поздравила меня, трижды поцеловала, вытерев сначала рукой губы.

— Ты, Яков, молодец,— похвалила она,— сначала комсомол, потом партия. В нынешнее время без этого не проживешь.

Непоколебимая уверенность в правоте своих слов, как всегда, гнусная уверенность, гнусное самодовольство. Я пристально посмотрел на отца. Он не покраснел, но нахмурился.

— Яньке еще далеко до партии, пусть подрастет,— сказал он уклончиво, избегая моего взгляда.

Я ушел к себе. Мне было невыразимо противно. Радость мою словно облили помоями. Вот что Лиза называла словом гасить.

Как далеко была Лиза! Как еще долго было ее ждать.

Вздохнув, я сел за уроки. От праздничного обеда я отказался, хотя очень хотел есть.

Глава шестая

ЛИЗИНЫ ПИСЬМА

«Дорогой братик Янька!

Очень по тебе скучаю, ты пиши мне как можно чаще. Все мое беспокойство о тебе. Отец избрал себе долю. Если ему с ней хорошо — значит, он сам такой. Если они будут тебя обижать хоть в чем — иди к Ивану Матвейчу. Он нас любит, как любил когда-то нашу маму. Пиши мне все, ничего не скрывай. За твою учебу я не беспокоюсь, ты всегда учился хорошо.

Янька, как прекрасна Москва! Все свободное время я брожу по незнакомым улицам. Иду в общежитие, когда уже падаю от усталости. Все ложатся спать, а я еще смотрю в окно на Москву-реку. Кажется, весь мир осыпан звездами — звезды в небе, в сияющем городе, на замерзающей реке. Как хорошо!

На наших курсах интересные собрались люди. Есть артистка оперы, потерявшая голос, ей лет под сорок, она выступает как королева; рабочий с сапожной фабрики, он затосковал по природе; есть уже работавшие наблюдателями на метеостанции и такие девчонки, как я.

Учиться на метеорологических курсах очень интересно. Особенно меня заинтересовала климатология. Знаешь, кто ее преподает? Павел Дмитриевич Львов. Тебе ничего не говорит это имя? Я его сразу узнала, хотя и виду не подала. Это тот самый «геолог», как у нас его называли, который увез красавицу Аграфену, маму Фомы. Он располнел, обрюзг, стал похож на барина прошлого столетия. Ходит с палкой из какого-то заморского дерева, отпустил бородку и усы. Но он крупный ученый и лекции читает замечательно: умеет заинтересовать. Он мне не нравится. Может, потому, что я о нем знаю плохое?

К Аграфене, разумеется, не пошла, хотя Прасковья Гордеевна велела сходить. Зачем она мне, зачем я ей?

Ты спрашиваешь, была ли я у Малынета? Он ведь и не дал адреса, а только номер телефона. Несколько раз звонила... Отвечал женский голос, наверное его мама. Я молчала, представляя, как она в недоумении пожимает плечами. Филипп ни разу даже не подошел к телефону. Больше не буду звонить. Он забыл нас.

Милый Янька, хотя Москва необыкновенно прекрасна, но воздух здесь ужасный — запах бензина, отработанных газов от тысяч выхлопных труб автомашин. Я стараюсь не дышать.

Не долететь сюда соленому морскому ветру. Какой у нас простор, тишина!

Пиши чаще, через день. Целую крепко. Твоя сестра Лиза».

«Милый, хороший мой братик Янька! Как ты меня обрадовал, как я рада, что ты уже комсомолец. Самое главное теперь — это иметь одну цель, к которой всегда стремишься. Видишь ли, коммунизм — это наша общая цель, всего народа. Но каждый должен иметь еще свою личную цель в жизни. Например, у Филиппа Мальшета цель — покорить Каспийское море, добиться того, чтобы человек сам, по своему желанию, регулировал уровень Каспия. Вот и мы должны иметь такую благородную цель. Только надо соразмерить свои способности, силы, не ошибиться в призвании. Менять цели, как варезки, не годится.

Дорогой Янька, в «Литературной газете» была статья Филиппа Мальшета о Каспии. Я ее читала раз пятьдесят. Приеду — прочту тебе вслух. А сейчас перепишу только кусочек:

«Новый поселок издали казался сквозным — море синело в проемах между домами и песком. Но море отступало все дальше. Давно ли построили эти деревянные дома на сваях, а море отошло еще на два километра. Уже два раза поселок оставался среди песков, как след когда-то бурлившей здесь жизни. Берега северного Каспия настолько пологи, что падение уровня моря на один сантиметр вызывает отход береговой линии на 100—120 метров.

В поселковом клубе, чуть не до половины занесенном песком, собрались рыбаки. Бывалые люди, они охотно рассказывали о своих приключениях. Труд их тяжел и опасен, но они его любят. Все сетовали на мелководье. Повсюду камышовые заросли, бесчисленные отмели, косы, островки. Море расцвечено

огнями путевых знаков. Ловцы днями ждут спасительного ветра, который погонит воду, чтобы на паруснике «с ходу» пронестись над мелью.

Более чем вдвое снизилась добыча рыбы. Никакие самые совершенные орудия лова не могут восполнить потери, нанесенные пересыханием бесчисленных протоков Астраханской дельты, куда столетиями заходила рыба метать икру.

Вода отступала, пустыня наступала. Гибли чудесные фруктовые сады, огороды, бахчи. Животноводство терпело острую нужду в воде.

— Вернется ли к нам наше морюшко? — вздыхали рыбаки.

...Колебания уровня Каспия создают также полную неуверенность в проектировании на его берегах гидротехнических сооружений. Где располагать новые порты? Как закладывать пороги оросительных и рыбных каналов в прилегающих к морю участках рек? Как высоко надо поднимать причалы, чтобы они не были потом залиты водой? На какой глубине закладывать сооружения, чтобы не допустить ошибок, стоящих миллионы рублей?

Обмеление моря, особенно сильное в северной части Каспия, создало благоприятные условия для образования льдов, и весной ледяные горы ринулись к югу на штурм нефтяных вышек и эстакад.

Колебания уровня Каспийского моря обходятся народному хозяйству страны во много миллиардов рублей. Годы с высоким стоянием уровня сменяются годами падения уровня, и так будет до тех пор, пока человек своей рукой не устранил эти колебания с помощью регулирующих гидротехнических сооружений.

...Каспийская проблема, по существу, беспризорна, ей не уделяется должного внимания. На что мы надеемся? На то, что уровень моря сам собою начнет опять подниматься?

...Если падение уровня не остановится, то от северного Каспия останется только один залив. Дельта Волги — величайший рыбный питомник в мире — отомрет. Знойная пустыня съест остальное.

Уровнем Каспия необходимо управлять!

Проект такого грандиозного сооружения должен явиться только как результат большого коллективного труда. Правда, проблема регулирования уровня целого моря не ставилась еще ни в одной стране. Но советский народ осуществил план ГОЭЛРО, построил первую в мире атомную электростанцию, самый мощный ускоритель частиц — синхрофазотрон, запустил искусственные спутники Земли. Такому народу эта задача, безусловно, по плечу!»

Мой милый брат, ты понял, что я подразумевала под словами: соразмерить свои способности, силы, не ошибиться в призвании? Каспийское море стоит того, чтоб посвятить ему целую жизнь! Один Мальшета здесь ничего не сделает. Мне кажется, самое большое счастье, какое может быть, — это помочь ему достигнуть этой цели. Но как, с чего начать? Надо много и долго учиться. Нужны будут инженеры, географы, океанологи, ихтиологи, даже журналисты — нужно кому-нибудь писать и писать об этом. Когда работаешь по призванию, больше ведь можно сделать — помогают прирожденные способности. А я никак не разберусь, в чем мои способности? Ученье мне дается легко, но, может, это просто хорошая память? Все чаще я чувствую себя невежественной, никчемной девчонкой...»

«Любименький мой братик Янька! Спасибо за твои ласковые письма. Молодец, что нашел в подшивке газеты очерк Мальшета и внимательно прочел. Я знала, что очерк тебе понравится.

Янька, я видала Филиппа Мальшета...

Он читал в клубе МГУ лекцию о проблеме Каспия. Я звала Фому, но он не пошел. Фома разыскал меня в первые же дни моего приезда в Москву. Наверное, Иван Матвеич ему написал. Я, как глянула на Фому, так расхохоталась до слез. Он словно с кошками дрался, весь в царапинах и ссадинах — от тренировок. Он уже выступал на ринге, и очень успешно. Про него даже писали в газете «Физкультура и спорт» и в каком-то спортивном журнале. Несомненно, он скоро будет чемпионом бокса.

Теперь уже никто не называет его хулиганом, наоборот, за то, что он дерется, ему платят много денег. Он разоделся «в пух и дребезги», так что мне в моем выцветшем зимнем пальтишке, из которого я уже выросла, даже было неловко идти рядом. Фома все порывается делать мне подарки, как будто я действительно его невеста, и каждый раз огорчается, что я их не принимаю. Пришлось крупно поговорить с мим по этому поводу.

Какая изумительная была лекция — ты знаешь, как Мальшет говорит. Вначале я так волновалась, что даже плохо видела, будто сквозь туман. Постепенно это прошло. Филипп несколько не изменился, такой же веселый, уверенный, добродушный, зеленоглазый. Только рыжеватые волосы причесаны аккуратнее, и не такой загорелый, как был два года назад. Он возмужал и, кажется, вот сейчас ринется в бой за свою дамбу.

Помнишь, Янька, когда он пришел на маяк (как он уверенно ступал по земле, и ты это заметил) и сказал: «Я путешественник».

Я сидела в четвертом ряду, совсем близко... и в то же время так далеко. Мальшет не узнал меня...

В первом ряду, сбоку, сидела высокая красивая девушка. Уж не помню, как она была одета,— что-то очень модное, дорогое. Секретарь учебной части наших курсов (она сидела сзади нас) шепнула мне, что это дочь профессора Львова — Мирра. Я так поглощена была лекцией, что до меня сначала это не дошло — то, что она падчерица нашей Аграфены. Но после лекции Мальшет подошел к ней и привычно взял под руку... Я не подошла к Мальшету. Сама не знаю почему. Всю ночь не спала, думала все — почему не подошла? Неужели я тщеславная, пустая девушка? Меня никто такой не считает, значит, все обманываются во мне. Видишь ли, Янька, я вдруг словно увидела себя со стороны, чужими глазами,— длинноногой худенькой дурнушкой с угловатыми движениями, в грубых дешевых полуботинках, штапельном платье, подвернутыми косичками с бантиками. А внизу, если бы мы вместе спустились в гардеробную, предстояло еще надевать это порыжевшее пальто с короткими рукавами.

Мне так стыдно теперь за себя. Что это со мной случилось? Я еще не заработала в жизни ни одного рубля, а уже устыдилась дешевых туфель. О, какая гадость, какой позор!

И какое значение имеет, красива я или нет, для тех дел, что я совершу за свою жизнь? И притом... Филиппу Мальшету это совершенно безразлично, он начисто нас забыл».

«Родненький братик Янька, неделю я маялась после своего поступка, потом, не выдержав, позвонила Фоме и попросила его свести меня к Мальшету прямо домой. И ты ведь хотел, чтоб я ходила к ним. Договорились на субботу, свободный мой вечер. Но, видно, не судьба. В субботу утром Мальшет улетел в командировку на Каспийское море. Надолго. Он будет организовывать на каком-

то острове научно-исследовательскую станцию. Через два месяца я заканчиваю курсы и уезжаю на практику — не знаю, куда пошлют.

Ну что ж, сама виновата...»

«Милый Яшенька! Сегодня в журнале «Знание — сила» прочла наконец подробное изложение проекта Мальшета о дамбе через море. Проект поддержал крупный ученый, доктор технических наук Иван Владимирович Турышев. Пишет, что вокруг этого проекта уже развернулись самые горячие дискуссии. Вот малюсенькая выдержка из статьи:

«Молодой океанолог Филипп Михайлович Мальшет предложил перегородить Каспийское море дамбой длиной 450 км с каналами для судоходства и прохода рыбы. По его мысли, материалом для постройки могут служить грунт и камень. По дамбе можно проложить железную дорогу. Схема эта, по утверждению автора, очень проста, не требует ничего, кроме земляных работ и работ по креплению откосов, стоимость ее могла быть распределена между 6—8 заинтересованными ведомствами. Осуществление этого проекта позволило бы сохранить рыбный северный Каспий. Проект поддержал ряд ученых и инженеров. Но все они подчеркивали, что этот проект нуждается в серьезной доработке и улучшении».

Вот я верю, что мы с тобой еще проедем по этой железной дороге через дамбу или паромом через ее шлюзы. Ох, Янька, я так горжусь, что именно у нас, на заброшенном маяке, Мальшет обдумал и разработал этот замечательный проект — тогда, два года назад. Я верю в Филиппа Мальшета, так бы мне хотелось ему помогать! Сбудется ли это когда-нибудь?»

«Славный мой братишка, получила твое обстоятельное письмо. Школьные дела — они мне интересны и дороги, как прежде, но как давно это все было. Неужели прошел всего только один год?

...так выросла, ты не узнал бы меня.

Опять апрель, в солнечном небе рокочат самолеты, люди такие веселые, бегут по своим делам, постукивая каблуками по тротуару. ...с радостью сняла зимнее пальто — сунула его под чью-то подворотню. Слава богу, милиционер не видел. Можно уже ходить в джемпере.

Я забыла тебе написать: Фома уже месяц как получил звание чемпиона СССР по боксу. Я думала, он больше будет радоваться... Странный парень... Он говорит, что «на бережку куда вкуснее было драться». Он нисколько не тщеславен, не честолюбив. Шумиха, которая начинает подыматься вокруг его имени в спортивных кругах, ему не по нутру. По-моему, ринг его раздражает.

Все забывала спросить его, бывает ли он у матери. Была крайне поражена. Оказывается — нет. А ведь он мальчишкой так ее любил, несмотря ни на что, долго тосковал по ней, когда она ушла со Львовым. Значит, не смог простить...

Аграфена воспитала двоих детей Львова, мальчика и девочку — ту красавицу Мирру. Пасынок тоже теперь взрослый — говорят, летчик. А Мирра уже окончила университет, работает вместе с Мальшетом в институте океанологии. Она гидробиолог и планктонолог. А мне она показалась просто красивой куклой. Видишь, как можно ошибиться в человеке... Значит, Мирра может ему быть другом...

Скоро у нас экзамены, потом практика, и я возвращаюсь на Каспий. Уж скорее бы! Береги себя, родной мой братишка, дороже тебя у меня никого нет на целом свете. В сущности, я очень одинока. А все считают меня жизнерадостной и веселой.

Не знаю, как сложится твоя и моя жизнь. Иногда мне кажется, она будет очень нелегкой. В одном лишь я уверена, что мы пойдем своим путем, куда толкает нас призвание. И не будем искать тропинок полегче».

«Дорогой Янька, получила твое письмо, немного успокоилась. Яша, не спрашивай меня ничего о Фоме. Я порвала с ним всякое знакомство, навсегда. Это человек без всякой нравственности— дикий человек! Каптар!

Или ему слава его в голову бросилась? Или просто с ума сошел? Больше я его не желаю знать.

Экзамены проходят хорошо —одни пятерки. На практику еду в Астрахань — наполовину уже дома. Как я по тебе соскучилась, мой братик Янька!»

Глава седьмая

МОРЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Получив последнее письмо, я долго ломал голову над тем, что мог такое совершить Фома. Спрашивать у сестры подробности было бесполезно. Поразмыслив, я решил, что Фома ее поцеловал — очевидно, без разрешения. Бывают такие парни, что их хлебом не корми, дай только поцеловать девчонку. Мы с Ефимкой таких от души презирали. Но у Фомы, по-моему, была извинительная причина: ведь он любил Лизу.

В мае Лиза уехала на практику, а неделей позже в Бурунный заявился Фома.

В поселке теперь все гордились Фомой и всюду рассказывали, что он из нашего рыболовецкого колхоза. И никто его больше не считал хулиганом, даже преподавательница русского языка Юлия Ананьевна. Его портрет как знатного земляка повесили в правлении колхоза. Все бригады наперебой звали его к себе ловцом. Предлагали и место судового механика. Но он, чего-то надувшись, неожиданно для всех взял место участкового надсмотрщика на междугородной линии связи — прежнем участке моего отца — и поселился один-одинешенек на маяке. В монтерском деле он хорошо разбирался.

Иван Матвеевич был недоволен— он считал, что место Фомы в море.

— Ничего, долго он там не высидит, на маяке,— сказал он мне,— парень с норовом, рассердился, что его председателем колхоза не поставили, такого чемпиона.

— Ему даже бригадиром не предложили быть,— заметил я, оскорбленный за Фому.

И все же, мне кажется, не только из-за этой пустячной, в конце концов, обиды пошел Фома на маяк. На маяке жила Лиза, о маяке она скучала, о чем не раз говорила Фоме. Она простить не могла отцу, что он променял наш маяк на «домик с четырьмя хлевами». Все это Фома знал, и, быть может, ему казалось, что Лиза полюбит его за то, что он живет на маяке...

Увидев меня, Фома как-то странно скривился, взял руками за обе щеки и долго рассматривал.

— Ну, парень, ты вылитая сестра,— вздохнул он тяжело,— те же глаза, нос... Лиза, конечно, покрасивше! Будешь меня навещать?

— А можно?

Так мы подружились. Я стал заходить к нему каждый день — или по дороге из

школы, или вечером, когда сделаю уроки. Фома был очень прост, и я его нисколько не стеснялся. В первый же вечер на маяке, как только мы убрались и затопили плиту, я спросил, за что на него так рассердилась Лиза.

— Она, что ж, писала обо мне?

— Да.

— Если ты мне друг, покажи письмо.

На следующий день я принес письмо. Прочитав его, Фома даже застонал. На его выпуклом лбу выступили крупные капли пота.

— А что такое... каптар? — нерешительно спросил бедняга.

— Снежный человек, обитающий в горах Кавказа. Он весь зарос шерстью.

— Шерстью... обитающий? — Сраженный Фома бессильно опустил голову. Ужасно было видеть чемпиона в таком плачевном состоянии.

Оказалось, я был прав в своих предположениях: Фома действительно насильно поцеловал Лизу.

Ох, дела, дела!

Я готов был исколотить себя: ну зачем показал ему это злополучное письмо? Фома совсем пал духом и, вместо того чтобы показать себя на новой должности, начал работать спустя рукава, перестал бриться и больше спал. Отец выходил из себя, бранился, всячески порочил Фому, и во всем был виноват я один.

— Если Фома будет так работать, я добьюсь его увольнения или перевода на другой объект,— ворчал отец.

Мне хотелось, чтоб Фома остался, и я ломал голову, пытаюсь что-нибудь придумать. Если бы Лиза написала ему, что простила... но разве она напишет! Я был уверен, что такое состояние у Фомы скоро пройдет, надо только поддержать его. И я надумал, как это сделать.

Наскоро закончив уроки, я взглянул на часы и стал торопливо собираться. Меня ждало очень важное дело, о котором пока не догадывалась ни одна душа.

Надо было пройти через столовую мимо отца, а мне не хотелось, чтобы он спросил, куда я иду. Отец недавно вернулся с обхода трассы, пообедал и теперь лег с газетой на кровать, поудобнее уложив свои ноги в шерстяных носках. Я хотел пройти на цыпочках, но он меня увидел."

— Ты куда собрался, опять к Шалому? — недовольно спросил отец, строго посмотрев на меня поверх газеты.— И чего ты повадился туда ходить? Что у вас может быть общего?

— Фома — мой друг! — смело заявил я, хотя сердце усиленно заколотилось. Я любил отца, но как-то всегда робел перед ним.

Отец пренебрежительно фыркнул и, приподнявшись на локте, насмешливо посмотрел на мачеху. Она несла грудку вымытых тарелок в шкафчик. На ней было пестренькое платье и передник, седые жидкие волосы скручены сзади в крендель.

— Связался черт с младенцем, еще научит мальчишку пить,— бросил он.

— Никогда Фома этого не позволит,—спокойно возразила мачеха.

Отец махнул рукой. На его худом желтовато-смуглом лице отразилось плохо скрытое раздражение.

— Ты к нему не ходи, чему он тебя научит — бездельничать?— проворчал отец.— Никчемный он человек.

— А разве... ведь повреждений на его линии последнее время не было? — заволновался я, у меня даже голос охрип.

Отец промолчал. Минут через десять, когда я надел старенькую телогрейку и

клетчатую кепку, собираясь исчезнуть, мачеха вышла за мной во двор.

— Ты к Фоме? — шепотом спросила она.

— Угу.

— На вот, отнеси ему кусок пирога с мясом. Кто ему испечет? Ты не говори отцу, куда ходишь. Не любит он Фому.— Она сунула мне завернутый в газету пирог, и я зашагал по тропе вдоль гудящих телеграфных столбов. Отойдя немного, оглянулся. И таким маленьким показался мне сегодня деревянный домишко с его хлевами и огородом, затерянным среди широких пологих холмов.

К вечеру упал заморозок, и мелкие лужицы затянуло ледком. Лед так славно похрустывал под ногами. Я нарочно ступал по застывшим лужам. Среди сухих блеклых кустарников прошлогодней полыни пробивалась зеленая-зеленая травка. Чабаны зовут эту травку щеткой. Степные табуны коней питаются «щеткой» всю зиму: под снегом она свежая. Цветы подснежники. Озера вскрылись еще на прошлой неделе, но у берегов, среди засохших камышей, воду снова затянуло тонким слоем льда. Идти было очень хорошо: подмерзшая земля словно пружинила. В лицо дул южный ветер, точнее зюйд-зюйд-вест. Кажется, он уже шестой день дул. Провода гудели протяжно и как-то тревожно. «И чего они так разгуделись?» — подумал я. Несколько раз я глубоко вздохнул и пытливо оглядел холмистую степь. Буроватые пологие холмы уходили далеко за синеющий горизонт. И я чего-то ждал, сам не знаю чего. Еще было совсем светло, но в зеленоватом небе летел месяц.

Прежде это был запущенный участок, из-за него нередко выходила из строя вся воздушная линия. Отец сделал участок самым лучшим. Он отказался от помощи ремонтников, а когда нужен был подсобник, брал меня. Я вполне освоил эту работу, и было очень обидно, что отец не доверял мне осмотр, даже когда был болен. А ведь я не хуже всякого другого линейщика разбирался в линейных работах. Мальчишкой он меня считал, младенцем...

Я бегом поднялся по стертým ступеням маяка, но Фомы не было. Ящик с инструментами и монтерские «когти» валялись у порога, я чуть не споткнулся о них. На маяке, как всегда, гулял сквознячок. Фома держал маяк в чистоте, каждый день мыл пол, по-мужски, как моряк,— выльет на пол несколько ведер соленоватой воды из негодного для питья колодца и шваброй разгонит ее.

Я вытащил из кармана пирог и положил его в кухонный столик. Зазвонил телефон, я взял трубку. Это был дежурный линейного узла Сеня Сенчик. Он сразу узнал мой голос.

Надо было срочно исправлять повреждение. Я сказал, что Фома во дворе и уже собрался идти на линию. Сенчик обрадовался.

— Фома стал хорошо работать, взялся за ум,— сказал Сенчик.— На его участке за последнее время почти нет повреждений. А какие есть, то из-за погоды — проклятые боковые ветры!

Я густо покраснел.

— Значит, хорошо теперь? — переспросил я. Сенчик повторил, что очень хорошо, и повесил трубку. Я поднял ящик с инструментами, перевесил через плечо «когти» и, насвистывая, пошел искать повреждение. Пока я исправлю, Фома тем временем подойдет.

Повреждение линии было, очевидно, за Черной балкой. Участок этот проходит по руслу иссякшей реки, весной заливадается водой, и линия на протяжении четырех километров оказывается затопленной. Передвижение по трассе в это время года возможно только на «плавсредствах», как говорят линейщики, то есть на шлюпке, или, по-местному, бударке.

Маленькая замшелая шлюпка лежала на склоне холма, куда мы с Фомой вытащили ее дней десять назад. Я сволок ее вниз, бросил на дно ящик с инструментами и, загребая одним веслом то справа, то слева, поплыл вдоль затопленных столбов. Вода была холодная. Сухие камыши с треском ломались, когда в них врезалась шлюпка. Над водой провода гудели еще громче и беспокойнее. На километр пути приходилось по шестнадцати столбов. Направляя лодчонку, я внимательно следил за регулировкой проводов. Приближаясь к опоре, переставал грести и тщательно осматривал арматуру, как это делал мой отец.

Отцу дали новый прибор, который назывался «искатель повреждений», только надо было научиться разбирать схему. Я научился этому еще раньше отца, но не показывал виду. Приборов получили мало, поэтому дали их пока лучшим линейщикам. Сенчик говорил, что скоро получат и на остальных. У Фомы прибора не было, приходилось производить проверку с контрольного столба.

Раза два я обнаружил небольшое увеличение стрелы провеса проводов и влезал на столб, чтоб осмотреть вязки и состояние провода под вязкой. Наконец я нашел в одном месте срыв изолятора и принялся торопливо исправлять повреждение.

Разрешения работать на своем участке Фома мне не давал, я самовольно принялся за это дело, сначала потихоньку от него, а потом, когда убедился, что он знает,— открыто. Очень я был благодарен Фоме, что он не мешал мне в выполнении моего замысла.

Мне не хотелось терять Фому, не хотелось, чтобы его перевели в другое место. Вот я и принялся исподволь приводить участок в порядок — каждый день после школы работал часа два-три. Уроки готовил вечером, хотя, признаться, у меня глаза смыкались — так спать хотелось. Чтобы не терять даром времени в школе, я схитрил: внимательно слушал учителя, записывал все в тетрадку или, делая вид, будто не понял, просил еще повторить объяснение специально для меня и выучивал уроки еще на самом уроке. Все же я, кажется, снизил успеваемость, только учителя все равно ставили мне пять — по привычке.

На участке Фомы часть старых вязок была ослаблена сильными боковыми ветрами, и потому часто нарушалась регулировка проводов. Я заменил негодные вязки, укрепил слабо насаженные изоляторы кронштейнами, вообще проделал всяческую профилактику. Меня смущало только одно обстоятельство: почерк. Дело в том, что линейщики по качеству вязки узнают, кто ее делал. Это так же, как по письму можно узнать, кто его писал, или по стилю книги — ее автора. Не знаю, имел ли я свой почерк, но, во всяком случае, у меня не было такого, как у Фомы, и ни у кого такого почерка не было, даже у моего отца, как он ни старался. У Фомы от природы золотые руки. Он несколько раз подрался на ринге и стал чемпионом СССР. Все поражались, как легко ему досталась слава. На самом деле это было совсем нелегко. Фома мне рассказывал. Оказывается, тренер заставлял его упражняться с утра до ночи, и Фома не только все послушно выполнял, но и еще от себя придумывал всякие штуки. Додумался бегать среди колючих кустарников. Вовремя не увернется — колючая ветка в лицо. Весь поцарапанный ходил. Это помогло ему приобрести неуязвимую самозащиту — ценнейшее боксерское качество. А то выйдет на берег реки и до полного обалдения швыряет в воду камни. Это чтоб развивать резкость, быстроту. А то еще часами лупит брезентовый мешок с горохом, песком и опилками. Или через скакалку прыгает для развития подвижности, легкости движения; или затеет бой с тенью — то есть с воображаемым противником. А уж режим ему такой установили, что без режима и куска хлеба нельзя было съесть. Вот уж сроду не думал, что бокс такое

канительное дело. Так тренироваться, как он, и чемпионом не захочешь быть. Но Фома все выдержал и добился своего: стал мастером спорта. А теперь вот взял и все бросил.

Когда я возвратился с обхода, Фома был уже дома и варил на плите картошку. Он приветствовал меня поднятием руки, я смущенно поставил в угол ящик с инструментами. На Фоме были старые суконные брюки и куртка, надетая прямо на полосатую тельняшку. Жесткие черные волосы взлохмачены, не брит он был, наверное, целую неделю; в серых глазах светилось какое-то беспокойство.

— Какой ветер,— сказал он,— не нравится мне этот ветер.

Я подошел к большой резиновой груше для упражнения в боксе и от нечего делать ударил по ней кулаком, меня обдало пылью. Фома засмеялся.

— Не думаешь вернуться к боксу? — полубопытствовал я, довольный тем, что он громко смеется.

Фома покачал головой и деланно, как мне показалось, зевнул.

— Пустое дело,— заметил он и поставил на стол тарелки.

Я с удовольствием поел рассыпчатой картошки с пахучим подсолнечным маслом и хрустящим огурцом. Фома тоже ел с аппетитом.

— Шел бы ты в море! — осмелев, вдруг сказал я. Фома сразу помрачнел и промолчал. Он медленно убрал со стола и, вытерев тряпкой крошки, налил мне чаю.

— Пей,— сказал он и задумался, подперев заросшую щеку кулаком.

За сводчатым окном свистел морской ветер, сквозняки гуляли смелее обычного по старому маяку.

— Не могу я забыть Лизу,— помолчав, продолжал Фома. Тяжеловатое, с чуть выдающейся вперед нижней челюстью, бронзовое от солнца и ветра лицо его тронула гримаса обиды.— Не любит она меня,— прошептал он.

— Кто?

— Лиза.

Меня аж зло взяло! Чтоб отвлечь его, я рассказал о проекте Мальшета.

— Море дамбой! — ахнул Фома. Он так и загорелся.— Вот это человек: море дамбой! И по ней железную дорогу! Пусть бы оно потом бесновалось. А человек-то сильнее. Эх!

От восторга Фома даже покрутил головой, жесткие черные волосы торчали во все стороны, как проволока, глаза округлились. Он так разошелся, что стукнул огромным своим кулачищем по столу. Но минуто спустя его уже взяло сомнение.

— А волны, ветер, льды? Разрушат дамбу. Льда ведь больше будет, чем теперь. Таять станет позже. Напрет и разрушит.

— Почему это льда больше?

— А как же, вода станет преснее, а пресная вода всегда больше промерзает.

Мы поспорили еще часок, и я стал собираться. Фома проводил меня почти до наших ворот.

— Не нравится мне этот ветер! — пробормотал он на прощание.

Следующий день был туманным, пасмурным. Ветер продолжал дуть все в том же направлении — зюйд-зюйд-вест, не усиливаясь и не затихая.

У отца отчаянно разболелась раненная в войну нога, и он был в плохом настроении. Когда мачеха посоветовала ему полежать денек в постели, он резко оборвал ее:

— Лежебоков без меня хватает, работать надобно честно,— и стал, кряхтя, натягивать на себя форменную шинель.

— Папа, я пойду за тебя? — попросил я.— Ты мне только скажи, что сделать,

я справлюсь, честное слово.

Отец покачал головой.

— Может, когда-нибудь в другой раз... Сегодня сильный боковой ветер, будут обрывы вязок. Самому надо идти.

Я предложил хотя бы взять меня с собой помочь, но отец категорически отказался:

— Один справлюсь. Лучше матери помоги.— И ушел.

— Тебе не надо в Бурунный? — спросила Прасковья Гордеевна. Это означало, что надо съездить в поселковый магазин за продуктами.

Я тут же приволок велосипед, смазал оси и надул шины. Заодно решил сменить в библиотеке книги.

В Бурунном оказалосьлюдно, как на празднике. Море штормило, и ловцы сидели дома. В поселковом клубе—«я заглянул туда по пути — собрались ловцы, тюленебойцы, капитаны промысловых судов: шло какое-то совещание, после должен был идти интересный фильм. Ребята из нашей школы звали меня, но я не поддался соблазну: мне надо было закончить мое дело. По привычке я забежал и в линейно-технический узел. Меня обрадовали тем, что пришли новые приборы для обнаружения повреждений. Узнав, что Фоме тоже дадут теперь прибор, я тут же и позвонил ему. Он не особенно обрадовался. Только спросил, буду ли у него вечером и нельзя ли достать ту статью о дамбе через Каспий. Я обещал.

— Совсем сегодня не спал,— пожаловался мне по телефону Фома,— не усну никак, хоть ты тресни. И сейчас некогда поспать. Срочно надо идти на трассу: ветер оборвал провода. Придется сваривать. Канитель!

Я пожалел его: конечно, канительное дело. Провода развязываются и опускаются настолько, чтобы можно было сделать сварку. Потом кладутся на изоляторы, регулируется стрела провеса, и провода снова перевязываются. Как жаль, что меня сейчас там нет. Может, Фома доверил бы мне эту сварку?

Как я ни спешил, а возвратился только к обеду, уж очень много покупок пришлось сделать. После обеда я собрался к Фоме. Фомы, как и вчера, не оказалось дома. Ящика с инструментами нигде не было. Значит, Фома еще не возвращался с обхода. Я взял лопату и пошел ему навстречу. Очень странное было в тот день освещение, какое-то не дневное, будто луна светила, только поярче. Солнце скрывалось за плотными слоистыми облаками. Холмы на горизонте выделялись четко. Над морем стоял туман. Помню, я еще подумал: почему ветер не рассеет тумана?

Фому я нашел на его любимом месте, на обнажившемся дне моря. Сначала я наткнулся на ящик с инструментами, брошенный у столба на холме, а метрах в трехстах, в низине, увидел крепко спящего Фому. Я было подошел к нему, но он так сладко и богатырски храпел, накрыв от ветра пиджаком плечи и голову, что я не стал его будить и вернулся на трассу.

Я деловито зашагал вдоль столбов с лопатой через плечо, радуясь от души, что мой ремонт подходит к концу. Пусть теперь к Фоме приезжает любое начальство, у него все в порядке. Я очень гордился своей работой. Знал бы отец...

Ветер не затихал ни на минуту. Пока я шел, он дул мне в бок, веселый и шумливый, готовый на любое озорство. Мне оставалось лишь окучить опоры. Вокруг них от осадки грунта образовались лунки и задерживалась вода. Столбы от этого быстро портились, подгнивали. Я быстро принялся за дело. Окопав один столб — лопата не так-то легко входила в слежавшуюся почву — и подгреби к нему землю, я, посвистывая, шел к другому. Скоро я вошел в ритм работы. Работая, думал о Фоме. Я был очень привязан к нему, восхищался им, верил в

него. То, что сейчас творилось с Фомой, я считал временным заскоком. Моря — вот чего ему не хватало. Фома был прирожденный моряк. Недаром он отказался от славы чемпиона и вернулся на Каспий. Не мог он без него жить, — это было так понятно и ясно. Очень мне хотелось, чтобы у Фомы прошла эта «любовь без взаимности» и он вернулся бы к своей давней мечте — стать лоцманом. А пока я был рад хоть чем-нибудь помочь ему и потому все с большим рвением окапывал столб за столбом.

Наконец у меня заныла спина, а ладони рук стали гореть, как обожженные. Я вздохнул и выпрямился, рассеянно посмотрев впереди себя. И тут я так и обомлел от ужаса...

Километрах в двух прямо на меня катилась по земле необычайно длинная волна, седая от пены. Пространство за нею, то, что было песками, пенилось и вздымалось. Огромная масса воды, а над водой сливались в сплошной туман водяная пыль и брызги.

Это было море. Оно отступило несколько лет назад и теперь возвращалось обратно. Море шло раза в два быстрее, чем идет человек по дороге. Это было очень страшно. До сих пор мне снится по ночам, как море с шумом и ревом настигает меня, я пытаюсь от него убежать, а ноги словно из ваты и не слушаются.

Бросив лопату, я кинулся к холмам, где стоял наш домик участкового надсмотрщика. Я знал, что вода туда не доберется. И вдруг я обмер... Кажется, я пискнул жалобно и тонко, как гусенок, на которого наступили сапогом. Фома спал там... Он спал крепчайшим сном на песке, накрыв голову телогрейкой.

Повернув назад, я стремглав понесся навстречу волне. Ветер засвистел мне в самые уши. В глазах только мелькало. Уже колело в боку, дыханье, обжигая, вырывалось из груди. На бегу кое-как освободился от куртки, мешавшей мне, но не бросил ее, а держал в руке. Обогнув глубокую впадину, усеянную ракушкой и галькой, повернул параллельно приближающейся волне. За первой волной виднелась вторая и третья.

Это во сне лишь бывают ватные ноги. Когда опасность наяву — все наоборот: откуда только берутся силы и сноровка.

Пока я добежал до Фомы, море уже было в полукилометре. Несколько драгоценных секунд потратил на то, чтоб разбудить Фому. Всклопоченный, осовелый, он стоял, широко расставив ноги, и, выпучив глаза, смотрел, как море шло на него. Ветер трепал его волосы, вздувал пузырем рубаху.

— Бежим! — не своим голосом заорал я, и мы побежали. Но я сразу отстал. Фома был силен и крепок, и он выспался, а я совсем обессилел. Он был уже далеко впереди, когда я закричал: — Ты меня бросаешь, Фо-ма-а-а!



Вряд ли он мог меня слышать. В тот же миг холодная мутная вода сбила меня с ног и потащила за собой...

Я уже захлебывался, задыхался, в легкие попала вода, меня вырвало, я плакал, кричал. Ветер и вода играли мной, как щепкой, то бросая о землю, то подбрасывая кверху, все время волоча вперед. Вдруг сильные руки крепко схватили меня. Это был Фома. Он что-то кричал и на миг так прижал меня к своей груди, что чуть не раздавил, уж очень он обрадовался, что нашел меня. Море тут же подшибло его, и он тоже свалился, но не выпустил меня из рук.

— Держись за пояс! — крикнул Фома, и я смутно почувствовал, что страх его прошел.

Чудак, он теперь уже смеялся, сам не зная над чем, так как смешного было мало. Я вцепился в его рубаху, но скоро опомнился и попытался плыть, отфыркиваясь, когда море переворачивало меня. Теперь и я не боялся. Только потом сообразил, что опасность тогда еще не миновала — мы могли погибнуть оба очень просто.

Ветер гнал волны уже впереди нас, и с каждой минутой воды становилось все больше. Нас швыряло и бросало, крутило и тащило вперед. Фома рычал, ругался. Я то отставал, то меня уносило вперед, но его могучая рука каждый раз находила меня. Нет, плыть было невозможно, море двигалось быстрее и переворачивало

нас. Я употреблял отчаянные усилия, чтоб хоть удержаться на поверхности и не потерять Фому. Сплошной туман стоял над бурлящей водой. До сих пор не понимаю, как Фома мог тогда ориентироваться. Инстинкт, что ли, ему помогал?

Вдруг нас с силой ударило о какие-то столбы — то были сваи заброшенного рыбозавода. Кое-как мы взобрались по ним внутрь, вконец измученные и избитые. Море с шумом пронеслось дальше. В помещении было темно и холодно, но сухо. Сухо и безопасно.

— Вот черт! — воскликнул Фома отдышавшись, в его голосе слышалось беспредельное восхищение. — Вернулся-таки на старое место!

Это он о Каспии так говорил. Но радовался он преждевременно: через несколько дней море ушло опять. Это все зюйд-зюйд-вест наделал.

— Давай лучше выжмем одежду, — предложил я, лязгая зубами от холода.

Мы выжали и снова надели то, что осталось — одни лохмотья. Куртку я потерял.

— Придется сидеть здесь всю ночь? — спросил я.

— Может, поплывем дальше? — не без юмора осведомился Фома.

Он встал и долго шарил в темноте, потом принес камышовые маты. Мы уселись на них.

— Хорошо так, — заметил Фома, прислушавшись к реву воды и ветра, — теперь бы только закурить.

Мы всю ночь продрожали в пустом рыбозаводе. Ох и долгой она нам показалась! Перед утром немного соснули, прижавшись друг к другу.

Утром нас нашел там отец. Он был так рад видеть меня живым и невредимым, что даже не выбранил.

Я сообщил отцу, что потерял куртку.

— Хорошо, что не потерял голову, — добродушно буркнул отец.

Как осунулось и постарело за эту ночь его и без того худое лицо! А мы с Фомой ходили на бродяг. На радостях отец обнял и Фому. И предложил отправиться к нам выпить от простуды и закусить, чтоб согреться...

И вот мы плыли на шлюпке там, где я только вчера катил на велосипеде. Фома взял у отца весла. Отец пересел на руль, укутав меня своей шинелью. Никогда прежде я не видел такого утра: оно было чистое и свежее, зеленое и голубое. Море дало ему прозрачность, небо — глубину. А ветер, накуролесив, улетел — стоял полный штиль. Отец рассказал, что за эту ночь моряна нагнала воду на сорок километров вокруг, подняв уровень моря на целых два метра. Были и жертвы, только не в нашем поселке — Бурунный расположен на острове, и его не затопило.

Море продержалось всего две недели. Нордовый ветер согнал его за четыре часа. Остров опять очутился на песке.

Вскоре я узнал, что линейно-технический узел созывает широкое совещание — слет. Сеня Сенчик под большим секретом рассказал мне, что на этом совещании Фому собираются премировать, и я упросил отца взять меня с собой. Дескать, охота послушать концерт самодеятельности, который будет после торжественной части. В поселковом клубе народу набилось битком, так как пришло много ловцов. Все нарядились, любо на них посмотреть! Отец надел новую форменную тужурку, загладил сам складку у брюк. Фома и то принарядился, чисто выбрился и постригся. Правда, начальству, кажется, не понравилось, что он вместо форменной тужурки был в морской куртке.

Фома немного опоздал и не нашел себе места. Когда отец ушел в президиум, он сел рядом со мной и подмигнул мне. Я внимательно взглянул в его лицо. Другое у него было выражение, будто тяжесть сбросил с себя многопудовую. А я подумал: ведь Фома еще совсем молодой парень. Он красивый, Фома. Девушки, кажется, тоже так думали, все посматривали на него, но он не замечал этого. И что ему далась моя сестра!

Первым шел доклад начальника линейно-технического узла Тюленева. Доклады он всегда читал по тетрадке. Прочитав все, что положено, он стал устно упрекать линейщиков, что они еще плохо используют опыт моего отца. А потом, успокоив свою душу, сказал так:

— Среди нас имеется живой пример того, каких результатов можно достигнуть, вооружившись методом нашего знатного новатора товарища Ефремова. Участок Фомы Шалого был в числе отстающих, а теперь он стоит на втором месте после... гм... нашего знатного...

Тюленев откашлялся и, потупив черные живые глазки, сообщил, что за апрель у моего отца было четыре повреждения (конечно, причиной тому боковой ветер, достигавший двадцати баллов), а у Фомы только три. На тот же ветер! В зале заплодировали, а отец почему-то пристально посмотрел в мою сторону. Фома незаметно ущипнул меня.

В общем, Фома сделался героем вечера. Ему присвоили звание лучшего по профессии, поместили на Доску почета и в Книгу почета. А хвалили его! Другой бы на его месте просто зазнался, но Фома был не таков.

В самый разгар чествования Фома схватил меня за руку и, прежде чем я успел опомниться, выволок на сцену.

— Вот кто получил звание лучшего по профессии — Яша Ефремов, — сказал он твердо. Загорелое лицо его лоснилось от жары и пота, карие глаза округлились.

Поднялся страшный шум, некоторые кричали: «Как это так?» Тюленев требовал прекратить «шуточки».

Я пытался удрать, но Фома крепко держал меня за руку, как я ни крутился и ни извивался. Исподлобья я взглянул на отца, он улыбался как-то про себя. Потом он говорил, будто с самого начала догадался, зачем я «заимствую» у него всякие гайки, а раз под самым носом утащил плоскогубцы.

Фома потребовал тишины и, когда в зале немного стихло, не выпуская мою руку, сказал:

— Я опять буду ездить на промысловых судах, завтра уже выхожу в море.

Тут все ловцы стали кричать «ура». Фома махнул им рукой, будто с ринга, и бросил в сторону возмущенного Тюленева:

— А если меня нечем пока заменить, участок смело можно доверить младшему Ефремову.

Долго у нас в Бурунном вспоминали этот слет. А Тюленев уговаривал меня взять участок. Но уже возвращалась Лиза, и я отказался. Другие у нас были планы.

ДОМ НА ВЗМОРЬЕ

Глава первая

ЛИЗА ПОЛУЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

Лизу ждали со дня на день. Мы еще не знали, куда она получила назначение. Сестра уже писала отцу, что забирает меня с собой; он не возражал, считая, что для Лизы так будет лучше: все-таки не одна.

Неожиданно я получил полторы тысячи рублей — зарплату Фомы за два месяца. Он наотрез отказался ее принять, говоря, что «работу делал за меня Яшка», и тогда начальник линейного узла торжественно вручил ее мне. Это были мои первые деньги. Отец с мачехой были очень довольны.

— Справишь себе новый костюм, и на туфлишки останется,— решили они.

У меня еще никогда не было настоящего костюма. Я всегда ходил в лыжном или в старой отцовской куртке. Но я не придавал этому большого значения. Подумаешь!.. И потому сразу решил: куплю Лизе платье.

Когда Прасковья Гордеевна потребовала у меня деньги, чтоб идти покупать отрез на костюм, я так ей и объявил. Она ахнула и опустилась на стул.

— Дурной ты, я погляжу... Купи ей штاپеля на платье — чем плохой подарок? Я ей покажу, как сшить.

— Нет. Вмешался отец:

— Мать дело говорит.

— Ты ведь сказал, что не возьмешь эти деньги,— бросил я с укором отцу,— мне они очень нужны...

Я чуть не заплакал. Отец смущенно пожал плечами.

— Девай их куда хочешь,— буркнул он. Прасковья Гордеевна надулась и стала греметь посудой.

Я решил купить сестре самое красивое платье, какое только может быть. Но легко сказать, а как сделать? Ни в Бурунном, ни в райцентрах по соседству таких платьев не было.

Сколько я ни думал, но придумать ничего не мог, и посоветоваться не с кем. Фома ловил рыбу на глуби. Он теперь работал помощником капитана промыслового суденышка. Не с Ефимкой же советоваться насчет платья.

Вечером я читал в своей комнатухе за кухней. Отец с мачехой сидели у себя возле приемника — мачеха вязала отцу носки, а он просматривал газеты. Передавали замечательный концерт из Колонного зала. Отложив книгу, я бросился на кровать и стал слушать. Пела заслуженная артистка РСФСР Оленева:

Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

...Я опомнился — меня словно не было некоторое время. На незримой сцене уже шел какой-то скетч.

Деньги приводятся в исчислении до 1961 года.

Я поднялся и притворил дверь. За стеклом насвистывала моряна, бросаясь песком в окно.

Мысленно я представил прекрасное лицо той, что могла так петь. Я видел ее портрет в «Огоньке», да и у Маргошки в ее коллекции артистов была фотокарточка Оленевой.

Я сидел на кровати и размышлял, что же такое искусство? В чем его сущность? Отчего оно так потрясает человека? Что заставило миллионы лет тому назад пещерного человека высекать на твердой скале сцены охоты на мамонтов?

Как-то я задал эти вопросы Юлии Ананьевне. Она очень долго объясняла, но на мои вопросы так и не ответила. По ее словам выходит, что художника заставляет творить классовая борьба, поскольку он является выразителем мыслей и чувств класса. А если бы не было классовой борьбы, он бы тогда не творил? А пещерный человек? При коммунизме не будет классов, а искусство, несомненно, достигнет наивысшего расцвета.

— Ты удовлетворен? — спросила учительница, когда кончила мне объяснять.

Я по-честному сказал, что не удовлетворен. Юлия Ананьевна растолковывала мне минут двадцать. Я опять был не удовлетворен. Она рассердилась и говорит:

— Какой ты все ж таки тупой, Ефремов!

Девчонки долго смеялись, а ребята за меня обиделись. Они считают меня умным, наверное, потому, что я люблю философствовать. Кто его знает, может, и вправду я тупой?

Передо мной еще носился образ артистки, когда я опять стал изыскивать средства достать платье, которое было бы достойно моей сестры. Однажды я видел такое платье в кино.

И вдруг меня осенило! А что, если обратиться к Оленевой? Разъяснить ей все в письме, а деньги выслать телеграфным переводом. Она-то сразу поймет, что мне надо. И кому знать больший толк в платьях, как не артистке, да еще заслуженной? Конечно, она это сделает, потому что у великой артистки — великое сердце, иначе не может быть.

Недолго думая я присел к столу и взял лист чистой бумаги. Писал я от души. По-моему, письмо вышло хорошее, жаль, что не осталось черновика. Но у меня получилось сразу, без помарок. Запечатав, положил письмо под книгу, чтоб лучше заклеилось.

Утром я смазал велосипед и отправился на почту — экзамены уже закончились, и я был свободен. Адрес написал такой: «Москва, заслуженной артистке РСФСР Оленевой».

Почтарь, инвалид Отечественной войны, говорит:

— Это не адрес, это «на деревню дедушке». Да еще денежная сумма... Как можно!

И не принял. Я стал ему доказывать. Было же когда-то послано письмо по адресу: «Атлантический океан, Виктору Гюго», и дошло, когда автор «Отверженных» жил на безвестном острове.

Пока мы спорили, собралась целая очередь. И, как на грех, Юлия Ананьевна подходит.

— Для чего ты переводишь деньги Оленевой? — спросила она с удивлением.

— Личное дело, — пробормотал я, чувствуя, что краснею.

Учительница подозрительно посмотрела на меня. Кто-то из ожидающих

(кажется, зубной врач) подсказал адрес: Большой театр. Тогда почтарь смилостивился и принял деньги и заказное письмо.

С того дня по всему Бурунному только и было разговоров о том, что Ефремов Яшка перевел Оленевой полторы тысячи рублей. Начальник линейного узла позвонил отцу. Дома была целая история, вспоминать тошно...

Когда я забежал в школу справиться, перешел ли я в десятый класс, заинтересованные ребята загнали меня в угол и пристали, как с ножом к горлу, какие у меня могут быть с Оленевой дела.

В этот момент меня позвали в учительскую. Я только было обрадовался неожиданному спасению, но учителя оказались еще более любопытными, чем ребята. Под предлогом, что им это необходимо знать в воспитательных целях, они так прижали меня, что пришлось все раскрыть.

Педколлектив так и ахнул, ребята за дверью — тоже. Больше всех возмутилась Юлия Ананьевна:

— Ну, знаете... Я всегда замечала, что Ефремов не по летам... наивен, но не представляла, что до такой степени. Во-первых, это не тактично по отношению к Оленевой. Она не посылторг. Во-вторых, ты только подумай, если все станут ее просить высылать им платья, пиджаки... Деньги она отошлет тебе обратно. Ах, как неловко! И это в нашей показательной школе!

— Ты хоть указал размер платья? — улыбнулся не без лукавства Афанасий Афанасьевич.

— Не знаю... размер. Написал, какой у Лизы рост.

— Ладно, иди... Вакула! — отпустил меня директор.

Лиза приехала на другой день. Она очень выросла, стала какая-то другая — красивая. Я порадовался, что в письме к Оленевой прибавил сестре роста на целых 10 сантиметров по сравнению с прошлогодней отметкой на двери.

Каково же было удивление и радость, когда мы узнали, что Лиза получила назначение на Бурунскую метеорологическую станцию — тамошний наблюдатель увольнялся. Я знал этого величественного старика, очень ученого, раз даже разговаривал с ним в библиотеке об Илье Эренбурге.

Метеостанция на самом взморье, километрах в девяти от Бурунного, — серый дом на высоком холме, с ажурным шаром наверху.

Отец даже прослезился от радости, что мы будем так близко. Прасковья Гордеевна, по-моему, предпочла бы, чтобы назначение было куда-нибудь в Азербайджан, что ли, — ей вдвоем с отцом спокойнее. Но она добросовестно старалась этого не показывать.

Лиза привезла подарки: отцу полосатый шерстяной джемпер, чтоб тепло было ходить на трассу; мачехе чехословацкий нарядный платок, которым та осталась, в общем, довольна, а мне трехтомник Герберта Уэллса.

— Так хотелось закупить всем всякой всячины, но не было денег, — сконфуженно сказала Лиза.

— И то спасибо, — отозвалась Прасковья Гордеевна, — Якову-то лучше бы ситцевую рубашечку, книги у него есть.

— Уэллса у меня нет, — запротестовал я.

— Учебники есть, и хватит, — возразила мачеха, — а в книгах клопы могут завестись... — И, как всегда, в ее голосе была глубокая убежденность в мудрости своих слов.

На следующее утро Лиза приняла метеостанцию, и мы с ней переехали в дом на взморье.

Там еще полагался сторож... Никто не возражал, чтоб я взял на себя эту

должность. Теперь у меня был хоть небольшой, но регулярный заработок.

А то как-то стыдно, чтоб такой большой парень был на иждивении сестры. Я бы, конечно, мог работать линейщиком — Тюленев предлагал мне не раз, но трасса проходила далеко от метеостанции, нам бы с Лизой пришлось жить поврозь. А у нас были свои большие планы.

Глава вторая

МЕРНЫЙ ПЛЕСК ПРИБОЯ

Это был совсем дикий край — пустынное побережье, дюны, колючие кустарники и камни. Не верилось, что всего в девяти километрах живут люди.

Серый дом стоял неподалеку от моря, солоноватая водяная пыль оседала на его обомшелых стенах. Береговая полоса казалась такой узкой и незащищенной по сравнению с морем. Даже в тихую погоду оно волновало предчувствием могущей случиться беды — огромное и грозное.

После случая, когда море вернулось, я стал бояться его. Иногда мне снилось, что море опять настигает меня, залило с головой, я захлебываюсь, кричу... Просыпался с сердцебиением, весь в поту. Но я не разлюбил моря и терпеливо ждал, когда это мое состояние пройдет.

Хорошо, что мы с Лизой жили здесь не одни. В доме остался бывший наблюдатель метеостанции Иван Владимирович Турышев.

Когда мы в исполкомовском «газике» прибыли со всеми пожитками (две кровати, связка книг, постель, узлы и мешки) на новое житье, Турышев с достоинством приветствовал нас на пороге — высокий, медлительный, с густыми серебристо-седыми волосами. Красивое поблекшее лицо его выражало суховатую иронию, насмешку, ставшую привычкой.

Впоследствии я заметил, что часто такое напускают на себя люди, не защищенные в жизни, — это у них своего рода щит. А глаза у него были добрые, полные юмора и любопытства к жизни. Иван Владимирович сразу нам понравился: мы смотрели сквозь щит.

— Если вы разрешите, я останусь здесь жить... Мне, собственно, некуда ехать, — сказал он Лизе, — или... я помешаю вам?

Лиза молча посмотрела на метеоролога и вдруг, приподнявшись на цыпочки, крепко его поцеловала. Подумав, я последовал ее примеру и звонко чмокнул его в гладко выбритую щеку. Мы о нем много слышали.

Исполкомовский шофер, ухмыляясь, смотрел на нас.

— Вот у вас и дети, сразу двое, — сказал он Турышеву, — хорошие ребята, вам с ними будет гораздо лучше, чем одному.

Выгрузив вещи, шофер простился и уехал. А мы стали устраиваться.

Большой это был дом, старой каменной кладки, его так и строили под метеостанцию, еще в девяностых годах прошлого века. Снаружи из всех щелей росли трава и мох. Изнутри он был хорошо оштукатурен и выбелен. Иван Владимирович старательно поддерживал в нем чистоту. В доме было четыре просторных комнаты окнами на море, кухня, прихожая и внутренний сарай для топлива. Самая большая комната посреди дома была занята под метеостанцию. Там стояли два стола — один письменный, обтянутый потемневшим зеленым

сукном, другой — квадратный, весь заставленный приборами, длинный низкий диван дореволюционного происхождения, шкаф для бумаг, несколько стульев, а в углу на тумбочке приемник «Родина». Стены были сплошь увешаны картами, только над письменным столом висел портрет Ленина.

Иван Владимирович занимал угловую комнату при входе. Там было тоже много карт, они висели одна над другой на крюке, словно отрывной календарь. Внутренняя стена была уставлена стеллажами с книгами.

— Ты видел, сколько у него книг? Как нам повезло,— шепнула мне Лиза.

Нам повезло больше, чем она могла тогда предполагать. Иван Владимирович был замечательный человек, старый большевик и ученый-климатолог. Когда-то он заведовал кафедрой в Московском университете. Это о нем тогда писала Лиза, что он так горячо поддержал проект Малышета.

Здесь, у моря, ему было хорошо.

Он весь ушел в научную работу. В Москву ездил часто: то ему нужно было в Ленинскую библиотеку, то вызывало издательство — труды его стали выходить большими тиражами.

Да, это большое счастье для сестры и меня, что судьба свела нас с таким человеком!..

До поздней ночи мы убились в своих двух комнатах при свете фарфоровой керосиновой лампы, счастливые началом самостоятельной жизни.

Кровати мы привезли с собой, кое-какая мебель нашлась в доме (для нас это, впрочем, было целое богатство) : круглый потускневший стол — мы его накрыли белой скатертью; шкаф для бумаг, который окрестили буфетом; испорченная фисгармония. Посмеявшись, мы превратили старинный инструмент в подставку для книг. Стены увешали морскими видами — репродукциями с картин Айвазовского и Судковского, которые я постепенно накопил в сельмаге и хранил, как дорогую коллекцию. Рамки я сделал из дерева и камыша.

Когда Лиза домыла пол, к нам заглянул Иван Владимирович. Чудесную игрушку держал он в руках — полуметровую бригантину! Борты суденышка были выкрашены масляной краской чистейшего белого цвета, переходящего ниже ватерлинии в голубой. Прямые паруса передней фок-мачты и косые паруса грот-мачты кто-то сшил с вдохновением из сурового полотна, как подобает морским парусам — символу суровой жизни моряка. «Ветер дальних странствий» пронесся по дому. Иван Владимирович, улыбаясь, смотрел то на Лизу, то на меня, лицо его, казалось, оттаяло.

— Поздравляю вас с новосельем,— произнес он и, вручив Лизе бригантину, по-старомодному поцеловал ей руку. Я тут же наскоро смастерил подвесную полочку, и мы поставили на нее бригантину. Отныне она должна напоминать, как и лодка Филиппа Малышета, которую я положил отдельно от всех книг на тумбочку возле своей кровати. Лодка была моя, и я не собирался делиться ею даже с сестрой.

Потом мы пили чай за круглым столом и слушали рассказы Ивана Владимировича. Было что послушать! В юности он изъездил Каспий вдоль и поперек. Был участником нашумевшей экспедиции Горского, когда ученые тридцать семь дней провели на льду, пересекли на лошадях уральскую бороздину, попадали в откос. Он прекрасно знал отца Малышета — Михаила Филипповича, они дружили с детства.

Старший Малышета тоже любил наш Каспий, он построил на его берегах не один маяк и тоже вечно носился с проектами каких-то дамб. Однажды вчетвером — Иван Турышев, Михаил Малышета и двое студентов, закадычных друзей,—

отправились на арендованной тюленке далеко в море: Иван Владимирович тогда работал над своей первой диссертацией и ему не хватало каких-то данных.

Сначала все было хорошо, но потом они попали в окружение айсбергов, по-местному — бугров. На них часто попадаются большие лёжки тюленя. Бугры эти напоминают причудливые ледяные крепости — мощные стены высотой в трехэтажный дом и выше, башни, посреди ледяные «дворы», в которых греются на солнышке и дремлют тюлени. Когда ловцам попадается такой «двор», то при удаче можно взять столько тюленя, что наполнишь два-три суденышка.

Должно быть, они наткнулись на подводный айсберг, потому что вдруг от внезапного сильного толчка тюленка судорожно вздрогнула, что-то в ней хрустнуло, словно позвоночник переломился: нахлынувшая волна, выломав часть борта, перевернула судно. Людей отшвырнуло в сторону. Один из студентов угодил в студеною ледяную шугу вниз головой и сразу пошел на дно, остальные попали на шугу плашмя и удержались.

Положение было ужасное... Когда набегала волна, шуга становилась плотнее, по ней можно было ползти, волна отхлынет — шуга делается жиже, руки и ноги проваливаются, тяжелые сапоги и зимняя одежда, сразу намокнувшие, тянут вниз.

«Ползи на лед!» — крикнул Мальшет и первым пополз в ту сторону, где, как он предполагал, был лед.

Они ползли долго. Рот забивало шугой, руки сводила резкая боль. То и дело останавливались и пытались лечь пошире, чтоб хоть как-нибудь продержаться на поверхности, не утонуть. Иван Владимирович, потрясенный катастрофой и гибелью студента, обессилел и скоро отстал. Минутами он даже терял сознание, но приходил в себя, когда начинал тонуть. Другой студент отстал еще больше, он сильно испугался. Волны разбросали всех далеко друг от друга. Случайно первым нащупал край льдины Иван Владимирович. Перед ним была ледяная гряда. Кое-как он вскарабкался на лед и от изнеможения словно впал в забытие. Вдруг он опомнился: где же товарищи, неужели погибли? Откуда взялись силы — он быстро вскочил на ноги и стал всматриваться в сумерки. Темные пятна на серовой ледяной каше словно уже и не двигались. Турышев крикнул, его слышали, но ни один не откликнулся — сил не хватало.

Часа четыре они держались на воде.

Ползти обратно на помощь у Ивана Владимировича не было сил... Но человек никогда не знает предела своим силам. Не мог же он сидеть на льду, когда его друзья погибали, и, оставив спасительную льдину, он пустился за ними.

Обратный путь по шуге был еще страшнее. Иван Владимирович смутно помнит, как он вытаскивал совсем ослабевшего студента. Ему помог, подбодренный возвращением друга, Михаил Мальшет.

Мокрых, окоченевших, изнемогших, долго их носило по Каспию, пока не подобрала чья-то тюленка.

Иван Владимирович рассказывал нам много подобных историй.

Он был очень интересный собеседник. Мы готовы были слушать его всю ночь напролет, особенно когда он говорил о Михаиле Мальшете.

Мы очень полюбили ученого. Мы еще тосковали о нашем отце, будто он был не за тридцать километров, а за тысячи. Уж очень он поддавался влиянию: сначала нашей матери — она вела его за собой ввысь, а потом Прасковьи Гордеевны, которая сама была низка и принижала его. Самое ужасное было в том, что он теперь был счастлив. Стыдно было за такое счастье, но факты никуда не денешь: он был с нею счастлив!

Ученый ушел, пожелав нам спокойной ночи, а мы чуть не до утра

разговаривали с Лизой через открытую дверь, уже лежа каждый на своей койке.

Мы решили вместе заканчивать десятый класс. Я буду в школе внимательно слушать объяснения, а вечером передавать узнанное за день Лизе. Уроки будем готовить вместе и вместе пойдем на экзамены. Лиза уже говорила с директором — он разрешил.

О том, что станем делать по окончании десятилетки, мы еще не решили. Все зависело от событий. Если проект Мальшета пройдет и на Каспии будет строиться плотина, мы оба поедem работать на эту плотину. Если проект отклонят, то будем учиться всему, что необходимо знать для решения проблемы Каспия. Мы с Лизой родились и выросли на берегах Каспийского моря, кому же, как не нам, помогать Мальшету? Но мы еще так мало знали — придется долго и упорно учиться. Меня это немного смущало: пока выучишься, проблема Каспия давно уже будет вчерашним днем техники. Но Лиза меня успокоила: во-первых, если так случится, это будет очень хорошо, мы тогда возьмемcя за еще более сложную проблему — они вырастают, как холмы на горизонте, только подойдешь, уже новые показались. А во-вторых, к сожалению, не так-то быстро это все делается. Ведь у проекта Мальшета много противников, так что мы еще пригодимся.

Самый главный противник Мальшета — ученый Львов.

Лиза рассказала, как однажды один из студентов метеорологических курсов поинтересовался мнением Львова о проекте дамбы, и вот он, словно воспользовавшись случаем, блеснул ядовитым остроумием.

— Осмеять чужую идею — это он умеет, а взамен небось не предложил ничего, — возмущенно заметила Лиза и, помолчав, добавила: — Что ему наше морюшко — хоть бы и совсем высохло, он бы не запечалился!

Последнее, что я слышал, засыпая, — мерный шум прибора.

...На другой день пришел Фома и принес огромного осетра. Я увидел Фому с крыльца — он почти бежал по дороге с хозяйственной сумкой в руках — и выскочил ему навстречу.

— Лиза меня не выгонит? — спросил он, останавливаясь и тяжело дыша.

— Нет, не выгонит.

Я уже рассказал сестре о том, что Фома спас мне жизнь. Было около часа, и Лиза собиралась на наблюдение. На ней была сборастая юбка в ромашках и желтая кофточка, темные волосы, как всегда, она заплела в две толстые косы. Увидев Фому, Лиза сделала легкую гримаску, но ее светлые серые глаза смеялись. Она протянула Фоме руку.

— Иван Матвееч здоров? — спросила Лиза.

Фома смотрел на нее смущенно и пылко. На его скуластом и смуглом лице разгорался румянец, глаза потемнели, как море осенью перед бурей.

— Отец здоров, — наконец ответил он, — обижается, что не пришла по приезде.

— Не успела, хотелось скорее начать работу. На днях приду непременно...

Сестра уложила в корзину небольшой анемометр Фуса, психрометр Ассмана, новую ленту для термографа, записную книжку и отправилась на метеоплощадку; мы за ней.

Метеоплощадка была метрах в пятидесяти от дома. Установив приборы и пустив их добросовестно отсчитывать влажность воздуха и скорость ветра, Лиза занялась наблюдением неба. Мы с Фомой деятельно ей помогали, причем разошлись в определении облачности и даже поспорили. Мы с Фомой утверждали, что облачность Пять десятых и облака кучевые. Но Лиза записала шесть десятых, слоисто-кучевые. Она рассердилась и стала листать атлас облаков,

но, как на грех, такой формы там не было. Тогда Лиза говорит: «Вы оба ничего не понимаете, не мешайте мне работать»,— и вся покраснелась. Взглянув на крошечные часики-браслетку (подарок отца в день нашего отъезда), она торопливо направилась к будкам. Фома подмигнул мне так уморительно, что я прыснул со смеху. Заглянув во все будки и что-то отметив в записной книжке, сестра вприпрыжку помчалась к морю мерить температуру воды. Но у берега она в нерешительности остановилась и продолжительно по-мальчишески свистнула. Мощные темно-зеленые волны с белоснежными гребнями преградили ей дорогу — только она пыталась подойти, они бросались на нее, так что сразу намочили юбку и туфли. Но когда Лиза хотела смерить температуру воды, они с гневным шипеньем уползали прочь; пришлось закинуть термометр на веревочке в волны, но пока вытаскивала его назад, вся промокла до нитки.

На крыльцо вышел Иван Владимирович, тщательно выбритый, в старом, но выгуженном костюме и галстуке. Лиза показала ему книжку для записи наблюдений, он прочел и сказал: «Правильно».

Потом я варил уху. Уха вышла, как сказал Фома, «на большой», и мы прекрасно пообедали. Конечно, и Ивана Владимировича пригласили.

За обедом зашел разговор об истории с платьем. Лиза уже знала об этом, но не высказывала своего мнения, только каждый раз ерошила мне волосы и смеялась.

Иван Владимирович, когда узнал, с любопытством посмотрел на меня. В общем, мы все сошлись на том, что Оленева пришлет платье. Именно платье, а не мои деньги обратно. А Фома сказал:

— Не такой уж большой это труд, и если человек просит...

Иван Владимирович помог Лизе в обработке наблюдений, и мы чудесно провели этот день — бродили по берегу и разговаривали.

Фома был счастлив, что Лиза на него не сердится.

У Фомы было много новостей. Оказывается, он уезжал в Баку держать экзамены в мореходное училище, на отделение штурманов дальнего плавания. Выдержал, по его же определению, «еле-еле на троечки», но его приняли, должно быть, потому, что он уже «ходит в море» и к тому же еще чемпион бокса. Фома даже выступил разок в Баку на ринге, его очень уговаривали остаться, но он отказался наотрез.

— Это игрушки,— сказал он о профессиональном боксе,— море — вот это настоящее дело для мужчины.

Уходил Фома уже поздно, когда возшла луна. Я пошел его проводить. Прощаясь, Фома помялся и спросил:

— Яша, ты, как брат, не имел бы ничего против, если бы Лиза вышла за меня замуж? -

Я сказал, что «не имел бы против» (немножечко покривил душой), но Лиза за него не пойдет.

— Почему? — спросил Фома упавшим голосом.— Все ж таки я буду штурманом...

— Потому что она тебя не любит.

— А может, еще полюбит? — Он схватил меня за руки так, что я чуть не вскрикнул — хватка чемпиона.— Будь другом, скажи, что именно ей во мне не нравится?

Я подумал и сказал, что он не начитанный, а Лиза очень начитанная девушка. К тому же она любит стихи, а Фоме они вроде касторки. Тогда Фома решил отныне читать побольше стихов.

— Я даже могу заучивать по стишку в день. Только скажи мне, кто ее самые

любимые поэты?

Я сказал: Багрицкий и Михаил Светлов. Увлечшись, я, кажется, назвал своих любимых поэтов, но сообразил об этом лишь после, и Фома старательно записал их имена в блокнот.

— К следующему разу, когда приду, выучу парочку стихов,— обещал бедняга.

Так началась наша новая жизнь — стремительные, как полет чаек, свежие, как ветры с моря, счастливые солнечные дни.

Лиза исправно вела наблюдения, я ей помогал, так что скоро мог уже и заменить ее, если ей нужно было пойти в поселок. Сестра, в свою очередь, помогала мне в моих обязанностях истопника и уборщика метеостанции.

Настал сентябрь, и я стал ходить в школу. Вечерами мы занимались до глубокой ночи, хотя порою ужасно хотелось спать, просто глаза смыкались: сказывались ежедневные «прогулки» в Бурунный — девять километров туда да девять обратно. Правда, у меня был велосипед, но не во всякую погоду можно было на нем ехать.

Иван Владимирович заканчивал свою научную работу, но находил время помогать нам в учебе. Иногда приходил Фома — не часто, когда рыбаки возвращались в поселок. Кажется, он был желанным гостем не только для меня. Раз он пришел вместе с Иваном Матвейчем. Изредка нас навещал и отец, всегда один, без мачехи: 80

она караулила свой дом, четыре хлева, овец, коз, поросенка. Я думаю, отец немножко ревновал нас к Ивану Владимировичу...

Как хорошо было, когда приходил отец. Мы беседовали по душам, как прежде, когда не было никакой Прасковьи Гордеевны. Вспоминали наше детство, маму. Отец рассказывал, как они поженились, как родилась Лиза и какая она была забавная маленькая. О нашей матери он вспоминал, как о самом ярком, самом красивом, что у него было в жизни. Марина вносила в его жизнь поэзию — то, чего у него не было теперь.

— То была юность... — как-то сказал он грустно и решительно.

А я подумал: не считает ли он, что так жить, как жили они с нашей матерью, можно только в юности, а под старость уютнее и спокойней с Прасковьей Гордеевной? И, как всегда, сестра подумала то же, и мы невольно переглянулись.

Мы никогда не пытались повлиять на отца, чтоб он разошелся с Прасковьей Гордеевной. Зачем? Раз он по собственной воле жил с нею, значит, в чем-то и сам был такой. Все же нам с Лизой это было тяжело, ведь он был наш родной отец.

В октябре Ивану Владимировичу удалось достать лесу, и мы решили смастерить лодку. Иван Владимирович умел хорошо плотничать, так что даже заправский плотник ему бы позавидовал. Мы целый месяц делали чертеж, а потом начали сбивать лодку тут же на берегу, возле дома.

В общем, мы были заняты по горло, как вдруг на мое имя пришла посылка из Москвы...

Пока почтарь оформлял выдачу, у почты собралась целая толпа. На улице меня все обступили, и я давал каждому читать обратный адрес — улицу и номер дома, где жила заслуженная артистка РСФСР Оленева. Все были крайне поражены и хотели посмотреть, что она прислала, но я не стал вскрывать посылку.

Открыли ее дома. Как раз и Фома пришел. Когда я, орудуя плоскогубцами, приподнял фанерку, Лиза даже побледнела от волнения. Турышев и Фома тоже были заинтригованы. Там было что-то воздушное, прозрачное, красивое, до чего я

и дотронуться побоялся. Лиза сама вытащила платье и, восторженно ахнув, приложила его к себе и бросилась к зеркалу. Очень хорошее было платье — серебристое, в поперечную полоску, с очень широкой юбкой.

— Иди надень! — попросил Фома.

Мы тоже стали просить Лизу примерить обновку. В посылке, кроме платья, было нарядное белье, чулки и светлые туфли на каблуках, похожих на гвозди. На дне ящика лежало письмо. Письмо было адресовано мне, поэтому я сначала прочел его сам и только потом вслух.

Мне, ученику десятого класса Яше Ефремову, писала великая артистка, прекрасный голос которой вызывал восхищение всего мира.

«Дорогой Яша, охотно исполняю твое желание. Как раз Дом моделей выпустил партию прекрасных балльных платьев для молодых девушек. Номер обуви своей сестры ты не указал, а к вечернему платью нужны соответствующие туфельки. Купила наудачу 35-й размер.

От души желаю твоей сестре повеселиться на выпускном балу! А тебе, дорогой мальчик, желаю навсегда остаться таким же любящим, нежным и верящим в человеческое сердце, как теперь.

Когда будете в Москве, заходите оба — брат и сестра, буду сердечно вам рада. У меня дочка шестнадцати лет, ее зовут Марфа, она тоже будет рада увидеть вас.

Ваша Оленева».

Письмо это всех тронуло. Я сохраню его на всю жизнь.

Лиза молча пошла к себе и надела новое платье и туфли. Впрочем, она показалась нам ненадолго: уж очень Фома таращил на нее глаза... Видно, сестра тоже показалась ему «гением чистой красоты» и «мимолетным видением».

Лиза покраснела и ушла к себе. Больше она не надевала это платье, но очень его берегла — как реликвию, должно быть. До выпускного бала было еще восемь месяцев.

— Некуда здесь его надевать...— сказала она спокойно, без грусти,— пусть пока лежит.

Но сестра нарядилась в новое платье гораздо скорее, чем думала...

В тот вечер мы долго ходили вчетвером по взморью.

Море было пустынно. Фома, верный своему решению, прочел вслух стихотворение, чем несказанно удивил Лизу. Я, конечно, помалкивал насчет того, почему это он ударился вдруг в поэзию. Не выдавать же мне друга.

В тот же вечер был один разговор, оставивший след в душе.

Мы остановились у небольшой бухточки, образовавшейся от изгиба песчаной косы. Упругие волны неторопливо омывали, обтачивали, просеивали серый зернистый песок, разноцветную ракушку и камни — тысячелетняя работа! Голубое небо с прозрачными перистыми облаками казалось в тот вечер необычайно высоким, море огромным, а земля узкой. Влажный солончатый ветер дул с моря, дышалось легко и свободно, и Лиза сказала об этом:

— По Москве я ходила как зачарованная — до чего она прекрасна! — но все время как бы задыхалась... не привыкла я к тяжелому воздуху большого города. А здесь как хорошо — простор, ветер и волны.

Фома согласился с ней, а Иван Владимирович стал говорить о том, что высокая техника двадцатого столетия портит и загрязняет воздух — это уже становится общественным бедствием!

— Надо улучшить выхлопные устройства автомобилей! — вскричал я и покраснел.

— Улучшение конструкции автомобильных двигателей, конечно, уменьшит образование вредных газов, но огромный рост автомобильного транспорта сведет на нет все эти достижения за какие-нибудь десять — пятнадцать лет, — возразил метеоролог.

И вот тогда Фома вдруг спросил:

— Иван Владимирович, вы — ученый, профессор, неужели вы уехали из Москвы только потому, что там мало воздуха?

Турышев испытующе посмотрел в загорелое простодушное лицо Фомы и задумчиво усмехнулся:

— Нет, не потому. Были у меня в прошлом неприятности. Один человек оклеветал меня. Много лет прошло, пока я был полностью реабилитирован. Теперь бы я мог снова жить в Москве, предлагали мне и кафедру. Но пока не хочется уезжать отсюда: уж очень чудесно здесь работается. Вот закончу свой труд, тогда посмотрим.

— Он умер... тот клеветник? — спросила с омерзением Лиза.

— Он жив.

— Почему же вы не потребуете его к ответу? — заволновалась сестра.

Иван Владимирович тихонько тронул ее за плечо.

— В юриспруденции всех народов есть такое понятие: «за давностью лет». Если человек украл и это выяснилось только лет через двадцать, его уже не судят. История эта произошла двадцать два года назад... Есть более интересные занятия, нежели сводить старые счета. Мне, например, некогда. Я тороплюсь. Я должен окончить свой труд, начатый в молодости.

— Как же его имя? — нерешительно спросила Лиза.

— Вы его все равно не знаете... Павел Дмитриевич Львов.

Глава третья

ВТОРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ФИЛИППА МАЛЫПЕТА

Прошло немногим более месяца после того, как мы узнали, что обидчик Ивана Владимировича и эгоист, отнявший у Фомы мать, — одно лицо. Не знаю, кто был больше поражен: Фома или старый ученый. Лиза почти не удивилась. Как это ни странно, но она, как мне потом рассказала, почему-то в этот момент почти ждала услышать именно это имя.

— Что-то есть такое в Павле Дмитриевиче Львове, — объясняла мне сестра, — что можно ожидать от него, будто он не только клеветником окажется, но и убийцей.

— Это одно и то же, — глубокомысленно заметил я.

— Умом я бы не могла вывести таких заключений, но интуицией... — горячо утверждала сестра.

Интуиция у нее просто поразительная. Это очень скоро подтвердилось.

Мы проводили Ивана Владимировича в Москву и жили одни. В тот вечер мы с сестрой пилили при лунном освещении дрова. Это было уже после семичасового наблюдения. На Лизе был надет такой же байковый лыжный костюм, как и на

мне, только на моих вихрах красовалась клетчатая кепка, а на Лизе была черная фетровая беретка с хвостиком на макушке.

Вдруг послышался, медленно нарастая, далекий рокот воздушного мотора, а скоро показался и самолет. Бросив пилу, мы любовались, задрав головы, редким гостем.

Он плыл в вышине, словно большая рыба с мощными плавниками. Самолеты пролетали здесь и раньше, но никогда они не казались такими близкими.

Мы думали, что самолет пролетит дальше, как это было всегда, но он сделал несколько кругов над метеостанцией и теперь парил непривычно низко и как-то вихлял. В следующую минуту самолет мелькнул перед глазами и стремительно пошел на посадку. Он сел или упал в дюнах, не дальше как в двух-трех километрах от метеостанции.

Как мы бежали!.. В боку уже колело, саднило в горле, а мы неслись, нагнув головы, напрямки, испуганные, восхищенные.

— А вдруг там Мальшет!..— выкрикнула Лиза на бегу.

Последнее время она почти не упоминала этого имени. Я-то вспоминал о Филиппе часто, как только брал в руки лоцию. Значит, и Лиза о нем думала. И вот теперь у нее прорвалось: «А вдруг там Мальшет!» Это было нелепо. Мальшет был океанолог и не имел никакого отношения к авиации. Все же после ее слов мы побежали еще быстрее.



Остановились, только добежав до крылатой машины. Здесь нас охватила робость. Лиза крепко вцепилась в мою руку. Мы оба тяжело дышали, не в силах выговорить ни слова. Пилотов оказалось двое. Один, задумавшись, сидел прямо на земле, он не обратил на нас никакого внимания. Другой возился в искалеченном самолете, выгружая оттуда какие-то свертки. Он ругался и охал, но, увидев нас, выпрямился и не без удивления приветствовал поднятием руки.

— Откуда вы взялись, парнишки? — спросил он таким знакомым голосом.

Это действительно был Филипп Мальшет.

Мы смотрели на него во все глаза, все еще держась за руки, словно маленькие. Я просто не в силах был выдавить из себя ни звука. Онемел. То же происходило и с сестрой.

— Мы в районе Бурунного? Далеко отсюда до метеорологической станции? — спрашивал нетерпеливо Мальшет.

Мы упорно молчали. Он пожал плечами и, морщась, стал снимать шлем.

— Немые? Два немых братца? Заблудились? Ой! Ох!

Рыжеватые волосы его слиплись от крови, в руках очутился бинт, и он сам наскоро обвязал себе голову. Даже тогда Лиза не шевельнулась, а ведь она прошла в школе санитарную подготовку.

Поняв смятение сестры, я решительно проговорил:

— Филипп Михайлович, разве вы не узнали нас? Вы же на маяке жили у нас целое лето, еще мне лоцию подарили.

— Черт побери, а ведь это Янька! Ребята мои дорогие!— В восторге он сгреб нас обоих в объятия.— Конечно, помню! Я все собирался написать вам, да уж очень туговат на письма. Родному дяде по четыре года не соберусь написать. О черт, ох! Видишь, какая оказия... Неудачно приземлились. Что-то с мотором произошло.

Он посмотрел на Лизу: — А мне помнится, была девчонка...

— Вы переночуете у нас? — волнуясь и захлебываясь, спросил я.

— На маяке? Разве мы недалеко от старого маяка? Нам нужно метеостанцию. Турышева Ивана Владимировича знаешь?

— Еще бы! Он в Москве, не сегодня-завтра вернется. Я и зову вас на метеостанцию: мы там работаем.

— Да? Голова трещит — ударился обо что-то.

— До поселка далеко. Все равно ведь вам надо где-то ночевать. Иван Владимирович скоро вернется,— бормотал я, больше всего на свете боясь, что Мальшет куда-то уйдет, исчезнет.— И телефон у нас есть... если нужно переговорить...

Верно, в моем дрожащем голосе слышалась такая мольба, что Филипп был тронут.

— Спасибо, ребята. Пошли к вам...— Он отвернулся и с минуту молча постоял у самолета, как бы прощаясь.

— Ну что ж, поработали на нем...— вздохнул Мальшет,— вот и все. Пойдем, Глеб?

Летчик, сидевший на земле, чуть шевельнулся. Филипп подошел к нему.

— Ты не контужен?

— Я уже сказал, что нет! — недовольно буркнул тот, кого он назвал Глебом, и медленно поднялся на ноги.

— Мы переночуем у этих ребят, а утром...

— Черт бы побрал это утро... Начнутся теперь всякие неприятности. Впрочем, это неважно.

Мальшет сунул нам в руки какие-то свертки, папки, и мы пошли через дюны. Он несколько раз оглянулся на самолет, оставленный в песках, его товарищ даже не повернул головы.

— Жаль самолет,— вздохнул Мальшет,— но работу мы успели закончить. Расшифровку можно провести с катера. Хорошая это штука — аэрологическая съемка. Собраны очень ценные данные... Ты говоришь, что Турышев будет завтра? — обратился он ко мне.— Мне нужно его видеть...

Я кивнул головой. Я был счастлив. И все же... Как зубная боль, тревожила меня мысль, что Мальшет забыл нас. Лизу он явно принимал за мальчишку, а ведь светила луна. Меня еще помнил — назвал же он меня Янькой, как тогда, а Лизу совсем забыл. Я знал, что сестре сейчас очень горько. Для нее было бы унижительным, если бы я стал напоминать ему о ней. Вот почему я не разъяснил Мальшету его ошибку.

— Да ты не расстраивайся,— успокаивал Филипп летчика,— составят завтра акт: авария по вине материальной части. Верно, дефект был в моторе. И чего ты так растерялся, дружище? Наверное, можно было сохранить самолет? Ну, как говорится, бог с ним. Хорошо, сами-то целы. Хоть с изрядным плюхом, но сели.

Летчик несколько раз глубоко вздохнул всей грудью, видимо наслаждаясь ощущением здоровья и жизни, и ничего не ответил. Замолчал и Филипп. Луна

поднялась выше...

Как четко проступили холмы на горизонте, ажурный шар на крыше метеостанции, серебряная дорожка на темном притихшем море, освещаемый буй на оконечности рифа. Вдали мигал новый маяк, обычно не видный отсюда,— хорошая сегодня была видимость.

— Так и знал, что сегодня будет неприятность,— нервно бросил на ходу Глеб,— с самого начала рейса был в напряженном состоянии. А тут тебе еще понадобился этот метеоролог...

— Как же знал? — переспросил Мальшет.

— Пьяным себя во сне видел.

— Ну, это уж, брат, чепуха!

— Иногда сбывается. Если отчислят, просто не переживу. У меня ведь это вторая авария.

— Не отчислят. Папаша твой всегда сумеет нажать где надо,— резко возразил Филипп.— Ты лучше сам поразмысли, отчего попадаешь во вторую аварию, и сделай соответствующие выводы.

— Выводы? Какие? — почти крикнул Глеб.— Я летчик по призванию. Мне было десять лет, когда я уже видел себя за штурвалом самолета. Мечтал стать Героем Советского Союза. Конечно, был глуп тогда, не в звании дело. Мне просто отчаянно не везет. Разве моя вина, что мотор сдал? Это с любым летчиком может быть. А насчет папаша ты, Филипп, напрасно. Ему позвонить ничего не стоит, он ради килограмма паюсной икры звонил, но ради меня он пальцем не шевельнет. Да и я не приму от него помощи. Всему, чего я добьюсь в жизни, мне хотелось быть обязанным только самому себе. Но это неважно...—Он словно всхлипнул и продолжал с нарастающей горячностью: — Так все произошло неожиданно. Я допустил левый крен и спокойно исправил его, насвистывая, как вдруг почувствовал запах горелой резины. Этот запах... Сколько времени преследовал он меня после той тяжелой аварии, в какую я попал в позапрошлом году. Впрочем, это неважно... И сразу толчки самолета стали реже. Ты заорал: мотор! И дальше я ничего не помню... как в тот раз. Очнулся уже на земле, когда целый и невредимый вышел из кабины. И все же я посадил самолет. Пусть с плюхом, но посадил. Это уже автоматизм действия. Ценнейшее качество летчика, дающееся упорной тренировкой.

Ты думаешь, я испугался... Нет, я не трус! Страх за жизнь, как такового, я никогда не испытывал. Но вечная боязнь снизить средний балл группы — это когда учился,— боязнь плохого выполнения полета, боязнь отчисления по летному несоответствию. И мучительный страх аварии... О, не в смысле личного риска, ты пойми меня, а то, что я не сумею быть на высоте положения. С тех пор как я стал пилотом, ни минуты покоя. По ночам дурные сны. Снам стал придавать значение после той аварии. Тогда я тоже замертво вцепился в штурвал и потом ничего не помнил. Штурман мой сильно разбился, а я остался цел и невредим, как сейчас. Даже в этом мне не везет.

— Личный фактор... так у вас, кажется, говорят,— задумчиво протянул Мальшет,— не можешь отказаться от летного дела?

— Не могу, нет мне без него жизни. Тогда уж лучше уйти совсем...

Последние слова Глеб прошептал едва слышно. Шагая между летчиком и сестрой, я с замиранием вслушивался в его слова. Я видел, что он весь дрожит от невероятного возбуждения, его буквально корчило. «Вот как можно любить свое призвание, ведь оно для него дороже жизни»,— подумал я и тоже начал почему-то дрожать.

Лиза внимательно вглядывалась в летчика, он вряд ли даже замечал, что мы идем рядом. Теперь он впал в угрюмую задумчивость.

— Слишком с тобой носились, Глеб, вот что я тебе скажу,— с досадой заговорил Филипп. Он был ниже своего товарища, но крепче и шире в плечах. — Ты избалован в семье, потому в жизни тебе неуютно. Мечты о славе — вот что разъедает твою душу. В детстве ты мечтал стать героем, ты и теперь хочешь этого, да чувствуешь— кишка тонка. Сейчас тебе больно, тяжело, горько — понимаю это. Да ведь не самолета тебе жалко, а гордость уязвлена, мучит самолюбие. Скажу откровенно, не хотел бы я очутиться в твоей шкуре. Потому и не вышло из тебя хорошего летчика, что заранее ты любовался собой: красивый, стройный, смелый, герой. Не дело ты любишь, которое тебе доверили, а себя в этом деле. Не сердись, Глеб, я человек прямой. Вот мы со школьной скамьи с тобой приятели; первый раз ты откровенно заговорил. Понимаю, что от перенесенного потрясения, а потом, может, неприятно вспоминать будет. Ну и я тебе честно в глаза высказал то, о чем давно, признаться, думаю.

— Все это совсем не так,— устало возразил Глеб,— ничего ты не понял. Кстати, в детстве никто со мной не носился, как ты говорил. Отец деспотичен и жесток. Он полностью подавил волю матери. Ни гордости, ни собственного мнения, ни даже женского достоинства не осталось у нее. Чувство материнства и то в ней как-то искалечили. Я один мальчишкой боролся с ним, как умел. Чем больше он третировал мать, тем сильнее я ненавидел его. И не боялся это высказывать. Не так... боялся. Панически боялся его, но все же высказывал. Детство мое, Филипп, не из легких, поверь. Вдобавок я был хил и слаб. Не было, кажется, ни одной детской болезни, которой бы я не переболел. При матери хоть уход за мной был какой-то. А когда мать умерла и в дом вошла мачеха — через неделю после похорон, видно наготове была у него, тогда еще хуже стало. Мачеха — красавица, крепкая, сильная, из рыбачек. Как и мать, она преклонялась перед ним. Ради него мужа бросила, сына, да и не поинтересовалась потом ни разу, жив ли тот сын. Из этих мест она откуда-то. Я и за мачеху не простил отцу. Назло отцу — или это было чисто нервным явлением — только я стал в его присутствии беспрерывно смеяться безо всякой на то причины. Как завижу отца, так смеюсь. Ни крики, ни оплеухи не помогали — я смеялся.

«Он у нас идиот»,— решил отец.

Он презирал меня, как жалкого щенка. На вопрос одной знакомой, кем же я буду, когда вырасту,— вопрос-то ко мне был обращен — отец пренебрежительно бросил:

«Клоуном в каком-нибудь цирке».

«Что ж, это неплохо, если есть способности»,— обрезала его знакомая.

«Нет, летчиком!» — крикнул я, выдав в запальчивости свою мечту.

Отец жестоко осмеял меня. Поразительно, что он меня так ненавидит — все же ведь я его сын. Дочь он любит... Сестра получила блестящее образование: ее учили языкам, музыке, всему, что школа еще дает плохо. В двенадцать лет она свободно говорила на английском, немецком, французском языках, блестяще играла на рояле. А какой она математик! Ее научили всему... кроме способности чувствовать. Впрочем, ты знаешь ее лучше, чем меня.

Мне было одиннадцать лет всего, когда я впервые, без матери, один, пошел в поликлинику на прием и спросил врача, как мне сделаться сильным и крепким. Врач, кажется, был здорово удивлен, но подробно растолковал мне, как надо закаляться. Ох, не легким это было для меня делом! Я был зябок —стал спать при открытой форточке, благо меня сунули в отдельную комнату. Боялся холодной

воды, но, содрогаясь, чуть не плача, обливался по утрам ледяной водой. Мне хотелось почитать, уютно устроившись в кресле возле жарко натопленной печи. Вместо того я, выпросив у тебя лыжи (помнишь?), уходил за город, в лес. Твой отец наконец подарил мне лыжи — он многое тогда понимал. Я бы умер, но не попросил ничего у своего отца. Коньки мне подарила на именины мачеха. Она как-то привязалась ко мне постепенно, на свой манер... А летом... впрочем, все это неважно,— вдруг оборвал он себя. И до самого дома больше ничего уже не говорил,

Лиза тоже молчала, словно и вправду была немой. Когда мы подошли к дому, она проскользнула вперед, быстро зажгла лампы в кухне и столовой и укрылась, в своей спальне. ;

Пока Филипп и Глеб говорили по телефону, я успел затопить печи, затем помог им умыться, достал свежее полотенце и ринулся ставить самовар.

Когда я снова вошел в столовую, Глеб сидел, откинувшись на диване, и жадно курил, а Мальшет ходил по комнате, присматриваясь и размышляя. Что-то удивило его в нашей обстановке — то ли обилие книг, толп их выбор. Он сразу выловил свою лоцию, свалив при этом на пол томик Маршака — переводы сонетов Шекспира. Потом он залюбовался бригантиной с ее пышными парусами.

— Мастерская работа! Кто это делал?

— Иван Владимирович. Это он нам на новоселье подарил. Мы и настоящую лодку делаем. Весной спустим на воду.

— А... что же, ты здесь наблюдателем работаешь?

— Нет, сторожем — печи топлю, убираю во дворе и здесь.

Мальшет добродушно усмехнулся.

— Гм! В школу ходишь?

— Ну конечно. В десятый класс.

С характерной для него живостью Филипп уселся верхом на стул и, облокотившись о спинку, с любопытством разглядывал меня. Дерзкие зеленоватые глаза его смеялись, но крупный, четко очерченный рот хранил серьезность.

— Кем же ты будешь, когда вырастешь? — с интересом осведомился он.

Я охотно простил ему его дерзость — мне было лестно, что моя особа вызывает у него интерес.

— Трудно сейчас решить задачу, кем я буду, пока только могу сказать, чего я хочу в жизни.

— Ого! И ты это твердо знаешь?

— Нуда!

— Продолжай, очень интересно!

— Я хочу, чтоб человек научился управлять уровнем Каспия.

Мальшет от удивления даже свистнул. Я видел, что он искренне поражен, встретив во мне своего единомышленника. Этот изумительный человек, пожелавший перегородить море дамбой, даже не подозревал, чем явилась для меня и моей сестры встреча с ним. Что его же идеи, семена, которые он так небрежно разбрасывал повсюду, где проходил, теперь проросли и начали давать плоды. С замиранием сердца я спросил его:

— А вы не можете мне сказать, когда начнется строительство дамбы через море? Мы с Лизой хотим поехать работать на эту стройку.

— Чудеса в решете,— протянул Мальшет.— Я и не подозревал, что мой проект так известен в массах. А кто это Лиза?

— Лиза — моя сестра. Неужели вы ее забыли? Мальшет ничего не ответил, не

знаю, расслышал ли он мои слова. Довольно неловко поднявшись со стула, он смотрел на Лизу, стоявшую в дверях. Мальшет был очень чем-то поражен. И Глеб тоже — он моментально вскочил с дивана и сконфуженно одергивал китель.

Но что произошло с сестрой? Сроду в жизни я не воображал, что Лиза может быть такой красивой. Она даже стала как будто выше ростом — или это оттого, что так гордо и спокойно смотрела сейчас на Мальшета.

Только его одного она, по-моему, и видела. Сестра надела бальное платье, присланное артисткой Оленевой, и светлые туфельки на высоких каблукках. Темные блестящие волосы зачесала как-то совсем по-иному (обычно она ведь носила косы), я даже не подозревал, что она умеет делать такие прически. Щеки ее горели румянцем, светло-серые глаза сияли радостью и торжеством.



У меня вдруг сжалось сердце. Мне было тогда всего шестнадцать лет, но я уже знал теньевые стороны жизни — мне приходилось не раз быть свидетелем некоторых циничных разговоров ловцов о женщинах. Не все ведь были такие, как наш Фома. Я испугался, что неуместный наряд сестры и то, что она так откровенно радовалась встрече, будут плохо истолкованы. Они не могли знать, как знал я, что, несмотря на свои восемнадцать лет, моя старшая сестра была еще совсем ребенком, чистым и наивным. Одно чувство пьянило нас обоих в тот незабываемый вечер: наконец-то началось чудесное! В дом опять вошел Мальшет и с ним яркий огромный мир, полный обещаний, зова, надежд. Возможно, что у сестры это чувство осложнялось чисто девичьей обидой на его забывчивость и невнимательность и упрямым желанием доказать, что она стала взрослой и красивой. Ведь не могла Лиза не знать, что она красива.

Все же эксперимент был опасен. Она просто могла показаться смешной в этом бальном серебристом платье в заурядной домашней обстановке осенних будней. Вот почему я испугался за нее. Но опыт удался. Лиза была слишком прекрасной, чтоб показаться смешной. Не смех она вызывала, а восторг. С этой минуты для Филиппа и Глеба началось то чудесное, что к нам с Лизой пришло с вынужденной посадкой — вторым появлением Филиппа Мальшета. В театральном появлении Лизы притаилась по-детски горячая просьба о душевном, настоящем, ярком. И она была услышана.

— Где же были мои глаза? — жалобно вскричал Мальшет.
— Разрешите представиться... — торжественно начал летчик, — Глеб Павлович Львов.

Глава четвертая

ЛИЧНЫЙ ФАКТОР

Странно, что эта фамилия ничего нам не напомнила...

— Вы, наверное, очень голодны, сейчас будем ужинать, — пообещала сестра и бросилась на кухню, я за ней. Сердце мое было переполнено.

К ужину мы подали все, что у нас имелось, досадуя, что нет ничего получше. Хорошо еще, что мы ждали сегодня Ивана Владимировича и потому напекли пирогов. Так на круглом столе, покрытом крахмаленной белой скатертью, очутились: большой кусок розоватого шпика, рассыпчатый картофель «в мундире», вареные яйца, домашний, на диво пахучий ржаной хлеб (Лиза сама его искусно выпекала), пшеничные пироги со свежей капустой и яйцами, ватрушки с козым творогом, пряники на арбузном меду и — гвоздь обеда — зажаренный осетр.

— Больше ничего нет, — с сокрушением воскликнула сестра, — могу еще разогреть борщ, хотите?

— Как на Маланьину свадьбу, — засмеялся Мальшет. — Теперь я вспомнил: вы и в детстве были уже хорошей хозяйкой.

Пока мы с Лизой заканчивали приготовления к ужину, Филипп пересмотрел нашу библиотеку.

— Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты, — пошутил Мальшет.

— Кто же она? — проронил Глеб. Он был очень бледен, глаза лихорадочно горели, и все же в уголках его пересохшего, потрескавшегося рта застыло какое-то высокомерие.

— Сестрица Аленушка и братец Иванушка, вот кто они, — улыбнулся океанолог и мимоходом погладил меня по голове.

И это я ему на радостях простил. Когда я внес самовар и установил его на подносе, Филипп что-то поискал в карманах своего плаща.

— Вот вам гостинец, — и протянул нам по плитке шоколада, — в следующий раз привезу что-нибудь поинтереснее.

— Значит, вы еще приедете? — наивно обрадовалась сестра.

— Конечно... Если мы с Иваном Владимировичем будем работать в одном направлении.

— Консультация? — спросила Лиза.

Она совсем не дичилась, и мы с ней наперебой рассказывали о Турышеве, о нашей работе на метеостанции, о Фоме и односельчанах.

Мальшет, в свою очередь, подробно разъяснил нам, как обстоят дела с проектом дамбы: газеты и журналы охотно о нем пишут, но на деле ничего не ведется для его осуществления.

— Почему ваш проект называют теперь проектом профессора Сперанского? — спросила серьезно Лиза. — Ведь мы хорошо знаем, что он именно ваш.

— Потому что он Филька-простака, — вставил Глеб, немного оживившийся за

столом,— знаете, есть в театре амплуа «простака», так он простак в жизни.

Мальшет пожал плечами.

— Профессор его значительно усовершенствовал. У меня дамба расположена неудачно по отношению к волнам, а они на этом участке достигают большой силы. Ось плотины у меня проходит по большим глубинам (до девяти метров!) с илистым дном. У профессора Сперанского дамба проходит значительно севернее, по глубинам от половины до полутора метров. Да и расположена удачнее по отношению к ветрам и разгону волн. Стоить будет теперь гораздо дешевле. Это большая удача, что такой знаток Каспия, как профессор Сперанский, заинтересовался идеей дамбы и нашел необходимым разрабатывать ее дальше.

— Как будто твой профессор не мог помочь тебе в порядке этой самой консультации,— едко возразил Глеб и захохотал.

— Можно было сохранить оба имени,— тихо произнесла Лиза.

— Подумаешь, бессмертная слава!—добродушно усмехнулся Филипп Мальшет. У него была своеобразная улыбка, очень его красившая, дерзкая и добрая в то же время — его улыбка.— Важно так или иначе разрешить раз и навсегда проблему Каспия. И в этом мне поможет маститое имя. С большим вниманием отнесутся к проекту.

— Но ведь ты сам признал, что о проекте только пишут, а воз и ныне там! — язвительно бросил Глеб. Он положил себе на тарелку кусок рыбы, и я невольно обратил внимание, какие у него красивые узкие руки с длинными пальцами. И сам он был красив. Только красота эта была какая-то чахоточная — румянец щек, то разгоравшийся, то гаснувший, лихорадочный блеск глаз, раздражительность. Что-то его грызло исподтишка. И я вдруг подумал: Глеб низа чтобы не отдал свой проект другому, хотя бы и усовершенствовать, хотя бы и ради успеха дела.

— Пишут — значит, и читают, все больше сторонников,— невозмутимо сказал Мальшет, прихлебывая чай.

— Что толку? — почти крикнул Львов.— В Госплане лежит почти год...

— Госплан занимается более неотложными делами — разработкой планов семилетки. Конечно, проблема Каспия тоже неотложная... Ну что ж, будем это разъяснять, пропагандировать.— Мальшет обвел всех ясным взглядом и продолжал: — Если бы явился кто-нибудь с более подходящим проектом, нежели мой или профессора Сперанского, я бы с великой радостью стал бороться за него. Вот будет скоро совещание по проблеме Каспия. Я предложу объявить конкурс на лучший проект.

— Думаешь, что совещание много даст? — насмешливо поинтересовался Львов.

— Да.

— Поговорят да тем и ограничатся. Любят у нас поговорить!..

— Может быть, у нас и много говорят, но тебе придется признать, что еще больше делают,— сухо отпарировал Мальшет и, желая прекратить разговор на эту тему, обратился к Лизе: — Не скучаете здесь, в таком уединении?

— Нет.

— Не всякая девушка могла бы здесь жить... Сестра доверчиво смотрела в глаза молодого ученого, опустив на колени маленькие огрубевшие руки.

— Конечно, мне бы хотелось поехать по стране, по« посмотреть...— раздумчиво начала Лиза,— я еще ее не знаю, мою страну, так, краешек видела, когда одну зиму училась в Москве на курсах. Я часто думаю о Сибири — прозрачные холодные реки, неоглядная тайга, звериные тропы, по которым нога человека не ступала. Вдруг приходят молодые, неунывающие, и вот в

непроходимых дебрях вырастают города. Мне бы хотелось там поработать. Но я не поеду туда...

— Почему?

— Каждый должен довести до конца свое дело, а не разбрасываться.

— А у вас есть свое дело? — Мальшет даже подался вперед.

Глеб смотрел на Лизу саркастически. «Мечтательница, фантазерка» — вот что читалось в его глазах. Странно, ведь он тоже был мечтатель.

— Какое же дело? — нетерпеливо спрашивал Филипп, так как Лиза затянула паузу.

— То же, что и у вас, — краснея, сказала Лиза. — Вы же и захватили нас — меня и Яшу... Проблема Каспия... Я хотела завтра поговорить с вами... с чего нам начинать? Где мы будем полезнее... Только давайте завтра лучше поговорим, ладно?

— Ладно... — медленно протянул Мальшет. Он тоже чуть покраснел, переводя взгляд с меня на Лизу и обратно. Что-то виноватое промелькнуло в выражении его мужественного лица. Он задумался.

— Сколько вам лет? — спросил Глеб у сестры.

— Скоро девятнадцать будет...

— Неужели вы мечтаете только о стройках, о дамбах... А о любви — яркой, властной, красивой любви? Все девушки о ней грезят, не так ли?

У него чуть дрогнули словно точеные ноздри, в колючих синих глазах, устремленных на сестру, зажглись золотистые искорки, они вспыхивали и гасли. Все же Глеб был очень хорош собою, надо признать это беспристрастно. Только уж очень у него была длинная шея — как у гусака.

Лиза вспыхнула, но не от слов, а от его взгляда. А я вдруг совершенно точно осознал, что этот парень мне не нравится, хоть он и летчик. Должно быть, я взглянул на него не очень ласково, но лишь Филипп перехватил мой взгляд, Глеб на меня не посмотрел за весь вечер.

Филипп молчал. Может, и он ожидал от Лизы ответа на этот вопрос.

— Видите, я угадал! — торжествовал Глеб.

Лиза чуть выпрямилась и покачала головой.

— И угадали и нет. Скажите, вы читали о путешествии Черской — жены великого исследователя Сибири Ивана Дементьевича Черского?

— Ну и что? — торопил Глеб.

— Мавра Павловна была другом и помощницей мужа во всех его экспедициях, трудах, испытаниях. Она вместе с мужем и двенадцатилетним сыном Сашей пересекла непроходимые до того горы — между реками Индигиркой и Колымой... Белым пятном на карте Севера были места, по которым они прошли. Теперь этот горный хребет носит имя Черского. Всегда вместе по трудным и темным дорогам. Они плыли по Колыме, муж ее умирал, а она выполняла все научные наблюдения, какие надо, заботилась о больном и о ребенке. Мавра Павловна думала, что не переживет смерть мужа, так она его любила... За то любила, что он поднял ее до подвига...

Простая малограмотная девушка... Что бы ей досталось в удел, не встретить она ссыльного ученого Ивана Черского? Он сам и образование ей дал и повел за собою. Но ведь и он, слабый, больной, без нее давно бы пал духом. Это она, сильная русская женщина, поддержала его.

Когда у мужа началась агония, Мавра Павловна стала учить мальчику, как поступить с бумагами и коллекциями, если и она умрет. Черский сказал: «Саша, слушай и исполняй...» С этими словами он умер. Но Мавра Черская все вынесла и

довела экспедицию до конца. Вот. Мне бы хотелось стать такой женщиной, как эта Черская. О такой любви я мечтаю.

Лиза опять смутилась. Может, испугалась, что слова ее примут за хвастовство?

— Конечно, теперь и без мужа можно идти в экспедицию, если окончишь университет,— тихо добавила она.— Но мы заговорили о любви...

— Женщины любят сильных, неудачников они презирают,— с горечью сказал Глеб. Оживление его погасло, как и золотые искорки в глазах.

— Черский был слаб, чахоточный даже, но любовь замечательной женщины сделала его сильным,— живо возразил Мальшет.

— Он был силен духом, тем и покорила ее! — Глеб нервно поднялся с места и заходил по комнате, натываясь на мебель.— Знаете, что сказал мой отец, когда я добился своей цели? Он сказал: «Научить летать можно и медведя. Весь вопрос — долго ли он будет летать». Как видите, он был прав. Второй раз замертво вцепиться с штурвал...

— Очень прошу, Глеб, не впадай в истерику,— насупившись, попросил Мальшет.

Глеб обиделся и замолк.

Мы с Лизой еще не убрали со стола, как послышалось фырчание мотора. Фома подвез на своем мотоцикле закутанного до самых глаз Ивана Владимировича.

Охи да ахи, восклицания, знакомства, я снова поставил самовар. Теперь поили и кормили вновь прибывших, а мы так, за компанию, выпили по стаканчику. Раскрасневшийся от ветра Фома, в морской суконной куртке и фуражке, очень обрадовался Мальшету, но испугался, увидев на его голове окровавленный бинт.

— Ничего особенного, можно уже снять,— сконфузился Мальшет. Он хотел содрать бинт, но мы запротестовали.

Мальшет объяснил Ивану Владимировичу, почему он очутился здесь: хотел познакомиться с автором труда о климате Каспия. Иван Владимирович очень сдержанно, как он всегда вел себя с малознакомыми людьми, пожал ему руку. Впрочем, он уже много слышал о Мальшете, читал его статьи в специальных и популярных журналах.

Разговор не вязался. Иван Владимирович устал с дороги и скоро ушел спать, извинившись перед всеми. Фома угрюмо разглядывал летчика: чем-то он его поразил.

Я стал мыть посуду, Лиза осторожно, чтоб не запачкать нового платья, вытирала ее чистым полотенцем.

— Думаю, что устали, и спать пора давно — такое пережить сегодня,— обратилась она к потерпевшим крушение.

Фома поспешно поднялся и стал прощаться. Я вышел его проводить. Луна безмятежно плыла в вышине, озаря холмы и море.

— Может, останешься ночевать,— нерешительно пригласил я,— постелю на полу... А? Вместе ляжем. Ехать далеко.

— Спасибо. На мотоцикле скоро. Откуда они взялись... вдруг?

Я еще раз объяснил ему все. Фома чего-то долго размышлял.

— Чей же сын... этот Глеб Львов? Однофамилец или...

Я так и ахнул: как же до меня не дошло? Слишком я обрадовался Мальшету и ничего не соображал. Конечно, Глеб Павлович Львов — сын профессора Львова, климатолога и географа...

— Его сын? — шепотом допрашивал Фома. Кулаки его угрожающе сжались.

Я просто, что называется, обалдел. Неужели Иван Владимирович узнал Глеба и оттого был так сдержан и скоро ушел к себе? Ну да! Как же я-то был так

недогадлив? И сестра тоже...

— Глеб ни при чем,— стал я торопливо доказывать Фоме,— он сам пострадал от отца. Даже мачеха была к нему добрее, чем этот родной отец.

— Мачеха... Ты говоришь о моей матери? Она была к нему добра... к своему новому сыну? Зато меня она бросила...

У меня просто руки опустились и язык стал ватным.

— Яблочко от яблони недалеко падает,— сумрачно сказал Фома и, повозившись немного с мотором, уехал.

Я стоял на крыльце, пока не замерз. Наконец вошел в дом. Лиза, уже в стареньком платице, ставила на завтра блины. Глеба она уложила на диване в столовой, Мальшета на моей постели. Я хотел все рассказать Лизе, но вдруг подумал, что она может потом не уснуть всю ночь, и промолчал.

Я устроился в кухне на сундуке, подстелив под себя бараний тулуп Ивана Владимировича. Когда Лиза наконец потушила свет, Мальшет уже похрапывал, растянувшись во весь рост на моей койке, которая явно была ему коротка: ноги просунулись сквозь прутья спинки. Скоро уснула и сестра, нахлопотавшись за день. Но я попял, что мне сегодня не уснуть. Я был просто подавлен.

Всю эту ночь — ох и долго же она длилась! — я думал на разные лады о величайшем негодяе, который только существовал, о Павле Дмитриевиче Львове и о его сыне.

Подушка нестерпимо нагревалась, и я с досадой то и дело переворачивал ее. Луна заглядывала в окна, принося с собой какую-то тревогу, беспокойство. Все давно спали, я один, наверное, так мучился. Все же и я стал понемногу поддаваться дремоте, как вдруг скрипнула половица. Я с усилием раскрыл слипающиеся глаза. Львов, совершенно одетый — или он и не раздевался,— прошел мимо меня, стараясь ступать как можно тише. Он еще не вышел в сени, как на меня навалился сон. Не знаю, сколько я спал — девять, пятнадцать минут, полчаса,— разбудил меня беспокойный толчок сердца, сна как не бывало. «А вдруг он повесится?» — подумал я. Наскоро одевшись, я заглянул в столовую. Диван был пуст.

Я вышел во двор. Глеба нигде не было. Смущенный, я обошел дом, заглянул в сарай — везде пустынно и тихо. Ветер шевельнул веревку, протянутую через двор, словно взял рукой и потряс. Луна плыла так же высоко, но уже побледнела. На востоке пробивалась слабая заря, без румянца. Я вышел на дорогу и остановился. Где же ему быть? Может, у разбитого самолета?

Не раздумывая, я бросился туда, как вдруг увидел идущих мне навстречу Фому и Глеба. Они шли рядом и о чем-то говорили. Увидев меня, несколько не удивились.

— Какая странная ночь... Ты знаешь, Яша, кого я нашел? Сына моей мачехи... — сообщил мне Львов как-то чересчур радостно. Лицо его сияло, словно он встретил родного брата, которого разыскивал годами, а ведь еще вчера — я был уверен в этом — он и не вспоминал о Фоме.

Фома вел себя сдержанно и, казалось, не особенно доверял этой радости. Не потому, что думал, будто Глеб притворяется, а просто считал, что радость эта непрочная, мимолетная.

— Я теперь буду постоянно навещать тебя в Бурунном. Какая неожиданность, что мы встретились у самолета,— быстро и весело говорил Глеб.— И ты теперь, когда будешь в Москве, останавливайся только у нас. Аграфена-то Гордеевна как будет рада! У меня ведь там отдельная комната, так и числится за мной. Можешь всегда приехать и жить у меня.

— Да я найду, где остановиться,— нехотя возразил Фома.

— Нет, только у нас, у нас... Ведь это твоя родная мать, хоть и не желала знать тебя и не писала.

— Писала она... только я редко отвечал. Отец-то совсем не переписывался, а мне не запрещал писать.

— Как — писала? — Глеб почему-то ужасно был поражен и словно недоволен этим.— Будем теперь все вместе жить...— пробормотал он. Это была такая явная чушь, что я просто поразился.

— Отец-то твой... Павел Дмитриевич будет против...— лукаво протянул Фома.

— Ничего не против, он уж не такой плохой человек, крупный ученый...

Глеб начал было расписывать, какой у него отец, но я, не выдержав, перебил и спросил Фому, как они встретились. Фома с готовностью рассказал.

Он проехал километра три, когда вспомнил, что завтра выходной день. Почувствовав себя свободным, тут же вернулся назад, но войти к нам не осмелился — свет уже погасили. Решил походить до рассвета, а утром помочь летчикам, если им понадобится помощь. Луна светила ярко, и ему пришла мысль пойти посмотреть на самолет (мотоцикл он поставил возле метеоплощадки). Самолет нашел легко и долго осматривал его, зажигая спички. А потом смотрит — летчик идет.

Мы уселись на крыльце. Глеб заявил, что спать не хочет и, если мы не возражаем, будем разговаривать, пока не взойдет солнце. Фома и Глеб тотчас закурили, каждый свои папиросы. Говорил один Глеб. О себе — случаи всякие из своей летной жизни.

Утром Глеб уехал, простившись со всеми довольно сухо. Только Лизе очень долго жал руку, пока она ее не отдернула. Мальшет задержался на пару дней. Ему надо было убедить Ивана Владимировича написать статью о Каспии для «Известий», и тот обещал. Кажется, Филипп ему понравился.

Эти два дня промелькнули очень быстро. Лиза разрешила мне не ходить в школу, но у меня и без школы хлопот был полон рот.

В этот приезд -Мальшета мне так и не довелось поговорить с ним по душам. То он часами спорил с Иваном Владимировичем о каких-то тектонических нарушениях, продуктивной толще, сураханской свите, антиклинальных складках, сейшевых течениях — просто ничего нельзя было понять, будто не на русском языке они говорили. То уходил искать с Лизой следы эоловых наносов. Уж берега-то я знал получше сестры, но из-за всей этой «тарабарщины» чувствовал себя таким дураком, что мне оставалось только идти на кухню ставить самовар и жарить рыбу для прокормления всей ученой компании. А я-то думал, что уже много знаю—все-таки десятиклассник!

Когда Мальшет уехал, обещав на этот раз писать регулярно, сразу стало слишком тихо и пустынно, будто наша метеорологическая станция была не в девяти километрах от веселого рабочего поселка, а на необитаемом острове.

Уезжая, Мальшет оставил крохотную, как уголек, надежду, которая сразу стала разгораться. Он сказал:

— Я теперь еду в Москву и буду настойчиво требовать создания Каспийской экспедиции по трассе будущей дамбы. Она пройдет от вашего Бурунного... Понадобится человека четыре рабочих, желательно с образованием, чтоб они могли при случае помочь в научных наблюдениях. Подобрать подходящих людей мы поручим Яше — ему и карты в руки... Если он, конечно, не против.— И он улыбнулся своей мальшетовской улыбкой, глянув на меня.

Еще бы, я да не хотел! Меня просто распирало всего от гордости и счастья. С

того момента я начал бредить этой экспедицией. Мысленно я тотчас подобрал людей: Лиза, Фома, Ефимка и, разумеется, я сам. В их согласии я не сомневался — какой же нормальный человек откажется от участия в экспедиции?

Сестра, как всегда, словно прочла мои мысли.

— А школа? — спросила она грустно.

— Можно договориться с директором и сдать выпускные экзамены осенью...

— А если так не разрешается?

— Тогда будем заканчивать заочно. Такой случай не всегда подвернется.

...Как-то сразу легла зима, и море замерзло до самого горизонта — огромная ледяная пустыня, блистающая днем на солнце и ночью при лунном озарении триллионами алмазных искр. Только темные снежные тучи, наползающие из-за моря, как лава, одни могли гасить этот ослепительный блеск.

Каждое утро, еще впотьмах, мне приходилось идти с ломом расширять замерзшую прорубь, в которой Лиза определяла температуру воды. Откровенно говоря, и эта зима была далеко не легкой — много работы, много учебников, которые надо одолеть, утомительное хождение пешком в Бурунный и обратно, к тому же морозы и ветры.

Кроме того, я ввязался в борьбу с Павлушкой Рыжовым — я упоминал о нем в начале моих записок. Целую длинную повесть из школьной жизни можно было бы написать о нашей борьбе с Павлушкой... Но я бы тогда, как говорится, отвлекся от своей темы. Скажу коротко: это именно я сумел добиться, что ребята категорически отказались выбирать на какую бы то ни было общественную должность Павлушку.

Учителя упорно его выдвигали (кроме нашего географа, классного руководителя Афанасия Афанасьевича — он-то его раньше всех раскусил), а мы еще упорнее давали ему отвод. Один раз произошел просто скандал. На торжественном заседании в день празднования Октябрьской революции Рыжова опять выдвинули в президиум, не поставив в известность ни одного из нас.

Павлушка, задрав нос, прошептал на сцену — его хлебом не корми, была бы возможность поважничать. Ребята разволновались и стали кричать:

— Долой Рыжова!

Здесь же в первом ряду сидел его отец — директор рыбозавода, такой же пухлый, белесый и рыхлый, как и Павлушка. Наш школьный директор, должно быть, почувствовал себя неловко и, желая замять инцидент, хотел объявить заседание открытым. Но я встал и потребовал вывести Павлушку из президиума на том основании, что мы его не уважаем.

Это был настоящий скандал, и Рыжову-сыну пришлось уйти. Потом эту историю разбирали и на педсовете, и на бюро, и на комсомольском, и на классном собраниях. Меня вызвали на педсовет и задали вопрос: как я лично отношусь к своему товарищу и однокласснику Павлу Рыжову.

Я, не задумываясь, выпалил, что терпеть его не могу! Учителя переглянулись и спрашивают:

— За что?

Я ответил, как и думал на самом деле, что он плохой комсомолец. Что лучше быть хорошим, честным беспартийным, чем плохим комсомольцем. Плох же он тем, что краснобай. Ему ничего не стоит к месту и не к месту употреблять такие великие слова, как Родина, партия, коммунизм, космос, спутники, комсомол. Но на самом деле он не чувствует ни космоса, ни коммунизма — ничего! От частого

употребления слова эти для него стерлись, как хорошая, но затасканная песня, и ровно ничего не значат. Он говорит одно, а делает другое. Вернее, он ничего не делает, а только говорит. Небось когда мы сажали пришкольный сад или вместе с ловцами-комсомольцами работали на строительстве клуба, Павлушка палец о палец не ударил. А на Первое мая вышел на трибуну «от учеников», хотя мы его не уполномочивали, и сказал:

«Мы построили клуб!»

И потом, он лицемер: перед учителями один, а перед нами совсем другой. И, наконец, самое в нем отвратительное, что он с пеленок властолюбив и любит распорядиться. Ну, а мы не дураки и не дадим ему такой возможности...

Афанасий Афанасьевич, который до того смотрел в пол, встал и при мне говорит:

— Очень точная характеристика. Молодец, Ефремов! Оставайся таким принципиальным навсегда.

А кое-кто из учителей рассердился, зачем он при мне это сказал. Ну, вот и все. Мы побороли!.. Только какое-то предчувствие говорит мне, что с Павлушкой нам придется бороться всю жизнь.

Приходили письма. Глеб писал Лизе — не знаю что, не читал. Мальшет — нам обоим, коротко, с «гулькин нос», и больше спрашивал, чем сообщал. С Иваном Владимировичем у них шла обширная переписка, на том же тарабарском наречии: «брекчированные доломиты гокракско-спириалисового возраста». Если это перевести на русский язык, следовало понимать, что денег на экспедицию не дают...

Приходили письма и для меня лично. Писала Марфа — дочь заслуженной артистки Оленевой. Она прислала свою фотографию. Никогда я не видел таких глаз, такого рта — какое-то совсем особенное выражение. Она неизмеримо красивее Лизы и, судя по письмам, необыкновенно умна. Увлекается плаваньем, греблей и фехтованием на рапире. Я сам сделал модель парусной шхуны (Иван Владимирович только консультировал), вроде той, что нам подарил Турышев, и послал ей на память. Яхту я назвал «Марфа» — написал масляной краской на борту.

Всю весну мы очень много с Лизой зубрили — до обалдения. Только раз и устроили себе праздник, когда вышла из печати книга Ивана Владимировича «Проблема Каспия». Выпили за круглым столом шампанского и от всей души поздравили нашего милого старика. Жаль, что не было Фомы, он охотился на тюленей. Было очень весело. Иван Владимирович подарил нам по экземпляру своей книги с автографом.

Экзамены мы выдержали успешно. Лиза на четыре и пять, я на одни пятерки. Был выпускной бал (мне почему-то взгрустнулось на этом вечере). Лиза надела наконец по назначению свое новое платье, то, серебристое в поперечную полоску. Такое точно платье есть и у Марфы...

Мы окончили десятилетку, но как-то не верилось. Значит, всё, и мы уже взрослые... А школа, как и детство, уже прошлое. Нам выдали аттестат зрелости. Теперь от нас ждали больших свершений от каждого. Потому что это была эпоха больших свершений. Шел первый год семилетки. Он начался запуском космической ракеты. В доках спешно отстраивали атомный ледокол. Турбины

электростанций работали на атомном топливе. В газетах писали: «Символом нашей эпохи стали космическая ракета и окруженное орбитами электронов ядро атома». Символом нашей эпохи стал человек,

проникающий в тайны бесконечно великого. На моей родине хлебопашец или рыбак пользуются таким же уважением, как ученый-физик. Это очень хорошо! По-моему, это важнее, чем запуск ракеты.

Иногда я не спал до четырех часов, раздумывая над этими вещами. Я еще не знал, что такое бессонница, просто было интересно лежать в тишине, когда все в доме спят и в голову приходят самые странные мысли.

Глава пятая

ВЕТЕР В СЧАСТЬЯХ

Итак, мы — взрослые. Пришла пора окончательно и верно избрать дорогу в жизни, чтоб потом с нее не сворачивать.

Лиза не колебалась, у нее давно уже было все решено и обдуманно: она будет океанологом. Учиться она решила заочно, чтоб не расставаться со мной — так меня любила старшая сестра. Я тоже любил ее больше всех на свете, больше отца.

У меня дело было сложнее: как это ни странно, я еще не выбрал, кем я буду, хотя твердо знал, что моя судьба так или иначе будет связана с Каспийским морем. Очень соблазняло Бакинское мореходное училище, в котором учился Фома, он уже перешел на второй курс. В училище было четыре отделения: штурманов дальнего плавания, судовых механиков и электромехаников и судовых радистов. Когда судно терпит бедствие и вынуждено через эфир умолять: «Спасите наши души!» — радист выступает как главное лицо, от его выдержки многое зависит.

Несчастье мое состояло в том, что мне нравилось слишком много профессий сразу. Ихтиология, например, очень ведь интересна. А гидрология, биология, океанология — каждая «логия» была по-своему интересна. Беда, да и только!..

Думал я, думал и решил, что, пожалуй, действительно не по возрасту глуповат —наивен, как деликатно выражалась наша преподавательница русского языка Юлия Ананьевна. Раз уж я так отстал в своем развитии, то разумнее всего с годок поработать матросом — ловцом у Фомы. Он теперь был капитаном промыслового суденышка «Альбатрос» и звал меня к себе. А еще лучше —это было бы просто замечательно! — отправиться с Мальшетом в экспедицию, но дело это что-то заглохло.

Когда Лиза узнала о моем решении, личико ее вытянулось и побледнело. Вспомнила, как наша мама утонула в море. Боялась и за меня. Но, выслушав все мои доводы, все же скрепя сердце согласилась. Только потребовала, чтоб я хоть с месяц отдохнул дома после экзаменов. Я не возражал. Как раз в районную библиотеку пришла партия новинок, и было очень соблазнительно не торопясь, на свободе их перечитать.

Однажды, это было после полднего наблюдения, мы с Лизой сидели на каменной плите в тени дома и читали по очереди вслух «Туманность Андромеды», как вдруг вдаль зарокотал мотоцикл, и, пока мы, отложив книгу, прислушивались, подъехал мой приятель Ефимка Бурмистров, загорелый до

черноты, черноглазый и кудрявый, худой, как глистенок. Особенно он похудел с тех пор, как купил подержанный мотоцикл конструкции двадцатых годов.

Ефимка на чем свет стоит ругал пески, из-за которых он чуть не свернул себе голову, так скверно было ехать. Впрочем, я по его глазам видел, что он чем-то весьма доволен.

— Фома Шалый велел тебе передать, чтоб приступал к работе, так как время горячее — пугина, и людей не хватает. Сегодня выходим в море. Я тоже выхожу. Лады?

Я бросил взгляд на побледневшую сестру.

— Придется ехать, — вздохнул я, стараясь не показывать, как обрадовался.

Лиза молча встала, чтоб меня собрать. Но Ефимкины новости еще не кончились.

— Лизу просят прийти в клуб, — простодушно сообщил он.

— Почему же... меня? — удивилась Лиза.

— В Бурунном целая эскадрилья самолетов, еще ночью прибыли! — выпалил Ефимка. — Сейчас собрание начнется. А Лизе записка...

Ефимка протянул ей конверт, достав его из фуражки, где он и сохранялся всю дорогу. Из-за проклятых песков конверт весь вымок.

Лиза прочла и покраснела.

— Знаешь, кто приехал? — воскликнула она. — Глеб Павлович Львов. Зовет нас в Бурунный, хочет повидаться...

Записки она не показала, но я ни секунды не сомневался, что звал он одну Лизу, только я сделал вид, что поверил. Как же, отпущу я сестру одну, пусть дожидается!

— Я вас доведу обоих, — важно обещал Ефимка.

Через четверть часа мы уже мчались со всей скоростью, какую можно развить на нашей дороге на антикварном мотоцикле. Доехали благополучно, если не считать того, что два раза вываливались на полном ходу в песок. Ефимкин мотоцикл вообще со странностями, как норовистая лошадь. Ругать его нельзя, а то он пуше того взбесится, потому Ефим ругает всегда лишь песок.

Мы завезли Лизу к Маргошке (сестра хотела умыться и запудрить синяк), а сами отправились напрямик к клубу. К великому удовольствию куривших возле клуба парней, мотоцикл высадил нас единым махом на высокое крыльцо — клуб у нас на сваях — и, повернув на сорок пять градусов, попятился и налетел на неуспешного посторониться Павлушку Рыжова. Пока он отряхивал свой новый костюм, мы скрылись в толпе.

В поселковом клубе былолюдно, как никогда, и так шумно, что почти не было слышно пущенную на всю мощность радиолу. Собрались все ловцы, кормщики, механики, капитаны промысловых моторных судов. Девушки-рыбачки принарядились кто во что горазд. Смех, возгласы, песни, загорелые лица, белозубые улыбки, морские куртки, полосатые тельняшки, соленые остроты — у нас на этот счет не стесняются. На празднично прибранной сцене висела огромная карта Северного Каспия.

Директор рыбозавода, Павлушкин отец, беседовал возле сцены с пилотами. Я сразу увидел среди них Львова, но усомнился, он ли это — так Глеб изменился. Он был весел, спокоен, держался уверенно. Может, он всегда был такой, а тогда сделался «сам не свой» из-за перенесенной аварии. Уж очень он боялся, что его отчислят по летному несоответствию и «спишут на землю», как выражаются летчики. Но его не отчислили — верно, дефект был в моторе.

Глеб, должно быть, почувствовал мой взгляд и обернулся. Я думал, что он

меня не узнает, но он сразу узнал и, оживившись, быстро подошел и пожал мне руку.

— Где Лиза? — нетерпеливо спросил он.

Я коротко объяснил. Он пристально посмотрел мне в лицо.

— До чего ж ты похож на сестру! — вырвалось у него.

Я уже привык, что люди удивляются нашему сходству, хоть мы и не близнецы. Все объясняется очень просто: мы — «вылитая мать».

В этот момент появились Лиза с Маргошкой. На Лизе была широкая юбка в мелкую клеточку и серая, под цвет, шелковая блузка на пуговицах. Она умылась, расчесала и заплела косы. Волосы у нее хорошие — густые, вьющиеся. Если бы Лиза остригла тяжелые косы, то сразу стала бы курчавой, как Ефимка.

Зато Маргарита была, что называется, ослепительна. Румяная, в розовом платье, глаза как вишни, на щеках ямочки, на локтях тоже, на запястьях словно веревочкой перетянута, как у младенца. Не удивительно, что, на зависть прочим девчатам, и наши парни, и летчики так на нее и уставились. Только не Глеб. Его, кажется, не удивишь красотой, не этого искал он в женщине. Сестра познакомила его с подругой, он вежливо поклонился, но заговорил с Лизой, не обращая более никакого внимания на Маргошку.

Лиза, по моим наблюдениям, не имела успеха у здешней молодежи. К ней все без исключения хорошо относились, но и только (кроме, конечно, Фомы). Даже танцевать не приглашали. Я слышал, как девчонки-одноклассницы и та же Маргошка говорили о Лизе: «Она не имеет успеха у ребят... ну, а Фома вообще шалый». Я тогда подумал: почему? Видел же я, какое впечатление произвела она на Глеба и Мальшета. Мне кажется, наших парней расхолаживали ее ум и большая начитанность. Они как-то стеснялись ее, боялись показаться неразвитыми, что ли. А Глеб не мог оторвать от сестры глаз. Он взял ее за руку и отвел в сторону, что было просто невежливо по отношению к Маргошке. У той от обиды слезы выступили на глазах, но другие летчики сразу загладили промах: принялись говорить ей комплименты.

Я присел на стул в уголке, откуда всех было видно. Странно, когда Глеб стоял возле сестры, такой подтянутый, в новом летном костюме, гладко выбритый, красивый, он выглядел таким сильным и уверенным в себе, а мне почему-то казалось, что он ищет в моей сестре поддержки и защиты.

Я заметил, что летчики с любопытством разглядывали исподтишка мою сестру, даже те, кто в это время шутил с Маргошкой. Начальник авиаразведки товарищ Охотин, уже пожилой человек, с круглым обветренным лицом, видимо большой добряк, наконец потребовал от Глеба, чтобы он познакомил товарищей со своей приятельницей. Глеб стал их знакомить и пошутил:

— Вот если я когда надумаю жениться, то лишь на такой девушке, как Лиза.

Сестра как-то странно посмотрела на него, в ее светло-серых глазах так и запрыгали смешинки. У нее очень развито чувство юмора.

— Я знаю, что она сейчас подумала! — воскликнул Охотин и обратился к Лизе: — Вы подумали: ну, а я не уверена, такого ли мне мужа надо, как Глеб Павлович... Ведь так, правда?

— Правда, — подтвердила Лиза.

Боже, что тут было! Летчики так расхохотались, что один даже закашлялся и посинел, воздух ему не в то горло попал. Охотин смеялся буквально до слез, вытащил из кармана кителя платок и вытирал глаза. Лиза спокойно смотрела на смеющихся, на меня — я уже давно подобрался ближе. Глеб побледнел, самолюбие его задела. Он пытался заставить себя улыбаться со всеми вместе и не

мог. А летчики как посмотрят на него, так еще больше хохочут. Но тут подошел директор рыбозавода Рыжов и показал на часы: пора было начинать собрание.

Народ стал рассаживаться по местам. Фомы что-то не было видно. Пришел и наш классный руководитель Афанасий Афанасьевич... то есть он будет теперь чей-то классный руководитель. У меня невольно сжалось сердце — так стало жаль школы...

Первым выступил начальник авиаразведки. Очень интересно и увлекательно он говорил. Убеждал ловцов идти в указанные авиационной разведкой места, а не вслепую блуждать по Каспию, доверяясь только своим чувствам. Я и не предполагал, что разведка рыбы требует столько знаний. Надо знать и причины образования косяков, и скорость их передвижения, нужно уметь определить, какие течения, какую температуру воды предпочитает каждая рыба, угадывать, куда она направится.

Охотин подробно рассказал, как летчики находят с воздуха косяки рыбы — ни один наблюдатель с верхушки мачты не откроет так быстро косяк рыбы, как пилот со своей «амфибии».

— Как в прошлом году! — выкрикнул ловец Мишка Ковылин, и весь зал так и грохнул от смеха.

Глеб почему-то сразу густо покраснел, а Охотин на мгновение растерялся.

— А что в прошлом году? — осторожно спросил он.

Оказывается, был такой случай: пилот указал рыбакам «громадный косяк» кильки. Ловцы точно обметали его, а косяк, словно просочившись сквозь мелкую ячейку сети, остался на месте, да и по сей день стоит — то большой подводный камень.

— Бывает, — сокрушенно вздохнул Охотин. — Вначале летчики и тени облаков за косяк принимали, и водоросли, просвечивающие сквозь воду. Но теперь нас не проведешь! — весело заключил он.

По тому, как смугился Глеб, и по лукавым взглядам его товарищей я понял, что именно он спутал косяк с камнем. Не везло ему сегодня. И надо же было Мишке припомнить этот случай!

После начальника авиаразведки выступил Рыжов, но его уже плохо слушали — доносились глухие басистые хлопки, заработали моторы. Клуб стал быстро пустеть.

Глеб хотел взять Лизу с собой на разведку кильки, но когда спросил разрешения у начальника, тот сказал, что сам берет Лизу в свой самолет.

— Вы что же, мне не доверяете? — вскипел было Глеб, но товарищи быстро его увели.

Крепко поцеловав меня и шепнув, чтоб я берегся, Лиза вместе с командиром направилась к белевшим вдали самолетам, а мы с Ефимкой бросились бегом к берегу. Там уже слышался громкий голос Фомы.

...Это был мой первый выезд далеко в море, и я никогда не забуду его. Мерно опускалась и поднималась палуба, волны становились все круче, хотя безмятежно спокойным было небо. Трогая осторожно снасти, вздыхал прерывисто, как заплакавший ребенок, ветер. Поскрипывал тихонько якорной цепью, в баштугах гудел баском. Что-то звякало и скрипело по всем углам. Перегнувшись через борт, я не отрываясь смотрел в пенившиеся белыми гребешками зеленые волны.

Брызги морской воды высохали на лице, на губах появился солоноватый

привкус. Пространство и глубина действовали опьяняюще. Словно откуда-то издали доносились до меня смех и говор ловцов, баритон Ивана Матвейча — он ходил в море бригадиром вместе с сыном.

Кто-то тронул меня за плечо. Это был Фома, в непромокаемом плаще и зюйдвестке, на ногах резиновые сапоги. Он казался немного расстроенным.

— Ну как, не укачивает? — заботливо осведомился он.

— Нет, меня никогда не укачивает.

— Молодец!

Фома тяжело облокотился о борт, что-то его угнетало. Помолчав, он высказался напрямик:

— Этот Глеб... не подкатывается к Лизе, как думаешь?

— Он ей никогда не понравится! — решительно заявил я.

— Никогда?

— Нет.

— А кто ей может понравиться? Скажи мне, друг, со всей мужской прямоотой.

И я сказал с мужской прямоотой:

— Мальшет!

В лице Фомы что-то дрогнуло, словно я его ударил. Он в замешательстве вытер рукавом брызги воды на щеках.

— С Мальшетом мне не равняться, — горько проговорил он. Потрепав меня по плечу, Фома морской походкой — чуть вразвалку — направился к капитанской рубке и угрюмо стал за штурвал, отстранив старшего рулевого.

Я тут же раскаялся в своих словах. Зачем расстроил человека! Ну кто меня за язык тянул? Не мужская, а дурацкая это прямоота. И какое я имею право говорить за сестру? Мальшет, возможно, любит другую, и я просто ставлю Лизу в неловкое положение. Я готов был откусить себе язык.

Мне было так досадно, что, не в силах больше оставаться наедине с самим собой, я подсел к ловцам. Они сидели кружком вокруг Ивана Матвейча, прямо на палубе, и слушали его истории. Правда, рассказывал он очень интересно, я даже пожалел, что не было Мальшета.

...В тихую погоду невдалеке от устья Куры не раз видели в воде остатки каких-то зданий. Рыбаки очень не любят это место и зовут его «чертово городище». Ученые не раз искали городище, но так и не нашли. Самому Ивану Матвейчу не довелось видеть затопленных зданий, но он встречал людей, которые их видели, — рассказам их можно верить. А вот затопленную крепость на западном побережье Каспия он сам видел и даже нырял, чтоб получше рассмотреть, — стены замечательно сохранились.

Водолазы, которые там работали, рассказывали, что никаких ценностей не находили, не было и скелетов, значит, Каспий наступал постепенно, пока крепость не оказалась под водой. Водолазы уверяли, что по дну моря проходит хорошо сохранившаяся, выложенная камнем дорога от крепости к берегу.

— Матвейч, расскажи еще что-нибудь, — попросили его ловцы.

Иван Матвейч покачал головой, набивая трубку табачком из кисета. Видно было, что он высоко ценил себя как рассказчика и не хотел обесценивать свои истории частым повторением.

Фома вышел из рубки и стал пытливо вглядываться в горизонт. На вершине мачты давно уже расположился поудобнее наблюдатель, обхватив мачту руками, и пристально рассматривал море — искал косяк. «Альбатрос» был разведчиком, остальные суда килечной экспедиции остались далеко позади.

— Кильки все нет, — сказал Ефимка, подходя ко мне. Но тут послышался

рокот воздушных моторов.

— Самолет! — закричали ловцы. Все оживились, повеселели.

Приблизившись, самолет-амфибия стал медленно кружить над морем, выискивая косяк. Раз он пролетел совсем низко над судном, на бреющем полете, и я узнал Глеба. Его бортмеханик помахал нам рукой и что-то весело крикнул. Выровняв самолет, Глеб то уводил его к самому горизонту, то возвращался назад; устремив глаза к воде, пилоты настойчиво искали рыбу. И вдруг, положив амфибию на левый борт, Глеб стал чертить по небу резкие круги. Это был сигнал: килька найдена! Фома повел судно за самолетом. За ними быстро пошли и все остальные суда, стреляя в воздух дымными кругами, словно делали Глебу салют.

Скоро и наблюдатели увидели косяк. Спустили два подчалка. Ловцы, проворно сбрасывая сеть, окружили косяк. И тут пошло «столпотворение вавилонское», как выразился Ефимка. Не успели сбросить сеть, как она уже провисла от огромного множества кильки. Ловцы в зойдвестках, резиновых сапогах и перчатках подхватывали сеть и тянули, мы с Ефимкой — тоже.

— Для почина хватит! — крикнул Иван Матвейч. Сеть подняли и развязали. У меня в глазах зарябило — так сверкала на солнце трепещущая килька. Когда ее стали сыпать в ящик для рассола, словно опаловое сияние поднялось — мельчайшие брызги воды, взметенные вверх ударами тысяч хвостиков. Но Иван Матвейч взял лопату и спокойно, «домовито» разбросал соль. Килька сразу и замерла.

Во второй сети кильки было уже больше, а в третьей еще больше. Нас всех охватил такой азарт, что мы забыли обо всем на свете. Трудились все — от капитана Фомы до поварихи тети Насти. Движения стали такими слаженными, будто мы раз сто репетировали перед этим. Вот только что опустили сеть — и уже тянут ее обратно. Тяжело провисающая под трепыхающейся килькой — там ее кишмя кишит — сеть дружно и весело, под шуточки ловцов подхватывается, и килька быстро выгружается в плоские ящики, где ее солят и перемешивают, а затем складывают в ящики. Ящики забивают досками и сносят на бак. Забивала тетя Настя, как мужик, а мы с Ефимкой носили. Ящики тяжелые, по двадцати пяти килограммов, но мы сгоряча не чувствовали тяжести. Носились с ящиками, словно в них был пух. Скоро мы так загрузили палубу, что еле оставалось место пройти.

Фома велел грузить в трюм. Он был очень доволен.

— Давно такого улова не было, кто-то удачливый здесь есть... — И он посмотрел на меня.



Мы поработали еще часа два, и Фома скомандовал:

— Отбой!

Плохое настроение его прошло.

Счастливо улыбаясь, заморенные, вспотевшие ловцы стали рассаживаться у ящиков с килькой.

Другие суда еще ловили. Самолет, пикируя и снова легко, по-птичьи, взлетая вверх, «наводил» на кильку то одно, то другое судно, как хозяин, распределяя косяки между рыбаками. Я вспомнил о «почерке» в воздухе. Никакой нервозности в «почерке» Глеба я не видел. Казалось, уверенно хозяйничал он в небе, и ловцы это заметили. Покуривая, они стали хвалить Львова: «Молодец, умелый, ловкий! Хорошо на косяки наводит».

Я невольно тогда подумал, что, должно быть, такая работа дает Глебу огромное моральное удовлетворение. И вдруг вспомнил другое. Однажды зимой попалось мне на глаза его письмо к Лизе, она его забыла на постели, и несколько строк я невольно пробежал глазами. Вот что писал Глеб: «Самые заветные мечты мои потерпели крах. Вместо настоящего дела — поиски кильки».

Но ведь каспийские летчики не только кильку ищут. Они ведут разведку тюленей и крупной рыбы, в любую погоду держат связь, спасают ловцов,

попавших на дрейфующие льдины. Все их существование — бесконечная борьба со стихией за жизнь рыбака. Летом в синем просторе и зимой в туман, снегопад, гололедицу, бурю они пересекают Каспий по всем направлениям. Море разбивается на квадраты, и они метр за метром ищут с воздуха попавших в относ рыбаков. Как же надо было не любить, а презирать дело своей жизни, чтоб свести его сущность к самому малому — «искать кильку»!

Верно, душа его ныла и трепетала, как эта самая килька, попавшая в сеть, что он не Валерий Чкалов, не Громов, не Водопьянов. Ох, как хотелось ему подвигов, славы! Собственно, каспийские летчики каждый день творили подвиги, но они считали это просто работой.

Мне не хотелось думать о Глебе. Прислонившись ноющей спиной к борту, я стал слушать ловцов. Как они ни устали, но тут же пошли рассказывать всякие истории про отнотсы, крушения, про то, как их не раз выручали пилоты. Теперь, когда я поработал вместе с ними, все точно роднее мне стали, ближе. Но у меня еще ныло сердце, что я попусту расстроил Фому, и я пошел его искать.

Фома был там, где положено находиться смотрящим вперед,— за штурвалом. Я вспомнил лоцию, которую знал чуть не наизусть: «Также должно обращать внимание на то, чтобы смотрящие вперед помещались на корабле в таких местах, где корабельный шум наименее мешал бы слышать звук туманного сигнала. Звук сигнала, не слышимый с палубы, бывает слышен, если подняться несколько над палубой».

Я остановился в нерешительности возле Фомы.

— Садись,— коротко бросил Фома. Я присел на пороге рубки.

— Думаешь ли ты, что Мальшет будет больше любить Лизу, чем я? — спросил тихо Фома. Он был, как маньяк. Лиза застила ему весь свет.

— Нет, не думаю! — искренне отвечал я.

— Дело в том, что я... все равно без Лизы не могу жить,— еще тише проговорил Фома.— Хоть бы и с Мальшетом, но я буду за нее бороться.

Я издал какое-то невнятное восклицание, и мы замолкли.

Тем временем чернильная опустила тьма. Искрясь тусклым фосфорическим светом, шумели волны под бортами суденышка. Мерное поскрипывание навевало сон, да и усталость сказывалась.

Вдруг судно наполнилось шорохом, вздохами, скрипом и словно кто-то, не открывая рта, запел без слов — ветер пел в снастях.

Глава шестая

МОРЕ И НЕБО

Домой мы возвратились под утро, уж очень переполнили «Альбатрос» рыбой. Солнце еще не взошло, но стоявшие на высоких сваях домишки, словно аисты на длинных ногах, уже порозовели от невидимого, но близкого солнца.

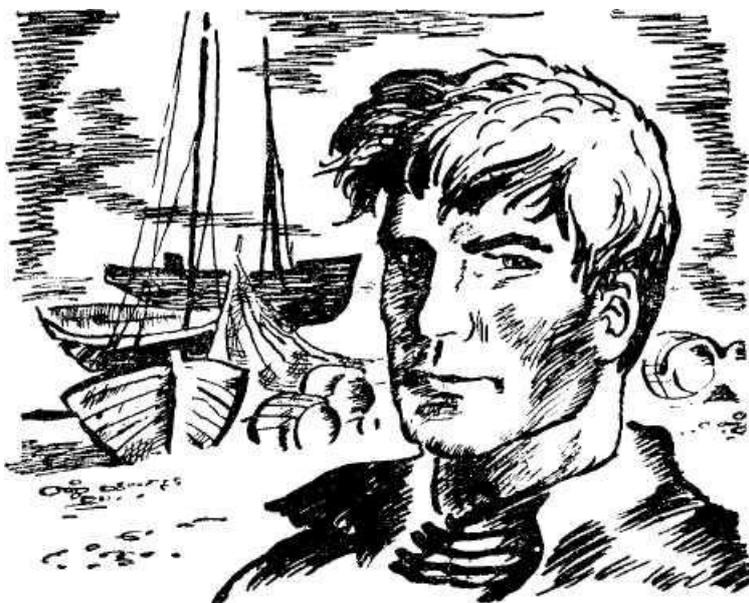
Меня с нетерпением ждала на берегу сестра. Когда я сошел на влажный, похолодевший за ночь песок, она так и бросилась мне на шею.

— В целости и сохранности твой братец,— прогудел Иван Матвеич, радостно подходя к Лизе.

Очень он ее любил. Он не раз говаривал мне, что самое его закадычное желание, чтоб Фома женился на Лизе.

От счастливого оживления, что такой удачный улов, он казался сегодня совсем молодым, хотя голова его была лыса и несколько глубоких морщин пересекали продубленную морскими ветрами кожу. У него было очень плохое зрение после контузии, и, чтоб видеть предмет или человека, он вынужден был к нему наклоняться. А когда-то Иван Матвеич был одним из лучших лоцманов на Каспийском море — до войны, когда Аграфена была еще его женой.

— Никогда еще так не везло,— весело сказал он Лизе,— перегрузили судно, еле дотянулись. Это Яша такой везучий.



— Так это же суеверие, как вам не совестно, Иван Матвеич,— смеясь возразила Лиза, но подошедшие ловцы стали доказывать, что я везучий и что из-за меня такой улов. Некоторые просто шутили, а иные действительно так думали.

Подошел и Фома, но он смотрел куда-то в сторону, и я вдруг его глазами увидел стоявшего неподалеку Глеба и понял, что они вместе с Лизой ждали меня у моря всю ночь. По их лицам незаметно было, чтоб они хотели спать. Значит, не

скучали.

Мы попрощались с Фомой и втроем пошли поселком, совсем пустынным в этот ранний утренний час. Лиза вела наш старенький велосипед, из чего я заключил, что она побывала дома. Ловцы быстро рассеялись по домам, спешили отоспаться после тяжелого лова.

Незаметно оглянувшись, я увидел прячущегося за рыбным складом Фому. Сердце у меня заколотилось: я понял, что ожидает Глеба. Может, надо было его предупредить? Но я, как брат, тоже был кое-чем взбешен.

Лиза серьезно посмотрела на меня — не угадала она на этот раз моих мыслей — и, остановившись, протянула Глебу руку.

— Здесь мы прощаемся,— сказала она.

— К четверем будьте готовы! — напомнил о чем-то Глеб.

— Да. Спасибо.

Глеб пошел, несколько раз оглянувшись на Лизу. Сегодняшним утром он казался еще красивее обычного. Как это бывает у некоторых блондинов, его кожа совсем не поддавалась загару, только розовела. Теперь он не походил на чахоточного — разве самую малость.

Я торопливо сел на велосипед, устроив впереди себя, на раме, сестру, и изо всей силы начал нажимать на педали. Ветер засвистел. Я старался думать о чем-нибудь Другом — боялся, что Лизе передадутся мои мысли (у нас с ней это часто бывает) и она пожелает вернуться и не допустит...

Но, на свою беду, сестра была слишком занята своими мыслями, чтобы еще ловить мои.

— Знаешь, Янька, начальник авиаразведки разрешил захватить нас с собой. Мы летим в Астрахань — ты и я.

— Зачем? — испугался я.

— У меня же начинается отпуск. Все договорено, меня заменят, почему же не побывать в городе?

— Но я приступил к работе.

— Ты обещал через месяц, а месяц еще не прошел. Приедем, тогда начнешь работать.

Я вдруг понял, что у Лизы все было обдуманно заранее — она списалась с Глебом!..

— Лиза, ты знала все это заранее? — спросил я обидчиво.

— Д-аа... — неохотно призналась сестра.

— Какая ты скрытная!

— А вдруг бы он не приехал...

Он — это был Глеб! Если у меня и были какие угрызения совести — ведь все же я поступал не по-комсомольски, — то они теперь начисто исчезли. Лиза, как всегда, поняла меня без слов.

— Почему ты его так невзлюбил?

— Ну, какой-то он...

— Какой?

— Хочет быть героем, а кишка слаба.

— А ты бы не захотел стать героем?

— Наверное бы захотел.

— Ну вот...

В голосе ее была укоризна, и я не нашелся что возразить. Пока мы добирались домой, то на велосипеде, то пешком, я все размышлял об этом.

Каждый из нас не прочь стать героем. Почему же мне так противно это в

Глебе? Слабость, захотевшая стать силой, трусость — мужеством. Но это как раз очень хорошо! Почему все ж таки противно? Не знаю, по какой ассоциации я вспомнил Павлушку Рыжова с его стремлением властвовать. Его жизненная цель — добиться во что бы то ни стало командной должности. Я понимаю, можно мечтать стать летчиком, моряком, артистом, учителем, врачом, верхолазом или трактористом, или там кем угодно, но мечтать о том, что ты будешь, как твой дядя, «областного масштаба»,— в этом было что-то донельзя гнусное, противоестественное. Когда Михаил Васильевич Водопьянов совершал свой трудный перелет над Ледовитым океаном, рискуя жизнью, чтобы достичь Северного полюса, разве о звании он думал в ту ночь? Разве о звании думает Мальшет, поставивший целью своей жизни добиться регулирования уровня Каспия? Даже проект дамбы, любовно выполненный им, носит теперь имя другого ученого.

«Простак в жизни!» — сказал о Мальшете с явным пренебрежением Глеб. Он-то не был простаком.

Дома мы быстро собрались и прилегли немного отдохнуть. Я уснул в тот момент, когда клал голову на подушку.

Разбудила меня Лиза, уже одетая в серое пестренькое платье и такой же точно жакет, свежая, разрумившаяся, веселая. Светло-серые глаза ее так и лучились от предстоящего удовольствия.

— Вставай, Янька, нам надо еще успеть пообедать,— торопила она.— С минуты на минуту будет Глеб.

Я чуть не подавился от смеха щами, вдруг представив, в каком виде появится сейчас Глеб перед Лизой. Я-то знал в каком...

— В Астрахани сейчас Мальшет. И Иван Владимирович,— оживленно сообщила сестра.

Я очень обрадовался.

— Мы их найдем?

— Обязательно. В Астрахани идет совещание по проблеме Каспия. Вот бы нам туда попасть. Как интересно!

— Да, очень...— Я опять засмеялся. Лиза посмотрела на меня с удивлением.

Только мы пообедали, как послышался рокот самолета, и мы стремглав выскочили наружу. Небольшой самолет, похожий на серебряную рыбку с прозрачным хвостовым оперением, описывал большой размашистый круг. Показался улыбающийся Охотин в кожаном шлеме, за ним выглядывал бортмеханик. Еще минута, и, замедляя бег, амфибия уже катилась по песку.

Веснушчатый, синеглазый, стриженный наголо бортмеханик Костя помог нам погрузить чемодан.

— А где Глеб? — с некоторым разочарованием спросила сестра.

Бортмеханик хихикнул и тут же закашлялся пол строгим взглядом Охотина.

— Вылетел по срочному заданию,—сдерживая улыбку, объяснил Охотин.

С момента, когда мы уселись на пассажирские места (их всего два и было) и самолет побежал вперед, слегка подпрыгивая на неровностях, а затем плавно устремился ввысь, чувство реальности происходящего оставило меня. Как в счастливом сне прильнул я к прохладному стеклу окна.

Под крылом глубоко внизу пенилось белыми барашками море. Быстро уходила назад песчаная коса с параллельными улицами поселка Бурунного — каждый дом меньше спичечной коробки,— мелькнул в песках старый маяк и скрылся. Скрылись и поселок и берег. Остались только море и небо. Что-то сдавило мне горло — радость, упоение. Я крепко схватил сестру за руку, что-то

крича от восторга. Она понимающе кивнула. Глубина — больше ничего не оставалось в мире, глубина внизу, глубина вверху.

Странно сместились привычные восприятия. Так однажды, еще мальчишкой, я взял с комода мамино овальное зеркало и с любопытством заглянул в него, стоя спиной к раскрытому окну. И тогда привычная улица, песок, часть неба с ослепительно белым облаком предстали странно измененными, полными непонятого значения. У меня перехватило дыхание, словно я заглянул в неведомую страну. Привычный, знакомый до мелочи мир стал иным, от вещей можно было ожидать чего угодно.

Я был потрясен и почему-то долго не мог повторить опыта. И вот теперь с самолета мир предстал передо мной чем-то похожим на тот, что я видел в зеркале. Впоследствии я рассказал об этом бортмеханику Косте, он вытаращил на меня синие глаза и пожал плечом.

— Вот чепуха,— отрезал он.—Впрочем... один раз я вылетел в рейс выпивши слегка — правда, было что-то в этом роде. Потом два года прорабатывали меня на всех собраниях, пока не нашли свежий случай...

Этот первый мой перелет в качестве пассажира что-то переломил в моем сознании. Кровь стучала в виски двойными ударами, как туманный сигнал. Моя лодия Каспийского моря! Смотрящий вперед—как же далеко мог он отсюда, с вышины, видеть и знать. Ночные полеты, слепые полеты, полеты над морем и пустыней, по никем не облетанным трассам. Строгое выполнение задания, несмотря ни на какие препятствия,— вот в чем была свобода. Я вдруг так позавидовал Глебу! Самому вести такую машину — может ли быть высшее счастье на земле?

Самолет несколько снизился. Теперь он шел на малой высоте в тени кучевого облака. Нас заметили с большого пассажирского парохода и махали платками. Мы ответили. Вряд ли они даже успели разглядеть. Пароход медленно полз по морю, как тяжелый уют по синей с белыми разводами скатерти.

На аэродроме, когда мы стали, прощаясь, благодарить Охотина, он вдруг спохватился:

— А у вас есть где ночевать? — И, узнав, что мы надеемся на гостиницу, схватился за голову.— Хорош бы я был, отпустив вас! В городе идет совещание по проблеме уровня Каспия, прибыло много всяких специалистов — мест в гостинице нет. Что ж мне с вами делать, ребята? Гм! Ну, айда к нам.

— Но мы вас стесним,— неуверенно начала сестра.

— Поместим в отдельной комнате. Не это меня смущает... Как бы Глеб не рассердился, подумает, что нарочно вас привел... Д-да. Глеб ведь у нас живет. Пошли, здесь рядом.

У Охотиных был собственный домик в двух шагах от аэродрома. Мы получили в свое полное распоряжение изолированную комнату — бывшую кухню — с двумя кроватями, пузатым комодом и словно лакированным фикусом. Квартировавшие в ней артисты филармонии съехали только вчера.

Хлопотавшая над нашим устройством жена Охотина рассказала, что пускает квартирантов больше из-за того, что ей одной боязно: ведь Андрей Георгиевич вечно в полетах.

Весь Домик и все вещи в доме были на редкость чисто отмыты, выглажены, вычищены. Детей у Охотиных не было. Старый пилот звал жену Перепелкой, а иногда Мишкой. Если она отказывала ему в просьбе, он восклицал: «Ну что за Мишка!» — и вторично просьбы не повторял. Он вообще, по-моему, не любил спорить.

Елена Васильевна работала в клинике мединститута хирургической сестрой и вправду чем-то напоминала осеннюю перепелку. Она была круглолицая, добродушная, спокойная. Ходила по дому в отлично выутюженном платье, белой косынке и резиновом переднике. И с мужем и с другими людьми обращалась, как с больными,— снисходительно и властно.

Охотин что-то шепотом спросил у нее, она сказала, что Глеб Павлович еще не являлся. Он явился часом спустя, когда мы пили чай из беленьких с голубой каемочкой чашек, на белой накрахмаленной скатерти в хирургически чистой столовой.

Глеб не знал, что найдет нас у себя на квартире. Отпираться бросился сам Охотин и только начал ему что-то шептать, как Лиза решительно вышла в отлично освещенную электрической лампой переднюю. Как она потом мне объяснила, ей что-то показалось неладно. Я, разумеется, выскочил вслед за сестрой.

Вид у Глеба был как раз такой, как я себе представлял, будучи хорошо знаком с ухватками Фомы. Меня вдруг словно осенило: я мгновенно понял, в чем причина «неуспеха» моей сестры у мужской половины поселка Бурунного. Кому же хотелось испытать на себе кулаки чемпиона?

— Это Фома вас так избил! — вскрикнула Лиза, прижав обе ладони к покрасневшим щекам.

Глеб посмотрел на нее — с каким выражением, не разберешь: глаза— зеркало души — заплыли.

— Подрался из-за одной девчонки! — небрежно буркнул он (по-моему, ответ был великолепен!) и, невежливо повернувшись к нам спиной, хотел юркнуть в свою комнату.

Но не тут-то было. В Елене Васильевне, вышедшей па его голос, сразу проснулся профессиональный инстинкт, и она потащила его чуть ли не за шиворот к домашней аптечке.

— Аида в столовую,— шепнул Охотин.— Мишка будет ему класть примочки. И мы пошли допивать чай.

Глеба мы так в этот вечер и не видели — он не был расположен к беседе и заперся у себя в комнате. Нам не терпелось осмотреть Астрахань, но было уже темно и поздно.

Мы пошли спать.

Лежа в кроватях, мы по привычке еще пооткровенничали перед сном.

— Вот какой твой Фома дикарь! — возмущалась Лиза.

— А Глеб молодец! — отдал я ему должное.— Ведь это делается так: Фома сначала предложил оставить тебя в покое. Значит, он отказался. Затем — если бы он звал на помощь, к нему бы прибежали, значит, он никого не звал. Молодец! Но только... все равно мне его ни капельки не жалко. Не люблю я его, и кончено!

— За что? Ну, ты объясни...

Я вдруг сел на кровати — было довольно жарко, хотя фрамуга была открыта.

— Лиза,— решительно начал я,— мне надо с тобой поговорить...

— Янька, может, завтра поговорим? — умильно попросила сестра.

— Нет, сегодня, сейчас.— Я решил потребовать от нее категорически, но никак не мог подобрать слова — говорю я куда хуже, чем пишу.— Лиза! Я всегда тебя слушался во всем, как будто ты мать, правда?

— Ты — хороший брат!

— Ну вот. Не потому я тебя слушался, что ты на два года старше, плевал я на эти два года, понимаешь? Просто я уважаю тебя, горжусь тобою как сестрой.

Скажи, а ты уважаешь меня хоть немножко?

— Уважаю.

— Ну вот, тогда послушай меня... Будь от Глеба подальше. Понятно? Он парень очень красивый, ну и пусть себе красуется. От него тебе не будет ни для ума, ни для души. Он ни то ни се. И запомни: он тебя не любит. Говорил другое? Врет.

Лиза издала невнятное восклицание и тоже села на кровати.

— Почему ты думаешь, что он врет? Что ты в этом можешь понимать? Не обижайся, я считаю тебя очень умным...

— Правда?

— Ну да. Но ведь тебе всего семнадцать лет и ты еще никогда не любил.

— Семнадцать с половиной. Может, люблю, понятно? Ты не знаешь.

— Марфу?

— Может, ее, ну и что?

— Так ты же ее никогда в жизни не видел. Разве можно любить, ни разу не видев?

— Значит, можно. Не надо про это. Фома, вот кто тебя любит по-настоящему, как мужчина. Подожди, не перебивай. Скажу тебе откровенно: женой Мальшета хотелось бы мне тебя видеть.

Лиза подавила вздох.

— Очень я ему нужна...— промолвила она после недолгой паузы.

— Добейся, чтоб была нужна. Слушай, Лиза, подожди лет пять, может, Филипп за это время и полюбит тебя. Фома говорил мне, что видел его часто с сестрой Глеба... Не верю я Львовым...

— Никогда я не буду нужна Мальшету, как я нужна Глебу. Мальшет сильный.

— Да. И ты сильная. А Глеб слабый, потому к тебе тянется. Он, поди, думает, что ты поможешь ему стать Чкаловым. Он вцепится в тебя и будет, как упырь, не кровь сосать, а силы. Будет ныть и требовать, чтоб ты его убеждала, подбадривала. Только и будешь с ним носиться. Разве тебе не противно?

Возможно, я говорил более сумбурно, чем написал, но сестра меня поняла.

— В ту ночь, когда мы тебя ждали,— неужели это было только вчера? — слышишь, Янька, он предложил мне... Он хочет, чтоб мы поженились.

У меня похолодело под ложечкой. Изменившимся голосом я сказал:

— Ну и что?

— Да ты не расстраивайся. Я сказала, что о замужестве рано мне думать, надо сначала кончить институт.

— Молодец, Лизка!

От меня словно тяжесть отвалилась, пудов десять. Мы еще немного поговорили и уснули успокоенные.

Утром вскочили рано и, отказавшись от завтрака, отправились в гостиницу, чтобы застать Турышева. У него мы хотели узнать и про Мальшета.

Все оказалось проще — они занимали общий номер и бурно нам обрадовались. Иван Владимирович поцеловал нас в щеки, а за ним и Мальшет. Они как раз собирались идти завтракать и позвали нас с собой. Зашли в какой-то ресторанчик, пустынный об эту пору.

Мы выложили несложные свои новости и о Глебе рассказали.

— Как это ему, бедняге, нехстати,— сочувственно заметил Мальшет.— Здесь его отец и сестра, прибыли на совещание. Львов занял лучший номер в гостинице, сына не принял... Вернее, назначил ему прийти через три дня в десять двадцать вечера. Каково? Нежные родительские чувства. Дочь он, впрочем, любит — по-

своему, насколько он способен любить. Мирра удовлетворяет его родительское тщеславие: красива, умна, блестящая пианистка, знает отлично четыре языка, в двадцать шесть лет — научный работник. У нее большое будущее.

— Иван Владимирович, а вы... вы уже встречались с Львовым? — спросила сестра.

Турышев усмехнулся и рассказал о встрече.

Он шел сквером, когда навстречу ему попался Львов. Несмотря на двадцать с лишним лет, в течение которых они ни разу не встречались, оба сразу узнали друг друга. Львов поднял обе руки для приветствия и еще за десять шагов начал кричать: «О, друг мой Иван, какая радостная встреча!» — И как ни в чем не бывало прошествовал дальше, не подвергая нервы Турышева слишком большому испытанию.

Мы невольно рассмеялись: ну и фрукт! И стали подниматься.

— По глазам вижу, что хочется попасть на совещание, — сказал Мальшет. — Проведем их, Иван Владимирович?

— Проведем! — пробасил Турышев.

До театра, где проходило совещание, было рукой подать, и мы отправились пешком.

Несмотря на ранний час, было уже очень жарко, плавился асфальт, так что на нем отпечатывались следы каблуков. От земли до желтеющего неба стояла мгла. Над городом дул обжигающий ветер Азии — суховой.

Совсем рядом была морская ширь, дельта разлившейся Волги; речки, каналы, протоки пересекали улицы. Но в Астрахани царило другое море, безбрежнее и могущественнее Каспия, — зловещая пустыня с застывшими волнами холмов, с горько-соленой на вкус горячей водой бесчисленных озер. Те же раскаленные, мстительно надвигающиеся пески, что поглотили наш родной поселок Бурунный, полузасыпали башню заброшенного маяка.

— Когда дует суховой, я чувствую себя униженным, — мрачно сказал Мальшет. — Я ненавижу пески, как своего личного врага. Не могу этого видеть — Каспий отступает, а пески наступают. Надо бороться, надо бороться!

Глава седьмая

СМОТРЯЩИЕ ВПЕРЕД

Мы пришли рано и заняли хорошие места в шестом ряду. Это уже было четвертое пленарное заседание. «Основные доклады прошли, будут содоклады и выступления», — услышал я позади чей-то голос, тут же затонувший в шуме, кашле, приглушенном смехе, хлопанье откидных стульев. «Ага, — подумал я, — значит, выступления Мальшета и Турышева — это не основное».

Скоро я увидел Львова. Он прошел в президиум, как на свое привычное место, действительно похожий на дореволюционного барина, какими я их привык видеть в кино. Чувствовалось, что он сыт, выспался, принял ванну. Поражала его необычайная самоуверенность. Не похоже, чтоб его мучили угрызения совести. Холеное красивое лицо отличалось выразительностью, как у артиста. А Глеб — таки очень похож на отца, только не располнел еще и выражение глаз и рта совсем другое. Было в старшем Львове и что-то комическое. Сидя на виду —

первый от кафедры,— он своей мимикой мог просто уничтожить выступавшего. И он этим щедро пользовался. У него была превосходная дикция, и каждая его реплика, сказанная вполголоса, отчетливо разносилась на весь зал. За исключением нескольких маститых, которых затрагивать Львов не находил нужным, он, собственно, прошелся по каждому выступлению. Но заметно перешел границы, когда выступали Мальшет и Турышев.

Я невольно засмотрелся на него. Скажет, например: «Не ясно, ох, не ясно!» — и такую скорчит скорбную рожу, что в зрительном зале пройдет смешок. Или: «Смело, смело!» — и покачает головой, пораженный несурзностью высказанного. И всякий понимает, что он хотел сказать «не научно».

Доклад нашего Ивана Владимировича действительно был смел, даже я это понял. Перед этим выступил ряд ученых, с «академической сухостью» отчитавшихся в своих научных работах о Каспии. Никто из них ничего не требовал, просто давал в конце коротенькое резюме.

Зато товарищи, выступавшие от различных организаций и ведомств, требовали. Требовали с надеждой и возмущением. И будь то нефтяники или ловцы, гидростроители или моряки — требования их сводились к одному: дать долгосрочный прогноз уровней Каспия. Как и наших ловцов из поселка Бурунного, их волновало — будет ли море и дальше опускаться или можно надеяться на повышение. Но ни один из научных работников, видимо, не брался ответить на этот вопрос.

Мне почему-то запомнилось горячее выступление молодого, но совершенно седого товарища в форме морского флота, не помню его имени.

— По постановлению правительства,— начал он сурово,— мы провели и закончили ряд проектных работ по реконструкции и строительству портов и подходных каналов на Каспий. Однако мы оказались в затруднительном положении, так как отсутствие ясного прогноза уровней делает все проекты условными. В Госплане отказались их утвердить. Как строить, если неизвестно, окажутся ли сооружения на суше или будут затоплены? Мы убедительно просим Институт океанологии Академии наук СССР разрешить проблему прогноза уровней в наикратчайший срок.

После этого седого инженера — или кто он там был — выступил наш Иван Владимирович.

Мы с Лизой напряженно следили, как он, выпрямившись, с ледяным выражением лица, что у него служило признаком скрытого волнения, поднялся на сцену и прошел к кафедре. На нем был новый в полоску синий костюм, который мы еще не видели. Серебряные волосы, гладко зачесанные назад, оттеняли точеное бронзовое, почти без морщин, лицо.

Львов с безмятежным доброжелательством «похлопал старичку». Но в зале, разрастаясь, как весенний ливень, пронесся гул рукоплесканий. Турышев сдержанно поклонился.

Прежде всего с пунктуальной своей точностью он внес поправку. Доклад его носит название «Метод долгосрочного прогноза уровней Каспия», а не «Особенности климата Каспийского моря», как неизвестно почему указано в проспекте совещания.

И он спокойно начал свой наделавший шуму доклад. Вот что я тогда понял из его доклада. Причины колебания уровня Каспийского моря ученые определяют по-разному. Одни исследователи относят это за счет влияния климата. Наступает длительное похолодание, испарение уменьшается, уровень Каспия повышается. Похолодание сменяется столь же длительным потеплением, испарение

увеличивается, уровень падает. Другие считают основной причиной движение земной коры — скрытые процессы, протекающие глубоко внутри земли. Третьи видят причину в деятельности человека — понастроили на Волге и других реках плотин, вот уровень и падает. Колебания уровня в доисторические времена они объясняют так: тогда, мол, действовали другие причины.

Положение с прогнозом уровня Каспия, как я понял, было просто «аховое». Прогнозы давались всего на пять-десять лет, от силы — на пятнадцать. Они никого не удовлетворяли, даже их составителей.

И вот наш Иван Владимирович выступил с сверхдолгосрочным прогнозом — на сто — двести лет! Это было как взрыв мины.

Начал он издали.

— Вопрос о сверхдолгосрочных прогнозах колебания уровня Каспия при всем его значении составляет лишь часть еще более значительного вопроса — прогноза современного векового колебания климата нашей планеты.

Проблема климатического прогноза в науке пока не решена. Поэтому наука обязана создать правильную теорию колебаний климата, а на ее основе научно обоснованную методику климатического сверхдолгосрочного прогноза.

Где же та путеводная нить, следуя которой можно будет вывести на простор эту научно-практическую проблему?

Иван Владимирович указывал эту путеводную нить: солнечная деятельность.

Увеличение солнечной деятельности сопровождается большим или меньшим усилением ультрафиолетового и рентгеновского излучения солнца, а также усилением излучения солнцем радиоволн, прежде всего в диапазоне до одного метра. Кроме волновой радиации, возбужденное или активное солнце выбрасывает в больших количествах пучки электрически заряженных элементарных частиц. Изменение радиации солнца оказывает могущественное влияние на землю и другие планеты и кометы солнечной системы.

— Еще в 1937 году я показал, что причиной, обусловившей недавнее потепление Арктики и современное изменение климата нашей планеты, является происходящее теперь вековое изменение солнечной активности. Это было в дальнейшем полностью подтверждено многочисленными исследованиями советских и зарубежных ученых (Львов пожимает плечами и потупляет глаза).

По этой причине, а также в связи с тем, что колебания климата Арктики взаимосвязаны с колебаниями уровня Каспийского моря, уровень Каспия является функцией режима солнечной активности.

Дальше, к моему великому сожалению, Иван Владимирович переходит на тот самый «тарабарский» язык, который нельзя понять.

Мальшет, оставивший нас в самом начале доклада, появляется на сцене, румяный, оживленный, с целой кипой карт, таблиц, графиков и помогает Турышеву демонстрировать их восхищенному залу. Коэффициенты корреляции, батиграфическая кривая, вертикальные перемещения футштоков... (Лиза прерывисто вздыхает и тихонько сморкается.) Была там и тройная карта — изменения конфигурации Каспия в связи с понижением уровня. Я видел ее не раз в комнате Турышева. Но что поразило меня больше всего (да и не только меня!) — это график колебаний числа солнечных пятен (одна кривая), стока Волги (вторая кривая), уровня Каспия и улова рыбы (третья и четвертая кривые) — четыре линии, повторяющие одна другую. Прямая зависимость!

Иван Владимирович оживился, лицо его потеплело — лед растаял. А Львова он просто не замечал.

В общем, я кое-что все-таки понял. Проблема изменения уровня Каспийского

моря тесно связана с изменением климата всего Северного полушария. А колебание климата обуславливается колебанием солнечной активности. Во второй половине XVII века солнечная активность была очень низкой, а уровень Каспия, наоборот, высоким. В XVI веке солнечная активность была высока, а уровень Каспийского моря — низок. В XV и XIV веках солнечная активность стала ниже, чем в XIII веке, и соответственно положение уровня моря повысилось.

Низкое стояние Каспия в 1930—1960 годах приходится на современную нам фазу высокой солнечной активности. Ей предшествовала эпоха, в общем средняя по высоте солнечной активности, и вековые положения уровня Каспия были в 1870—1920 годах средними. Солнечная активность наивысшего уровня достигла к 1790 году, как раз в это время имело место резкое падение уровня Каспия.

Таким образом, получалось, что сверхдолгосрочный прогноз уровня Каспия упирался в прогнозы солнечной деятельности — вот куда приводила путеводная нить. А достижения советской гелиофизики, накопленный ею фактический материал были огромны. И выводы из этих накопленных фактов и наблюдений гласили: на ближайшие сто — двести лет (возможно, на пятьсот!) солнечная активность будет возрастать. Следовательно, уровень Каспия будет падать. (В зале поднимается шумок.)

— Смело! — усмехается Львов и с глубоким соболезнованием смотрит на Турышева. Он так соболезновал, 134

что я невольно подумал: еще один шумок в зале, и Львов пошлет за каретой «скорой помощи» для своего коллеги.

Иван Владимирович развивает свое утверждение. Он категорически настаивает на том, что в ближайшие сто — двести лет уровень Каспия будет снижаться. (Львов поникает головой: ему «стыдно» за своего коллегу.)

— Исследование старинных карт позволяет установить, что за истекшие две тысячи лет среднее положение уровня Каспия было вообще ниже современного, следовательно, Каспийскому морю более свойственны низкие стояния, нежели высокие, — добавляет Иван Владимирович. — Необходима самая срочная разработка широких научно обоснованных мероприятий для поддержания уровня Каспия на отметке, наиболее благоприятной для народного хозяйства...

В заключение своего доклада Турышев вынес публичную благодарность научно-исследовательским институтам, любезно представившим ему свои материалы и лаборатории, и под дружные аплодисменты сошел в зал.

Мы с Лизой посадили его между нами. Он немножко «захекался», то есть тяжело дышал.

Следующий доклад был Мальшета. Неудобное предоставили ему время — все устали и хотели есть. До обеденного перерыва оставался час. Но не таков был Мальшет, чтобы не захватить хотя бы и уставшую аудиторию.

Когда-то, увидев его впервые, обратил я внимание на то, как уверенно шагал он по земле. Вот именно так, уверенно, подошел он к кафедре, уверенно и страстно начал речь. И тут мне бросилась в глаза разница между уверенностью Мальшета и Львова. Уверенность Филиппа была силой внутреннего убеждения, у Львова — ощущением прочности своего положения.

Странное в этот момент возникло у меня ощущение. Почему-то показалось, что все это уже было. Был этот переполненный людьми затемненный зал, пронизанный полосами дневного света, падающего из раскрытых в коридор дверей, монотонное жужжание вентиляторов, была именно эта обитая сукном сцена с неподвижными членами президиума на фоне огромных голубых карт

Каспия. Был Филипп Малынет, уверенно бросавший в зал выношенные им идеи сердца. Был тяжело дышащий Иван Владимирович рядом на стуле. Было, наконец, неизвестно откуда возникшее чувство, что сегодня непременно еще что-то произойдет. Тягостное ожидание неприятности.

Не знаю, могло ли то быть предчувствием скандала, разразившегося в этот самый вечер,— я таки имел к нему причастность! — или это просто случайное совпадение?

Ощущение это продержалось минуты две-три и угасло.словно темный предмет осветили на миг изнутри лучами.

Растревоженный, стал я внимательно слушать Филиппа.

Мальшет коротко, броскими штрихами рисовал картину обмеления Каспия. Пересохшие каналы и протоки, подводные отмели, ставшие островами, илистые соры вместо зеркальных заливов, погибшие богатейшие в мире нерестилища. Дельты Урала уже нет, дельту Волги поглощают пески. Остались в песках на десятки километров от моря крупнейшие ловецкие поселки. К некоторым промыслам, например к Бурунному, рыбу доставляли сложным и дорогим путем: суда становились из-за мелководья далеко от берега, рыбу грузили в ящики, которые уже на верблюдах подвозили к промыслу. Теперь этот промысел, как и многие другие, просто закрыт, здание рыбозавода заносит песок, рыбаки перебрались на остров, но и остров оказался... на песке, а море отступает все дальше.

Сестра легонько уцепила меня за руку: «Слышишь, Янька, это он о нашем Бурунном говорит!»

— В устье реки Урала,— продолжал с гневом Мальшет,— рыбные заводы работают с неполной нагрузкой, зачастую в убыток из-за трудности подвоза рыбы с моря. Полностью исчез залив Гасан-Кули — единственный рыбный район у берегов Туркмении. Остров Челекен сделался полуостровом. Отмирает вблизи устья реки Куры ценнейший залив имени Кирова. А между тем Каспийское море представляет богатейшие источники сырья, к его берегам тянутся потоки хлопковых грузов, шерсти, и по морскому грузообороту море занимает первое место в СССР.

По долгосрочным прогнозам Института океанологии Академии наук СССР (что подтверждается, в частности, работами такого крупнейшего ученого, как профессор Турышев), уровень Каспия будет снижаться еще в течение ближайших ста — двухсот лет. На советских ученых лежит тяжелая ответственность за Каспий. Говоря языком старинных лоций, мы, смотрящие вперед, обязаны далеко видеть. Уровень Каспия нужно поднимать, этого требует народ, требуют государственные интересы. Давайте советоваться, что же нам предпринять.

Анализируя создавшееся на Каспии положение (в ближайшие годы в Каспий не может быть подано достаточно воды для поддержания его уровня!), Институт океанологии Академии наук СССР предложил схему локального регулирования моря. Это будет дамба через море. (Мальшет спокойно с указкой в руке перешел к огромной карте Каспия.) Дамба пройдет от поселка Бурунного на остров Ракушечный в направлении на северо-восток по современным глубинам 0,5—1,5 метра и будет иметь длину 250 километров. Однако к проекту Океанологического института относятся без должного внимания. О нем много пишут, но и только. Не отпускают средств на изыскания. Над проектом инженера Дмитриева о стоке северных рек — Печоры, Вычегды, Камы — в Каспий трудилась десятки лет целая армия изыскателей, проектировщиков, конструкторов. Группа высококвалифицированных инженеров руководит топографо-геодезическими

работами. Имеются налицо детальные чертежи, по которым можно класть бетон и рыть землю. А проектом дамбы через Каспий занимаются одни океанологи. Каспийской проблеме не уделяется должного внимания, она, по существу, беспризорна.

— А как вы относитесь к проекту Дмитриева? — спросила, вдруг оживляясь, полная пожилая женщина в черном платье с орденом на груди — она сидела в президиуме. (Как я потом узнал, это была известный ихтиолог Васса Кузьминична Бек.)

— Весьма положительно отношусь! — воскликнул Мальшет. — Но Каспий это не спасет. Эффект его для Каспийского моря скажется не меньше, как лет через двадцать, когда уже будет поздно спасать вашу рыбу, Васса Кузьминична! Повторяю, нужны самые срочные меры! — продолжал Мальшет. — Я уже предлагал в печати и снова настоятельно предлагаю — надеюсь, совещание поддержит это предложение — объявить открытый конкурс на гидротехническое сооружение, регулирующее уровень Каспия. Кроме того, в обсуждении проблемы Каспия должны принять участие не только представители научно-исследовательских учреждений, но и печать, партийные и советские органы. Проект такого грандиозного сооружения может родиться лишь как результат огромного коллективного труда. Как ни странна своей новизной идея регулирования целого моря, но она вполне по плечу советскому народу, советской технике...

Здесь начались такие бурные аплодисменты, что Мальшету пришлось минут пять помолчать. Он не улыбался, ожидая как-то очень серьезно тишины. Я взглянул сбоку на сестру... О, как она смотрела на Филиппа, забыв обо всем на свете, ничего не замечая, не слыша. Вот, значит, каким бывает взгляд женщины, которая любит, — доверчивый и пылкий. У меня сжалось сердце: как мне хотелось, чтоб Лиза была счастлива в жизни. Как-то сложится ее судьба? Что она любит Мальшета, я подозревал давно. Напрасно Фома так избил Глеба. Ведь я ему говорил: «Мальшет — вот кто ей нужен!» Глеба она только жалеет, мне тоже его жаль (странно все-таки, что такого здорового красивого парня все жалеют. Чудеса!).

Заканчивая свой доклад, Мальшет просил совещание упомянуть в решениях о необходимости срочного создания экспедиции (у меня радостно екнуло сердце!) по изучению трассы дамбы.

— Объявляю перерыв на обед, — утомленно объявил председатель.

Глава восьмая

«ПОТОМУ ЧТО ВЫ... ПОДЛЕЦ!»

Вечернее пленарное заседание началось с обсуждения докладов. Взволнованный и страстный тон, который задал Мальшет, сохранился. Выступали ихтиологи, гидрохимики, биологи и климатологи, ученые с мировыми именами и скромные труженики, как Мальшет. Выступали представители партийных организаций, гидростроители, рыбаки, моряки. Очень мне понравились их выступления — они были коротки и определены. Практики ставили вполне конкретные задачи, разрешения которых ждали от ученых, а ученые обсуждали

возможности и пути их осуществления. Стало как-то особенно хорошо, я вдруг поверил, что с Каспием скоро справятся.

Иван Владимирович тоже был очень доволен ходом совещания. Мы сидели втроем на тех же местах, а Мальшет, после того как ответил с трибуны на вопросы, пошел в ложу и сел рядом с высокой девушкой, одетой дорого и со вкусом,— серая шляпка и серая сумка, которую она клала то на колени, то на барьер, очень прищипь к лиловому модному платью. У нее было несколько длинное бледное лицо и большие серые глаза, похожие на серый бархат. Это была сестра Глеба — Мирра Львова, гидробиолог и планктонолог, работавшая вместе с Филиппом в Институте океанологии.

Филипп собирался нас познакомить, но Мирра опоздала на заседание. «В перерыве, наверное, познакомит»,— подумал я и сбоку посмотрел на сестру. В ней чувствовалась какая-то скованность, внутреннее напряжение, с которым она мужественно боролась. Иван Владимирович, сидевший со стороны Лизы, ласково дотронулся до ее загорелой руки. Он хотел что-то сказать, но промолчал. Я тоже так сделал, хотя мне хотелось успокоить сестру. «Значит, она испытывает сейчас ревность,— решил я,— там давняя дружба... если это только дружба».

Я подумал, что Глеб тоже пришел бы на совещание, где были и его отец, и сестра, и мы все. А вместо этого он вынужден прятать от людей свое лицо. Что-то постыдное было в том, что он дал так «разукрасить» свою физиономию. Ведь никто не знал, что его избил чемпион по боксу. Странно, но действия Фомы не вызывали у меня никакого внутреннего осуждения. «Подрался из-за одной девчонки!» — сказал Глеб. Это хорошо, что он не стал хныкать и жаловаться. Интересно, поставил ли он Фоме хоть один синяк?

Я вдруг вспомнил все, что Глеб рассказывал о своем детстве. Властный, суровый отец, который вечно его третировал, открыто презирал и ненавидел. Странно все-таки — за что, ведь любил же он дочь. Однажды я задал этот вопрос Турышеву, и он ответил так:

— Может быть, Львов чувствовал душевную хрупкость, незащищенность Глеба? Люди склада Львова никогда не удержатся, чтоб не залезть в незащищенную душу сапогом.

Иван Владимирович хорошо знал мать Глеба, она была именно такая — незащищенная. Муж, которого она беззаветно любила, сильно ее обижал — измены, унижение достоинства, вечная боль и подавленные слезы. Уйти от мужа с двумя детьми у нее не нашлось сил. В результате бесконечных травм — рак...

Я читал в одной научной статье про такой в точности опыт. Группу собак дразнили, пугали, расстраивали, и вот они все заболели раком. (Опыт, конечно, жестокий, я бы не мог там работать, хоть это и для блага человечества! Я Павлушку Рыжова еще за то ненавидел, что он мучил животных. Причем у него-то уж никакой не было цели. Ребята уверяли, что он только при мне мучил, чтоб меня позлить. Возможно, и так.)

Раздумывая о Львове, я невольно посмотрел на него — он сидел на том же месте, в президиуме, у края стола, такой же свежий и выхоленный. Один из членов президиума — он не то опоздал, не то выходил — на цыпочках прошел на свое место позади Львова. Профессор обернулся и протянул руку. Обмениваясь рукопожатием, тот товарищ улыбнулся Львову. Через меня словно электрический ток пропустили — так меня дернуло. Это было ужасно! Ведь тот ученый — или кто он там был — не знал, что из себя представляет Львов, и, пожав ему руку, опоганился. Кабы он знал про него все, он бы, разумеется, не стал пожимать ему руку. Мне показалось это таким страшным, что мурашки поползли по спине.

По-моему, самое гнусное, что может быть на свете, это — улыбнуться подлецу. Ниже уже нельзя пасть. Некуда. Конечно, тот человек не знал про Львова. Не знал, что он подлец, занявший место оклеветанного им друга, что он изо дня в день убивал свою жену, навсегда подорвал веру в свои силы у ребенка, разбил чужую семью — отнял у Фомы мать. Вот если бы он знал и улыбнулся Львову, тогда, конечно, он был бы еще хуже Львова — именно хуже, ведь со стороны подлость виднее. О, это было что-то такое уж низменное и подленькое, что и выразить нельзя.

От этих мыслей мне стало так одиноко и неудобно, что хоть волком вой. Я оглянулся. Кругом полно народа, всем жарко, обмахиваются — женщины веерами, мужчины газетами и журналами, но все внимательно слушают. Мне сразу стало легче. Но в этот момент на кафедре вышел Львов...

Его так же встретили рукоплесканиями. Улыбаясь обаятельной улыбкой, он поднял белую холеную руку и слегка ею помахал — не то в знак приветствия, не то страдая от скромности. Говорил он без всяких шаргалок, язык-то у него был привешен не хуже, чем у нашего Павлушки.

Выступление Львова сводилось, в общем, к тому, что уровень Каспия скоро начнет повышаться, и не из-за чего «горячку пороть» — это я своими словами передаю. А вот теперь попробую его словами, если сумею, так как это очень трудно! Про Львова только Салтыков-Щедрин написал бы хорошо — уж очень этот «ученый» походил чем-то на Иудушку Головлева.

— Товарищ Турышев разрешил некоторые наши сомнения в поведении Каспийского моря... Ха-ха! Мне известны мнения некоторых руководящих работников Госплана. Они считают вредным, гм, утверждение, будто уровень Каспия падает. Он не падает, а колеблется. И ущерб, который, гм, испытывает от этого наше народное хозяйство, заключается в том, что береговая линия движется то назад, то вперед. Весьма странно, что товарищ Турышев взял на себя смелость выступить с таким, гм, прогнозом... Человек долгие годы был в стороне от науки. Он лет десять работает, гм, наблюдателем на какой-то там метеостанции второго разряда. Где, с кем, когда этот прогноз обсуждался?

— Прогноз профессора Турышева обсуждался в Институте океанологии Академии наук СССР, — решительно подала реплику Васса Кузьминична Бек.

— И одобрен Ученым советом, — добавил Мальшет из ложи.

— Да, но, гм, некоторые участники совещания (мы тут обменялись мнением в кулуарах) полагают, что сверхдолгосрочный прогноз должен быть апробирован Госпланом. Прогноз должен носить официальный характер. Все ж таки, гм, так безапелляционно выступить на совещании...

К проблеме Каспийского моря надо подходить по-новому, по-научному. Если в северной части моря нужно поддержать или сохранить современный уровень, то на южной, особенно в районе Апшеронского полуострова, выгоднее будет значительное понижение уровня... К сожалению, наука еще не располагает достаточно обоснованными методами сверхдолгосрочных прогнозов, поэтому трудно поверить любому долгосрочному прогнозу естественного хода уровня моря. В такой форме прогноз, по моему скромному мнению, не следует давать потребителю. Никакой проблемы Каспия не существует, это выдумки паникеров и пессимистов от науки или, гм, очень молодых людей, идущих, к сожалению, на поводу... Уровень Каспия колеблется в небольших пределах, гм, около стабильной величины. Без сомнения, он скоро начнет подниматься.

Я решительно возражаю против переброски печорских вод в Каспий. Со временем такая переброска приведет к угрозе затопления прибрежных районов

Каспийского моря с их богатыми недрами. Она может угрожать самому существованию таких городов, как Баку и Астрахань. В этих условиях — таково и мнение некоторых работников Госплана — сброс вод Печоры в Каспий представляется бессмысленным. Однако работники каспийского отдела Института географии Академии наук СССР и Института океанологии предпочитают придерживаться другой точки зрения, которую и пропагандировал молодой, гм, очень молодой ассистент.

Бессмысленно вовсе сооружение дамбы на Каспии. Если в борьбе с колебаниями уровня Каспия переброска масс воды ничего не дает, то постройка дамбы принесет даже большой вред, так как будет угрожать благополучию Средней Азии и Закавказья. Поверхность Каспия является фактором водоносности рек этих республик.

Что касается Каспия, то здесь еще бессилён перед природой человек. Регулировать климат он еще не научился. А колебания уровня Каспия зависят от колебания климата. Бороться в данном случае бессмысленно. На днях я читаю доклад в техническом отделе Совета Министров, и я честно и принципиально, гм, выскажу свою точку зрения на так называемую «проблему» Каспия. Гм!

Закончив своим характерным покашливанием, Львов еще помедлил на кафедре, наверное выжидая оаций. Но оаций не последовало — так, жидкие хлопья.

После него выступала Васса Кузьминична Бек. Наверное, она говорила что-то очень дельное. Но я задумался и ничего не слышал, пока председатель не объявил перерыв.

Это, кажется, называется разговоры в кулуарах. Наш Иван Владимирович, Васса Кузьминична, один знаменитый географ — профессор Орлов, высокий, плечистый, с шикарнейшей длинной бородой, насупившийся чего-то Мальшет и Мирра оживленно обсуждали в ярко освещенном фойе, что именно следует внести в решения совещания. Здесь же смирнехонько стояли и мы с Лизой и еще какие-то незнакомые люди, с интересом прислушивающиеся к спору.

Когда Мальшет перед этим нас знакомил с Миррой, она каждому вежливо пожала руку. Рука у нее была нежная и прохладная. Удлиненное лицо, тонкая длинная шея и словно точеные обнаженные руки поражали белизной. Наверное, она, как и Глеб, не была подвержена загару. Ее большие глаза, как я уже сказал, очень походили на серый бархат. У Лизы тоже были серые глаза, но светлые и лучистые, их никогда бы не сравнил с материей, хотя бы и с бархатом. Мирра оказалась не очень высокая, просто она была в туфлях на высоких, словно гвозди, каблуках, но не спотыкалась на них.

Мирра спокойно рассмотрела нас троих (Мальшет ей часто о нас рассказывал), чуть дольше и внимательнее задержав взгляд на Иване Владимировиче. Крупные губы ее дрогнули, тень недовольства прошла по лицу.

Подшел худощавый человек в сером костюме, роговых очках, с фотоаппаратом через плечо — спецкорреспондент одной из центральных газет — и стал шутить с добродушной Вассой Кузьминичной, как вдруг послышался раскатистый баритон Львова...

Упомяну здесь, что народу в фойе было мало, большинство вышло на улицу покурить и выпить газированной воды. Поэтому Львов сразу увидел и свою дочь, и географа, и корреспондента и с веселым видом направился в нашу сторону. За ним двигалась целая свита каких-то стильно одетых «молодых» людей с лысынами разных форм и величин.

Поздоровавшись со всеми общим поклоном, Львов вдруг встретился взглядом

с Лизой.

— Ба!.. Да это... гм, Лиза Ефремова, моя ученица. Помню, помню, как же. Здравствуй, маленькая спорщица!—И он, улыбаясь, протянул мясистую холеную руку моей единственной сестре.

Я крепкий парень и многое могу вынести, но такого я бы не перенес. Если бы у меня было еще несколько сестер, но у меня была всего одна-единственная сестра, которую я обязан был защищать, и я не мог допустить, чтоб она опоганилась, пожав эту руку. Щекам моим стало холодно. Мальшет потом говорил, что я так побледнел. что он за меня испугался.

— Лизавета! — крикнул я не своим, охрипшим голосом.— Лизавета, отходи! — и я заслонил собою сестру, отгесняя ее назад.

Львов рассмеялся, посмотрел на меня и стал смеяться еще пуще. Наверное, я был-таки смешон — длиннорукий, неуклюжий парнишка, загорелый до черноты, с чересчур уж светлыми глазами, выгоревшими на солнце патлами (подстригался еще в Бурунном у местного парикмахера), одетый в парусиновые брюки и клетчатую шведку.

— Это моя сестра,— горячо стал я объяснять.

— Очень приятно, гм. Почему же мне нельзя пожать руку вашей сестре?

— Потому что вы... подлец, я знаю.

Ночью Лиза разбудила меня.

— Янька, ты не спишь? Знаешь, на кого похож Львов? На нашу мачеху Прасковью Гордеевну. Он тоже умеет гасить. О, как он умеет гасить! Они два сапога— пара.

ЭКСПЕДИЦИЯ МАЛЬШЕТА

Глава первая

МОИ ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Мы вернулись в Бурунный, и я стал ходить в море вместе с Фомой на его судне «Альбатрос». (В Бурунном все суда почему-то носили птичьи названия.) Скоро я привык настолько, что мне эта жизнь даже стала казаться однообразной. Хотя мы часто ловили рыбу на глуби, но к шторму почти всегда успевали убраться домой. Об этом старалась Лиза, она аккуратно извещала по радио все рыболовецкие колхозы о перемене погоды.

Фома не отпускал меня от себя ни на шаг и, когда наше звено однажды вышло в море на другом суденышке, добился, чтоб меня назначили к нему матросом.

Чаще всего мы вывозили в море ловцов, ведь «Альбатрос» был построен для промысловых нужд, но иногда ходили в Астрахань или Гурьев — привезти товары для сельпо, или новые моторы, или школьные принадлежности, приходилось и пассажиров прихватывать. Из Бурунного везли всегда один и тот же груз: соленую рыбу. «Альбатрос» пропах рыбой, как рыбная бочка.

Так я стал матросом. Когда мы с Лизой уезжали из Астрахани, командир

Глеба, начальник авиаразведки Андрей Георгиевич Охотин, предложил мне остаться работать у них на аэродроме.

— Парнишка ты, как вижу, смышленный и ловкий,— сказал он,— сделаем из тебя хорошего бортмеханика. А будешь учиться заочно — и пилотом станешь. Вижу я, что тебе это дело понравилось.

Мне действительно летное дело понравилось, но я пока отказался — сказал, что подумаю с годок.

Первое время мы с Лизой ждали, не подаст ли этот Львов на меня в суд за оскорбление. Но он не подал: игнорировал. А я ведь вовсе не хотел его оскорблять, просто объяснил, почему не хочу, чтоб моя сестра дотронулась до его руки.

Лиза тогда была очень сконфужена, но не упрекала меня, мы только порешили за лучшее не показываться на совещании. Пробыли денька три в Астрахани, пока туда явился Фома, и уехали с ним на «Альбатросе». Турышев тоже с нами уехал.

Фома был очень заинтересован историей со Львовым.

— Он не очень стар? — спросил Фома.

Я хотел объяснить, что тот еще не старик, лет сорок пять будет самое большее, но Лиза перебила меня.

— Львов достаточно стар! — торопливо ответила за меня сестра.

Когда я по возвращении в поселок зашел по старой привычке в школу, там уже все знали про скандал — от Павлушки Рыжова, а тот от своего отца, присутствовавшего на совещании. (Да, он там был и даже выступал — говорил, как всегда, одни общие слова.)

Учителя пришли в ужас от моего поступка, кроме Афанасия Афанасьевича — тот был почему-то доволен. Педагоги зазвали меня в учительскую, и Юлия Ананьевна сказала:

— Вот как ты начинаешь свою самостоятельную жизнь — с оскорбления человека. И какого человека — крупного ученого! Я когда узнала, с сердцем было плохо. Это наш просчет, мы плохо тебя воспитали. Но ты всегда был трудный ученик, с первого класса. Сестра твоя Лиза — тоже трудная... — Преподавательница укоризненно покачала седой головой.

Но Афанасий Афанасьевич не пощадил ее седин.

— Простите, Юлия Ананьевна, но вы просто несете чушь! — возразил наш классный руководитель! — Никакие они не трудные. Наоборот, брат и сестра Ефремовы — гордость нашей школы. Я горжусь, что был их учителем!

— Ну уж, знаете... — возмутилась Юлия Ананьевна.

Они поспорили. Я не знал, кому верить, но, пораскинув мозгами, решил, что лучше Афанасию Афанасьевичу. У Юлии Ананьевны всегда были любимчики. Павлушка ее любимчик.

— Ты хорошо начинаешь свою жизнь, Ефремов! — убежденно сказал мне Афанасий Афанасьевич. — Настоящий советский человек всегда принципиален, он не подаст подлецу руку, не улыбнется ему. Ведь этим он как бы оправдывает существование подлости, примирится с ней. Разговаривать с подлецом так же спокойно и приветливо, как если бы тот был честный и добрый, может только человек равнодушный, трухлявый изнутри, как изъеденный червями пень.

— Но Львов крупный ученый! — ужаснулась Юлия Ананьевна.

— Львов — псевдоученый, — возразил я и, вежливо простившись с учителями, ушел, оставив их спорящими.

Дорогой, раздумывая над слышанным, я вдруг понял простую истину: учителя, как и все люди, очень разные. У каждого свой характер, свои взгляды на

значение человека. Следовательно, каждый из них стремится воспитывать в ученике свой идеал гражданственности. Ну, а ученик должен сам выбрать, за кем ему следовать, кого слушать.

Из всего этого и родился мой первый рассказ. В нем было отступающее море, наползающие дюны, пронзительные крики чаек, новый поселок на острове, вышедшем из воды, и неожиданная встреча двух мужчин — капитана промыслового суденышка (я назвал его Фома Тюленев) и его дяди геолога Василия Павловича Тюленева, совершившего в прошлом подлость. Молодой капитан, зная об этом, не пожал своему дяде протянутой руки, хотя это был единственный его родственник, оставшийся в живых после войны. Капитана я списал с Фомы, но сделал его тоньше, культурнее. А у геолога были черты старшего Рыжова и Львова.

На мое счастье, море заштормило, и у меня оказалось целых четыре свободных дня. Я вставал до рассвета и, облившись во дворе морской водой из бочки (к морю было невозможно подойти, так оно разбушевалось), садился к столу. Старый дом содрогался от ветра, все спали, а я писал и был необыкновенно счастлив.

В детстве я иногда сочинял стихи, читал их ребятам и даже как-то показал Юлии Ананьевне. Ребята нашли стихи «какими-то не такими», а Юлия Ананьевна посоветовала лучше написать заметку в стенную газету, что я и сделал. Но теперь меня нес поток такой силы, что никому его не преградить. Я буквально был перенасыщен образами, слышал музыку этой вещи, ее мотив — да, она имела мотив, как песня. Я вложил в этот рассказ самого себя, у меня просто за душой ничего не осталось.

Я никому не говорил о своей работе, даже Лизе, но какая же чуткая и добрая была моя старшая сестра — не спросив ни о чем, молчаливо взяла на себя мои обязанности по дому и ни разу не потревожила меня за эти бурные четыре дня.

Когда мы снова вышли в море, рассказ был закончен лишь вчерне. Впервые я узнал власть неоконченного труда. Я изнывал, тосковал, рвался к своей рукописи. Я еле дождался окончания рейса, так хотелось скорее вернуться к прерванной работе. Но перерыв оказался полезным. Переписывая рукопись, еще весь переполненный ощущением упругих волн, соленого ветра, физической работой, от которой болят мускулы и саднит кожа на руках, я еще раз насытил страницы моего произведения свежим дыханием морской жизни.

Работая над рассказом, я все время напевал без слов. Это была именно моя, мною созданная мелодия. До сих пор жалею, что не была тогда записана и музыка, но я ведь не знал нот. После мне говорили, что эта вещь написана от начала до конца ритмической прозой.

Переписав в последний раз рукопись, я был радостно опустошен и растерян, хотелось писать еще и еще, но писать пока было нечего, и меня терзали не испытанные до того чувства. Это была страсть к литературному творчеству, возникшая неизвестно откуда и отчего. Раньше я никогда не писал, если не считать «каких-то не таких» стихов. Правда, я всегда до самозабвения любил читать и читал во вред учебе. А может, это во мне пробудилась наследственность? Мамина бабушка была та, что теперь называют народной сказительницей, — она сама сочиняла песни о море, о рыбаках, песни и сказы. Иван Матвеевич говорил, что в поселок приезжали из города записывать ее сказы. Но она умерла в безвестности и нужде, неграмотной рыбачкой. А мама была мечтательницей. Лиза тоже мечтательница.

Я понес свое произведение в Бурунный. В исполкоме у меня была знакомая машинистка — сухонькая, седенькая старушка, вдова бывшего директора школы. Я попросил ее перепечатать мой рассказ на машинке. Кстати, я назвал его очень просто — «Встреча». Мария Федоровна посмотрела на меня с доброжелательным любопытством и спросила:

— В трех экземплярах, конечно?

— В трех... если можно.— Я густо покраснел от смущения.

Мария Федоровна велела мне прийти через два дня, но мы с бригадой ушли на лов кильки. Когда я наконец явился, она торжественно вручила мне три аккуратно сшитых и даже выправленных экземпляра.

— За эту работу не надо никаких денег,— торжественно произнесла она, когда я, покраснев, спросил, сколько ей должен.— Ты, Яша, написал прекрасный рассказ. Я печатала и плакала. Яша Ефремов, ты станешь когда-нибудь большим писателем. У тебя искра божия — талант. Поздравляю тебя, мой мальчик! — И добрая женщина поцеловала меня в обе щеки.

Взволнованный, я тут же отправился на почту и отослал рассказ в один из московских журналов. Не затем, чтобы его напечатали, но я слышал, что толстые журналы дают подробные рецензии начинающим.

С почты я забежал в магазин и, захватив наскоро макарон, крупы, конфет и хлеба, стал прилаживать к раме велосипеда продуктовую сумку. И вдруг я увидел Мальшета.

В зеленой шведке, с рюкзаком за плечами и плащом через руку, он стоял на ступенях каменного здания райкома партии и с явным удовольствием озирался вокруг. Солнце палило нещадно, над песками дрожало золотистое марево, на площади сохли бесконечные сети. Я бросился к нему, и мы обнялись.

— Ну, Яков, готовься в экспедицию,— серьезно сказал Мальшет.— Я арендовал «Альбатрос» вместе с его командой. Через два дня выходим в море.

Через два дня мы, конечно, не вышли. Требовалось подготовиться как следует. Мы с Фомой рьяно взялись за ремонт «Альбатроса». Заново его просмолили, покрасили. Вместительный трюм для рыбы выскребли, вымыли до блеска, приладили откидные полки и столики — получился превосходный кубрик. Мальшет еще два раза ездил в Москву за всякими приборами. С ним поехала Лиза держать экзамены в Гидрометеорологический институт. Вернулась похудевшая и веселая. Экзамены выдержала на «отлично», ее зачислили на заочный гидрологический факультет.

Итак, Лиза была уже студенткой!..

По этому поводу мы устроили развеселую пирушку с шампанским. Иван Владимирович подарил Лизе бусы из сероватого янтаря, Филипп — шесть томов Паустовского, ее любимого писателя, а Фома принес колечко с маленьким камешком, словно капля морской воды. Лиза вспыхнула и не хотела брать, но Фома кротко спросил:

— Почему бусы можно дарить, а кольцо нельзя?

Лиза покраснела и ничего не ответила, молча, с независимым видом надела кольцо на палец и отвернулась. Фома был очень доволен, но старался этого не показывать. Вообще он очень боялся Лизоньки, что как-то не к лицу моряку и боксеру.

Я не догадался ничего подарить, а когда спохватился, было уже поздно — не бежишь за девять километров в сельмаг, когда уже за стол пора садиться. Тогда я написал на оставшемся рукописном экземпляре: «Первый рассказ свой посвящаю любимой сестре Лизе» — и преподнес ей —она его еще не читала. Лиза

лукаво и смущенно улыбнулась и несколько раз поцеловала меня.

После ужина меня заставили читать рассказ. Это было нелегким делом, я даже вспотел. Теперь, когда я читал рассказ вслух перед всеми, он мне показался гораздо слабее. Мне было как-то неловко, щеки горели, во рту пересохло, и я даже немного охрип.

— Читай медленнее и не волнуйся,— сделал мне замечание Мальшет.— Очень любопытно!

Я стал читать медленнее и все более уверенно. Закончил со странным ощущением своей власти над присутствовавшими.

Все долго молчали. Лизонька, раскрасневшись, переводила взгляд с задумавшегося Мальшета на Ивана Владимировича. Фома с восторгом смотрел на своего приятеля: и доволен-то он был рассказом, и горд за меня.

— Вот это здорово! — воскликнул Фома.— Как он его, а? «Не нужно мне от вас ничего! Пусть я останусь один, но таких родных мне не надо!» А потом ведь заплакал — жалко старика дядю. Жалко, а руки не подал. Эх! Вот это человек, тезка мой, только фамилия другая...— Фома и сам чуть не заплакал. Очень он был жалостливый и добрый.

Иван Владимирович прочувствованно пожал мне руку.

— Поздравляю с хорошим рассказом. Мужественная, светлая вещь. А я не знал, что у тебя талант...

— Ну уж...— смутился я. Мне было чего-то стыдно, и счастлив-то я был безмерно.

— Первый рассказ, и такой сильный,— удивился Мальшет.— Это же очень редко бывает. Ты сам-то понимаешь, какая теперь ответственность на тебя навалилась?

— Поймет еще,— пробормотал Фома, когда я не ответил.

Мы беседовали до глубокой ночи, главным образом о целях творчества. Впервые я очутился в центре благожелательного и восхищенного внимания и был так взволнован, что плохо различал окружающее, будто немножечко ослеп. Отдельными пятнами вспыхивали то яркое платье сестры и румянец на ее смуглых щеках, то зеленая рубашка Мальшета и его зеленоватые с крапинками смеющиеся глаза, то бронзовое, обветренное лицо Фомы с белоснежными ровными зубами, то седые виски и чисто выбритые щеки Ивана Владимировича, его полосатый галстук, вымытая до блеска посуда на столе, горка не-вызревших крупных яблок на блюде. И все покрывал неумолчный, протяжный, как орган, басистый гул — это Каспий ворочался в своем жестком ложе.

Я совсем не уснул в ту ночь. Поднялся с кровати рано: утром приезжали остальные участники экспедиции.

Глава вторая

ПУТЬ «АЛЬБАТРОСА»

Никогда бурный, беспокойный Каспий не казался таким тихим, умиротворенным, ласковым, как в тот день, когда экспедиция вышла в море.

— Ишь, прикидывается, старый чертушка! — сквозь зубы проговорил Фома. Он-таки продолжал одушевлять Каспий.

Фома с самого начала был настроен по отношению к этой экспедиции скептически.

— Не будет толка,— шепнул он мне на ухо.

— Почему не будет толка? — обиделся я за своих ученых друзей.

— Слишком много баб, какая это экспедиция! — покачал головой капитан «Альбатроса». Как всегда, его черные прямые волосы проволокой торчали во все стороны.

— Как так?

— А так: Васса Кузьминична — раз, Мирра Павловна — два, Лиза — три. Лучше бы им дома сидеть. Три бабы на такое квелое судно. Иван Владимирович — старик, ты — мальчишка, не обижайся, к тому же писать начал стихи — ну, рассказ, все равно. Вот и выходит, мы с Филиппом — всего двое мужчин. А Каспий шутить не любит. Это он пока прикидывается, заманивает. Почему не взяли механика и второго матроса?

— Так места же нет, чудак человек.

— Вот именно, нет места, слишком много баб.

— Они научные сотрудники...

— Я бы ни за что не поехал,— еще тише зашептал Фома,— да за Лизу боюсь. Ну и Мальшета как одного пустить, что бы он с вами делал? А Каспий еще себя покажет.

Более упрямого человека, чем Фома, свет не видывал, ты ему хоть кол на голове теши — он все равно на своем будет настаивать.

По-моему, женщины держались геройски, даже Мирра, которую все время мучило. Она возмущалась, что Мальшет не достал лучшего судна.

Конечно, «Альбатрос» не «Витязь», специально приспособленный для океанологических наблюдений, но все же это неплохой двухмачтовый парусно-моторный баркас. Главное, крепкий, отлично просмоленный и устойчивый. Когда Каспий начнет себя показывать, эти качества очень пригодятся.

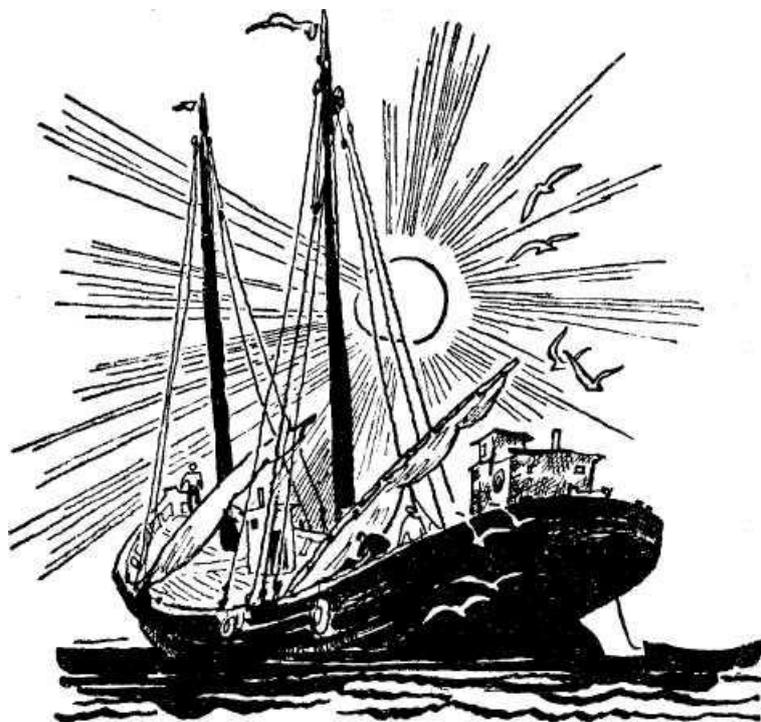
В распоряжении Океанологического института имелись два специальных корабля — «Труженик» и «Академик Обручев», но для плавания по мелководному северному Каспию они уже не годились. Мальшету требовалось именно такое судно, как наше,— с посадкой не более полутора метров.

Вот как устроен был «Альбатрос»: на носу фок-мачта, от которой к бокам натянуты по два баштуга, посредине грот-мачта — от нее идут по три баштуга. Все перегородки так плотно проконопачены и просмолены, что если в один отсек хлынет вода, его можно будет герметически закрыть. Люки открываются и закрываются тоже почти герметически. В носовой части судно обшито листами меди, чтобы не порезало льдом.

В небольшой каюте поместились женщины. Между двумя мачтами устроен камбуз, где хозяйничает Лиза — она повар «Альбатроса» и по совместительству

метеоролог. Филипп Мальшет и то совмещает две должности: начальника экспедиции и второго матроса. Иван Владимирович — климатолог, гидрохимик и механик. Ну, а я — матрос и помогаю в научных наблюдениях. Это нисколько нетрудно: на стоянках мы все научные работники, во время рейса — моряки. Ночью бросаем якорь прямо в открытом море и даже вахты не держим, если хорошая погода.

За «Альбатросом» на буксире прыгает по волнам легкая, как скорлупка от яйца, бударка «Лиза». Это та самая бударка, что мы с Иваном Владимировичем сами сделали, Фома тоже помогал.



Рабочий день на «Альбатросе» начинался рано. Раньше всех поднималась сестра, потому что ей надо было готовить для всех нас завтрак, и Фома, который никому не уступал честь помогать Лизе, даже мне, чему я, разумеется, был только рад. Вскоре поднимались и остальные — и тут закипала работа.

Первым делом я измерял глубину моря. Перед тем как опустить приборы, каждому научному работнику нужно знать глубину моря. С этого начинались наши наблюдения, и я очень гордился, что все с нетерпением ждали результатов моего измерения, и я таким образом открывал ежедневно трудовой день.

Чтоб опустить в море прибор, у нас была специальная лебедка, на барабан лебедки наматывался мягкий бронзовый тросик толщиной в два миллиметра. Тросик этот пропускался через металлический блок со счетчиком, указывающим метры. К тросу прикреплялся груз — лот, им измеряется глубина.

Мальшет, насвистывая, брал пробы воды на анализ. Пробы брались из всех слоев воды — от поверхности до самого дна. Благодаря малым глубинам измеряли температуру и определяли соленость через каждый метр. Анализы воды делали прямо на «Альбатросе», в походной лаборатории, а для самых сложных анализов воду набирали в специальные герметически закупоренные бутылочки. Их потом отправляли в Москву, в Институт океанологии.

Больше всего я любил помогать Мальшету. Вот кто всегда был в хорошем настроении, шутил, смеялся и, словно между прочим, давал массу точнейших

интереснейших научных сведений. Одно удовольствие было с ним работать!

Иван Владимирович — мы с Лизой любили его, как родного отца,— он добр, справедлив, никогда не раздражался, но большей частью был молчалив и замкнут, редко разговаривал. С ним очень подружилась Васса Кузьминична. Ей было лет пятьдесят, но она никогда не жаловалась на здоровье, превосходно переносила волны и ветер, веселая, добродушная, общительная. Своей непосредственной работой Васса Кузьминична была занята лишь при поставке сетей и при лабораторном анализе рыбы, остальное время она всем помогала, в том числе и Лизе.

Но РОТ кто всегда только и делал, что злился, это Мирра Львова. Ну и характер у нее!.. С утра она была причесана, как в театр, в стильно сшитом спортивном платье, лаковых босоножках, бледная от беспрестанной качки («Альбатрос» качало и в штиль!), раздраженная, как кошка, когда ее долго гладят против шерсти. Ни на кого не глядя, она хваталась за дночерпатель (им достают грунт со дна моря) и, нахмурившись, приступала к работе. Меня она возненавидела (наверно, потому, что я публично оскорбил ее отца), один звук моего голоса вызывал у нее раздражение. Ивана Владимировича она брезгливо сторонилась и одновременно словно боялась. Фому считала за дурака и третировала его. А Лизу... Лиза ей, кажется, застила весь свет.

Зачем она поехала? По-моему, эта экспедиция была для Мирры сплошной пыткой.

От непрерывной тошноты красивое лицо ее осунулось, пожелтело, она совершенно потеряла способность улыбаться, рассуждать о литературе или музыке. На лодке ведь сильнее укачивает, чем на пассажирском электроходе, а наш «Альбатрос» был, в сущности, большой лодкой. Бедная девушка пила аэрон, действующий на вестибулярный аппарат, сосала лимон, пробовала поститься и, наоборот, наедаться — ничего ей не помогало. А тут еще нравственные терзания.

Я ее вполне понимаю. Она так же страдала от нашей честной компании, как я при виде Павлушки Рыжова и его папаша, тут уж ничего не поделаешь. В довершение всего Мирра ревновала. Она ревновала Мальшета к Лизе, к Вассе Кузьминичне и даже ко всем нам. Особенно ее уязвляло, что Лиза была всеобщей любимицей.

Наверное, Мирра привыкла первенствовать в кружке своих московских друзей. Еще бы — блестяще образованная (четыре языка знает!), остроумная, красивая, превосходно одетая, избалованная, конечно, она везде выделялась. Для нее это было как хлеб насущный. И вдруг рядом девушка, которую бухгалтерия Океанологического института проводит как рабочего экспедиции,— она драит пол в каюте, где спит Мирра, готовит обед, моет посуду, она же в смену с Турышевым проводит каждые три часа метеорологические наблюдения — осмеливается рассуждать о вещах, знатоком которых считает себя Мирра, например о поэзии и литературе. И всегда румяная, ясноглазая, живая, непосредственная. Я частенько ловил мрачный взор Мирры, устремленный на мою сестру,— о, с каким недобрым выражением! Мирра волевая, настойчивая, выносливая. Уже будучи планктопологом, она побывала с экспедицией в бывшем заливе, теперь соре (солончаке, образовавшемся на месте высохшего морского залива) Мертвый Култук. Когда-то этот залив весь звенел от гомона птичьих голосов — гусей, уток, бакланов и всяких других любителей свежей рыбы. Залив служил пастбищем для проходных рыб Каспия и местом их нереста. Теперь там раскинулась мертвая пустыня — застывший ил. От палящего солнца корка ила растрескивается на многоугольники, и тогда выступает в виде белых

кристалликов соль, словно щетиной покрывая обнажившееся дно. Весной после таяния снегов там расстилается заболоченная, угрюмая равнина. Думаю, что экспедиция на Мертвый Култук была не из легких. Но тогда не было качки. Бесперывная тошнота смирит кого угодно.

У Мирры было почти все, что можно пожелать женщине: красота, ум, образование, интересная профессия. Не хватало ей только одного — того, чем в избытке обладала моя сестра, — душевного тепла. Как-то Иван Владимирович сказал о Мирре: «Полнейшее моральное одичание!» Развитие Мирры, как я понимаю, было развитием ее разума, а чувства ее остались в эмбриональном состоянии. Впрочем, не совсем так — ненависть, зависть, уязвленное тщеславие, желание выдвинуться — это ведь тоже есть чувства. Такого рода эмоции у нее были. Ее воспитал Павел Дмитриевич Львов, она была его дочь по крови и по духу. Но, я думаю, Мирра не стала бы клеветать на человека, как ее отец.

Как я понял из собственных наблюдений, из случайно оброненных фраз Мирры и Филиппа, у них все шло к тому, чтобы в конце концов пожениться. Он уже несколько раз делал ей предложение, Мирра каждый раз не то чтобы отказывалась, но заявляла, что пока не желает выходить замуж. Она хотела сначала добиться какой-то там научной степени и боялась, что замужество может затормозить ее работу. Все же она смотрела на Малышета, как на будущего мужа. Близости никакой у них не было. Пылкость Филиппа разбивалась, как о стену, о сухость и рассудительность Мирры.

И вдруг на дороге Мирры стала Лиза, смешная, плохо одетая девчонка из какого-то рыбацкого поселка. И Мирра с ее умом, конечно, понимала, что в области чувств Лиза неизмеримо превосходит ее. Если что сколько-то расхолаживало Малышета, так это именно чрезмерная рациональность, техничность мышления Мирры за счет чувств. Будь на месте Малышета лично я, меня бы оттолкнуло прежде всего то, что она дочь Львова.

Меня очень смущало то обстоятельство, что мой кумир (говорю это слово без всякой иронии) мог спокойно разговаривать с клеветником и подлецом. Недодумал здесь чего-то Малышет. И было досадно и горько, что приходилось оправдывать в чем-то Малышета. Не выдержав, я спросил об этом Филиппа. Он посмотрел на меня своими яркими зелеными глазами и коротко объяснил:

— Дело требует.

И я почувствовал себя мальчишкой.

Но, по-моему, я просто уверен в этом и буду рассуждать так всю мою жизнь: если бы все люди были настолько непримиримы ко всякой низости, что не считали бы для себя возможным разговаривать с недостойным человеком, он бы просто не смог выполнять никакую более или менее ответственную работу, значит, и «дело» не требовало бы того.

Все это прекрасно видел и понимал Фома, не так-то он был глуп, как это представляла себе Мирра. Вот почему он говорил: «Слишком много баб, не будет толку». По-моему, мешала Мирра. Хоть бы она уехала, думал я. Все бы вздохнули с облегчением, даже Малышет...

Я прежде думал, что экспедиция — это что-то особенное, романтическое, но оказалось, что это — прежде всего работа, очень много работы. Один день походил на другой, как оттиски фотографии — чуть светлее, чуть темнее: научные наблюдения, завтрак, «Альбатрос» поднимает якорь, паруса и полным ходом идет вперед; остановка, снова станция (пункты океанографических наблюдений принято называть станциями), обед, снова поднимаем якорь и идем навстречу волнам и ветру, опять очередная станция, ужин. На ночь мы для

завершения исследований выставляли сети на частичковую и красную рыбу. После лабораторного анализа Васса Кузьминична передавала рыбу на кухню.

Станции всегда приурочивались к часам основных метеорологических наблюдений — в семь, тринадцать и девятнадцать часов. Как и дома, Лиза проводила наблюдения силы и направления ветра, влажности и атмосферного давления. Она всегда очень добросовестно относилась к своим обязанностям, тем более теперь, когда она была уже студенткой Гидрометеорологического института.

Так мы подвигались вперед — очень медленно, потому что много времени занимали станции и каждый был занят своим делом. Мальшета интересовали волны и течения, Турышева — физика моря, Вассу Кузьминичну — жизнь рыб, Мирру — отлов планктона, Лизу — наблюдения за погодой и прокормление семи человек, Фому — все судно, он отвечал за наши жизни; ну, а я был матрос и рабочий экспедиции и еще для себя с жгучим любопытством изучал характеры людей, с которыми меня свела судьба.

Вечерами, бросив якорь в зеленую пенящуюся воду и поужинав на качающейся, чисто выскобленной палубе (драил-то ее я!), мы еще долго разговаривали перед сном. В эти вечерние часы с нами не было Мирры, которая с ломтиком лимона ложилась в каюте.

По мере того как смеркалось, колеблющийся горизонт придвигался все ближе, а небо поднималось высоковысоко, на нем с каждой минутой проступало все больше звезд, необычайно крупных и ярких. Иногда в море падал метеор, оставляя на мгновение след в синей вышине. У нас был радиоприемник, и мы никогда не пропускали последних известий. Слушали и концерты, если передавали хорошие, но чаще дружески беседовали.

Наговорившись, укладывались спать. Кажется, все сразу засыпали, кроме меня. Бессонницей я отнюдь не страдал, просто любил эти часы перед сном, когда смотришь открытыми глазами в полумрак и размышляешь о людях, которые вокруг тебя, или мечтаешь о будущем — своем и человечества, пытаешься это будущее угадать.

Уже засыпая, я невольно прислушивался к бульканью воды за тонкой дощатой перегородкой суденышка — Каспий был так близко, у самого моего уха. Все-таки «Альбатрос» был до смешного слаб и мал, а море сурово и огромно. И с нами были женщины.

...«Альбатрос» бежит наперерез крутым волнам под двумя белыми парусами, раскачиваясь с боку на бок, с носа на корму. Шумит, разрезаемая судном, упругая дымчато-зеленая вода, с ревом проносится мимо обоих бортов.

Мы с Фомой держим вахту. Он на корме у руля, я — у парусов возле грот-мачты. Ветер благоприятный, Каспий не сердится, хотя идем против волн, — взлеты вверх, провалы вниз, крен в одну сторону, крен в другую.

Совершенно ослабевшая Мирра, насупившись, возится с этикетками, вкладывая их в мешки с пробами грунта. Мальшет, сидя возле нее на люке, подвертывает гайки у дночерпателя, который стал плохо захлопываться. Иван Владимирович в старом сером костюме, но с галстуком в тон — здесь женщины! — заканчивает анализы вчерашних образцов воды.

Васса Кузьминична, промерив и взвесив ночной улов, поместив в спирт рыбы желудка, понесла рыбу Лизе. Из камбуза слышен их смех — готовят обед и болтают о всякой всячине.

— Мирра, я прошу тебя... — начинает (в который раз!) Мальшет, — ты совсем разболелась...

— Прошу оставить этот разговор! — обрезает его Мирра и сердито поправляет упавшую прядь волос.

— Но... Мирра...

— Я буду до конца экспедиции, как и все.

— Ты меня должна выслушать... Как начальник экспедиции, наконец, я отвечаю за здоровье каждого из вас. Я должен тебя отчислить, иначе ты погибнешь.

— Никто меня не отчислит...

— Но ты сама должна понять... ,

— Понимаю. Мне необходим материал для диссертации.

Я невольно вспомнил ее брата. Больше всего на свете Глеб боялся отчисления из-за летного несоответствия. Он бы скорее погиб, но не оставил своей профессии.

Я стал думать о Глебе. Он держал с нами постоянную связь — привозил почту и продукты. Это был его район моря, он летал в этих квадратах.

Глеб очень легок на помине. Не успел я о нем подумать, как послышался рокот мотора, и скоро белый гидросамолет, описав несколько кругов над «Альбатросом», сделал посадку на воду, почти рядом. Глебова амфибия была гораздо меньше и слабее нашего «Альбатроса». Глеб что-то весело закричал нам и замахал руками. Он был в тщательно выглаженном, но уже в свежих пятнах бензина комбинезоне и шлеме на белокурых волосах. Бортмеханик подал мне брезентовый мешок.

Фома поворотом руля поставил «Альбатрос» в дрейф. Паруса сразу бессильно повисли на мачтах. Тяжелая якорная цепь загремела.

Перебросив сначала мешок, Глеб легко вскарабкался на палубу. Все его живо окружили — ни дать ни взять, дети возле дяди с подарками. Он поцеловал сестру, ахнув при виде ее осунувшегося лица, и поздоровался с каждым в отдельности за руку.

— Яша, разбирай! — кивнул он мне на мешки и уселся на люке.

Пока обменивались новостями, я с интересом разобрал содержимое почтового мешка. Посылка с продуктами для экспедиции, личная посылка Вассе Кузьминичне, газеты и письма. Было и мне письмо — от Марфы... Я не стал читать письмо при всех.

— Ну, философ, как дела? — окликнул меня Глеб.— Рад, что наконец в экспедиции?

Глеб каждый раз спрашивал меня об этом,— забывает он, что ли?

— Рад.

Летчик стал рассказывать, как ловцы жалели, что «паучники» забрали у них такого бравого капитана, и слали Фоме привет. Фома и Глеб разговаривали по-приятельски, будто и не дрались никогда — синяки уже прошли. Разговаривая, Глеб поглядывал на Лизу, она его будто магнитом притягивала.

— Хотите рыбацкой каспийской ухи? — радушно предложила сестра.

— Мы тоже хотим! — смеясь, напомнил ей Мальшет. Был час обеда.

Обедали прямо на люке, сидя вокруг еды. Мы уже приноровились, а Глеб сразу пролил уху и под общий смех стал смущенно отряхивать комбинезон. Лиза снопа принесла ему жирного бульона с большими кусками отварной рыбы. На этот раз он не пролил и с аппетитом съел. Фома сделал себе рыбацкую тюрю — уху с корочкамн ржаного хлеба — и с удовольствием ел, снимая с густой тюри желтый навар. Вообще на «Альбатросе» никто не страдал отсутствием аппетита, даже Мирра.

— Может быть, ваш бортмеханик поест ухи? — предложила Лиза.

— Зачем еще,— пожал плечами Глеб,— дома пообедает.

Мы с сестрой быстро убрали со «стола». Когда, вымыв в камбузе посуду, вернулись на палубу, там шел оживленный разговор о здоровье Мирры. Каждый, перебивая один другого, убеждал ее оставить экспедицию.

— Ты же на себя не похожа,— уговаривал ее Глеб.— Для чего такое самоистязание? Это просто глупо! Собирайся сейчас же, я тебя захвачу с собой.

— Ну уж... с тобой я бы не рискнула лететь! — вырвалось пренебрежительно у Мирры.

— Что вы... Мирра Павловна! — остановила ее Васса Кузьминична, мельком взглянув на изменившееся лицо Глеба.

— Это отец ей внушил... что я такое ничтожество.

— Полноте! — добродушно возразила ихтиолог.— Ни отец, ни сестра о вас так не думают.

— Думают. Именно так. Когда я стал летчиком, отец сказал: «Научить летать можно и медведя, весь вопрос в том, сколько он пролетает». Что же... может, так оно и есть. Но это неважно,— удрученно закончил летчик.

— Выходит, ваш отец не только Мирре Павловне внушил эту дикую мысль, но и вам? — звонко сказала сестра и выпрямилась во весь рост, тонкая и высокая, как камышинка. Юное загорелое лицо ее приняло враждебное выражение. Она сделала над собой усилие, чтоб замолчать, но не справилась с гневом, душившим ее.— Зачем вы придаете значение словам... такого... Вы же знаете, что из себя представляет ваш отец. Честный человек ему руки не может подать, а вы... портите себе жизнь.

Наступила томительная пауза. Всем стало неловко. Глеб опустил длинные, как у девушки, ресницы. Иван Владимирович ушел на корму.

— Ты действительно ничтожество, если позволяешь какой-то жалкой девчонке поносить родного отца! — вне себя крикнула Мирра и отвернулась от брата.— Филипп!— обратилась она, смертельно бледная, к Мальшету,— прошу призвать эту особу к порядку, она слишком уж распоясалась, забыла свое место.

Мирра пошатнулась, видимо усилился приступ морской болезни, и, слабо придерживаясь за поручни, спустилась в каюту. Никто не проводил ее.

— Мне очень жаль,— так же звонко проговорила Лиза, губы ее задрожали, в светло-серых глазах выступили слезы,— мне жаль, если я забыла свое место... Да, я в экспедиции числюсь, ну и есть—рабочий. Но я не могу просто видеть, когда на моих глазах человеку внушают— да, внушают, что он якобы не может выполнять свою работу. Это страшно — такое внушение... простите меня! — Лиза виновато опустила голову.

Глеб бросился к ней.

— Лизочка, я не сержусь, только благодарен!

— Как нехорошо получилось,— обратилась Васса Кузьминична к Фоме, стоявшему рядом с ней.

Но Фома промолчал, плотно сжав обветренные губы. Мальшет с досадой взлохматил волосы.

— Ну, вот и...—Он махнул рукой и тоже замолчал.

— Меня ждет бортмеханик,— тихо проронил Глеб. Мы молча смотрели, как гидросамолет прочертил по воде длинные пенящиеся полосы и, словно нехотя, поднялся в воздух.

— Чаще прилетай, Глеб! — вдруг крикнул я. Летчики замахали нам руками.

— Слишком много баб,— шепнул мне горестно Фома.— Вишь, какая беда!

Скоро «Альбатрос» стремительными галсами, лавируя между крепнувшими волнами, бежал своим путем под хлопающими белыми парусами.

Все опять занялись своими делами. Мирра, ни на кого не глядя, наклеивала на склянки этикетки. Я думал, она сегодня не будет ни с кем разговаривать, но перед вечером она все же произнесла несколько фраз...

Мальшет сказал, любуясь морем:

— Здесь пройдет дамба!

— Никакой дамбы здесь не пройдет,— жестко отчеканила Мирра,— проект окончательно отклонен. Это из самых верных источников. Мне пишет мой отец.

Глава третья

НЕОЖИДАННЫЙ ЛЕДОСТАВ

После сообщения Мирры я несколько дней ждал, что Мальшета отзовут и экспедиция на этом плачевно закончится. Но никого не отозвали. Впрочем, она имела серьезное самостоятельное значение, независимо от изучения трассы будущей дамбы.

Летели дни над морем, словно серые чайки — стремительные и похожие. За два месяца нам только раз удалось переночевать на суше и помыться в настоящей горячей бане, это было на острове, в рыбацком поселке. Там же мы запаслись топливом для «Альбатроса», так как ночи стали холодными.

Путь «Альбатроса» проходил стороной и от пассажирской трассы и от мест, где рыбаки ловят рыбу. Все семеро похудели, загорели до черноты, обветрели, обтрепались. Даже Мирра перестала так тщательно следить за своим туалетом. Кстати, она несколько окрепла, и теперь почти не поддавалась морской болезни.

Незаметно для нас лето превратилось в осень. Похолодали, посуровели ветры, густой и тяжелой стала вода, голубой небосвод заволокли тучи, моросил дождь. Каспий бушевал днем и ночью. Все чаще шпормило. Работа из приятной стала тяжелой, а порою и мучительной, но до конца экспедиции было еще далеко — так мы тогда думали. Глеб доставил нам теплые пальто и телогрейки, сапоги, шапки, непромокаемые плащи. Видимо, беспокоясь, он каждый день навещал нас. Иногда, посадив самолет, Глеб переходил на палубу «Альбатроса» поговорить, обменяться новостями, поесть Лизиной ухи, но чаще он только делал над нами несколько кругов и, убедившись, что сигнала о бедствии нет, улетал по своим делам; шла осенняя путина, и Глеб, как и другие каспийские летчики, был занят чуть не круглые сутки.

Последний раз он тоже не стал приводняться, а сбросил нам вымпел. Это были газеты, письма и бюллетень погоды, предвещающий мороз. Теплый ветерок надувал паруса, порой он вдруг замирал, и паруса обвисали. Мы весело посмеялись над бюллетенем. Как всегда, взяли станцию, проделали обычные наблюдения.

Среди полученных писем был конверт и для меня... из журнала — совсем тоненький конвертик. Наверное, не возвращают рукописи, подумал я, разрывая конверт, и напрасно я надеялся получить от них обстоятельную рецензию. На глянцевиной бумаге со штампом редакции было напечатано всего несколько строк:

«Уважаемый Яков Николаевич! Ваш рассказ «Встреча» одобрен редколлегией и пойдет в февральском номере журнала. Возможно, вызовем Вас в Москву. Сможете ли приехать? Напишите коротко о себе. Где печатались раньше?»

С искренним приветом, литературный секретарь редакции Иванов».

Итак... принят. «Вызовем Вас в Москву... Где печатались раньше?» У меня защипало в глазах, я еле па ногах устоял.

— Янька, милый! — Сестра обняла меня за плечи. — Рассказ отклонили? Да ты только не расстраивайся. Мальшет сказал: сразу никогда не печатают.

Я молча протянул ей конверт.

Новость сразу привлекла всех членов экспедиции. Письмо переходило из рук в руки. Меня поздравляли, теребили, целовали. Фома так сдавил мне ребра, что я чуть не задохнулся.

А Мирра сказала:

— Сейчас такие низкие требования к литературе, что это в конце концов приведет к полной ее деградации.

— Не нахожу! — резко возразил Мальшет. — Что касается рассказа Яши — очень талантливо написан. Это делает честь работникам редакции — не просмотрели такого рассказа.

Мирра пожала плечами и холодно усмехнулась. Мальшет, взбешенный, отошел от нее. Все притихли и занялись своим делом.

Вечером, когда «Альбатрос» уже стоял на якоре, мы трое — Мальшет, Фома и я — погрузили на бударку тяжелые сети и отправились, как у нас говорят, «выбивать концы». Ветер совсем стих, внезапно похолодало. Очень студеной наступила ночь. Я совсем замерз в телогрейке и кепке, Мальшет тоже.

— Давай скорее! — поторопил он Фому. Нагнувшись к черной воде, Фома соображал, откуда течение. В сети, поставленной без учета течения, не застрянет ни одна рыба.

— Выбивайте! — наконец сказал Фома, ведя лодку в нужном направлении.

Мы стали высыпать за борт тонкое плетение сети. Бубенчиками загремели грузила. Бударка не качнулась ни разу.

— Штиль... — почему-то озабоченно заметил Фома. Мальшет работал рассеянно, все пугал поплавки. Возвращались мы при свете звезд, необычно крупных и ярких в эту ночь. Я на веслах, Фома на руле.

— Соб-бачий холод, — сказал, стуча зубами, Мальшет. Почему-то мне стало одиноко и грустно. Казалось, слишком медленно приближался огонек «Альбатроса», а минутами и совсем исчезал. Впервые меня охватил страх заблудиться в темном море. Я вздохнул с облегчением, когда мы доехали наконец.

— Это вы? — раздался в темноте голос Лизы. — Замерзли, поди? Еле вас дождались!

Чай не пили — поджидали нас. Все собрались в кубрике, поближе к жарнику, над которым уютно посвистывал в огромном чайнике кипящий чай. Каждый поодевал па себя все, что было потеплее. Ну и вид у нас был — как чучела!

Я подколот сухой щепы, и скоро разгорелся веселый большой костер.

От чая, вкусного ужина и огня стало тепло, потеплело и на сердце.

В этот вечер мы засиделись допоздна. Помню, шел разговор об извечной проблеме человечества — хотеть и мочь. Конечно, вспомнили «Шагреновую кожу» Бальзака. Мальшет развил целую философскую концепцию, в которой я не все даже понял (как я еще мало знал!). Он утверждал, что хотеть — это все равно что мочь. И приводил разные примеры из истории и из своих жизненных встреч.

Даже я скромно напомнил о Суворове, который был хил и слаб от рождения, но добился того, что стал великим воином, полководцем. И вдруг я сказал:

— Или вот Глеб. Он сам рассказывал, что был в детстве очень тщедушным и пугливым, но захотел стать летчиком — и стал им!

— Он стал плохим летчиком, вот и все, — пренебрежительно бросила Мирра и плотнее укуталась в клетчатый плед.

— Если это так, то лишь потому, что в нем с детства подорвали веру в свои силы, — горячо возразила Лиза.

— Это верно лишь наполовину... — задумчиво обратился к Лизе молчавший до того Филипп, — я знаю Глеба со школьной скамьи... И с уверенностью утверждаю — говорил это ему не раз в глаза, — что он любит не летное дело, как другие летчики, например Охотин, а себя в этом деле. Самолюбив и тщеславен до крайности. Ему двадцать два года, и он считает, что его обошли, что его работа слишком мелка для него, чуть ли не унижительна.

— И все же в нем подорвали веру в себя, — упрямо повторила Лиза, мотнув головой.

Мирра вдруг засмеялась. Невесело и холодно прозвучал ее смех.

— У нас в доме бывает один артист, мачеха его пригрела... (Я невольно взглянул на Фому, он старательно подкладывает в костер щепки, отблески огня играли на его выпуклом чистом лбу, обветренных скулах, крепко сжатых губах, мускулистой шее.) — Так он, этот артист, с семи лет мечтал о сцене и добился своего... Пройшей зимой праздновали его юбилей. Он еще принес нам в подарок билеты. Двадцать пять лет он играл роли в пять — десять слов. Тоже вот мечта сбылась.

— Он счастлив, наверное? — спросила мягко Васса Кузьминична.

— Представьте, счастлив!

— Почему же ему не быть счастливым? — искренне удивился Мальшет. — Человек больше всего на свете любит театр и четверть века работает в театре, рядом с большими мастерами. Чего ему еще нужно?

— Да, работает на... выходных ролях.

Васса Кузьминична неодобрительно посмотрела на Мирру.

— О, какое пренебрежение! Вы, кажется, не уважаете вашего знакомого за то, что он не первый любовник?

Мирра сначала промолчала, улыбаясь, но через минуту-другую заговорила снова:

— Вон Яша и то хочет стать писателем. Заметьте, не рыбаком, хотя он вырос в поселке и это было бы естественнее всего в его положении, не линейщиком, как его отец, а не меньше как писателем! В литературе, между прочим, тоже бывают первые и вторые роли и даже статисты, хотя, в отличие от театра, литературе они не нужны.

Все посмотрели на меня, Лиза закусила губы.

— Я еще не выбрал себе профессию, — нисколько не волнуясь, сказал я, — а пишу потому, что меня тянет писать.

— У Яши талант, — вмешалась сестра. — И я верю — Яша станет писателем.

— Станет! — добродушно подтвердил Мальшет и, дотянувшись до меня, взъерошил мне волосы.

— И Лиза хочет быть не меньше как океанологом, — продолжала в том же тоне Мирра, — а закончив институт, попытается, наверное, устроиться в Москве... Все хотят жить в Москве!

— Совсем не все! — вскричал я. — Фома стал чемпионом бокса, и его умоляли

остаться в столице, а он уехал обратно на Каспий. А Лизонька всегда мечтала о диких, неисследованных землях, об экспедициях.

— Охотку не сбило еще? — поинтересовалась Мирра.

— Нет, — коротко отрезала сестра.

— Главное в другом... — медленно произнес Иван Владимирович, словно отвечая на какую-то свою мысль.

На нем были ватные брюки, поношенная телогрейка, кирзовые сапоги, и все же он походил на профессора, даже когда молчал. Удивительно интеллигентным было его лицо — тонкое, умное, спокойное. Серебристые волосы, гладко зачесанные назад, очень гармонировали с молодыми черными глазами. Очки он надевал только тогда, когда брался за книгу. Несмотря на свои годы, он очень молодо выглядел и еще мог нравиться женщинам.

— Что вы считаете главным? — сдержанно поинтересовалась Мирра.

И мы все с любопытством уставились на Турышева.

— Некоторые забывают, что как бы высоко ни подняли мы свою технику и науку, — словно нехотя продолжал Иван Владимирович, — все же коммунизм не построить до тех пор, пока будут существовать следующие пороки: животный эгоизм, властолюбие, трусость, беспечное равнодушие к тому, что происходит вокруг тебя, беспринципность, невежество. Коммунизм и эти пороки взаимно исключают друг друга. Поэтому теперь, когда уже заложен прочный экономический и технический фундамент общества будущего, все же главное внимание должно отдать развитию эмоциональной стороны человека. Совершенно очевидно, что интеллектуальная сторона у нас ушла далеко вперед, а эмоциональная отстала. Я говорю понятно, Яша? — вдруг обратился он почему-то ко мне. — Нам нужны высокие достижения науки и техники, но еще более необходимо высочайшее развитие человечности, тонких и благородных чувств. Поэтому самыми ответственными профессиями эры преддверия коммунизма является профессия писателей, работников искусств, педагогов, партийных работников — всех, кто имеет дело с человеческими душами. Ты, Яша, согласен со мной? — настойчиво потребовал он ответа.

— Согласен. Я часто об этом думаю, — ответил я и, кажется, покраснел.

— Очень рад, что ты думаешь об этом. Разговор перешел на последние научные новости. Мне очень хотелось спать, просто глаза слипались, но было так приятно сидеть у огня в хорошей компании, что я, как мог, отгонял сон. Я думал, что мне очень повезло: я попал в экспедицию, познакомился с такими выдающимися людьми, как Турышев, Мальшет, Васса Кузьминична. Ведь я (очень просто) мог их никогда не встретить. Не знаю, думал ли так Фома. Он с интересом прислушивался к разговорам, но сам молчал. Он вообще был очень молчалив. А потом Мирра заговорила о последней пьесе Пристли, и мне вдруг стало смешно. Разговор об англичанине Пристли как-то не вязался с тесным кубриком, слабо освещенным десятилинейной лампой, меркнувшим пламенем жарника — плоского ящика с песком, посреди которого сложено из кирпичей подобие печки, завыванием ветра в вантах.

Скованное двумя якорями судно время от времени начинало вдруг ползти куда-то в сторону и вниз, а потом, словно нехотя, возвращалось назад. А когда разговор стихал, было слышно, как билась о дощатую стену «Альбатроса» тяжелая осенняя вода.

— Я устала, пойду спать, — сказала сестра.

За ней поднялись женщины.

— Сегодня очень холодно... Лучше одетыми спите, — посоветовал, как

приказал, Мальшет.

Женщины ушли к себе; стал, кряхтя, укладываться Иван Владимирович, а Мальшет и Фома поднялись на палубу. Постелив постель, я вышел вслед за ними.

При свете народившегося месяца Фома и Мальшет убрали паруса. Я кинулся помогать. Еще похолодало. Ледяной норд-вест проносился над Каспием.

— Иди и спокойно спи,— приказал Мальшет.— Когда будет нужно, я тебя разбужу.

— Вы... не будете спать?

— Немного сосну... иди.

Я лег и уснул мгновенно. Тревогу Филиппа я почувствовал, но не нашел повода к беспокойству.

Проснулся я от страшного холода — просто зуб на зуб не попадал,— немного сконфуженный тем, что проспал вахту. Обычно меня будили. Не успел одеться, как Мальшет позвал всех на палубу.

Я выскочил из люка и вскрикнул от удивления. До самого горизонта поверхность моря покрылась тонким, как стекло, льдом. Вода быстро уходила из-под «Альбатроса». Сквозь молодой прозрачный лед уже просвечивало дно — чистый крупный песок и полосатые раковины, с поразительной правильностью расположившиеся по дну. Солнце еще не взошло.

— А сети! — испуганно заорал я.

— Вот они...— хладнокровно кивнул Фома.

Сети уже сушились, как белье на веревке, на вешалах, тщательно выполощенные и выжатые. Это, пока я спал, как барин, они с Мальшетом привезли сети. От стыда я просто не знал, куда деваться. Матрос называется! Начальник экспедиции работал за меня, не стал будить. Разоспался, как маленький. Один срам...

— Что же будем делать? — послышался испуганный голос Вассы Кузьминичны. Удивленными глазами она смотрела на замерзшее море. Лицо ее было немного помято после тревожного сна. Она куталась в пальто и платок.

— Сейчас измерю глубину.— И я по привычке, как и каждое утро, схватился за шест.

Так начался рабочий день. Станцию провели, как всегда. Чтобы измерить глубину, пришлось сначала разбить лед. Это было не трудно, так он был тонок и хрупок. Семичасовое метеорологическое наблюдение показало температуру минус восемь градусов. Толщина ледяного покрова шесть сантиметров.

Когда все занялись своим делом, я забрался па мачту осматривать море.

Тишина, мороз, ледяное море, ясное небо — золотое и розовое там, где пыталось взойти солнце. В полукилометре синела огромная разводина. Руки онемели от холода, и я быстро соскользнул вниз. «Альбатрос» весь обледенел и потому казался белым и прозрачным.

— Картина из жизни Заполярья «Затерты льдом»,— рассмеялась Лиза, выглядывая из кухни. Она раздумянулась от огня. На ней был джемпер из верблюжьей шерсти и передник, на косах платочек.— Завтрак на столе. Вы еще не готовы?

Никто ей не ответил, у всех было дурное настроение.

После завтрака было небольшое совещание. Единодушно решили продолжать экспедицию, пока это будет возможно.

Впереди виднелась большая разводина. Мальшет спросил у Фомы, можно ли к ней пройти.

— Попробуем провести,— добродушно ответил Фома.

Спустили бударку и принялись за работу: ломом, пешнями, шестом пробивали лед. Работали Фома, Мальшет и я. Ивану Владимировичу не разрешили, у него одышка была. Лед разбивался с чистым, хрустальным звоном и сразу покрывался прозрачной водой. Это была адова работа! Мы скоро так вспотели, что рубашки прилипли к спинам. Осколки льда летели во все стороны, вода булькала и пенилась, иногда лом с размаху впивался в песок. Мы находились посреди Северного Каспия, а вода была по колено воробью.

Так, метр за метром, мы продвигались вперед. Когда канал был пробит, вернулись на «Альбатрос» и свободно провели судно в разводину. Вода в ней была черная, глубокая. Сразу, без отдыха, стали брать станцию. Брызги воды застывали на одежде рыбьей чешуей. Работая, кое-кто посматривал на небо — ждали Глеба. Он запаздывал.

Мы уже пообедали, когда раздался долгожданный рокот самолета. Все семеро вышли на палубу и смотрели на приближающийся гидросамолет. Он сделал над нами несколько широких кругов и опустился на разводину. Но оказалось, что прилетел не Глеб, а Андрей Георгиевич Охотин с бортмехаником. Закрепив самолет якорями, они оба легко перебрались на палубу «Альбатроса». Мы все так им обрадовались, что просто не знали, чем их угостить и куда посадить. Но Андрей Георгиевич посматривал несколько смущенно, словно ему предстояла неприятная обязанность. Так оно и было. Он передал Мирре два письма и телеграмму и что-то пробормотал насчет того, что не надо расстраиваться...

Мирра холодно взяла письма и ушла читать в каюту. Охотин, присев на люк, стал вполголоса рассказывать о том, что рыбацкий флот оказался за эту ночь во льдах. Командование поставило перед летчиками задачу разведать ледовую обстановку и направить самоходный флот к пострадавшим рыбакам.

— Что случилось с Глебом?— спросил Мальшет. Охотин переглянулся с бортмехаником.

— Глеб жив и здоров,— сказал он,— просил меня захватить его сестру. У них отец тяжело заболел — рак горла. Вызывают ее. Мирра Павловна почему-то не доверяет Глебу... Совершенно напрасно. Летчик-то он хороший.

— Летчик хороший, а товарищ плохой! — брякнул бортмеханик, синеглазый Костя, и покраснел.

— У нас его не любят...— неодобрительно сказал Андрей Георгиевич, и было непонятно, к кому относится его неодобрение — к Глебу или к тем, кто недолюбливал его.

На палубу вышла Мирра. Она выглядела еще бледнее обычного, но глаза у нее были совершенно сухи. «Умеет ли она плакать?» — мельком подумал я.

Мирра с нескрываемой враждебностью посмотрела на нас и позвала Мальшета.

~ Надо ехать...— донеслось до нас.— Врач просмотрел болезнь, а теперь... рак уже неоперабельный. Я не делюсь своим горем... здесь будут только радоваться. О, как я ненавижу! Помоги собраться.

Мальшет торопливо сложил ее вещи — она все это время сидела на койке, сжав зубы. Васса Кузьминична хотела помочь, но Мирра отказалась наотрез. Уезжая, она сухо простилась с членами экспедиции общим кивком — худая, высокомерная, с лихорадочно горящими глазами.

Охотин крепко пожал каждому руку. Лиза просила его передать привет жене. Костя сдал мне продукты и газеты и, садясь в кабину, помахал нам рукой. Скоро, взмыв вверх, самолет затерялся в белесоватом небе — солнце так и не взошло.

Обед был готов, но Лиза не позвала нас, стала с Иваном Владимировичем

делать метеорологические наблюдения. Только когда Мальшет спросил, будем ли мы сегодня обедать, она подала на стол в кубрике.

Начались очень трудные дни. Плыли вдоль кромки льда, по разводьям, среди кружащегося «сала» и битого льда. Утро теперь начиналось не с измерения глубин, а с того, что мы окалывали лед вокруг судна, пробивали во льду дорогу к чистой воде. Вот когда пригодилась медная обшивка «Альбатроса»! Лед был острый, как бритва. По распоряжению Мальшета женщины перешли к нам в кубрик, а в их каюте сделали лабораторию. Там хранились ящики с химическими реактивами и собранные образцы воды, бентоса и планктона, а для поддержания нужной температуры днем и ночью горела керосинка.

Вдруг пошел мокрый снег и не переставал недели две подряд, залепляя глаза. Палуба обледенела, стала как каток. С вантов свисали сосульки. Потом давление стало подниматься и как будто установилась ясная погода. Только было очень холодно, почти у всех пораспухли пальцы рук. В небе постоянно гудели самолеты, иногда пашу трассу пересекали караваны реюшек, пробирающихся сквозь лед домой. Ночью шарили по морю огненные щупальца — ледоколы искали мощными прожекторами в ледовых полях затерявшиеся рыбницы. Торопились. Под Гурьевым лед уже совсем окреп, по нему ходили и машины — то была «стоячая угора», как называется у нас на Каспии неподвижный береговой лед.

Однажды Мальшет задержал всех после завтрака в кубрике для небольшого совещания. После отъезда Мирры он отпустил себе небольшую бороду, она очень к нему шла. С русой бородой, в меховой куртке, он походил на полярного исследователя.

— Наша экспедиция подходит к концу, — сообщил он и улыбнулся мне с Лизой — мы сидели рядом на одной скамейке, — поработали мы хорошо! Можно сказать без ложной скромности, что обработка исследований поможет решить ряд спорных и важных физико-химических и биологических вопросов в жизни Каспия. И расследовали трассу будущей дамбы... Я все же верю, что дамба здесь когда-нибудь пройдет! — Мальшет взлохматил волосы и нерешительно посмотрел на Турышева.

— Несомненно! — подтвердил Иван Владимирович, и Мальшет сразу повеселел. Он достал из своего рюкзака потрепанную карту Каспия и быстро растелил ее на столе.

— Через пару дней мы уже могли бы и сворачивать экспедицию, но... — Филипп обвел всех серьезным взглядом, — видите, какое дело... На карте Каспия есть белое пятно; не обозначены промеры. Смотрите, совсем небольшой район, километров около ста, не больше... Не так уж далеко от нас. Не посылать же туда специальную экспедицию. Если мы спустимся немного... вот сюда, — он обвел карандашом кусочек карты, — и пройдемся там с эхолотом, нанесем на карту точную картину глубин? Что вы скажете, товарищи?

Рассмотрев карту и немного о чем-то поспорив, Турышев и Васса Кузьминична согласились с Мальшетом, что надо «прихватить и этот район». Ну, а мы и подавно были согласны — Лиза, как услышала, что белое пятно, так и загорелась вся. Фома готов был всю зиму водить «Альбатрос», лишь бы рядом с ним была Лиза.

Помучившись еще с недельку во льдах и проведя все станции, мы сами стали понемногу уходить от ледяной кромки, приближаясь к средней незамерзающей части моря. Однажды трубка Экмана не смогла врезаться в песчаное жесткое дно — стремительное течение относило ее в сторону. Сетка Нансена принесла редкий

зимний планктон. Глубина моря увеличивалась с каждой станцией. Химический анализ, сделанный Иваном Владимировичем, показал увеличение солености и насыщенность воды кислородом.

А потом настало утро, когда мы вышли на палубу и не увидели ни единой льдинки, словно перенеслись на два месяца назад. Впрочем, к полудню уже опять показался лед. На одной льдине сидел огромный нахохлившийся орел и безразлично, не выказывая ни малейшего страха, смотрел на наше судно. Видимо, орел отдыхал, а может, прихворнул. Мы долго на него смотрели, пока льдину не унесло течением в сторону.

— Гордый! — задумчиво проговорил Фома и прибавил, помолчав: — Один...

А Мальшет вдруг схватился за карту, всю испещренную стрелками, и долго ее рассматривал, плотно сжав губы.

— Течение стало обратным,— заметил он.— Но почему? Ветер по-прежнему держится северный...

На палубе Лиза и Васса Кузьминична потрошили) подопытную рыбу. Обе в передниках поверх телогреек и в платках. Лиза вдруг посмотрела на Филиппа и тихонько рассмеялась.

— Ты это чему? — удивилась Васса Кузьминична. — Так,— лукаво ответила Лиза,— так...

Глава четвертая

ОСТРОВ НА ШИРОТЕ 44°

Вечером, когда «Альбатрос» уже стоял на якоре, Фома спустился в кубрик и попросил мою лоцию. Мы присели на Лизину койку (наши койки были верхние), Фома стал внимательно перелистывать книгу. Васса Кузьминична, старательно чинившая за столом рубаху Ивану Владимировичу, посторонилась, чтобы не застить нам свет. Турышев в джемпере и синем берете сидел возле и растроганно смотрел, как она шила. Они очень сдружились за эту экспедицию. По-моему, они были влюблены друг в друга. Когда я сказал об этих своих наблюдениях сестре, она рассмеялась.

— Какой ты все-таки выдумщик, ведь Васса Кузьминична уже старая.

— Разве она старая? — от души удивился я. Фома тронул меня за рукав.

— Видишь ли, в чем дело,— озабоченно сказал он,— из наших бурунских здесь еще никто отродясь не был. И я не был...

Мы долго рылись в лоции, сверяли с картой, на которой Мальшет обвел карандашом «белое пятно». В лоции об этой части моря ничего не было сказано. Имелось только упоминание, что на данной широте и долготе «находится затонувшее судно «Надежда», ничем не огражденное в виду нахождения его в стороне от обычных путей судов. Положение судна приближенное. Течение не изучено». Вот и все!..

— Подводные препятствия! — воскликнул я, очень довольный. Признаться по совести, я находил экспедицию слишком однообразной.

Фома раздумывал над лоцией.

— Как бы нам не налететь на эту «Надежду»,— сказал он озабоченно.— Обычно затонувшие суда ограждаются крестовой вехой, а это, видишь, в стороне

от путей.

В кубрик, чему-то смеясь, спускались Мальшет и Лиза, они торжественно несли жареного осетра с отварным картофелем. Васса Кузьминична спохватилась и, убрав шитье, стала подавать на стол. Я кинулся щипать лучину и разводить огонь в жарнике.

Ужинали весело, острили, болтали, перебивая друг друга. Иван Владимирович даже рассказал анекдот о рассеянном профессоре. Смеялись до слез. Удивительно легко и непринужденно мы себя теперь чувствовали. Разговаривали допоздна, уже лежа в постелях и потушив лампу. В море стоял штиль, и вахтенных не ставили. Никто ни с кем не пререкался, не говорил колкостей, ядовитых слов. Все были друзья, каждый заботился друг о друге. До чего было хорошо!

Последующие дни, торопясь использовать хорошую погоду, работали до полного изнеможения. Промеряли глубину, определяли скорость и направление течений, прозрачность и химизм воды, содержание в ней кислорода, планктона, бентоса, делали метеорологические наблюдения. А вечером, уже в темноте, выбивали из моря сети. Теперь больше всего шла вобла, крупная, некрасивая, с глазастой головой, но попадался и красавец судак, сильный, гибкий, зубастый, с распущенными, как веера, голубыми плавниками, иногда вылавливали и стерлядь, и осетров.

Фома стал больше вникать в научные наблюдения. Первые месяцы экспедиции он работал как-то снисходительно, будто с малыми детьми.

Помню однажды, прибирая сети, отброшенные Миррой в сторону — на их место она поставила бутылку с дистиллированной водой, — Фома сказал обиженно: — Вам дороги бутылки с водой, а нам сети, колхозное добро...

Он именно так и сказал: не мне, а нам дороги. Фома возил «паучников» по морю на арендованном ими у нашего колхоза промысловом судне, но у него так получилось: «паучники» себе, а мы себе. Теперь же Фому захватили научные наблюдения, он болел за них, как страстный болельщик за свою дорогую команду. Он не раз говорил о том, как мешают каспийским судоводителям непостоянство и неизученность течений на море, что надо бы провести более тщательные изыскания (вот как мы делаем!) по всему морю, тогда мореходы всегда могли бы выбрать самый выгодный путь.

Течения на той части моря, которую мы изучали, менялись прямо у нас на глазах.

— Ну и Каспий! — бормотал, качая кудлатой головой, Фома и, выхватывая у меня из рук шест, бросался делать промеры.

Но даже глубины менялись — сегодня одна, завтра другая, смотря какая шла вода — нагонная или сгонная. Каждое наблюдение оживленно обсуждалось всеми участниками экспедиции — как, что и почему. Только теперь дошла до Фомы самая сущность исследовательской работы, а то он ее не понимал, просто исполнял добросовестно свои обязанности, и все. Это были дни, когда каждый себя чувствовал поразительно счастливым!

А потом пришло чудо открытия.

Это был остров, хотя никакого острова на карте не значилось. Мы первые его открыли. Увидел его Фома и закричал во все горло:

— Земля!

— Что за черт! — удивился Филипп.

Далеко мы были от берегов. Все разволновались. Спешно изменили направление и пошли к неизвестному острову.

Подойти ближе, чем на один кабельтов, оказалось невозможным из-за

большой отмели. Поставив «Альбатрос» на якорь, решили отправиться к острову на бударке.



Лодка всех не вместила, поэтому полная Васса Кузьминична согласилась остаться пока на судне. Это была огромная жертва. Если бы меня оставили в этот час на «Альбатросе», я бы, наверное, взбунтовался. Но наш ихтиолог была дисциплинированная женщина. Мы с Фомой гребли, как на гонках, Мальшет сел за руль, он был в отличном настроении и, улыбаясь, поглядывал на нас. Иван Владимирович упорно смотрел в бинокль — что-то его очень поразило. С невнятным восклицанием он передал бинокль Лизе. Она, шурясь, стала наводить.

— Что это, корабль? — пробормотала Лиза, не понимая и ужасаясь.

Бударка с хрустом врезалась в покрытую толстым слоем голубоватой ракушки отмель. Мужчины были в сапогах и попрыгали прямо в ледяную воду. Я только хотел дать Лизе свои сапоги (она была в туфлях), как Фома легко поднял ее на руки и понес. Сестра не возражала, даже обняла его за шею.

— Фома, что это там? — спрашивала она.

Мы были первые, ступившие на этот остров. Именно мы нашли «Надежду»... Вот как потом описал этот остров Филипп Мальшет в трудах по комплексному

изучению Каспийского моря, изданных Академией наук СССР.

«Новый остров, открытый экспедицией Океанологического института АН СССР в 196... году. Остров расположен на широте 44°48'0 N. долготе 49°20'0 O от Гринвича. Он лишь совсем недавно вышел из-под уровня моря. Длина острова 50 метров, ширина 28 метров.

Остров вытянут в меридиональном направлении и сложен сплошными мелкопористыми доломитизированными известняками — желтоватыми и серыми. По возрасту это титон (?) или нижний неоком (свита Даг-Ада). Известняки спускаются непосредственно в воду, выступы их видны также и под водой вблизи берега. В 2—3 метрах от берега они сменяются мелкозернистым песком с большим числом мелких раковин. Остров покрыт сплошными скоплениями каспийских ракушек, местами скрывающими коренные породы.

Падение уровня моря обнажило остов затонувшего колесного корабля. Видимо, это судно «Надежда».

Вот и все! Как не похоже это описание на то, что мы тогда увидели и почувствовали. Мы были потрясены.

Около столетия пролежало затонувшее судно во мраке под водой, пока обмелевшее море не отдало его снова солнцу и ветру. Мы стояли в молчании возле полусгнивших, позеленевших обломков, наполовину занесенных песком и ракушкой. Наружную обшивку давно унесла беспокойная каспийская волна. С обнажившимися шпангоутами судно походило на огромную обглоданную воблу. Оно покоилось вверх дном, днище его облепили раковины и истлевшие водоросли, от которых несло зловонием. Когда-то это был колесный пароход, из тех, что бороздили Каспий в конце прошлого века.

Иван Владимирович осторожно нагнулся над грудой праха, он искал, не сохранилось ли название судна, но не нашел. Я посмотрел, нет ли скелетов,— не было. Может, моряки спаслись? Об этом не поминалось в старой лоции. Возможно, они и погибли, когда корабль перевернулся вверх дном. А кости их растащили, как шакалы, штормовые волны.

Прозрачная холодная вода с блестящими продолговатыми льдинками тихо плескалась вокруг обломков. Лиза вдруг заплакала. Она вспомнила мать. Я тоже почувствовал себя неважно и пошел скорее по берегу. Раковины шуршали под ногами. Дул легкий бриз. Островок чуть заметно поднимался к середине, края его уходили в воду. Он был пустынен, не обжили его еще ни птицы, ни тюлени. Я посмотрел на море, оно словно затаило дыхание— на горизонте ни паруса, ни облачка дыма.

Я прошелся по острову и, несколько успокоившись, вернулся к своим. Иван Владимирович ласково утешал Лизу. Она, впрочем, уже не плакала, но лицо было грустным. Фома стоял подле и смотрел на нее с любовью и жалостью. Заговорить с ней сейчас он не смел. Мальшет, насвистывая, бродил по острову—искал место, где сделать срез. Солнце играло в его золотисто-каштановых волосах, бороде. На нем была клетчатая ковбойка, расстегнутая па груди, куртку он сбросил на песок вместе со шляпой.

— Яша,— крикнул он,— принеси-ка из лодки молоток и лопатку! Иван Владимирович, Лиза, идите сюда, смотрите, какие выраженные доломиты! Интересно, каков их возраст?..

Мы пробыли на острове три дня, пока не закончили все исследования. Перед отъездом у нас был гость, да еще с ночевкой — Глеб!

Он прилетел после полудня один, без бортмеханика, весело со всеми перездоровался за руку, с аппетитом поел нашей ухи, осмотрел остров и

затонувший корабль, шутил с Лизонькой и Вассой Кузьминичной, он отнюдь не торопился.

— Тебя не захватит ночь? — напомнил ему Мальшет.

Глеб пренебрежительно махнул рукой.

— А ну их всех к дьяволу, надоело — ни покоя, ни отдыха! Сколько можно это терпеть? Остаюсь у вас ночевать.

Мы помогли ему укрепить гидросамолет веревками и якорями. Глеб радовался, как школьник, сбежавший с пятого урока. Ходил за Лизонькой по пятам, смешил ее. Фома изредка посматривал на них, делая свое дело.

Покончив с работой, мы сели отдохнуть на палубе. Потемнело. Семичасовое наблюдение показало четырнадцать градусов по Цельсию. На море стоял полный штиль.

— Как здоровье вашего отца? — вежливо спросила Васса Кузьминична. Она так же презирала Львова, как и все мы, но уж такое у нее было хорошее воспитание — не спросить человека о здоровье его больного родственника она не могла.

— Рак горла, — равнодушно ответил Глеб и заговорил о другом.

Он жаловался на неустроенность своей жизни. Ему надоела такая работа. Вечно в полетах, особенно когда на Каспии начинается путина — осенняя, зимняя, летняя, весенняя, одна кончается, другая начинается. Вчера только возвратился из очередного полета (пришлось доставлять рыбакам срочные грузы), устал как собака, а его уже встречают на аэродроме: «Товарищ Львов, надо немедленно лететь, тюленебойцы-казахи попали в относ». И пришлось лететь! Сегодня подняли чуть свет...

— Нашли тюленщиков? — перебила его Лиза.

— Андрей Георгиевич нашел. Перевезли их на стоячую утору. Обсушились у костра и тут же стали нас спрашивать, не видели ли залежек тюленя... Ну и народ!

— Народ что надо! — одобрительно заметил Фома, а Глеб опять принялся жаловаться.

— Но ведь вы мечтали о трудностях? — тихо напомнила ему Лиза.

Глеб пожал плечами и снял с головы шлем.

— О трудностях — да, но каких? — с горячностью стал он оправдываться. — Развозить почту, табачок рыбакам, искать для них воблу и кильку? Разве об этом я мечтал? И нет свободного часа для себя, почитать некогда, в кино сходить. К вечеру так устанешь, что с девяти часов завалишься спать. Нет, с меня Каспия хватит. Отец недолго протянет, я сразу же перееду в Москву. Мачеха писала мне: она боится, что Мирра выйдет замуж и займет всю квартиру. Они не ладят. А меня Аграфена Гордеевна очень любит.

Глеб еще долго рассказывал о себе. Все молчали. Вечер прошел очень скучно. Рано легли спать. Глебу постелили на моей полке, а я спал на полу и к утру очень замерз.

Фома всю ночь то и дело выходил с фонарем на палубу и даже спускался в лодку. Опять пошел лед. Плыли целые ледяные холмы, и Фома беспокоился за «Альбатрос». Где-то Каспий поломал лед.

Глава пятая

КАСПИИ СЕБЯ ПОКАЗЫВАЕТ

Экспедиция подходила к концу. Исследования были закончены. Мальшета еще интересовал подледный физический и химический режим Каспия, но он сам понимал, что это требовало отдельной экспедиции, иначе оснащенной, может быть, на санях по замерзшему Северному Каспию. Филипп сказал, что непременно добьется разрешения на организацию этой экспедиции и опять возьмет пас с собою. Он был очень нами доволен.

Хорошая погода кончилась. Море стало штормить не на шутку. Оно бросалось ледяными глыбами, как мячиками. Каждую минуту Каспий мог раздавить «Альбатрос», как букашку.

14 декабря Мальшет отправил на гидросамолетах Турышева, Вассу Кузьминичну и Лизоньку. Они захватили с собой упакованные в ящики лабораторные анализы и часть приборов. Мы простились наскоро, ничего не предчувствуя, так как через несколько дней должны были последовать за ними.

На другой день мы примкнули к большому каравану судов, который вел мощный каспийский ледокол. Фома договорился с ловцами, что они доставят наш «Альбатрос» на Астраханский рейд, откуда его можно будет забрать весной. В Бурунный судно уже нельзя было провести — там до самого горизонта раскинулась «стоячая утора» и по льду ездили на санях.

После завтрака, это было 16 декабря, в пятницу, мы занялись последними сборами — упаковкой приборов, приведением в порядок судна. Мотор уже не заводили, паруса были сложены и заперты в ларе, нас взяли на буксир. Караван плыл среди сплошных нагромождений льда узким каналом, прорезаемым ледоколом. Вода была черная, от нее шел пар.

Работая, посматривали на небо, ждали наших друзей пилотов. Они запаздывали. Мы поспорили: готовить ли обед. Но успели и приготовить, и съесть, пока раздался долгожданный рокот самолетов.

Самолеты сделали над нами несколько кругов, и на палубу упал вымпел. В нем была записка Охотина: «Немедленно собирайтесь, ночью ожидается шторм. Попытаемся сесть на лед. Вы к нам подойдете».

Легко сказать «подойдете» — с ящиком, рюкзаками, чемоданами, большим тюком сетей. Нам помогли выгрузиться ловцы из Баутино, очень славные парни. А потом они уплыли на своих судах, захватив на буксире наш «Альбатрос».

Летчики приземлились успешно. В меховых комбинезонах, широких мохнатых унтах и таких же рукавицах, они походили на медведей. Охотин, смеясь, заключил нас в свои медвежьи объятия. Глеб наскоро пожал всем руки.

— Надо поторапливаться! — сказал он, бросив недовольный взгляд на багаж.

— Ночью ожидается страшной силы шторм, — пояснил Андрей Георгиевич, — мы-то успеем добраться, а вот эти рыбницы... — Он посмотрел вслед удаляющемуся каравану.

Там были реюшки, бударки, подчалки, катера, моторные сейнеры. Их уже окутал стелющийся туман.

Договорились, что Охотин доставит Мальшета с его приборами в Астрахань, а Глеб отвезет меня и Фому в Бурунный.

Увидев скрученные рулоном сети, Глеб рассердился и велел бросить «эту тяжесть». Но Фома наотрез отказался:

- Не мои сети, колхозные, не брошу!
- Почему не отправил их с судном? — возмутился Глеб.
- Потому что сети нужны нам и зимой.

Глебу пришлось все же уступить. Чтобы полностью погрузить научное оборудование и сети, пришлось передние бензобаки (уже пустые) оставить на льду.

Стали прощаться. Мальшет крепко трижды поцеловал меня и Фому и сам захлопнул за нами дверцу кабины.

- Всего доброго, до скорой встречи! — взволнованно крикнул он.

Глеб, нахмурясь, сел за штурвал, застегнул ремни, проверил работу рулей, запустил мотор и, дав газ, начал взлет.

Я приник к окну. Мы уже оторвались. На льдине, как детская игрушка, лежал самолет Охотина. Мальшет махал нам снятым с шеи шарфом. Он продолжал махать и после того, как Охотин уже залез в кабину. Милый Филипп! У меня неистово защемило сердце. Мы переглянулись с Фомой довольно уныло.

Фома устроился на сиденье механика, я на пассажирском месте. Сидеть было удобно, мы летели домой. Почему же так тяжело было на сердце? Или это сумрачная погода действовала на нервы? С неба сыпал крупный мокрый снег. Видимость становилась все хуже. Самолет трепало и бросало.

Скоро началась беда— обледенение самолета. Лед «шершавил» отполированную поверхность крыльев, утяжеляя самолет. Амфибия заметно стала терять скорость.

— Придется приземляться! — крикнул, оборачиваясь, Глеб и нехорошо выругался.

- Я почему-то думал, что он не умеет так ругаться, но, оказывается, я ошибался.

Глеб носился над торчавшими ледяными торосами и ругался. Мы снижались все ниже и ниже. Глеб дал мотору полную мощность, мотор так загудел, что я испугался, как бы он не разлетелся на куски. Самолет слегка приподнялся, но скоро налипающий лед снова стал тянуть его вниз. Машина затряслась мелкой дрожью, будто она была живая и боялась напороться на эти острые ледяные пики. Наконец Глеб нашел подходящую для посадки льдину и приземлился.

Выскочив из кабины, мы принялись втроем сбивать лед: Глеб — рукояткой бортового инструмента, мы — свернутыми веревками. Снег был совсем мокрый, пополам с дождем, в то же время слегка подмораживало. Пока сбили лед, одежда на нас промокла и обледенела.

- Горючего только до дома,— буркнул Глеб, с яростью скалывая лед.

Счистив наледь, мы быстро залезли в самолет и взлетели.

Минут двадцать полета — и машина снова покрылась льдом, стала терять скорость и снижаться. Опять поиски подходящей льдины, приземление, снова изо всей силы, задыхаясь, сбиваем лед. Снова взлет, летим. Солнце за тучами закатилось, сумерки наступали. «Хоть бы не случилось аварии»,— невольно подумал я и стал исподтишка наблюдать за Глебом. Фома тоже не сводил с него глаз.

В этот темный час я понял, что Глеб добился своего, он действительно стал первоклассным летчиком. Опыт, сила рук, напряженное внимание и воля к достижению намеченной цели — все это было у него.

Как он владел самолетом! Он играл им, он был с ним одно целое — одно тело, одна душа. Легкий крен на развороте, скольжение на крыло, умение бежать взглядом по земле, не теряя управления, пробег приземлившегося самолета. Это был уже тот чистый и точный автоматизм, который является признаком

совершенного владения профессией. Стоило на него посмотреть, как он, пикируя, давал ручку управления от себя — непринужденно и властно. Или плавным и легким движением кисти выравнивал крен.

Это понял и Фома, он с восторгом смотрел на Глеба, любовался его точным мастерством. Но погода не благоприятствовала полету. Машина катастрофически тяжела и снижалась. Глеб был вынужден опять совершить посадку. Мы стали с остервенением сбивать лед. Лед облепил машину ровным толстым слоем, как амальгамой, и почти не поддавался нашим ударам. Глеб ругался так, что неприятно было слушать, а еще москвич, интеллигентный человек!..

Небо перестало сыпать снег, словно весь его высыпало. Видимость несколько улучшилась. До самого горизонта простирались льды, бесконечные торосы, разводья, в которых колыхалась черная вода с тонкими кристаллами льда. Высоко в белесом небе расплывчатым пятном светилась луна. Было полнолуние.

— Быстро садись! — скомандовал Глеб, и мы вскочили в кабину.

Пущенный на полную мощность мотор обиженно ревел от натуги, машина тряслась мелкой дрожью, но не взлетала, только катилась, точно грузовой автомобиль. «Словно крылья отрезали птице, как полетишь...» — подумал я стихами. Не ко времени были стихи. Львов выпрыгнул из кабины и разразился градом ругательств.

— Да что ты все материшься? — не выдержал Фома. — Ты это, браток, брось. Не люблю я этого.

Глеб смолк, вытирая тыльной стороной руки пот со лба. Он тяжело дышал — умирался. Медленно снял рукавицы и бросил в открытую дверь кабины.

— На этом самолете «Ш-2» сейчас втроем не долетишь, — вдруг жестко сказал Львов, — придется, ребята, вам пока переждать. Я живо слетаю на остров Кулалы, туда наши перебазировались... За вами придет большой самолет.

Мы растерянно молчали.

— Может, хоть Яшку возьмешь? — тихо спросил Фома, но я дернул его за рукав бушлата:

— Ты что, разве я одного тебя оставлю?

Фома не стал спорить, должно быть, понял, что сказал глупость. Глеб, торопясь, выгрузил сети, мешок с вещами Фомы, мой рюкзак, деревянную стремянку, кожаное кресло, две посылки, какой-то ящик — в общем, облегчил самолет насколько возможно.

— Здесь стоячая угора, не бойтесь, — бормотал он, выкидывая вещи, — троих все равно самолет не потянет... Я за эту амфибию головой отвечаю... Социалистическое имущество, сами понимаете...

— Дай нам компас! — вдруг потребовал Фома.

— Да зачем же... я... вы...

— Дай компас, — угрожающе протянул Фома, — по ориентирам долетишь.

— Пожалуйста! — Глеб слазил в кабину и протянул Фоме большой килограммовый компас.

— Не прощаюсь, скоро увидимся, — невнятно, корчась от стыда, проговорил Львов и поспешно скрылся в кабине.

Подавленные, мы смотрели молча, как он мастерски взлетал. Площадка для взлета была мала, впереди разводина, с трех сторон горы льда. Львов разогнал самолет почти до самой воды, мы невольно вскрикнули, но в последний момент — какую-то долю секунды — он ловко бросил его в воздух. Колеса оторвались у самой кромки льда. Облегченный самолет тяжело поднялся и, описав большой круг, полетел на север.

— В Астрахань! — констатировал Фома и, крякнув, покрутил веревкой, которой сбивал лед.

А я неожиданно для самого себя бросил вслед Львову: — Ну и лети... к такой-то матери.

— А вот я тебе по губам! — прикрикнул на меня Фома.

— Больше не буду,— обещал я.

Мы постояли немного, не говоря ни слова. Меня вдруг поразило, какая была глубокая тишина. Стоял мертвый штиль.

— Надо весь этот багаж увязать покрепче, чтоб удобнее было нести,— с досадой проговорил Фома и вдруг стал смеяться.— С чужого коня среди грязи долой. Как он нас, а? Среди моря. Ну и ну, вот так Глебушка... Названный братец! Ха-ха-ха!

— Такой же сукин сын, как его папенька,— вздохнул я и нагнулся к вещам.

Мы распределили кладь. Тяжелый тюк с сетями, свой мешок и посылки (в них оказались продукты) взвалил себе на плечи Фома, а я взял рюкзак и компас.



— Будем идти на восток, к берегу,— решил Фома,— ночью никакой самолет

за нами не пошлют. А утром нас будут искать и подберут.

— А может, наткнемся на тюленебойцев или ловцов! — радостно воскликнул я.

— Все может быть,— глубокомысленно согласился Фома, и мы пошли.

Скоро, к нашей великой радости, мы вышли на какое-то подобие дороги. При свете луны явственно виднелись следы саней. Здесь недавно проходили люди. Может, наши бурунские ловцы. Сразу стало веселее.

— Ура! — закричал я. Фома только поправил съезжающий тюк.

Налетел ветер, попытался сбросить тяжелый груз со спины, но не осилил, приумолк.

Мы пошли по дороге, но через четверть часа снова ее потеряли. Был след саней и исчез, будто сани поднялись в воздух. Чертовщина какая-то. Попытались искать след — напрасно. Тогда пошли напрямик по компасу.

Мы шли и разговаривали. Что сейчас делает Лиза? Фома остановился, посмотрел на свои часы со светящимся циферблатом — было всего четверть восьмого. Значит, она только что пришла с семичасового наблюдения. Наверное, занимается обработкой наблюдений за старым письменным столом, а может, стоит у окна и прислушивается: не едем ли мы? Конечно, Лиза уже ждет нас и беспокоится. То и дело звонит по телефону в Бурунный. А Мальшет уже в Астрахани, если не случилось чего по дороге. Узнает, что нас нет, и начнет рвать и метать. Возможно, что и у них тоже катастрофически обледенел самолет, и они совершили вынужденную посадку. И теперь сидят с летчиком Охотиным в кабине, дожидаясь утра.

Так, вспоминая близких, шли мы с Фомой и шли и внезапно уперлись в ледяную стену. Это была высокая непроходимая стена льда, тянувшаяся насколько хватал глаз с северо-востока на юго-запад. Луна зажигала в ней фиолетовые отблески, словно отраженное северное сияние.

Мы остановились, не зная, куда идти. Опять дунул ветер, крепче, увереннее и, будто озоруя, сбросил на нас с зубчатой вершины горсть снега. И вдруг завыл протяжно и тонко, как летящий снаряд. И, как бы дополняя впечатление, раздался оглушительный грохот, словно залп из орудий,— то лопались льды под напором Каспия. Фома медленно попятился и опустил к ногам свою ношу.

— Ну, Яша, держись! — торжественно произнес он.— Теперь Каспий начнет себя показывать... Шторм. Уйдем от стены...

Взвалив на спину кладь, мы поспешно удалились как можно дальше от ледяной гряды. И только отошли, она раскололась, осела, лишь туман пошел.

Страшная была та ночь. Порой тучи обволакивали диск луны и в сгустившейся непроницаемой тьме слышались только рев моря и грохот разбиваемого льда. Шторм сбивал с ног — скорость ветра была не меньше десяти баллов, мы падали, больно ушибаясь, помогали друг другу подняться, озирались, не зная, куда идти в темноте. Но луна выбивалась из туч и озаряла призрачным светом бесконечную колышущуюся равнину, на которой будто землетрясение происходило. Напрягая все силы, мы бежали от рушившихся ледяных гор, ища открытого места. Но и там не было спасения. Лед напозал, как лава, догоняя нас. Два огромных ледяных поля яростно столкнулись друг с другом, как первобытные чудовища. От страха я бросил было рюкзак, но Фома вернулся и поднял его. Пришлось тащить. Компас он у меня после этого забрал.

Всю ночь зыбь ломала и крушила стоячую утору. Под конец мы настолько выбились из сил, что уже и не особенно остерегались. Чистая случайность, что мы остались живы. Просто нам везло! Лед лопался то здесь, то там, в разрастающихся

разводях бушевала черная вода. Мы только старались не потерять друг друга и даже связались веревкой на всякий случай.

Запоздавшее утро нашло нас на небольшой льдине, стремительно уносимой течением на юг. Как мы на нее попали, я и сам не знаю. Помню лишь, как мы пытались уйти, но кругом оказалась вода и уйти было некуда. .

Глава шестая

ОДНИ В ТЕМНОМ МОРЕ

Так мы попали в относ. Сначала льдина была большая, на ней могли разместиться человек двадцать ловцов и пять, а то и шесть лошадей. Фома сказал, что нет смысла разбирать вещи и устраиваться удобно, так как, без сомнения, нас до вечера подберут. Вот только рассеется туман — и самолеты выйдут на поиски.

Льдина довольно быстро, до двух узлов в час, дрейфовала на юг, как показывал компас. Море успокоилось, только сильно паровало, над уснувшими волнами стелился густой серовато-белый туман. Настал полдень, но туман не рассеивался. В три часа мы слышали шум самолетов высоко над пеленой туманов. Наступал вечер, мы пообедали хлебом и салом из Глебовой посылки (должно быть, она предназначалась для рыбаков, но он почему-то ее не передал). Вместо воды мы сосали, как леденцы, кусочки льда. Лед был солоноватый, но не такой, как морская вода.

— Придется ночевать здесь,— сказал Фома и стал выгружать из мешка свои вещи.

Я тоже схватился за рюкзак. Помимо всяких мелочей — мыла, зубной щетки, смены белья и тому подобного,— у нас оказалось два шерстяных одеяла и простыни. Последним Фома очень обрадовался.

— Могут понадобится на парус,— заметил он.

Мы надели на себя все, что было,—по две пары белья, рубашки, джемпера, куртки. Из двух телогреек и одеяла сделали постель, вторым одеялом, бушлатом Фомы и моим стареньким пальто решили укрыться.

— Вдвоем тепло будет спать,— весело сказал Фома. Спать не легли, а сели рядышком на постель и стали разговаривать. Все о том же—как теперь беспокоятся Лиза и Иван Владимирович. Наши отцы, наверное, еще не знают, что мы в относ. Лиза не станет их преждевременно волновать. Вот если нас не подберут в ближайшие дни...

Мы очень беспокоились о Мальшете и Охотине. Ведь они тоже, наверно, попали в мокрую метель и у них могло начаться обледенение... Андрей Георгиевич не бросит ни Филиппа, ни ценных научных приборов, значит, они заночевали на льду... Я вдруг подумал, что во время шторма самолет могло растереть в порошок движущимися льдами... Если бы у нас была хоть рация... мы бы запросили о них по радио и о себе бы сообщили.

Когда нас найдут? Глеб, конечно, сообщил о нас еще вчера. Утром должны были вылететь на поиски. Если бы не этот проклятый туман, нас бы уже подобрали. Моя лодка была со мной, и мы заглянули в нее, пока еще не стемнело. Вот что прочли мы насчет туманов: «Стелющиеся туманы, морские испарения наблюдаются чаще всего при ветрах южных румбов, юго-восточных и юго-

западных. Стремление к образованию туманов удерживается обычно в течение нескольких дней, особенно в тех случаях, когда туман охватывает значительный район моря. Наиболее часты туманы непродолжительные, преимущественно в ночные и утренние часы, однако, вероятность длительных туманов (несколько суток) составляет около шести процентов от общего числа туманов вообще».

— Всего шесть процентов! — обрадовался я.— Неужели мы попадем в эти шесть процентов? Завтра тумана не будет. Правда?

— Не знаю...— неуверенно ответил Фома,— я надеюсь, что ночью мороз спаяет разбитые льды, мы сможем перейти на стоячую утору и добраться до берега.

Я промолчал. Что-то не похоже на мороз — стоял полный штиль, было тепло —плюс четыре градуса примерно. И к вечеру потеплело еще. Вокруг, перегоняя нас, плыло множество ледяных глыб. Сталкиваясь, они издавали треск, словно скрежетали зубами. Как только стемнело, стало тревожно и тоскливо на душе. Я вспомнил, как месяц назад, поставив сети, мы плыли на бударке к «Альбатросу» и меня охватил страх заблудиться в этой бесконечной водной пустыне. Теперь случилось то, чего я боялся,— мы были одни в темном море, на неверном куске льда, который мог расколоться или растаять, если нас вынесет в Средний Каспий.

Я прислушался — ни звука, ни крика птицы, только глухой плеск воды да шуршанье и скрежет проплывающих льдин. И туман, туман гнетущий, обескураживающий, ни единой звездочки не просвечивало сквозь него. Глухо, сыро, холодно, темно и тоскливо. Я невольно придвинулся ближе к Фоме, он считал, сколько у него осталось папирос.

— Одиннадцать штук всего!— посетовал Фома.— Хорошо, что я курец не азартный, а то знаешь как тошно пришлось бы.

— Лучше береги спички,— посоветовал я.

— Для чего?

— Для костра.

— Из льда, что ли, костер разведешь?

— А может, выберемся на землю... Не знаю для чего, но спички, наверно, понадобятся.

— Твоя правда.— И Фома бережно спрятал спички во внутренний карман куртки. Одну спичку он все-таки истратил, уж очень ему захотелось курить.

— Фома, как по-твоему...— начал я о том, что меня будоражило весь день,— подло поступил Глеб, высадив нас на лед, или он должен был спасти самолет?

— Себя он спасал,— неохотно буркнул Фома.

— Себя? Видишь ли, я обязан, как комсомолец, справедливо решить этот вопрос, а досада — плохой советчик.

Фома коротко хохотнул.

— Поставь себя на его место. Как бы ты поступил?

— Я? Если бы самолет был дороже атомного ледокола, и то бы я решил так: пусть пропадает машина, но не бросил бы товарища. Главное — поступить по чести!

— «Главное — поступить по чести»,— как эхо повторил Фома.— По чести? — переспросил он, вдумываясь в слово.— Главное — быть человеком...

Подумав еще немного, Фома сказал так:

— Глебу хотелось стать настоящим летчиком. Настоящим— это он понимал так: постигнуть всю технику, ну и мужество приобрести. Его папаша и эта сестрица Мирра не верили в него: дескать, хилый, слабый от рождения, куда ему стать летчиком. В этом они ошиблись. Ты видал, как он управляет машиной? У

него же каждое движение отработано, что тебе хороший пианист. Смотрит на ноты, а пальцы сами по себе бегают. Вот. Технику-то он постиг, а человеком не сумел стать. Потому он все одно — плохой летчик. Если плохой человек, то и плохой летчик. Одного знания техники мало. Яша... а хорошо быть пилотом, хоть бы бортмехаником, да?

— Да, хорошо. Еще лучше, чем моряком,— возможности больше. Например, гидросамолет — он и по морю, и по земле, и по воздуху движется. Прекрасное чудо!

— Да. Но и моряком все-таки очень хорошо. Я не очень любил учиться, а в мореходном училище знаешь как интересно!

— Ты теперь, Фома, отстанешь...

— Ничего, потом нагоню. У нас в Бурунном есть старичок, капитан на пенсии, ты его знаешь, Кирилл Протасович. Он обещал помочь мне. Назубок все знает!

Капитан дальнего плавания, шутишь. Он не только по Каспию двадцать лет плавал, но и в дальневосточных морях, в Ледовитом океане, по всему миру.— Фома помолчал.— А теперь давай соснем, Яша. Набирайся сил, неизвестно, что с нами будет.

Тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, мы уснули, едва покрывшись одеялом: уж очень устали.

На другой день и на третий был все тот же стелющийся туман. На четвертый день он рассеялся к полдню. Словно занавесу отдернули, и перед нами предстало спокойное, зеленоватое море с чуть колышущейся линией горизонта, солнечное небо, кучевые облака. Совсем как летом. Но к северо-востоку от нас громоздились огромнейшие торосы высотой с четырехэтажные дома, там был хаос невообразимый и страшный. На льдинах лежали, развалясь, жирные тюлени — вылезли погреться на солнышке. Нас медленно пронесло мимо огромного тюленьего поля.

— Эх, вот это залежка, знали бы наши! — пожалел от души Фома.

Мы уже здорово замучились. И постель, и одежда на нас отсырели, негде было и просушить. Мы мерзли, все время хотелось пить. Кусочки солоноватого льда уже плохо утоляли жажду. Льдина заметно уменьшалась. Теперь на ней уместилось бы всего человек десять ловцов и разве что одна лошадь. Мы ждали самолета. С нетерпением ждали самолета, но он не появлялся, хотя отдаленный шум мотора слышался не раз. Фома все поглядывал, ухмыляясь, на мое лицо.

— Парень, а ты знаешь, у тебя борода растет, однако, совсем стал мужчиной,— признал он.

У меня не борода росла, а какой-то пух, вот Фома зарос, как цыган.

На другой день к вечеру мы увидели самолет. Он был похож на огромную рыбу, спокойную и красивую, и ослепительно сверкал в лучах уходящего спать солнца. Мы прыгали, кричали, махали одеялами, просто бесновались от радости. Самолет стремительно пронесся над нами — даже ветром пахнуло — и стал удаляться...

Нас не заметили. Видно, заходящее солнце маскировало нас. Когда самолет скрылся за облаком, я чуть не заплакал от нестерпимого разочарования. Я что-то кричал вне себя в след удаляющемуся самолету, Фома обескураженно молчал.

Льдина таяла на глазах, как студень, скоро на ней уже будет опасно находиться, а летчики нас не заметили. Искали они нас или просто летели по своим делам? Я взглянул в ту сторону, где громоздились торосы, они отодвинулись дальше на восток, а может, это нас отнесло течением в сторону? Ледяные руины багровели, точно охваченные пожаром,— отблеск солнца, уже

невидимого для нас. Пожар долго тлел, затухая, а когда в потемневшем небе замерцали звезды, в торосах тоже вспыхнуло холодное фиолетовое мерцание.

Больше мы самолетов не слышали, видно, нас искали не здесь — в других квадратах. Льдина уменьшилась больше чем вдвое, нас выносило в чистую ото льда воду — Средний Каспий.

И тут со мной случилось совершенно неуместное, просто позорное происшествие — я не вынес трудностей и заболел. Крепился я до последнего, скрывал от Фомы, пока мы не легли спать и он не обнаружил, что от меня так и пышет жаром.

— Яшка, да ты заболел, вот беда! — испугался Фома и стал трясущимися руками снимать с себя теплый шарф. Укутав меня шарфом и завязав под подбородком шапку-ушанку, чтоб нигде не продуло, он подстелил под меня свой бушлат, подоткнул одеяло.

— Вот бедняга, что же мне с тобой теперь делать? — твердил он в полном отчаянии.

Не знаю, что это была за болезнь. Кололо в боку, болела голова, ломило все тело, от высокой температуры я плохо соображал, было невыносимо жарко, в то же время меня сотрясал озноб. Мучительно томила жажда

— Пить, пить!.. — просил я.

Но что мог Фома дать мне пить? Кусочки набитого льда? И все же в скором времени он стал меня поить из своей фаянсовой кружки, которую всюду возил с собой.

А потом я стал терять сознание. Меня мучил бред. Мне чудилось, будто нас уносит темный водоворот. Течение все стремительней, а впереди черные скалы, ощерившиеся, как огромная пасть.

— Черная пасть, Фома, ты видишь — Черная пасть! — кричал я в ужасе.

Страшные сны моего детства ожили в бреду, я видел Черную пасть, куда уходят воды Каспия, останки «Надежды» — страшным водоворотом их несло туда же. Черная пасть! Бурлящие воды смыкались над головой. Я метался, боясь захлебнуться, был мертв и опускался на дно. Вместе с тем я был жив и искал на дне мою мать. Во что бы то ни стало я должен был найти ее и похоронить. Невозможно, чтобы рыбы ели тело моей матери. Я погружался в ил, вязкий, клейкий, меня засасывало, полон рот был ила.

Потом меня преследовал Львов. Он был безобразен, с разросшейся раковой опухолью на шее, хотел меня удушить, и не хватало сил с ним сладить. Я не мог понять, кто это был — Глеб или его отец Павел Львов. Они были на одно лицо, и от них мне было очень плохо. Я делал невероятные усилия, чтобы отцепить от себя эти клейкие, цепкие руки, но никак не мог сладить, и они душили меня.

Это был омерзительный бред. Одно гнусное видение сменялось другим, терзая несказанно мои нервы. Наконец я уснул, будто умер, без всяких сновидений.

Проснулся утром, меня пригревало солнышко. От слабости я еле мог пошевелиться, но жар спал. Фома озабоченно смотрел на меня, осунувшийся, заросший, с темными кругами под глазами. Увидев, что я в полном сознании, он широко улыбнулся. Одну руку он держал под полою куртки.

— Ну как, малость полегче? — спросил он.— Пить хочешь? Или сначала поешь?

— Воды дай...

Фома отвернулся, якобы ища что-то, и через секунду протянул мне кружку с водой. Я понял, что он растаивал лед в кружке у себя на груди. А бушлат подстелил под меня. Какой, должно быть, долгой и мучительной показалась ему

эта ночь. Он и сам мог простудиться, очень просто.

У меня перехватило горло. Я сжал его руку.

— Ерунда! — сказал Фома, поняв мое смущение. — Что же ты, больной, будешь лед, что ли, сосать? Подумаешь, подвиг. Попей и съешь чего-нибудь. Я уже завтракал...

Я болел еще дня два — все больше спал по совету Фомы (он считал, что сном всякая болезнь проходит).

И каждый раз Фома ел именно тогда, когда я спал. Наконец я совсем очухался и понял, что доедаю остатки посылки, а Фома давно голодает. Недаром у него щеки втянулись. Я еще не успел ничего сказать, как Фома стал меня останавливать.

— Ладно уж, хватит об этом!

— А рыбу ты разве не ловил? — спросил я, чуть не плача от жалости.

— А где ее варить? — удивился Фома.

— Будем есть сырым.

Фома сделал гримасу, но спорить не стал, а полез в мешок искать из чего сделать удочки.

Шатаясь от слабости, я встал на "ноги. Как была мала льдина! Только для нас двоих. И вдруг я увидел в голубой дымке берег. Я не верил своим глазам. Может, это мираж? Фома не обращал на него никакого внимания. Неужто мне мерещится?

— Что там? — нерешительно показал я на восток. Фома понял меня.

— Разве ты не видел? — удивился он. — Третий день дрейфуем вдоль берегов, а что толку?

Скоро Фома сделал рыболовные снасти. Отрезав перочинным ножом кусочек сетей, живо наделал несколько лесок, которые прикрепил к верёвке. На крючки пошла булавки, заколки значков, даже моего комсомольского значка не пощадил. В качестве приманки он, вздыхая, насадил остатки сала, которые сберег для меня. Сделал на веревке петлю и свободно держал ее в руке. Ловля была удачной. Скоро Фома бросил в мешок несколько судаков и сазана. Я вскрыл их и, выбросив в море икру и молоки, тщательно промыл рыбу в морской воде.

Мы взглянули друг на друга. Не хотелось есть сырую, но от голода сводило желудок, дрожали колени.

— Хоть бы соль была! — вздохнул Фома.

Вскрикнув, я ринулся к своему рюкзаку и, порывшись, подал Фоме хрустальную солонку с медной крышечкой. Эту солонку я сам купил в Астрахани, уж очень мне она понравилась.

Поев, я решил измерить глубину. Глубина оказалась ровно пять метров, но сквозь прозрачную толщу воды прекрасно было видно дно.

Лежа на краю льдины, мы теперь часами наблюдали пробежавший под нами подводный ландшафт — полосатые раковины на чистом крупном песке, темные пятна морской травы, в которой паслись бычки и пугловки.

С каждым днем теплело, так что в полдень на солнце можно было свободно сидеть в одной рубашке, что мне Фома категорически запрещал. В телогрейке было жарко. Я сильно потел.

Море сияло, отражая блистающее небо. Солнце грело, как в сентябре, и льдина все уменьшалась. Однажды Фома с мрачным видом разостлал по льду оба одеяла, мешок, бушлаты, все, что у нас было, а сверху прикрыл белыми простынями. Он очень жалел, что не догадался сделать этого раньше.

И ни одного самолета, ни одной реюшки или парохода — куда нас занесло?

— Если спасемся,— сказал Фома,— я не буду больше отваживаться от Лизы парней. Пусть она свободно выбирает, кого хочет... Человек должен быть свободным во всем... Экий я был дурак!

Я промолчал, а Фома продолжал в том же минорном тоне:

— Если спасемся, придется приналечь на занятия, как бы на второй год не остаться. Теперь уже у батьки лежит целая стопа лекций из мореходного училища. Отец, поди, места себе теперь не находит. Один я ведь у него. Жена бросила. Мало я ему уделял внимания, своему старику. Уйду на весь вечер, а ему, поди, скучно одному.

Я подумал о своем отце, о Лизе, и у меня, что называется, сердце перевернулось. Две недели в отnose... Наверное, думают все, что мы потонули давно или льдом под бугор завалило. Ищут ли нас или уже бросили?

Прошли еще сутки, и мы стали ждать смерти. Льдина качалась на волнах, как скорлупка, ее заливало водой, каждую минуту могло смыть вещи или одного из нас. Если же не смоеет, все равно льдина вот-вот растает.

Я спрятал лоцию за пояс, комсомольский билет хранился во внутреннем кармане куртки. У Фомы оказалась Лизина фотография. Сначала он прятал ее от меня, стеснялся, потому что эту фотографию ему никто не дарил, он ее сам «позаимствовал», как говаривал отец Гекльберри Финна, попросту стянул. Теперь уже не было смысла прятать, все равно. Любил Фома мою сестру. Он бы жизнь за нее, не колеблясь, отдал. И за меня бы отдал жизнь и за любого друга. Вот какой он был — верный, скромный и простодушный. Я крепко любил Фому и видел его насквозь. Он только успел подумать о том, чтобы облегчить льдину, чтобы я, значит, дольше продержался, как я осадил его.

— Так и знай, прыгнешь в воду — я тут же за тобой. Тонуть, так вместе. Понял? Вместе пойдем рыб кормить...

Фома улыбнулся мне, а я заплакал от этой улыбки, несколько не стесняясь слез. Очень уж не хотелось умирать. Если бы за родину погибнуть, за народ, а то просто так, ни с того ни с сего. Глупая смерть. И все же в глубине души мне не верилось, что мы можем погибнуть. Что я перестану быть. Это невозможно. Я просто чувствовал, что буду жить вечно. И я рассказал Фоме о Марфеньке, которую любил, хотя никогда не видел. Пусть не видел, но я знал ее — поэтичную, тонкую, прекрасную, веселую, умелую фехтовальщицу и спортсменку. Если я не погибну, то женюсь на ней. Моя будущая жена живет в Москве, на Маросейке.

Нужно жить, и не просто жить, а как надо. Главным было поведение в жизни.

— Остров!!! — закричал хрипло Фома.

Глава седьмая

МОРЕ РАССТУПАЕТСЯ

Нас подносило к плоскому круглому острову, едва выступающему из воды. Это было спасение — так нам казалось. Дрожа от волнения, мы собрали вещи и спрыгнули прямо в ледяную воду — было всего по грудь. Льдину пронесло течением дальше, а мы еще долго добирались до островка, неся вещи на вытянутых руках. Вода была ужасающе холодна. И, едва мы ступили на землю,

Фома заставил меня переодеться в сухое (это «сухое» как отсырело, что было наполовину мокрое), а потом стал гонять по всему острову, как остуженную лошадь, и даже надавал тумачков, когда, выбившись из сил, я остановился.

Несколько согревшись и успокоившись, мы осмотрелись. Это был крохотный островок, сплошь покрытый толстым слоем высохших водорослей. Впереди был низкий безлюдный берег, тянулся он далеко на восток, к пустыне Кара-Кумы. До берега было километров шесть... Не доплыть.

Я присел на корточки и сгреб охапку водорослей, пыльных и чуть сыроватых.

— Фома, они будут гореть?

— А чего, конечно, будут...

— Ты что, словно не рад?

— Плохая радость...

— Но почему?

— Остров-то при сильном ветре затопляется... потому: и водоросли.

— Не каждый же день сильный ветер! Смотри, водоросли совсем сухие.

Мы развели костер, больше дыма, чем огня, все же он горел. Выловили несколько рыб и обжарили их на огне. Никогда в жизни я не представлял, какое блаженство обогреться и обсушиться у пылающего костра.

На этом острове мы застряли.

Дни проходили, мы исхудали, обтрепались, изголодались без хлеба и супа — не в чем было сварить уху. Рыбу ловили сетями и на леску, собирали съедобные моллюски и водоросли, даже соль достали тут же, на острове, под водорослями, — морские отложения. Фома ухитрился и птиц ловить на леску — днем тут был настоящий птичий базар, а к вечеру птицы улетали на берег.

Больше всего мы страдали от жажды, утоляя ее то кусочками льда, то выпадавшим изредка слабым снегом. Зная, как Мальшет дорожил новыми островами, мы тщательно измерили и описали этот остров. Даже название ему дали — «Елизавета». Но я так мало знал в науке, а Фома еще того меньше — он ведь не особенно любил читать, и потому описание наше было весьма поверхностным. Фома жизнь больше любил, чем книги. Он всегда искренне удивлялся тому, что я готов все оставить ради интересной книги. Но, может, это происходило потому, что я еще никогда не жил такой жизнью, чтобы она была интереснее самой интересной книги. До сих пор у меня почему-то получалось так, что ожидание всегда было прекраснее самого момента. Например, я чуть не сошел с ума от счастья, собираясь в экспедицию, а сама экспедиция оказалась более будничной, однообразной и тяжелой, нежели я себе представлял. И даже теперь, на необитаемом острове, хоть и нельзя было пожаловаться на недостаток приключений, сами приключения оборачивались все той же стороной — работой. И совсем неинтересно было работать с утра до вечера на этом проклятом плоском острове лишь для того, чтобы наполнить свой желудок. Правда, мы стали проводить трехкратные метеорологические наблюдения, как это делали на «Альбатросе», записывая их карандашом на полях лоции. Но это были неполные наблюдения, так как у нас не было приборов, даже простого термометра. Фома ворчал, что Мальшет мог бы оставить часть приборов и на нашу долю. Мы отмечали характер и развитие облачности, видимость, направление ветра (по компасу), силу ветра (приблизительно) и все атмосферные явления. Так в записях последовательно можно прочесть: иней, гололед, туман, ясно, морозно, снег, пасмурность, заморозки, свечение неба, огромные полосатые круги вокруг луны. Отмечали мы и состояние моря — какое течение, цвет, прозрачность, волнение, плавучие льды.

Каждый вечер, ложась спать, мы с тревогой осматривали горизонт — боялись свежего ветра. Мы знали, если нас не найдут в самые ближайшие дни, конец наступит скоро — остров был затопляемый. По ночам меня стали мучить кошмары — гнусные унижительные сны преследования. То достигало море, как тогда в Бурунном, оно сбивало с йога и проходило надо мною; то я барахтался в черной развине, и меня затягивало под лед. Или видел, как сталкивались огромные плавучие поля льда, рушились торосы, меня заваливало льдом.

Я бы, наверное, опять заболел... Спасло то, что спали на горячем, словно на печке. Весь день и весь вечер мы жгли костер, а когда наступало время спать, переносили тлеющую золу на другое место, а разогретую землю застилали одеялом. Одеяло не давало земле охлаждаться, и мы до самого утра спали словно на хорошо вытопленной русской печи.

С утра я еще держался — делал наблюдения, ловил с Фомой рыбу, собирал съедобные моллюски, поддерживал костер. Но как только на море наступала темнота, на меня нападал страх. Я боялся, что наш островок при первом же шторме очутится на дне и мы погибнем. Фома и то боялся этого. Но еще больше терзал меня страх темноты пустыни в буквальном, первоначальном значении этого слова — жестокого, притаившегося до поры нечто. Я с детства всегда боялся темноты. Но одно дело, когда темноты боится ребенок, а другое дело — взрослый парень, комсомолец. Это был просто позор! А Фома никакой темноты не боялся и смерти не боялся, просто он любил жизнь, и ему не хотелось умирать. А кому хочется?

Очень я тосковал по сестре. Я все время видел ее. Неслышными шагами она ходила по дому — прибирала, готовила обед, работала за письменным столом. Иногда я видел ее на метеорологической площадке, делающей наблюдения, или на улицах Бурунного. Я словно всюду ходил за ней по пятам. Вечером они сидели за накрытым холщовой скатертью круглым столом — Лиза, отец, Иван Владимирович — и вполголоса разговаривали, так тихо, что я не слышал слов. Лиза была совсем девчонкой — загорелой, тоненькой, хрупкой, с двумя темными косами, только глаза были очень светлые, серые. Я часто вспоминал Ивана Матвейча, Афанасия Афанасьевича, Ефимку, Маргошку, Сеню Сенчика, седую машинистку Марию Федоровну — всех бурунских, но ни о ком я так не тосковал, как о сестре. Я знал, как ей тяжело теперь, когда она, может, и надежду потеряла, что мы с Фомой вернемся. А каково отцу?

Нас так и не нашли, и все же мы не погибли. Фома утверждает до сих пор, что Каспий не хотел нашей гибели. Море расступилось, и мы прошли с островка на берег. Вот как это произошло.

Дней восемь дул свежий баллов в шесть восточный ветер, угоняя воду от берегов. Островок наш увеличился раз в десять, обнажилось все дно вокруг — песчаное и плотное.

24 или 25 января — мы сбились в подсчетах — ветер настолько усилился, что согнал остатки воды — море освободило нам путь.

— Ну, Яша, нужно идти, — сказал Фома торжественно, — не скрою от тебя, можно легко погибнуть... Стоит стихнуть восточному ветру, волны устремятся назад... Такой сгон долго не продержится — от силы три-четыре часа. Но и здесь мы пропадем. И... давай на всякий случай простимся.

Мы обнялись и трижды поцеловались. Вещи оставили на островке — налегке надо было идти. Я только и взял, что лоцию и компас, а Фома — сети. Мелочи

рассовали по карманам.

Сначала идти было хорошо, по морскому слежавшемуся песку с ракушкой. Мы шли часа два, торопливо и молча, спешили изо всех сил, а ветер стихал и стихал.

Осталось, может, какой километр дойти, когда ветер сменился на обратный— юго-западный... И, как на грех, почва стала илистой и вязкой. Мы напрягали все силы, чтобы вытаскивать ноги из чавкающего, засасывающего ила. Казалось, что мы не подвигаемся. Фома оглянулся назад, в глазах его отразился ужас, как в тот час, когда, разбуженный мною, он увидел приближающееся море.

— Неужели обманул? — бормотал он по своей привычке вслух.— Что же, как кошка с мышами играет?

Это он говорил о Каспии, упорно одушевляя его. Во всем Фома был нормальный человек, кроме этого пункта.

Море догоняло нас, а проклятый ил не давал идти — в точности, как в моих снах. Я выбился из сил, у меня померкло в глазах, стало дурно. Но я взял себя в руки и некоторое время, не знаю сколько, шел как слепой, ничего не видя.

— Эхма! — горестно воскликнул Фома и, нагнувшись, бережно положил сети.

Дурнота окончательно сломила меня, смутно я почувствовал, как Фома взвалил меня к себе на спину, словно куль с рыбой.

...Пришел я в себя на берегу. Я лежал на склоне песчаного холма, надо мной наклонилось желтоватое небо с быстро бегущими разлохмаченными тучами. Фомы не было. Рядом валялся на песке его бушлат. Вскочив на ноги, я бросился искать Фому.

Я сбегал к морю и сразу увидел мокрого, сердитого Фому, барахтающегося в воде. Он громко кричал — не мне. Как только волна откатывалась назад, он поднимался и, что-то волоча за собой, пробегал вперед на несколько метров, потом волна опять с шипением сбивала его с ног, норовя вырвать то, что он тащил.

— Черта с два,— орал Фома,— не отдам!

Все же он выбрался на берег, волоча за собой растрепанные, спутавшиеся сети. Я помог ему оттащить их подальше от воды.

— Тебе лучше? — спросил Фома и, наклонившись к сетям, засмеялся.

— А все-таки отнял сети! — Он стал их старательно отжимать.

— Выжми сначала одежду на себе,— сказал я настойчиво.

— Ладно,— согласился Фома и стал раздеваться.

— Спички промокли?

— Нет, они в бушлате.

Пока Фома отжимал на себе одежду и сети, я насобирав топливо для костра. Между дюнами росла серая полынь, редкие кустики кермека с сухими розовыми цветами, кусты эфедры с толстыми искривленными ветками, а неподалеку я открыл целые заросли селитрянки.

Насобирав как можно больше топки, разжег огромный костер и с улыбкой посмотрел на Фому. Наступала ночь, а страх не приходил — мы были на земле.

— Отпустил нас, старый чертяка, даже сети отдал! — радостно засмеялся Фома и лукаво посмотрел на меня.

Мы чувствовали такой подъем, что, отогревшись и отдохнув, решили идти всю ночь. Съев остатки рыбы, пошли вдоль моря на юг. По мнению Фомы, мы находились где-то между мысом Песчаным и полуостровом Мангышлак.

К вечеру чуть подморозило, песок словно пружинил, идти было легко и весело. Над морем поднялся узкий молодой месяц, будто ломтик дыни в огромной

синей пиале. Море шумно катило свои волны, мы то приближались, то отдалялись от него, обходя длинные изогнутые мысы.

Странное ощущение чего-то необычного, как будто мы очутились на другой планете, пронизало меня. Странной была местность, по которой мы шли, — совсем лунный ландшафт. Светлые кратеры, отражающие, как выпуклые зеркала, свет месяца, и вытянутые склоны темно-желтых бугров. Но это была наша родная закаспийская земля.

Я любил ее, и Фома любил ее, мы были ее дети. Моряки избирают свой жребий — море, и все же самый счастливый их час, когда они услышат крик: земля!

— Я был мальчишкой, которого бросила мать... — вдруг заговорил Фома. Он шел, чуть наклонившись под тяжестью сыроватых сетей, даже при свете месяца он походил на бродягу, и я тоже. Мы и были веселые бродяги Земли. — Я был школьником, которого выгнали из десятого класса за драки, — продолжал Фома, — был боксером и получил звание чемпиона. Был линейщиком — плохим, не любил я этого дела, ты знаешь. Стал рулевым, потом капитаном промыслового судна... Это мне нравится, и я учусь заочно в мореходном училище, чтобы стать капитаном дальнего плавания. Капитаном солидным, заслуженным, на каком-нибудь крупнейшем пассажирском теплоходе я вряд ли когда стану — не тот характер! Может, подвернется другое дело на море, которое придется по душе... Но вот о чем целыми днями я думал там, на острове Елизаветы: надо твердо знать, для чего живешь, а не просто болтаться по свету, где больше понравится. Так я говорю, Яша, или нет?

— Правильно говоришь.

— То-то и оно, что правильно. А какая у меня цель?

— Разве у тебя нет цели, Фома?

— До сих пор у меня была лишь одна-разъединая цель: добиться, чтоб Лиза стала моей женой. Мне казалось — откровенно сказать, и сейчас кажется — это главное, а остальное приложится. Но ведь для мужчины этого должно быть мало?

— Мало, Фома, — подтвердил я сурово.

— Эхма! Может, Лиза меня за это самое и не уважает... Смотри, как нескладно со мной получается. Ты будешь писателем, у тебя призвание, талант. Лиза станет скоро океанологом, потому что хочет помочь Мальшету связать Каспий по ногам и рукам всякими дамбами. Мальшет спит, и во сне это видит. А я не могу к ним примкнуть... Душа моя не вытерпит видеть Каспий побежденным и униженным. Признаюсь тебе, если он разобьет эти дамбы в щепы и будет по-прежнему уходить и приходиться, когда ему захочется, я... я буду радоваться.

— Балда! — не выдержал я.

— Должно быть, балда! Как же можно без цели...

Мне стало жалко Фому, и я решил успокоить его:

— Еще будет, вот увидишь! Одни сразу находят свою цель в жизни, другие ее долго ищут.

Мы шли всю ночь и говорили и даже усталости почти не чувствовали. Поняли мы, как устали, только утром, когда вдруг увидели среди дюн уходившие далеко-далеко телеграфные столбы. Добежав до первого же столба, я обнял его, как если бы он был родной. Он и был сродни тем столбам, что проходили мимо маяка нашего детства, где я вырос и научился мечтать. И в нем так же гудело таинственно и хорошо.

Мы пошли вдоль телеграфной линии и шли, пока не наткнулись на домик линейщика, в точности такой, как у моего отца. В нем жили муж, жена и шестеро

детей. Все сначала испугались, уж очень мы были оборванные и грязные, а потом накормили, вымыли и позвонили в район. В тот же день мы связались по телефону с Лизой, спросили насчет Мальшета, но она еле говорила от волнения, и мы ничего не поняли, только встревожились.

А на другое утро за нами прилетел самолет и доставил нас домой — в Бурунный.

Глава восьмая

ДОМА

Когда самолет приземлился в Бурунном, меня поразило огромное скопление народа. Я только хотел спросить, какой сегодня праздник, как понял, что это нас так встречают.

Впереди, еле держась на ногах от волнения, стояли отец, Лиза, Иван Матвеич. Мелькнуло улыбающееся доброе лицо Ивана Владимировича, каракулевая шапка председателя исполкома, лысина Афанасия Афанасьевича, пенсне Юлии Ананьевны. Были все учителя и ребята, пришли линейщики и ловцы, принаряженные рыбачки принесли с собой малых детей. Фома увидел председателя рыболовецкой артели и торжественно вручил ему сети. Нас чуть не задушили в объятиях, клубный оркестр самодеятельности играл туш, многие женщины плакали, некоторые даже причитали, а председатель исполкома произнес приветственную речь. В общем, нас встречали, как полярников.

Все это было бы даже приятно, если бы не то обстоятельство, что родные выглядели так, будто вышли из больницы. Лизонька очень подурнела, глаза и рот стали больше, и я боялся, что она упадет, когда она прижалась ко мне лицом. Отец стал совсем сухонький; когда он меня обнимал, у него тряслись руки и он всхлипывал совсем по-старчески. Дорого им обошлась эта экспедиция.

Мачеха не смогла прийти: у них телилась корова. Иван Матвеич держался бодро. Он сам много раз бывал в отходах и готов был к тому, что и сыну этого не миновать. Он трижды поцеловал Фому и похвалил его за то, что он не бросил колхозные сети. Целуя меня, он шепнул: «Цени сестру, любящая она у тебя, хорошая, умница». Афанасий Афанасьевич хлопал то меня, то Фому по плечу и смущенно улыбался.

Лиза совсем не могла говорить, только крепко держала меня за руку.

— Как Мальшет? — спросил я у Ивана Владимировича.

— Уже выписался... — разобрал я начало фразы, и нас повлекли в клуб, не дав и переодеться.

В клубе провели небольшой митинг, затем было бесплатное кино, а приглашенные отправились обедать к Ивану Матвеичу. Обедали в четыре потока, так как уместиться в избе все гости не могли.

Мы с Фомой переоделись в боковушке и теперь сидели на самом почетном месте, рядом с председателем исполкома, который, провозглашая тост в честь нашего спасения, снова произнес довольно длинную речь. Он был славный человек, только очень любил произносить речи по всякому поводу, это был его единственный недостаток. Директор рыбозавода Рыжов тоже любил произносить длинные речи, но он был при этом зол и эгоистичен, а этот всегда старался для

людей. Я выпил вина и скоро опьянел — то ли с непривычки, то ли потому, что ослаб. Во хмелю и я оказался на диво болтлив и так преувеличивал, повествуя о наших похождениях, что Фома толкал меня под столом ногой, а Лизонька подошла и шепнула на ухо: «Янька, не завирайся». Я только было начал рассказывать, как нас затянуло водоворотом в Черную пасть, но после этого обиделся и замолчал.

Ни моего вранья, ни обиды, по счастью, никто не заметил, так как гости тоже были пьяны. Все стали петь хором рыбацкие песни. Одна песня мне особенно понравилась, но, к сожалению, я не запомнил из нее ни одного слова и мотив забыл.

К вечеру исполкомовский «газик» доставил нас домой на метеостанцию — Лиза торопилась к семичасовому наблюдению. Отец сначала собирался к себе на участок — у них корова отелилась, и Прасковья Гордеевна просила его возвратиться пораньше, — но потом махнул на все рукой и поехал ночевать к нам.

Пока Лизонька хлопотала в кухне, а Иван Владимирович разговаривал с отцом в столовой, я обошел дом и двор.

До чего хорошо было дома, как уютно, как славно! Мне хотелось каждую вещь подержать в руках, поглядеть. Я так обрадовался нашей старой фарфоровой чашке с отбитой ручкой, будто встретил свое утерянное счастье. Присел за письменный стол, потом прилег на кровать, тут же вскочил и прижался лбом к скрипучей двери. До чего я был рад вернуться домой! Я задумчиво посмотрел на бригантину с белыми косыми парусами, она по-прежнему стояла на полочке, которую я тогда смастерил, и уже покрылась пылью. Видно, эти недели, оплакивая меня, Лиза совсем к ней не прикасалась.

Я достал из кармана бушлата еще более потрепанную старую лоцию и положил ее в свою тумбочку, на нижнюю полку, где лежали мои школьные учебники.

Выскочив во двор, обошел вокруг все пристройки, закрыл ставни в доме. Это был все тот же серый каменный дом на взморье, старый, обомшелый, но крепкий. Сбегал на метеоплощадку, заглянул в будки, где барографы и термографы аккуратно отсчитывали давление и температуру-

Затем спустился к морю. Оно спокойно спало, покрытое льдом, как гигантским серебряным панцирем. Высоко в небесах на фоне клочковатых облаков очень быстро летел месяц, в точности такой, как вчера, когда мы за много километров отсюда пересекали с Фомой лунные кратеры...

Вернувшись в кухню, я стал помогать Лизоньке накрывать на стол. Есть не хотелось, нас обкормили у Ивана Матвеича, но уж такая русская традиция — встретившись после разлуки, беседовать у стола за бутылкой вина. Вина я больше не хотел и был доволен, что опьянение мое прошло.

Лизонька то и дело подходила ко мне, обнимала и смеялась. И за столом она не сводила с меня сияющих светлых глаз.

— Иван Владимирович, папа, да смотрите же, Янька здесь, живой и невредимый!

На Лизе была широкая клетчатая юбка и джемпер, обрисовывающий ее тоненькую фигурку. Темные густые волосы она, как всегда, заплела в две длинные косы. Я был очень обрадован, когда на аэродроме Лиза так же обняла и поцеловала Фому, как и меня. И теперь я рассказывал, какой Фома молодец, как геройски вел он себя и спас мне жизнь — в какой уже раз! Когда я рассказал, как Фома растаивал на груди лед в кружке для меня, отец разволновался и стал сморгаться, а Лиза говорит:

— Если я не потеряла веры до конца, когда тебя уже никто почти не ожидал увидеть живым, то лишь потому, что знала — с тобой Фома.

Фома был легок на помине. Он, конечно, не усидел дома и, оставив отца с гостями, завел мотоцикл и скоро стучался в нашу дверь. Он вымылся, побрился, надел новый костюм. На правах спасенного, Фома опять стал целовать Лизоньку. Она отбивалась, смеясь и отклоняя лицо.

И вот мы опять все вместе, дома, сидим за круглым столом. На белоснежной скатерти домашние пироги, мед, моченые яблоки, бутылка кагора. Разлито вино по рюмкам, еще раз выпили за наше спасение.

— Ну, рассказывай, Яша, все по порядку! — требует Лизонька.

Мы с Фомой дружно протестуем:

— Нет, сначала вы рассказывайте.

Новостей оказалось много, больше плохих, чем хороших. Вот что рассказал Иван Владимирович.

Мальшет и Охотин тоже попали в обледенение. Как мы с Фомой и предполагали, они пытались спастись вместе. Много раз приземлялись, сбивали лед, все же добрались до берега, до твердой земли, когда вдруг «забарахлил» мотор и снова пришлось сесть. Охотин долго возился с мотором, пока не извлек из карбюратора прохудившийся поплавок. Запаять было нечем. Друзья решили передохнуть в хвостовом отсеке, а потом идти пешком. Чехлами задраили проход, но усиливающийся штормовой ветер стал так раскачивать самолет, что пришлось вылезти и лучше укрепить его веревками и пешнями. Несмотря на это, шторм перевернул самолет и вместе с веревками тащил его по берегу, пока не сломал.

Утром решили идти на Астрахань, так как пищи у них никакой не было. Накануне Охотин захватил с собой несколько аварийных посылок для рыбаков (как и Глеб), но сумел их по пути сбросить на затертые во льдах ре-юшки. (Тому, что у нас первые дни была пища, мы, следовательно, обязаны лишь небрежности Глеба — он не доставил посылки по назначению — и его страстному желанию облегчить как можно более самолет.)

Идти по сугробам, да еще голодными, невыспавшимися, было тяжело. Иногда натыкались на незамерзающие озера, усиленно паровавшие на морозе, приходилось их далеко обходить. А на третий день преградили путь непроходимые черни — сплошные заросли высокого камыша, занесенные снегом, под которыми хлюпала вода. Пробирались звериными тропами, по пути удалось поймать несколько птиц, которых зажарили на костре и съели.

Только на шестые сутки, обессиленные и обмороженные, добрались до какого-то промысла, где им оказали первую помощь. Мальшет отделался более легко, а Андрею Георгиевичу пришлось полежать в больнице — у него было обморожение второй степени.

— Первые их вопросы были о вас и о Глебе... Они, чем могли, помогали поискам, даже Андрей Георгиевич, лежавший в больнице... — закончил на этом Иван Владимирович. Дальше ему явно не хотелось продолжать.

— А Глеб? — спросил я.

Лиза сказала, что он жив и здоров, но... как он искал нас, где, почему нас не подобрали?

Лиза переглянулась с Турышевым и усмехнулась недобро.

— У него умер отец... — сообщила сестра.

— Умер? — вскричали мы с Фомой одновременно.

— Да, умер. Глеб сначала ездил на похороны, а потом вернулся за увольнением. Теперь он уже окончательно переехал в Москву. Мне писала жена

Андрея Георгиевича, что Глеб даже не зашел к нему попрощаться в больницу... наверное, боялся его пронизательности.

— Боялся... почему?

— Глеб добрался до Астрахани благополучно, в половине восьмого уже приземлился на аэродроме. Почувствовав, вероятно, полную невозможность признаться в том, что он высадил вас посреди моря на лед (он же самолюбив и горд до крайности!), Глеб объяснил так... Ох!.. Он сказал, что самолет обледенел, не мог вывезти троих, и он оставил вас с тюленщиками из казахского колхоза... Тюленщики направлялись домой на лошадях и охотно захватили вас.

— Вот мерзавец!..— даже как-то растерялся Фома.

— Он подлый, о, какой он подлый! — воскликнула Лиза и заплакала.

Отец осторожно дотронулся до ее волос.

— Доченька, не плачь, вернулись ведь.

— Львов сказал, что перепутал название казахского колхоза, откуда были тюленщики,— вздохнув, стал продолжать Турышев,— поэтому, вместо того чтобы выслать самолеты на поиски, вас искали по колхозам. Были запрошены все районы, никто о вас не слышал. Как сквозь землю провалились.

— Мерзавец! Попадись он мне теперь! — сжал кулаки Фома.

— Ну и как же? — торопил я.

— Охотин узнал эту историю и что Глеб спешно увольняется, ну и заподозрил его... Собственно, причина увольнения была ясна — переезд в Москву в связи со смертью отца, освободившейся квартирой и прочим, о чем Глеб предупреждал давно. И все же Охотин заподозрил неладное. Он прямо из больницы позвонил в авиационный штаб, а заодно и в прокуратуру и высказал свои догадки. Лишь тогда начались поиски в море... Через двенадцать дней после того, как вы уже попали в относ. Глеб упорно отрицал, надеясь, верно, что вы уже погибли и никто ничего не узнает. Теперь ему не вывернуться. Из комсомола его, конечно, исключат. Охотин говорит, что Глеба спишут на землю и, может, отдадут под суд. Львов был летчиком по ошибке: ему не хватало моральных данных. Отец и сестра не верили в него как летчика, считая слишком слабохарактерным да и физически слабоватым. Они ошиблись. Глеб оказался более крепким и более волевым, нежели они ожидали. Он прекрасно овладел техникой пилотажа. Но... одна техника — этого всегда и во всем слишком мало. Надо прежде всего быть человеком.

Так говорил Иван Владимирович, но это были мои мысли и мысли Фомы. Как странно бывает слышать твое заветное, высказанное другим человеком, и какую это дает радость!

— А где сейчас Мальшет? — спросил Фома. Он был очень взволнован. Видно, здорово расстроился.

— Мальшет отозван в Москву, он же на работе. Андрей Георгиевич выписывается на днях из больницы,— пояснил Иван Владимирович.

Лиза вскочила, чуть не опрокинула стул, и, порывшись в письменном столе, подала мне пачку телеграмм от Филиппа. Все они были об одном: «Телеграфируйте, если что узнаете нового. Филипп»; «Звонили из штаба, начались поиски в море. Мальшет»; «Лизонька, береги себя, будь мужественна, они будут найдены. Филипп»; «Дорогой Иван Владимирович, добился отсрочки вашего поступления институт, поберегите Лизу. Филипп»; «Из штаба заверяют: скоро будут найдены, крепитесь. Филипп»; «Лизонька, береги себя, не отчаивайся, они не пропадут, с Яшей Фома. Мальшет»; «Лизонька, береги себя, рвусь в Бурунный, пока не могу приехать. Твой Мальшет».

— И по телефону каждый день звонит,— смеясь, но с невольной гордостью сказала сестра.

Фома заметно помрачнел. Он уже, бедняга, ревновал. Мне его стало жалко. Лизе, наверное, тоже.

— Фома, хочешь еще пирога? — ласково спросила Лиза. И потребовала, чтобы мы наконец рассказали «подробно» о своих приключениях на море и на берегу.

Я стал рассказывать подробно, но Лиза опять заплакала, пришлось сократить свой рассказ. Она еще не была в силах выслушать все: уж очень настрадалась за это время, когда почти никто не верил уже в наше спасение. Фома подмигнул мне, и я заговорил о другом.

Вдруг Лиза посмотрела заплаканными глазами на Турышева, улыбнулась и подняла бутылку кагора, рассматривая ее на свет висячей лампы.

— Еще есть вино? Папа, разлей по рюмкам. Теперь мы выпьем за здоровье мужа и жены. Наш Иван Владимирович женился и покидает нас. Да. Они прямо с аэродрома пошли в Астраханский загс и зарегистрировались, а я была свидетелем...

— Совершенно потрясенным свидетелем...— расхохотался Иван Владимирович.— Но подождите, не разливайте кагор, Николай Иванович, у меня для этой цели припасено шампанское. Только неуместно было о нем вспоминать до поры до времени. Сейчас принесу, одну минуточку...

— Кто же она? — тихонько тронул меня за плечо Фома.

— Васса Кузьминична,— обрадованно шепнул я другу, а Фома просто обомлел от удивления, глядя вслед Турышеву.

Возвращаясь с бутылкой шампанского, Иван Владимирович лукаво и вместе с тем смущенно улыбался. Мы с Фомой от всей души поздравили его, жалея, что нет здесь и Вассы Кузьминичны.

— Теперь Иван Владимирович будет жить в Москве и работать в Океанологическом институте вместе с Вассой Кузьминичной и Малыпетом,— сообщила нам Лиза.— Он бы давно уехал, да не хотел оставлять меня в тяжелый час. А ведь Янька первый угадал, что они любят друг друга, вот что значит будущий писатель, психолог. А я, дура, не верила.

Распито и шампанское — тост за любовь и дружбу, за долгую жизнь и труд по призванию.

— Наверное, вам, молодым, смешно, когда вдруг женятся в нашем возрасте? —спросил Иван Владимирович.

— Нисколько. Зачем вам быть поврозь, когда можно вместе? — горячо заверил я ученого.

Турышев потрепал меня по руке.

— Ты всегда понимаешь человека, Яша, это хорошо. Ты славный малый!

Иван Владимирович был растрогай чуть не до слез не столько моими словами, сколько тем, что он во мне почувствовал. Но, не желая, чтоб это заметили, стал шутить над собой:

— У Диккенса в «Николасе Никльби» (я видел недавно эту книгу у тебя на столе, Лиза) есть очаровательная сценка. Помните, в конце романа одинокие и старые мисс Ла Криви и Тим Линкинуотер сидят на диване в доме счастливого семейства Никльби... «Как вы проводите свои вечера?» — спрашивает собеседницу Тим. «Сиж у камина и читаю». — «Представьте, я тоже. А что, если нам сэкономить топливо и до конца жизни сидеть у одного камина?» Вот и мы так с Вассой Кузьминичной.

Все рассмеялись, и сам Турышев тоже.

— Там не совсем так,— живо поправила Лиза.— Хотите, я прочту это место? Она достала книгу и, найдя отрывок, с удовольствием (Лиза очень любила Диккенса!) прочла его вслух:

«— Таким, как мы,— сказал Тим,— которые прожили всю жизнь одиноко на свете, приятно видеть, когда молодые люди соединяются, чтобы провести вместе многие счастливые годы.

— Ах, это правда! — от всей души согласилась маленькая женщина.

— Хотя,— продолжал Тим,— это заставляет некоторых чувствовать себя совсем одиноким и отверженным. Не так ли?

Мисс Ла Криви сказала, что этого она не знает. Но почему она сказала, что не знает? Она должна была знать, так это или не так.

— Этого довода почти достаточно, чтобы мы поженились, не правда ли? — сказал Тим.

— Ах, какой вздор! — смеясь, воскликнула мисс Ла Криви.— Мы слишком стары.

— Нисколько,—сказал Тим.— Мы слишком стары, чтобы оставаться одинокими. Почему нам не пожениться, вместо того чтобы проводить долгие зимние вечера в одиночестве у своего камелька? Почему нам не иметь общего камелька и не вступить в брак?

— О мистер Линкинуотер, вы шутите!

— Нет, не шучу. Право же, не шучу,— сказал Тим.— Я этого хочу, если вы хотите. Согласитесь, дорогая моя!

— Над нами будут смеяться.

— Пусть смеются,— невозмутимо ответил Тим.— Я знаю, у нас обоих характеры хорошие, и мы тоже будем смеяться. А как мы весело смеемся с той поры, как познакомились друг с другом!»...

— Правда, хорошо? — пылко воскликнула сестра.— Я люблю Диккенса за доброту и жизнерадостность, за то, что он такой человечный. Он знал, что нет на земле высшего блага, как дать немного счастья несчастным. Самые лучшие его страницы — это когда он описывает радости тех, кто по той или иной причине несчастен. Вот уж кто никогда не устареет, потому что его творчество чисто и поэтично и потому вечно!..

Иван Владимирович долго смотрел на раскрасневшуюся Лизоньку.

— Ты хорошо поняла главное в Диккенсе,— произнес он почему-то грустно.— Всем своим творчеством Диккенс хотел сказать, что тесная дружба и глубокая радость не являются случайными эпизодами в жизни, а наоборот, наши странствия — это эпизоды среди вечной дружбы и радости...

Турышев поднялся из-за стола и, поблагодарив Лизоньку, вежливо попрощался со всеми. Он задержался на пороге — корректный, сдержанный, задумчивый, с седыми висками и лицом, красивым и в старости. Как я его любил!

— Ведь мы никогда не расстанемся,— сказал он,— вы будете навещать меня и Вассу Кузьминичну в Москве, а я буду приезжать сюда каждый раз, как мне надо будет работать над книгой или статьей. Здесь так хорошо работается и дышится. Покойной ночи, славные мои друзья!

Иван Владимирович ушел, осторожно притворив за собою дверь.

— Он очень хороший! — промолвила Лиза.

— Добрый человек! — согласился Фома и тоже стал прощаться — было поздно.

Проводив Фому до дороги, мы еще долго сидели втроем — отец, сестра и я. Мы были слишком взволнованы, чтобы спать, и беседовали о разных делах дня.

Дома было так хорошо, не хватало разве только сверчка у очага. Но в Бурунном сверчки не водились. Были когда-то, да их вывели вместе с тараканами.

Глава девятая

МАЛЫПЕТ ПОЗВАЛ НАС

На другой день после завтрака я отправился на своем велосипеде (он совсем расшатался) в Бурунный. Мне хотелось поговорить с Ефимкой, по которому очень соскучился: накануне я его почему-то не видел среди встречающих.

Ефимка жил со своей матерью, старой рыбацкой, на самом берегу моря в маленьком домишке на сваях. Возле дома был палисадник, огороженный рыбацкой сеткой. Летом они сажали мак и мальвы, и сетка хорошо предохраняла от кур. (Куры в Бурунном длинноногие, нахальные, взлетают они плохо, а бегают невероятно быстро.)

Ефимкина мама очень мне обрадовалась, усадила в переднем углу и стала рассказывать об успехах сына. Ефима дома нет, он теперь ходит в море с тюленщиками, они набили уже много тюленя, и Ефим заработал много денег. Ей теперь уже нет надобности ходить в море, сын ее вполне обеспечивает. Она вдруг заплакала. Ее лицо, навсегда загорелое, продубленное каспийскими ветрами, морозом и жгучим солнцем, собралось в морщинки.

— Из-за меня не учись, — всхлипывала она, — разве я не знаю... Хочет, чтоб я отдохнула от моря. Мне шестидесятый год. А разве для того я тянула, учила его цельных десять лет, чтоб он ходил тюленей бить? Для этого не нужно десять лет учиться. Мой-то покойный был лучшим тюленебойцем по всему побережью, а все образование его — два класса.

— Ефим вполне может учиться заочно, — успокоил я ее. — Фома вон работает и учится, и моя сестра Лиза, и многие другие. Я сам буду работать и учиться.

— Работать и учиться тяжело, здоровье ведь не луженое, — загорюнилась мать. — Жалко его... молодой, погулять, поиграть еще хочется, хоть бы и в футбол этот. Кто, кроме матери, пожалеет? Эх, кабы Марина была жива, ваша мать. Мы с ней вместе ловили на глуби... При мне она и погибла... Отцу что, женился вон... после такой, как Марина, да на спекулянтке этой. Только бы ей базар!.. Ефим-то хочет с весны механиком на судно, уже договорились. Он в механике здорово разбирается. Мотоцикл сам ведь собрал, все удивлялись. А работать и учиться тяжело.

— Не легко, — согласился я с ней. — Все же можно учиться заочно на судового механика, было бы желание.

— Желания у него не особо много, — вздохнула Ефимкина мать, провожая меня за ворота. — Приходи, Яша, он скоро вернется. Ефим тебя любит, вы ведь с первого класса на одной парте сидели. Приходи. Дай-ка я тебя поцелую! Лизочке привет передавай, пусть и она когда зайдет. Уж очень я любила Марину, вашу мать. Веселая была, ничего не боялась, трудолюбивая и к людям добрая. И ребята ее вроде в мать. Приходите!

Только я отошел от Ефимкиного дома, ко мне бегут ребяташки, лет по пять, по шесть:

— Яша, иди, тебя почтарь зовет!

На почте для меня оказалось два письма (оба от Марфы) и большой пакет со штампом журнала. Пакет был тяжелый, и у меня сразу защемило сердце: неужели вернули рассказ?

Попрощавшись с почтарем, который с любопытством глядел на меня, я нерешительно вышел на площадь.

В конверте оказались оттиски моего рассказа и краткое письмо литературного секретаря, отпечатанное на машинке. Он просил прочесть оттиски и, если я не возражаю против правок, расписаться и, не задерживая, выслать рассказ обратно в редакцию. «Встреча» пойдет в мартовском номере. Заканчивая письмо, он спрашивал: каковы мои творческие планы? Не собираюсь ли я побывать в Москве? Редакции хотелось бы познакомиться со мной поближе.

Ведя за собой велосипед, я машинально перешел площадь. Письма лежали во внутреннем кармане пиджака. Творческие планы... Каковы мои творческие планы? Редакция хочет познакомиться со мной поближе.

Это был такой невиданно щедрый дар судьбы, что я еле устоял на ногах. Растерянно озирался вокруг, словно впервые очутился в поселке Бурунном. И вдруг таким сочным и необычно ярким предстал передо мной мир, что я совсем уже растерялся. Почему же я не видел этого раньше — такой густой синевы, пронизанной потоками света, там, в вышине, а под ногами чистейший хром песка. И ослепительный блеск замерзшего моря, отражающего солнце. На песке лежали, накренившись, старые суда, приготовленные для ремонта. Рассеянно взглянув на них, я опять был удивлен поразительной четкостью каждой линии, рельефной наглядностью облупившейся краски, потрескавшейся смолы.

И по дороге домой, когда я пересекал красноватые холмы, мир представлял передо мной все ярче и ярче, словно он разгорался от невиданного источника света внутри каждой вещи, каждой былинки. Это случилось, как волшебство, ведь еще час назад ничего подобного не было. И тогда я понял: это все сделала радость. Значит, радость дает человеку такое острое зрение, дает познать то, что в обычном состоянии от него сокрыто. Радость обогащает душу. А страдание, забота, скука ослепляют человека, принижают его, даже солнце тогда теряет для него свой блеск — на мир ложится серая пыль.

Мне вдруг захотелось вернуться и чем-нибудь обрадовать мать моего товарища детства. Она смотрела так озабоченно, так буднично, когда прощалась со мной. Я быстро повернул назад и скоро опять стучал в чисто промытое окно. Никто не откликнулся. Я вошел во двор. Ефимкина мать, в телогрейке, в сапогах и в линялом цветастом платке, выгребала из коровника навоз — от него шел пар — и очень удивилась, увидев меня. Наверное, она подумала, что я что-нибудь забыл.

— Мария Васильевна, вы идите отдыхайте, а я быстро управлюсь.— И я решительно отнял у нее вилы.

— Если тебе так хочется...— улыбаясь, сказала старая женщина и, потирая поясницу, ушла в дом.

Я тщательно вычистил коровник, сгреб навоз в кучу. Корова, белая, в рыжих пятнах, стояла во дворе — дышала воздухом и поворачивала ко мне голову. Кажется, она не прочь была боднуться, но я бросил ей охапку пахучего сена. Потом я подмел двор, напоил корову, натаскал из колодца (за полкилометра) полную бочку воды. Увидев, что в деревянной уборной оторвалась дверь, насадил ее на петли. Больше нечего, кажется, было делать. Мария Васильевна, принаряженная и причесанная, позвала меня пить чай.

— Сейчас! — крикнул я и, сбегав в магазин — это было напротив,— накупил

ей в подарок конфет, окамепевших пряников (других не было) и фруктовых консервов, которые, я знал, она не покупала.

Мария Васильевна ахнула, увидев меня со свертками:

— Что это ты, чай я не именинница!

Мы пили чай из медного самовара, и сияющая Мария Васильевна поправляла беленький воротничок и, пытаясь раскусить пряник, все приговаривала:

— Вот и мне нечаянный праздник. Спасибо тебе, Яшенька. А я сегодня как раз видела во сне, будто мне щеночка подарили, уж такого вахлатого, ласкового щеночка, и я будто кормила его хлебом и молоком. Вот сон-то и в руку. Собаку видеть во сне — это к другу. А мне что-то так взгрустнулось с утра. Теперь все и прошло. Спасибо тебе. Ефим приедет, расскажу ему, какой у него друг.

Я поделился с ней своей радостью, даже прочел письмо. Мария Васильевна так и всплеснула руками.

— Вот же счастье тебе, парень, от бога,— серьезно сказала она.— Может, доживу, придется еще по радио слышать твой рассказ. Когда-нибудь будешь таким писателем, как Шолохов. Он тоже, по радио сказывали, из поселка...

— Из станицы Вешенской. Нет, я не буду таким, как Шолохов... Я еще сам не знаю, каким буду.

Мария Васильевна внимательно рассмотрела штемпель и сама перечла письмо, беззвучно шевеля губами.

— Береги письмо-то,— посоветовала она,— а в Москву съезди непременно.

И Лиза дома тоже сказала:

— Янька, тебе надо съездить в Москву.— Подумав, она прибавила: — И мне надо в Москву — вместе поедем.

Сестра хотела побывать в своем институте и достать кое-какие учебники и книги, которых в Астрахани не было.

Начались сборы. Мы звали с собой Фому, но он отказался наотрез:

— Не могу. Очень отстал по заочной учебе в мореходном училище. Старичок капитан взялся меня подогнать. Каждый день гоняет знаете как... Ох и дока! Все назубок знает — каждое море, всю оснастку, все правила для судов. А уж навигацию — зубы на ней съел, у него вставные. Вот это капитан дальнего плавания!

В кругосветном без счета плавал. А сердитый! Задарма занимается, денег ни за что не берет.

Пока Лиза в ожидании отпуска (ее должен был заменить старичок наблюдатель из Астрахани) собиралась в Москву, мы с Фомой работали на ремонте судов — огромная флотилия Бурунного готовилась к путине.

Каждый день были какие-нибудь новости, уж я не говорю о международных или всесоюзного масштаба, которые мы узнавали из газет и радио. Своих новостей, бурунских, было сколько угодно.

В Бурунном началось строительство огромного консервного завода, и наехало столько незнакомого люда, что в поселке даже появился квартирный кризис. Разговоров об этом заводе было много, но меня лично это не так уж интересовало. Меня волновала другая новость — то, что база каспийской авиаразведки будет отныне в Бурунном. На побережье, между поселком и нашей метеостанцией, уже был раскинут аэродром — чудесная площадка для каких угодно огромных самолетов. Спешно строилось кирпичное здание штаба, а пока авиационный штаб помещался в брезентовой палатке со слюдяными окнами. Приезжал инженер гражданской авиации, появились летчики, авиатехники, мотористы. Самолеты были перебазированы сюда, когда мы с Фомой еще дрейфовали на льдине.

Начальником штаба авиаотряда был назначен Андрей Георгиевич Охотин. Он каждый день теперь бывал в Бурунном и часто оставался у нас ночевать. Когда Иван Владимирович переехал в Москву, Охотин занял его комнату, с условием освободить каждый раз, как Турышев будет приезжать сюда работать. Дом большой, места всем хватит.

Мы старались не грустить, расставаясь с нашим Иваном Владимировичем, ведь мы станем часто встречаться. Старый ученый будет приезжать к нам работать и отдыхать, а мы — ездить в столицу. Мы и теперь собирались в Москву — через какие-нибудь две недели.

Охотин снова предложил мне работу на аэродроме, и на этот раз я согласился. Это был решительный шаг — я не просто поступал на работу, а избирал свою профессию. Андрей Георгиевич обещал сделать из меня хорошего бортмеханика. Дальнейшее уже зависело от меня самого. Охотин ведь тоже начал с моториста, потом несколько лет пролетал бортмехаником и на этом самолете продолжал летать как пилот. Он пришел на аэродром с семилетним образованием, ему было труднее. Мы договорились, что я только съезжу в Москву и — сразу выйду на аэродром.

Мне страстно хотелось стать бортмехаником. Я уже давно втихомолку мечтал об этом по ночам — с тех пор как впервые поднялся в воздух. Я только не желал переезда в Астрахань, не хотелось оставлять сестру одну.

Обстоятельства складывались удачно для нас. Теперь мы всеми вечерами строили планы, мечтали, спорили. Я еще никогда в жизни не был в Москве, и Фома с Лизонькой наперебой советовали, что мне надо посмотреть там в первую очередь. Фома подробно объяснил, как проехать на стадион в Лужники и где находится ринг, на котором встречаются московские боксеры. Лиза — как пройти в Третьяковскую галерею и Музей восточных культур, где ей больше всего понравилась японская живопись. Но я мечтал о театре... Радио только разжигало жажду, мне хотелось видеть рядом, близко.

Марфенька уже знала, что мы выедем в Москву в середине февраля, и писала, что ждет с нетерпением. Нас уже связывала с нею настоящая глубокая дружба. Мы были разные, но много находилось и общего. Мы любили одних и тех же писателей, композиторов. Оба избрали романтику знаменем своей жизни. Переписка у нас с Марфенькой шла весьма оживленная.

Как раз в это время появилась в «Экономической газете» статья Мирры Львовой. Я удивился: какое отношение имеет эта редакция к Каспию? Или другие газеты не пожелали печатать?

Это была статья, полная желчи и издевательства над сторонниками теории локального регулирования уровня Каспийского моря. Мирра повторяла вкратце мысли покойного Львова, высказанные им на совещании по проблеме Каспия, но шла дальше в своем утверждении: она заявила, что проблемы Каспия попросту не существует. Мирра развивала теорию отца и других сторонников «геологической аргументации» колебаний уровня Каспия. Каспий-де находится в районе молодых движений земной коры, и древние береговые линии почти все деформированы. Геологические смещения почвы разрушат любую дамбу, если ее построить. Мирра с едким остроумием разбирала по косточкам проект Мальшета и климатическую теорию Турышева.

От этой статьи у меня осталось неприятное впечатление — уж очень чувствовалась личная неприязнь автора. Я с отвращением хотел разорвать газету, но Лизонька вырвала ее у меня и положила в папку с вырезками — она хранила все, что могла достать о проблеме Каспия.

— Зачем тебе это? — возмутился я.

— Что ты, надо же знать, с кем будешь бороться.

— Ты будешь бороться?

— Ну конечно, когда окончу институт и у меня будет достаточно знаний. И ты будешь, уж я тебя знаю. Если не как ученый, то как писатель.

— Это будет не скоро.

— На решение проблемы Каспия, возможно, понадобятся десятилетия. Сейчас многие ученые и государственные деятели еще надеются на повышение уровня. Когда они убедятся, что Каспию более свойственны низкие стояния уровня (что доказывает Иван Владимирович), нежели высокие, вот тогда у нас появится много сторон-пиков.

— Значит, борьба?

— Конечно.

Приехал старичок метеоролог — тот, который уже заменял Лизу, когда мы уходили в экспедицию. Я уступил ему свою койку, а сам спал на стареньком диване. Пружины упирались в бока, но никак не доходили руки перебраться диван.

Накануне отъезда приехали на своих мотоциклах Фома и Ефимка. Ефимка очень возмужал. Теперь товарищ моего детства уже не походил на вертлявого цыганенка, это был парень из заметных, на него девушки заглядывались. Ефимка просил купить ему в Москве какие-то запасные части к мотоциклу (он вручил мне список) и что-нибудь для матери — на мое усмотрение. Я охотно обещал. Не помню, что мы тогда говорили такого смешного, может, нам только казалось, что это очень смешно, но хохотали до слез. Так смеялись, что не слышали громкого стука в дверь. Отпер Андрей Георгиевич. А мы опомнились, когда уже увидели входящего в комнату Филиппа Мальшета.



Мальнет быстро сбросил с плеч прямо на пол рюкзак, швырнул куда-то шапку и поочередно обнял каждого из нас, в том числе и Ефима, которого он, впрочем, немножко знал.

— На самолете? — спросил Андрей Георгиевич и по-хозяйски прибрал Филиппов рюкзак в уголок на стул.

— Прямо с аэродрома — сюда! — Филипп, счастливо улыбаясь, смотрел на Лизоньку — рыжеволосый, зеленоглазый, широкоплечий, в куртке из тюленя и меховых сапогах. С ним будто ветер ворвался в комнату, надувая паруса бригантины, сдувая с нее пыль.

— Ну, собирайтесь,— сказал Мальшет весело и властно,— времени в обрез. Через два дня выходим в море. Научно-исследовательская экспедиция по изучению подледного режима Северного Каспия. Научные сотрудники приезжают завтра... Что? Нет, у супругов Турышевых другая работа. Прибудут геофизик, геолог и инженер — специалист по возведению дамб, удалось заполучить его в последний момент. Все трое молодые ребята. Так будет лучше. Условия зимой на Каспии слишком суровы и опасны. Снаряжение уже отправлено багажом, часть его я доставил сегодня самолетами.

Теперь об обязанностях каждого. Ты, Фома, позаботишься о лошадях. В райкоме и с председателем колхоза я уже договорился по телефону. Сани бери покрепче. Не забудь запасные оглобли. Лиза едет в качестве метеонаблюдателя и по-прежнему будет исполнять обязанности повара. Завтра позаботься о продуктах. Я тебе помогу. Надо взять побольше мяса и заказать хлеб в хлебопекарне. Часть продуктов идет скорым багажом из Москвы.

Необходимы еще двое рабочих. Подобрать поручаю, Яша, тебе. Возьми кого-нибудь из ловцов помоложе, покрепче. Если найдутся ловцы со средним образованием — будет совсем хорошо. Понятно? Где мой рюкзак? Яша, дай карту, она в рюкзаке. Достал?

— Ага.

Мальшет выхватил у меня карту Каспия с обозначенным тушью маршрутом экспедиции и стремительно разложил ее на столе.

— Вот смотрите. Мы пересечем уральскую бороздину, пройдем вот здесь... Да, тот же маршрут, что и летом, только на лошадях по льду. Там, где пройдет трасса будущей дамбы.

— Яша,— дернул меня за рукав Ефим,— ты меня возьмешь, да? Очень хочу с вами ехать.

— Так поедем,— сказал я.

— За два дня не успеем подготовиться,— нерешительно произнесла сестра,— хоть бы дня три.

— Можно три, но не больше,— согласился Мальшет. Фома, наморщив брови и чуть выдвинув вперед нижнюю челюсть, рассматривал внимательно карту.

— Да, здесь можно пройти на лошадях,— заметил он.— Наверное, обнаружим много залежек тюленя. Они как раз теперь щенятся. Значит, моему капитану каникулы. Пусть отдохнет старичок...

— А рацию вы теперь достали? — спросила Лизонька и покраснела.

Мальшет громко расхохотался.

— Без радиосвязи больше не будем, Наш геофизик — отличный радист. Ему уже поручено. Будем держать связь с Андреем Георгиевичем. В случае чего — наши соколы помогут.

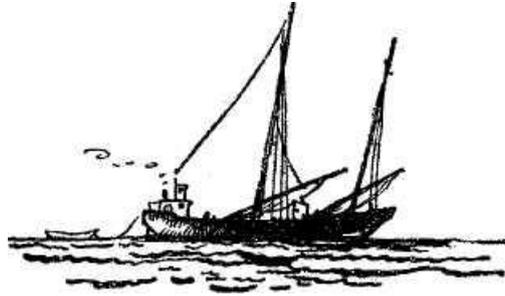
— Будьте покойны,— заверил Охотин.

Надо было идти ставить самовар и поить всю компанию чаем, а я все смотрел на Мальшета. Я вдруг понял: каковы бы ни были наши планы, стоит только Филиппу позвать нас, и мы все бросим и пойдем за ним в пустыню или море — куда он позовет. Мальшет не считался с нашими личными планами, как не считался и со своими собственными.

Я неохотно пошел в кухню и поставил самовар. Когда вернулся, все сидели

вокруг стола и взволнованно слушали Филиппа Мальшета. Он ходил по комнате и жаловался на то, что наш бывший маяк преследует его, как наваждение.

— Что бы я ни делал, куда бы ни шел, заброшенный маяк всегда передо мною, как укор моей совести коммуниста и ученого! — с горячностью говорил Мальшет.— Для меня он как скованный Прометей. Маяк был воздвигнут, чтобы освещать путь людям — целым поколениям славных каспийских моряков. А он стоит темный, заброшенный среди мертвых дюн и медленно дряхлеет. Не будет мне ни минуты покоя, пока я не добьюсь, что море снова будет биться у его подножия и на заброшенном маяке зажжется свет.



СОДЕРЖАНИЕ

СМОТРЯЩИЕ ВПЕРЕД

Заброшенный маяк

Глава первая. Путешественник

Глава вторая. Цель Филиппа Мальшета.

Глава третья. Фома Шалый

Глава четвертая. Старая, потрепанная лодка

Глава пятая. Туманный сигнал

Глава шестая. Лизины письма.

Глава седьмая. Море возвращается.

Дом на взморье

Глава первая. Лиза получает назначение

Глава вторая. Мерный плеск прибоя.

Глава третья. Второе появление Филиппа Мальшета

Глава четвертая. Личный фактор

Глава пятая. Ветер в снастях.

Глава шестая. Море и небо

Глава седьмая. Смотрящие вперед.

Глава восьмая. «Потому что вы... подлец!»

Экспедиция Мальшета

Глава первая. Мой первый рассказ

Глава вторая. Путь «Альбатроса»

Глава третья. Неожиданный ледостав

Глава четвертая. Остров на широте 44°

Глава пятая. Каспий себя показывает

Глава шестая. Одни в темном море

Глава седьмая. Море расступается

Глава восьмая. Дома

Глава девятая. Мальшет позвал нас

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге просим присылать
по адресу: Москва, А-47, ул.
Горького, 43. Дом детской книги.*

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Мухина-Петринская Валентина Михайловна

СМОТЯЩИЕ ВПЕРЕД. ОБСЕРВАТОРИЯ В ДЮНАХ

Ответственный редактор *И. В. Пахомова*. Художественный редактор *И. Г. Холодовская*. Технические редакторы *В. К. Егорова* и *Г. А. Подольная*. Корректоры *Л. И. Гусева* и *Э. И. Сизова*. Сдано в набор 30/1У 1965 г. Подписано в печать 6/IX 1965 г. Формат 84 X 1087м — 15 печ. л. 25,2 усл. печ. л. (24,84 уч. изд. л.) Тираж 75 000 экз. ТП 1965 № 589. А 00776. Цена 1 руб. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1. Типография «Красный пролетарий» Политиздата. Москва, Краснопролетарская, 16. Заказ 3075.

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



В. Мухина-Петринская

ОБСЕРВАТОРИЯ В ДЮНАХ



Роман

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

1965

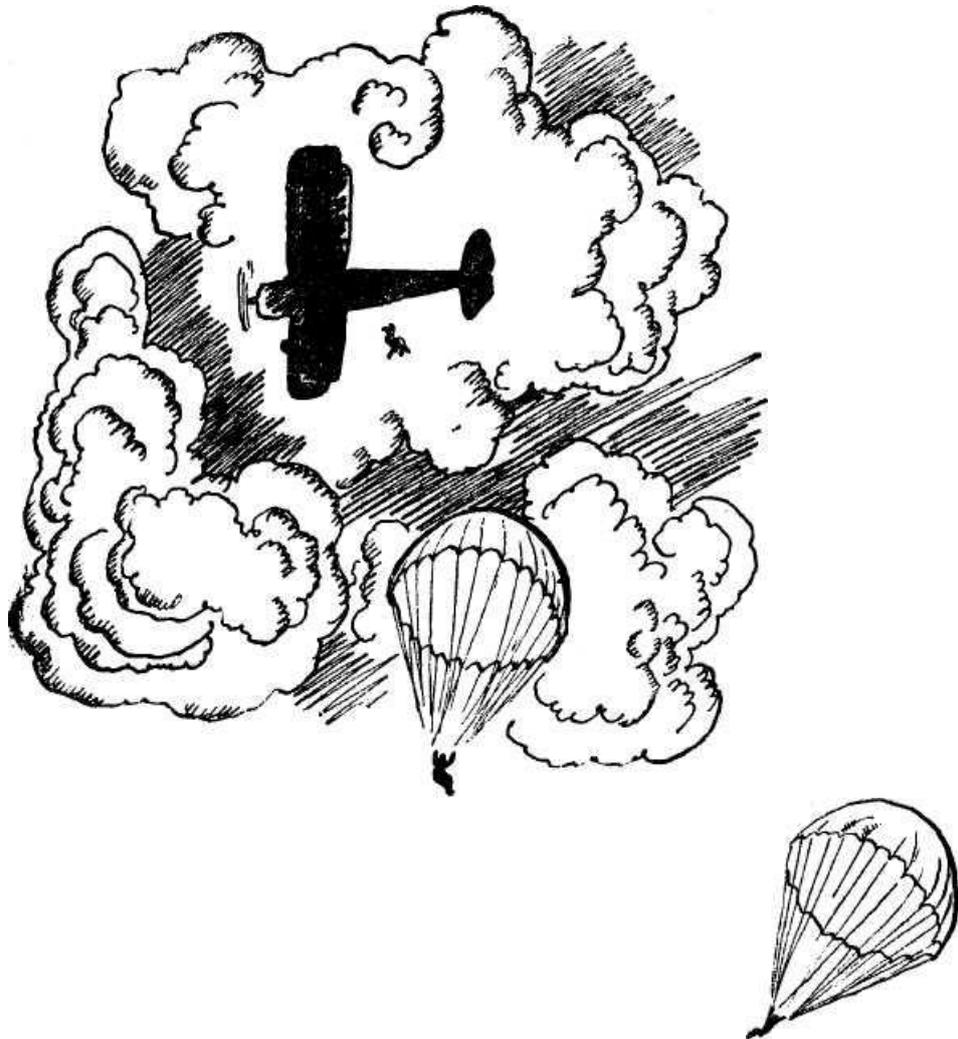
Рисунки Е. МЕШКОВА

OCR и редакция: 20 февраля 2004г, Александр Крупин
Библиотека «Книжные полки Вадима Ершова и К⁰»

На заброшенном маяке среди песков живут брат и сестра, Яша и Лиза. Когда-то маяк стоял на берегу Каспийского моря, но море обмелело, ушло. Однажды на маяке появился молодой ученый Филипп Мальшет, который поставил своей целью вернуть изменчивое море родным берегам, обуздать его. Появление океанолога перевернуло жизнь Яши и Лизы. Мальшет нашел в них единомышленников, верных друзей и помощников. Так и шагают по жизни герои романов «Смотрящие вперед» и «Обсерватория в дюнах» вместе, в ногу. С хорошими людьми дружат, с врагами борются, потому что не равнодушны, потому что правдивы и честны. Такие люди создают наше будущее.

Если характеризовать творчество Валентины Михайловны Мухиной-Петринской одним словом, то можно сказать, что она писатель-романтик. Так мечтательны и горячи ее герои, так смелы и благородны их дела. И еще одна черта — увлеченность наукой. Будь то проблема Каспийского моря или проблема проникновения внутрь Земли (роман «Плато доктора Черкасова»), всегда чувствуется страстная заинтересованность писательницы в обновлении наших знаний о мире, интерес к тому, что является сегодня новым, малоизвестным. Мухина-Петринская много ездила по стране — была на Крайнем Севере, в Заполярье, знает Каспий, Среднюю Азию. Удивляешься, когда узнаешь, что она человек уже не молодой, проживший нелегкую жизнь, пострадавший в годы культа,— уж очень много в ее книгах задора и свежего ветра. Так и хочется закинуть рюкзак за плечи и отправиться вслед за героями в дальний путь.

ОБСЕРВАТОРИЯ В ДЮНАХ



МАРФЕНЬКА

Глава первая

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛЬНИЦЫ

Марфеньке было шестнадцать лет, когда она впервые узнала, что такое высота. Случилось это так. После долгих занятий в аэроклубе («Сколько еще будут нас мариновать!» — возмущались девушки.) их наконец допустили к прыжку. Перед этим заставили раз двадцать прыгнуть с парашютной вышки, назубок изучить устройство парашютов, их укладку, развить в себе «рефлекс прыжка».

Подружки-девятиклассницы, волновавшиеся, кажется, больше самой Марфеньки, явились гурьбой на Тушинский аэродром. Отныне Марфенька Оленева будет гордостью 9-го «Б»: у них не было ни одного парашютиста, все почему-то увлекались фехтованием.

Садясь в самолет, Марфенька серьезно, без улыбки помахала девочкам рукой. В комбинезоне, который был ей велик, она походила на медвежонка. Из-под шлема падали прямые русые волосы, подстриженные под кружок. По мнению подруг, Марфенька была дурнушкой, но на нее это, кажется, нисколько не действовало. Школьницы не раз меж собой судачили: как это у такой великой артистки, которой восхищалась вся страна, самая заурядная дочь. И отец у Марфеньки был очень интересный, к тому же лауреат и академик. Иметь таких родителей — и быть самой обыкновенной, ничем не выделяющейся девушкой! Даже одеться толком она никогда не умела.

Марфенька не волновалась, она и безо всякого «рефлекса» прыгнула бы, но все же, когда самолет начал набирать высоту, у нее засосало под ложечкой, словно от голода. «Только бы не выдернуть слишком рано кольцо!» — подумала она.

Парашютистки, комсомолки с московских заводов, попробовали затянуть хором песню — тоже, наверное, посасывало под ложечкой: все прыгали первый раз, — но из-за оглушительного гула моторов ничего не было слышно. Из шести девушек никто не смотрел в окно: что-то не хотелось... Разговаривать при таком гуле тоже было невозможно, и все погрузились в довольно унылое молчание.

Молодой чернобровый инструктор лукаво подмигнул девушкам, чтоб не робели. Глаза у него были синие, как небо. Никто не улыбнулся ему в ответ. Тогда Марфенька, чтоб поднять настроение, стала изображать, как она боится. Мимика у нее была исключительная — девушки, не выдержав, рассмеялись. Инструктор Женя Казаков посмотрел на нее одобрительно. Ему нравилась эта смелая девочка, такая забавная и непосредственная. По его мнению, она была красивая. У нее такие правдивые черные глаза и совсем детские розовые губы.

«Все струхнули, а она нет. Разве ее первой пустить?.. — подумал он. — Даром что она всех моложе. Нет, как бы не обиделись».

Открылся люк кабины. По знаку Жени Казакова побледневшие девушки одна за другой проваливались в люк... Точно на сцене... Марфеньке представились кулисы оперного театра, где она не раз бывала, когда пела мама, и она невольно улыбнулась. Инструктор ласково коснулся ее плеча: ее очередь. Марфенька с отрешенным видом, все еще изображая испуг, шагнула в воздух. Падая, она напомнила себе: только не выдернуть кольцо раньше времени. Какой бы позор был, если бы она зацепилась за самолет!..

Земля внизу, разлинованная, как на плане, начала медленно вращаться — лишь тогда Марфенька изо всей силы потянула вытяжное кольцо. Кончик троса просвистел у самого уха. Она только подумала: «А вдруг не раскроется?» — как ее с силой встряхнуло, словно кто-то не любивший шутить взял ее, как шеночка, за шиворот и с угрозой потряс. В следующий момент она уже сидела нормально, как на качелях. Она поправила ножные обхваты, совсем уже спокойно привязала вытяжной трос и вздохнула легко и свободно. С восторгом она помахала рукой вслед удаляющемуся самолету.

В ослепительно голубом просторе, как огромные разноцветные медузы, плыли парашюты: то медленно опускались на землю девчата — все пять.

Прыжок начался по всем правилам, как учил синеглазый инструктор, но дальше произошло что-то невообразимое...

В то время как другие парашютистки плавно опускались на землю (одна, кажется, уже и приземлилась), парашют Марфеньки вдруг начал быстро возноситься вверх.

Все, кто с аэродрома наблюдал за прыжками, и оглянуться не успели, как один из шести парашютов поднялся за облака и скрылся из поля зрения. Когда приземлились остальные пять, выяснилось, что нет школьницы Оленевой. Инструктор Женя Казаков чуть волосы па себе не рвал. Это был необыкновенный случай в его практике. Одноклассницы Марфеньки потеряли дар речи.

Не ведая о поднявшемся переполохе, Оленева смирнехонько сидела на стропах, размышляя о странности своего прыжка. Сколько ни напрягала она память, но так и не могла вспомнить, чтоб когда-нибудь слышала или читала о парашюте, «падающем» вверх.

«Не могу же я не подчиняться закону тяготения, когда-нибудь потянет же меня вниз,— решила девушка.— Может, это ветер подхватил? Весу у меня, наверно, не хватает... Вот оно в чем дело». Ученица 9-го «Б» окончательно успокоилась.

Когда ее потом расспрашивали, что она чувствовала, оставшись одна в небе, Марфенька всем отвечала: любовалась тишиной.

После московского шума и грохота, оглушительного гудения моторов и напряженного ожидания прыжка какими удивительными показались ей эта тишина и покой!..

Огромные, сверкающие на солнце облака почти скрывали землю. Уходя в сторону, они в то же время стремительно опускались вниз, и Марфенька поняла, что продолжает быстро подниматься. Небо теперь стало непривычной ярчайшей голубизны, переходящей в лиловое, как на картинах Святослава Рериха, которые очень понравились Марфеньке яркостью красок. Она бы весь день ходила по выставке, если бы не столько народу и не мешали эти фотографы, которые то и дело щелкали своими фотоаппаратами. Здесь никто не мешал, и Марфенька наслаждалась.

— Пусть бы меня подольше носило! — сказала она вполголоса и, задрвав голову, доверчиво посмотрела на парашют: крепок и надежен, Казаков сам проверял его. Ей было так хорошо, что она вдруг от всей души пожалела маму, вынужденную дни и вечера (а утра она просыпала) проводить среди затхлых кулис. Там всегда так противно пахло, как в комиссионном магазине. И отца пожалела с его вечными чертежами, математическими расчетами, славою и честолюбием. Он очень ревниво относился к успеху других. Мама хоть от души радовалась каждому новому таланту: она не терпела в искусстве бездарностей.

Марфеньке вдруг показалось таким ужасным, что можно прожить всю жизнь и никогда не увидеть вот такого очищенного от земной пыли неба. И не узнать этой тишины, этого ощущения счастья. Ей хотелось петь, но она не решалась нарушить молчания высоты, в котором чудилось что-то торжественное и доброе.

«Я хочу каждый день так высоко летать в тишине,—
подумала Марфенька,— если бы это было возможно!»

Она долго внутренне молчала — ни одной мысли, только всем существом чувствовала свое единение с этим добрым.

Облака постепенно растаяли, растворились в синеве. Парашют все поднимался вверх.

Марфенька начала зябнуть. Комбинезон и шлем больше не защищали от холода. Огромный розовый парашют покрылся пушистым инеем и скоро оледенел.

«Так можно погибнуть»,— подумала Марфенька и стала энергично

встряхивать стропы. Льдинки посыпались, как град. Упадут на землю дождем — всего несколько прозрачных капелек из ясного неба.

Марфеньке вдруг вспомнилась река Ветлуга, ее отмели и песчаные желтые острова. Высокие обомшелые сосны, голубоватый можжевельник, пахучие белые грибы, которые они собирали с бабушкой Анютой. Так ее все звали в селе Рождественском, где Анна Капитоновна родилась и прожила всю жизнь. Как ее дочь ни приглашала в Москву (Оленевым не везло с домработницами: профессия дефицитная), она наотрез отказывалась. Она была льновод и любила свой лесной край и голубенькие цветочки льна. Она любила простор и тишину земли. Ей бы в голову не пришло подниматься на парашюте.

Марфенька вдруг устала от одиночества. Если бы с ней был хоть один человек! Неожиданно она всхлипнула, Все давно приземлились, а ее одну носит за облаками. Вот уж правду говорила домработница Катя, когда с досадой уверяла, что у Марфы все-то не как у людей.

Марфенька почувствовала, что ей трудно дышать. Ну конечно, она уже в стратосфере! Безо всякого кислородного прибора! Скоро она задохнется. Или замерзнет. Будет она, оледеневшая, носиться на розовом парашюте. Как в том проекте, над которым до слез смеялся папа. В их научно-исследовательский институт поступил проект, где предлагалось отправлять умерших в космос на специальных маленьких ракетах.

«Вот еще какая оказия!» — как говорила бабушка. Если с ней, Марфенькой, что случится, кто будет ее оплакивать? Мама любит только свое искусство, папа — науку (не столько науку, как свое положение в науке, уж она-то это знает!). Учителя скажут: «Как жаль! Способная была девочка. Мы же говорили, что ей еще рано летать». Подружки поплачут и забудут, как забыли Юльку, утонувшую в позапрошлом году в реке.

Там, на земле, был тихий августовский вечер, пахло скошенными травами и намолоченной пшеницей, в Москве-то, конечно, пахло больше бензином. Все же Москва была так прекрасна! Марфенька любила бродить по незнакомым улицам и переулкам (она чуть не подумала: при жизни любила бродить).

Теперь уже тишина не казалась ей доброй. Что-то бездушное и безжалостное было в этом беспредельном молчании. Оно угнетало. Марфенька сделала усилие и овладела собой. «Природа не имеет чувств, она же не человек,— подумала девушка.— Нечего ей и приписывать добро или зло». Марфенька с силой потрясла стропы — посыпался снег.

231

Солнце незаметно скрылось. Снизу надвигались сумерки. Вдруг Марфенька поняла, что она начала снижаться.

Оленева благополучно приземлилась в четырнадцати километрах от аэродрома, прямо на колхозном поле. Навстречу ей неслась с оглушительным воем санитарная машина. Первым, на ходу, выпрыгнул Казаков. Вот еще что они думают, у нее разрыв сердца? Или она приземлиться не умеет?

Об этом случае много говорили, а в журнале «Природа» появилась заметка, которая называлась: «К вопросу о восходящих потоках». Это восходящий поток нагретого воздуха поднял Марфеньку вверх и держал до самого вечера. Марфенька сделалась героем дня, но нисколько не гордилась. Такая уж она была простодушная. Многие даже считали ее простоватой.

Глава вторая

ОНА САМА СЕБЯ ВОСПИТАЛА

Марфеньке было точно известно: когда она родилась, ей никто не обрадовался — уж очень это было некстати. Маму только что пригласили в оперу, и ей надо было себя показать (до этого она была просто лучшей исполнительницей русских песен на эстраде); отец работал над диссертацией, и ему нужны были условия, чтоб получить степень кандидата наук. Его мать была настолько «эгоистична» (Марфенька этого не находит), что не пожелала бросить свою работу даже временно — она была заместителем редактора одного из толстых литературных журналов.

У всех знакомых дедушки и бабушки воспитывали детей, а Оленевым не везло: дедушек не было, а бабушка «сама хотела жить».

Пришлось отправить новорожденную на Ветлугу в село Рождественское. Бабушка Анюта тоже не соглашалась бросить работу, но в селе имелись ясли. И в Москве, разумеется, были ясли, но ведь надо время, чтоб носить ребенка туда и обратно. К тому же Марфенька была очень горластым младенцем и не давала спать по ночам (наука и искусство могли понести от этого большой урон).

Бабушка Анюта купила козу и выкормила Марфеньку ее молоком.

Когда через год Оленевы наконец выбрали время приехать посмотреть дочку, они застали ее одну в запертой избе. Изба была заперта не на замок, а просто щеколду перевязали веревочкой. Это был условный знак, что хозяев нет дома. Рождественское находилось за целых три района от железной дороги, в дремучем лесу, и воры туда не доезжали, а своих отродясь не было.

Разорвав в нетерпении веревочку, Евгений Петрович и Любовь Даниловна вошли в дом. Марфенька, чумазая, в грязной рубашонке, сидела на некрашеном полу — в яслях был карантин — и вместе с веселым пушистым щенком, благодарно помахивающим хвостом, ела из одной и той же глиняной плошки намоченный в молоке ржаной хлеб.

Кандидат наук был оскорблен в лучших своих родительских чувствах. Любовь Оленева смущена. Она не строила себе особых иллюзий насчет методов выращивания детей в родном Рождественском, но ей было неприятно, что это увидел муж.

Она прижала к груди отбивающуюся изо всех сил Марфеньку, но, сообразив что-то, быстро опустила ее на пол, сняла светлый, очень дорогой, при всей своей простоте, костюм и пошла искать во дворе бочку с водой: Марфеньку надо было прежде всего отмыть. Ведь отцу тоже, наверное, захочется ее поцеловать.

Когда дочь была отмыта (при этой неприятной процедуре Марфенька орала на всю деревню так, что птицы поднимались с берез и тоже беспокойно кричали) и тщательно вытерта мохнатым полотенцем, извлеченным из кожаного солидного чемодана, она оказалась весьма упитанной, живой, краснощекой «девицей».

Соседский мальчишка сбегал за бабушкой Анютой, и скоро на столе мурлыкал, как довольный кот, вычищенный до ослепительного блеска самовар — он был вроде домашнего божка и ему, при всей занятости бабушки Анюты, явно уделялось больше внимания, чем отпрыску фамилии Оленевых. Огромные, в ладонь, вареники с творогом, залитые пахучим топленым маслом, аппетитно дымились на покрытом домотканой льняной скатертью столе. Грибной суп разлили по огромным эмалированным мискам: обычные глубокие столовые

тарелки здесь употреблялись вместо мелких, под второе блюдо, а мелкие отсутствовали за ненадобностью. Лесная малина была подана прямо в плетеном лукошке, ее полагалось есть с молоком из погреба, таким холодным, что ломило зубы. Чай пили со сливками и сахаром вприкуску.



Начались чисто деревенские разговоры, из которых обнаружилось, что солистка одного из крупнейших в стране театров еще не забыла, как она бегала босиком на спевку и с кем дралась на улице. Закусив, Любовь Даниловна с наслаждением заменила модельные туфли на тапочки и, выбрав платье попроще, помчалась на ферму, где прежде работала.

Евгений Петрович, переодевшись в свежую пижаму, хотел понянчить дочку, но она так сопротивлялась, упорно не желая верить в его отцовство, что никакое умамливание конфетами и шоколадом не помогло.

— Какой-то дикаренок,— поморщился Евгений Петрович и с чувством облегчения передал дочь Анне Капитоновне, а та вернула ее товарищу игр — добродушному щенку.

— Почему бы вам не переехать к нам в Москву? — обратился Оленев к теще.— У нас теперь хорошая квартира на Котельнической набережной — это в самом центре. Какой смысл вам тяжело работать, жить в какой-то глуши, если ваша дочь стала известной артисткой и может вполне вас...

— Так ведь то дочь,— как-то даже удивилась Анна Капитоновна,— а я-то — льновод. Что льноводу в городе делать? Вот скоро поеду в Москву на совещание — тогда вас навещу.

Она произносила не «дочь», а «доць», не «зачем», а «зацем», «навесцу» — таков был местный выговор, и только теперь Оленев полностью оценил исполинскую работу, проделанную его женой над своей речью.

Как ни убеждал Оленев свою тещу, она никак не могла взять в толк, что для нее самое разумное — жить у дочери, воспитывать внуку и вести хозяйство.

— У некоторых настолько эгоистичны дети...— с расстановкой, баритоном пояснял Евгений Петрович,— не хотят принимать мать, несмотря на все ее слезы и просьбы. А мы, наоборот, приглашаем вас от всей души.

— Бывает...— неопределенно заметила Анна Капитоновна и стала выпрашивать ученого зятя, не знает ли он, отчего это не делают хороших льномолотилок.— Уж так рвет волокно, так рвет... Вручную куда сподручнее, ручной-то лен идет двенадцатым номером, а машиной — восьмым. Вон оно как!

Только ведь долго так теребить-то. Машиной быстрее, да больно уж окуделивает лен. Вот мы все и теребим на мялке, вручную...

Анна Капитоновна вскочила с живостью (была она высокая, худая, ловкая, с большими лучистыми серыми глазами на коричневом от северного солнца лице), принесла из чулана старую, отполированную временем трехвальную мялку — три доски, сверху желобок.

— От покойницы бабушки в наследство мялка досталась,— певуче пояснила она,— пятьсот семьдесят килограммов осенью на ней намяла. Двенадцатым номером пошла... А с машины восьмым. Вот ведь грех какой!

Евгений Петрович хотел сказать, что он физик и механизация сельского хозяйства не в его компетенции, но, взглянув в доверчивые лучистые глаза на обожженном зноем лице, стал внимательно разглядывать бабушкину мялку.

— Значит, на мялке качество лучше? — переспросил он и обещал поговорить, где нужно.

Впоследствии Оленев сдержал обещание: проблема льнотеребилки вошла в план работы научно-исследовательского института льноводства.

Приехали супруги на неделю, но Евгений Петрович не пожелал остаться больше двух дней: в избе не было никаких удобств, по всему Рождественскому скакали блохи, к тому же его ожидала путевка в Сочи.

Марфеньку забрали с собой и передали другой бабушке — Марфе Ефимовне: у нее как раз начался отпуск. К концу отпуска подыскали няньку — рыжую кареглазую девушку, приехавшую из какого-то колхоза Саратовской области. Но она скоро перешла работать на часовой завод.

Оленевы в эту зиму были заняты как никогда; друг с другом-то редко виделись, где уж тут до ребенка. Ложась поздно, они любили поспать утром подольше, а Марфенька, выросшая на деревенской закваске, поднималась ни свет ни заря и принималась каждый раз заново открывать для себя квартиру, как некую таинственную, неизвестную страну. Пришлось попросить соседку отвезти Марфеньку к бабушке Анюте. И отец и мать вздохнули с облегчением, когда беспокойного младенца увезли на Ветлугу.

На этот раз про Марфеньку забыли надолго. А потом началась война. Любовь Даниловна разъезжала с агитбригадой по фронтам и с таким чувством исполняла «До тебя мне дойти не легко, а до смерти четыре шага», что растревоженные и умиленные бойцы на руках относили ее до машины. Именно в годы Отечественной войны пришла к Любове Даниловне действительно всенародная слава.

Евгений Петрович выехал вместе со своим институтом в Сибирь и все военные годы провел в лаборатории, не услышав ни одного выстрела. После победы институт возвратился в Москву, и все потекло по-прежнему.

Огромный всепоглощающий труд, а вокруг него бесконечные заседания, совещания, чествования, порой личные счеты, зависть. Ученые бывают двух типов: одних интересует только наука, то, что они могут дать людям, а других — еще и научная карьера. Марфенькин отец принадлежал к числу последних. И он в своей карьере преуспел, может быть, чуточку больше, чем в науке, — опасное положение, чреватое скептицизмом: когда у человека есть основания не уважать себя, он почему-то перестает уважать других.

Трудно сказать, когда бы Оленевы вспомнили о дочери, вспомнили бы, конечно, когда-нибудь, но тут печальное событие помогло. Пришла телеграмма, что бабушка Анюта умерла. Евгений Петрович был в командировке. Любовь Даниловна только что возвратилась с гастролей, у нее были свои планы, но

пришлось ехать в Рождественское. Телеграмма, которую она нашла в ворохе почты, была шестинедельной давности — мать, разумеется, давно схоронили.

Марфенька оказалась высокой, крепкой, словно сбитой, деревенской девчонкой двенадцати лет в красном с белыми крапинками хлопчатобумажном платочке, резиновых синих тапочках, в шпательном платье с напуском. Любовь Даниловна узнала этот фасон: такие точно платья шила и ей когда-то мать. Отличные детские туалеты, которые «любящие» родители слали в посылках (домработнице Кате, той самой, что жила в их доме и когда-то отвезла Марфеньку, выдавались для этого специальные суммы), лежали аккуратно сложенные в большом окованном железом сундуке — сундук принадлежал той же прабабушке, что и трехвальная мялка. Бабушка Аня не в силах была пустить девчонку на улицу или на речку в этаких дорогих нарядах, так они и пролежали в сундуке все эти годы.

В избе царил и порядок, и чистота, некрашенные полы (бог весть, почему их до сих пор не покрасили) сверкали естественной желтизной.

— Отчего умерла мама? — спросила Любовь Даниловна после первых объятий и поцелуев, более традиционных, нежели сердечных.

Великая артистка, так чудесно изображающая на сцене материнское чувство (когда она пела, зрительный зал просто сырел от слез публики), с некоторым стыдом обнаружила, что она не испытывает никакого приличествующего случаю волнения. Опухшая, подурневшая от слез Марфенька поразила и расстроила Любовь Даниловну. «И в кого это она уродилась такая некрасивая?» — подумала она.

Мать и дочь сидели за столом, на котором кипел все тот же хорошо начищенный самовар — это уже Марфенька его чистила. Только не было такого изобилия блюд, как в прошлый приезд при жизни бабушки.

Всхлипывая, Марфенька рассказала, как умерла бабушка. Утром она, как всегда, вышла на работу, но вскоре почувствовала себя плохо и вернулась домой, по пути еще зашла в правление колхоза: как всегда, у нее были неотложные дела. К вечеру ей стало хуже, и Марфенька сбегала за врачом.

Врач нашел, что нужно немедленно в больницу, и отправился добиваться машины, заметно встревоженный.

— Подойди ко мне, Марфа, — позвала Анна Капитоновна.

Марфенька подошла и, обняв бабушку, расплакалась.

— Подожди... не реви, потом... Послушай, что я тебе скажу... — через силу начала умирающая, с любовью глядя на внуку. — Прости, если когда тебя недоглядывала... по занятости это, а может, по невежеству... Теперь твои родители заберут тебя в Москву... Они у тебя эгоисты, только сами себя понимают... Любке-то и слава, конечно, в голову ударила. Ты это знай заранее и не расстраивайся. Поняла? Одной тебе не выдержать... Ты к людям сердцем прилепляйся... Хороших людей много. Слабого человека встретишь — помоги ему, сильного — на его силу не надейся, своей обходись. Корни у тебя крепкие — выдюжишь... Сдается мне, жизнь у тебя нелегкая будет... Но ты не бойся... Живи по правде, как тебе совесть подсказывает, и весь сказ. Своим умом живи, слышишь?

Рано я помираю... А кто не рано помирает... Не реви — потом нареवेशься. Не одна ты по мне поплачешь... Чай, и в деревне бабы поголосят. Без этого нельзя. От дочери не жду. На гастроли эти самые укатила... К похоронам не успеет. Учись хорошо. В нынешнее время без этого нельзя. Эх, кабы я ученая была! Вот бы дел натворила... Замуж выйдешь — работу не бросай. В работе весьскус

жизни...

Таково было нехитрое напутствие бабушки Анюты. В ту же ночь она скончалась в районной больнице: сердце устало работать. Правду она сказала: здорово голосили о ней женщины. Хоть строгая, но душевная была бабушка.

Передавая матери слова умирающей, Марфенька кое-что сократила, особенно в той части, где говорилось об эгоизме родителей. Ей эти слова были не внове. Колхозники часто при ней говаривали: «Родители-то совсем забросили девчонку, деньгами отделиваются. На, бабушка, расти! Эдакие эгоисты. И зачем только такие родят?»

Продав дом матери и выступив в районном Доме культуры (для земляков), Любовь Даниловна поспешила вернуться самолетом в Москву: там ее с нетерпением ждали. Очень не ко времени была и эта смерть, и снова свалившаяся на руки дочь...

Сразу по приезде, чуть ли не в тот же день, она определила Марфеньку в пионерский лагерь, так что та и познакомиться-то как следует с матерью не успела.

В конце августа Любовь Даниловна заехала за дочерью на такси. Она нашла, что Марфенька поправилась и даже похорошела. А Марфенька про себя подумала, что мама подурнела и похудела, и взгляд у нее какой-то странный.

До дому доехали молча, Марфенька с притворным интересом смотрела на московские улицы. На самом деле она ничего не видела. Сердце ее стучало.

На лестнице их встретила с явно напускной радостью Катя — маленькая полная круглолицая женщина с круглыми бусами из пластмассы на пухлой белой шее. Артистка быстро спровадила ее на кухню.

— Мне надо с тобой поговорить, пройдем сюда...— сказала она дочери и, подумав, провела ее в приготовленную для нее лучшую комнату... ту, что занимала до того сама Любовь Даниловна.— Вот здесь ты будешь жить. Я дарю тебе эту комнату.. И вся эта мебель тоже твоя... В школу ты уже устроена... в шестой класс. Теперь сядем и поговорим.

Они присели на стульях у маленького лакированного письменного столика.

Марфенька, еще ничего не понимая, но чувствуя недоброе, с волнением смотрела на «великую артистку», и ей как-то не верилось, что это ее мать.

«До чего она все же красивая! — с восхищением думала Марфенька.— Какое у нее прекрасное платье... Какая у нее белая-белая кожа, и нежные-нежные руки с розовыми ноготками, и такие красивые волосы... А как она поет!.. Только зачем же она отдает мне свою комнату? Может, она все-таки любит меня?»

— Мама,— сказала Марфенька, не отрывая преданного взгляда от матери,— мне совсем не нужно отдельной комнаты, я и в столовой могу спать. Где положите, там и буду. А когда папа придет?

— Ты уже большая и можешь понять...— как-то строго начала Любовь Даниловна.— Дело в том... Я ухожу от Евгения Петровича.

Марфенька смотрела, не понимая.

— Мы разводимся,— с легким раздражением пояснила мать.— Я уже ушла. Как видишь, я ничего не взяла, кроме своего рояля, книг и платьев. Это все пойдет тебе. Думаю, что тебе лучше жить у отца... потому что здесь Катя. Она работает через день. Один день у писателя...— она назвала известное даже Марфеньке имя,— а день у нас. Я опять осталась без домработницы. Правда, у Виктора Алексеевича живет какая-то дальняя родственница, но, кажется, придется с нею расстаться. Виктор Алексеевич — это мой муж. Необыкновенно талантливый молодой режиссер. Почему ты плачешь? Хочешь жить у меня? Это

твое право, но... тебе будет здесь лучше, уверяю. У папы ты будешь полная хозяйка. Евгений Петрович как будто не собирается жениться.

Марфенька плакала, уткнувшись горячим лицом в жесткую обивку стула, стыдясь своих слез. Она сама не знала, почему она плачет. Она почти не знала мать, еще не видела отца, он придет только вечером, но ей было очень горько.

Любовь Даниловна почувствовала клубок в горле, ей вдруг захотелось по-бабьи, сердечно приласкать дочку в ее первой обиде и одиночестве, но она овладела собой. Момент был явно неподходящий: еще попросит взять с собой. Сейчас это было неудобно. Новый муж был на одиннадцать лет моложе, до смешного влюблен в нее, и у них был медовый месяц, говоря по-старомодному. Хорошо еще, что Евгений понял ее и пошел навстречу, согласившись взять дочь.

— Не плачь,— только и сказала она.—Я не могу больше жить с твоим отцом. Конечно, он любит меня... Никогда ни одну женщину он не любил так, как он любит меня. Но себя он любит гораздо больше. Твой отец безусловно порядочный человек. Но мне с ним всегда было тяжело. То, что он требовал от меня, как от жены, могла дать ему любая простая добрая женщина, но у меня не было на это времени. Я не могла следить за тем, пообедал ли он и свежая ли у него рубашка. Мне некогда было пришивать ему пуговицы... Они у него почему-то всегда отрываются. Советую тебе взять это на себя, и он к тебе привяжется. Ну, насколько может... Ты не представляешь, Марфа, как я работала всю жизнь. Это каторжный труд. Что мне дала сельская школа? Почти ничего. Кроме природных данных—голоса, ничего у меня не было. Теперь, когда я смотрю с вершины, у меня дух захватывает: какой я прошла путь! Я работала по шестнадцати часов в сутки. У меня не было часа, чтоб просто поваляться на кровати, отдохнуть. Принимая ванну, я повторяла французские глаголы. Артисту надо знать языки. Надо быть высокообразованным человеком. Иначе не будет тонкости, культуры в его игре. Многие ли из артистов оперы умеют играть? Они просто поют. А я играю. Меня не раз звали в драматический театр. Теперь приглашают сниматься в кино. Журналы просят меня написать статью об искусстве, зная, что я им не откажу, и это будут действительно мысли об искусстве, а не набор трескучих фраз. На все это надо время и труд, труд, труд. Меня просто не могло хватить на все, понимаешь? Постарайся понять меня и не обижайся, что я как будто забыла тебя в деревне. Я тоже выросла в Рождественском. Меня тоже воспитала бабушка Анюта. И я, как видишь, стала заслуженной артисткой. О, нелегко мне досталось это высокое звание! Но я всегда умела работать... Это у меня от матери.

Ну и вот... а Евгений Петрович все эти годы хронически на меня дулся за то, что я уделяю ему мало времени. Он был холоден, сдержан, обижен. Я не могу выносить, когда на меня дуются! На меня нападает тоска, это мешает работе. Иногда ночью — это было давно, в первые годы,— я начинала плакать, он слышал, но никогда не подходил, чтоб утешить, успокоить. Кажется, это приносило ему хоть некоторое удовлетворение. Найдя мое уязвимое место, он нашел способ мести, которым и пользовался до последнего дня. У меня была любимая работа — мое искусство, которое принесло мне славу, почти мировую, но у меня никогда не было личного счастья. У него, конечно, тоже не было... Последнее время мы дошли до открытой неприязни.

С Виктором все не так. Он любит во мне артистку, уважает мой труд. И... ничего не требует для себя. Женщине так необходимо, чтоб ее любили. Каждому человеку, вероятно...

Ты... приласкай отца... Он... ему будет сейчас одиноко. Он уязвлен в своем тщеславии. До сих пор не решился сказать об этом на работе. Стесняется. Мне

жаль его, признаться. Но я больше не могу. Мне нужно хоть немножко счастья. Отогреться. Мы плохо жили... Каждый думал только о себе. Ну вот...

Ты, Марфа, кажется, умна. Это хорошо. Будешь меня навещать. Вот мой телефон... Смотри, я записываю здесь.— И Любовь Даниловна сама записала номер своего нового телефона на паспорту одной из гравюр.— А это тебе приготовили одежду. Переоденься при мне. Хочу взглянуть, идет ли тебе.— Она указала на многочисленные свертки, сваленные прямо на постель.

Марфенька со стесненным сердцем послушно встала и переоделась.

— Тебе идет клетчатое,— заметила Любовь Даниловна и, раскрыв замшевую сумочку, вынула из нее маленький футлярчик.

— А это тебе мой подарок.. Правда, хороший?

Это были золотые часики квадратной формы, но чуть округленные по углам.

Марфенька невольно вскрикнула от восторга.

— Очень рада, что тебе нравится. До свидания! А у тебя прелестные черные глаза! При русых волосах... Красивое сочетание. Ты уж не такая дурнушка.

Поцеловав несколько раз дочь, более горячо, чем при встрече, она ушла навсегда.

Марфенька пошла в ванную комнату и, вздыхая, умылась холодной водой: не хотелось ей, чтоб чужая женщина, эта Катя, видела ее слезы.

До прихода отца она просидела на кончике стула, чувствуя себя неловко, как в чужом доме в ожидании хозяев. Часики она положила на подушку.

Марфенька думала о родителях. Она отлично поняла все, что ей говорила Любовь Даниловна.

В Рождественском тоже была такая в точности история с их соседями. Кузьма был колхозником, он обычно на лошадях работал, а его жена Прасковья Никифоровна — бригадир полеводческой бригады. У них без конца шли семейные неприятности. Кто их только не мирил! Даже секретарь райкома приезжал мирить.

— Я муж или нет? — орал на всю деревню Кузьма.— Должна она за мной уход иметь или не должна? Цельный день в поле, некому щей подать из печи, в погреб слазить! Скоро корову за нее доить придется! Села в машину и укатила в район на совещание. Какое может быть совещание, ежели муж ожидает? Что мне, самому детей спать укладывать? Активистка!..

В простоте души Марфенька объединила оба случая в одно.

В шесть часов она встала, причесалась перед зеркалом на оклеенной полосатыми обоями стене и впервые внимательно осмотрела комнату: она показалась ей просто роскошной и потому неласковой и неудобной, чужой. Раздался звонок, такой резкий, что Марфенька вздрогнула. Отперла Катя.

— Ребенок уже здесь? — услышала она звучный мужской голос.

Навстречу ей шел высокий пожилой мужчина с седыми висками, в сером костюме и серых туфлях. Черные, как и у Марфеньки, глаза были колючие и насмешливые. Узкое, нервное, смуглое лицо показалось ей очень красивым, но недобрим.

Евгений Петрович с удивлением смотрел на дочь. Он не ожидал, что Марфенька окажется такой взрослой. Он вдруг вспомнил, что не купил ей никакого подарка, и сконфузился. Они — не без неловкости — обнялись и поцеловались.

— Обед подавать? — спросила Катя.

— Через четверть часика. Гм! Я сейчас, Марфа, только на минуту спущусь вниз.—И, улыбнувшись дочери, он поспешно вышел. В их доме внизу был

ювелирный магазин.

Вернулся Евгений Петрович точно с такими же золотыми часиками, какие ей подарила мать, и галантно вручил дочери подарок.

Марфенька растерянно посмотрела на часы, густо покраснела и, старательно выговаривая слова, поблагодарила отца.

— Надень часы-то,— сказала Катя, проходя мимо с блюдом жареных котлет.

Марфенька послушно надела их на руку. Часы уже были заведены и тикали тихонько и ровно, не то что ее сердце, стучавшее беспокойно и гулко.

После сытного и вкусного обеда (Катя особенно старалась все эти дни, когда выехала Любовь Даниловна, которую она недолго любила) отец прошел в свою комнату и скоро позвал дочь.

— Садись,— показал он на глубокое кресло.

Марфенька присела на кончик, попыталась сесть глубже и чуть не упала назад. Тогда она уцепилась заручки и опять сползла на край. Евгений Петрович закурил сигарету, лицо его выражало утомление и досаду.

— Любовь Даниловна была здесь? — спросил он и поморщился, словно прищемил палец.

— Да, мама привезла меня сюда.

— Ага.— Отец помолчал немного, рассматривая дочь.

— Она тебе говорила?

— Да, говорила...

— Ну что же... Будешь жить у меня. Тебя давно бы следовало забрать. Если бы твоя мать хоть немного думала о своей семье... Но она, кроме своей работы в театре, ни о чем не желает думать. Не завидую... этому... ее теперешнему мужу. Да-да-а... Как же ты жила там, на Ветлуге?

— Хорошо жила.

— Гм. Ну ладно, хозяйничай в квартире. Хорошо, что ты уже большая. Эта Катя хитрая, присматривать за ней надо. Рвач порядочный, жадная. Шестьсот рублей у нас получает, да шестьсот у этого писателя... как его... известный... Я никогда, впрочем, не читал. И уже подговаривается о прибавке. Хочет зарплату научного работника получать. Ну, иди отдыхай. Что?

Марфенька нерешительно приблизилась, чтоб поцеловать отца. Он понял и подставил ей щеку.

В своей большой отдельной комнате Марфенька сняла отцовы часы с руки, вынула те, вторые — мамины — из-под подушки, сличила их и горько-прегорько заплакала: часы были совсем одинаковые — точь-в-точь.

Очень неудачно получилось со школой. Там, на Ветлуге, все от души любили ее — и учителя, и ребята. И Марфенька любила всех. Была она добрый товарищ, не отлынивала ни от какой работы ни в поле, ни на ферме, она была всех начитаннее и развитее, а если когда и «схватывала» двойку, никто не удивлялся, не порицал: подумаешь, сегодня двойка, завтра пятерка!

В Москве все сложилось иначе.

Марфенька не знала самых простых вещей: никогда не слышала о театре Образцова, спотыкалась на эскалаторе метро, не интересовалась шахматными турнирами и модными пластинками. Марфенька никогда не подозревала, что она самолюбива. Поняла лишь, когда в классе раздался смешок над ее выговором. Увы, злосчастное «ц» вместо «ч» проникло и в речь Марфеньки, и первое же ее появление у доски надолго развеселило класс. Хуже всего, что неопытная

учительница, только в прошлом году закончившая МГУ, тоже не сумела сдержать улыбки.

Может быть, если бы Марфенька признала свое невежество, ребята отнеслись бы к ней покровительственно и даже помогли бы ей скорее освоиться. Но Марфа Оленева, в свою очередь, нашла одноклассников слишком ребячливыми и недалекими, и она отнюдь не скрывала, что попросту не уважает их. Марфенька умела многое такое, чего не умели они. Она умела за пять минут запрячь лошадь и править ею. Она переходила вброд Ветлугу, не боясь сыпучих песков и водоворотов, она могла залезть на самое высокое дерево и часами наблюдать качающийся и шумящий лес, проплывающие совсем близко облака. Она знала по названиям растения, умела отличить семена и уж во всяком случае не смешала бы коноплянку с жаворонком, как некоторые из этих высокомерных девчонок и мальчишек. Умела выдоить корову, подойти и напоить бугая и многое-многое другое.

Чуть ли не в первые дни учебы Марфенька стала свидетелем такого разговора двух девятиклассников. Юноша и девушка дружно сидели рядом на подоконнике и, не обращая внимания на прислушивающуюся к разговору шестиклассницу, жаловались друг другу на своих... родителей...

— Мы еще можем успеть сегодня после кружка на «Вдали от Родины», — сказал рослый, видный собою школьник. — Начало сеанса в девять тридцать... Правда, дома станут ныть, но плевать!

— Ничего не выйдет! — раздраженно отозвалась девушка. — Ты знаешь, Додик, мама с десяти часов вечера стоит на улице и выглядывает: не иду ли я... Просто всякое настроение портит. Возмутительно.

— А моя тоже не ложится спать, ходит, как маятник, по комнате и каждую минуту смотрит на часы. А потом начинает звонить по всем знакомым. Просто срам!..

— Знаешь, Додик, как я только прихожу, заставляет меня есть.

— О! Да-а! — от всей души посочувствовал Додик. — А ты скажи, будто была в кафе и наелась.

— Но мне не разрешают ходить в кафе...

Марфенька, всегда отличавшаяся завидным аппетитом, с пренебрежением оглядела великовозрастные жертвы родительской любви и грустно пошла в класс. Она живо представила, как мать стоит каждый вечер у крыльца и ждет с тревогой и нетерпением дочку. Подумать только — каждый вечер ждет эту противную белобрысую пигалицу. Так ее любит!.. Никто никогда не ждал Марфеньку у ворот. Ее часто забывали покормить. И она сама, бывало, найдет хлеб, отрежет ломоть, густо посолит и съест, запивая вкусной колодезной водой. А этих чуть не на коленях, наверное, уговаривают поесть. Небось не дали бы им денька два обеда, так сами бы попросили. Да работать бы их заставить! Они лодыри, за них все делают их папы и мамы или домработницы. Ух, какие дураки и притворы! И что за имя — Додик? Как все равно кот или собака. Как же его на самом деле звать? Наверное, Данила.

За весь год Марфенька не сдружилась ни с кем из одноклассников. Обиженная их насмешками, она преувеличила свои недостатки и не заметила достоинств.

«Знать их не хочу, буду учиться лучше всех, пусть тогда смеются», — решила девочка. В дневнике Оленевой все чаще стали появляться пятерки.

«Ей отец помогает!» — говорили в классе. Марфенька была возмущена: отец за весь год не сказал ей и ста слов. Никто ей никогда ни в чем не помогал — она сама!

Одиночество терзало ее. Если бы у нее была подруга— настоящая, верная, добрая, умная подруга! Или... такие родители, как у всех. Никакие не великие, не известные, не эгоисты... Зачем ей двое одинаковых золотых часов? Пусть бы отец вместо часов купил два билета в этот самый образцовый кукольный театр. Они бы пошли вдвоем в его выходной день. Или вместе поехали бы катером по Москве-реке. Другие родители ведь ездят со своими детьми, а они тоже работают. Все работают, но вот стоят у ворот и ждут, беспокоясь, если дочь задержится где-то.

Но у мамы — театр и молодой муж, у отца — наука и всякая суета, телефонные звонки. Это было очень странно: есть отец и мать, оба живы, и все равно что их нет. А эта Катя... Она нехорошая, она... воровка. Марфенька видела своими глазами, как она утащила из ящика шифоньера белую скатерть, уж не говоря о том, что она каждый день таскала продукты. Марфенька только из чувства справедливости не сказала ничего отцу: у них много, а у Кати мало. Отец-то сроду не догадается поделиться. Надоумливать его бесполезно — он скажет: «Ей мало? Ей надо зарплату научного работника?»

Катя была еще и подхалимкой: она так заискивала перед отцом, а потом судачила о нем с соседями. Хорошо, что она приходит через день и не ночует у них.

Никого нет у Марфеньки на всем белом свете, совсем она одна! Первый год в Москве оказался для нее самым тяжелым. Лето она провела в Артеке, а осенью как-то постепенно все наладилось. Если и не было особенно тесной дружбы с ребятами, как на Ветлуге, то уж не было и отчуждения.

У педагогов Оленева была на очень хорошем счету — отличница. Особенно восхищался ею математик: «Прирожденные математические способности! А какое чувство логики...» Преподаватель физкультуры говорил: «Самая ловкая. Молодец!» А вот характеристика Марфы из дневника классной руководительницы, той, что окончила МГУ в прошлом году:

Марфа Оленева, 13 лет, дочь научного работника (родители разведены). Девочка воспитывалась в деревне.

Учится отлично, прилежна, старательна, но неразвита. Выделяется только на уроках математики и физкультуры. Абсолютно бесстрашна, видимо, не хватает воображения. Правда, но очень скрытна. Дисциплинированна, даже послушна, но послушание какое-то внешнее, снисходительное, чувствуется, что она осталась при своем мнении, но не находит нужным возражать. Боюсь, что она в глубине души не признает никаких авторитетов. При всей ее видимой дисциплине очень трудный ребенок. Уже есть воля. Будет очень волевым человеком. Все ее считают скромной: не заносится своими родителями, как некоторые другие ребята. Подозреваю, что это не от скромности, а оттого, что она в глубине души несколько не уважает родителей. Кажется, она бабушку-колхозницу больше и любила, и уважала.

Не любит спорить, свои мнения высказывает довольно редко. Скорее молчалива.

Таких детей очень трудно воспитывать.

Заведующая учебной частью этой образцовой школы, добродушная пожилая учительница, ознакомившись с характеристикой, категорически с ней не согласилась:

— Какая же Оленева «трудная»? Отлично учится, дисциплинированна, добрый товарищ, вежливая, воспитанная, всегда весела и довольна. И несколько не

скрытная — вся тут!

Когда Евгений Петрович вздумал однажды заехать в школу, ему пришлось разговаривать как раз с завучем, и та высказала самое лестное мнение о Марфе.

Ученый был очень доволен.

— Весьма воспитанная девочка, — повторила заведующая учебной частью, провожая академика до двери учительской, — сразу чувствуется семья.

— Гм! Воспитанная... Кажется, она сама себя воспитала, — пробормотал Оленев, садясь в такси. Он был приятно удивлен и польщен.

Глава третья

НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ ЖИВЕТ ЯША ЕФРЕМОВ

По московским улицам свистит ветер. Падает мокрый снег, не поманивает сегодня бродить по городу. Дома никого нет: отец на заседании в институте, Катя ушла к себе, поставив в холодильник ужин. Уроки все приготовлены.

Марфенька входит в кабинет отца. Там очень много книг — стеллажи до самого потолка, особенно ценные книги в застекленных полированных шкафах. К счастью, ключ торчит в дверце. Марфенька зябко поеживается и бежит за пуховым платком — это еще свой платок, домашний, из деревни. Фрамуга в кабинете круглые сутки открыта настежь: отец любит свежий воздух.

Какое удовольствие рыться в книгах! Сколько интересного собрано на этих полках! Здесь и Гайдар, и Александр Грин, и Беляев, и Паустовский, и Каверин. Есть и переводная литература: Конан-Дойль, Уэллс, Диккенс, Гарди, Джек Лондон, Брет-Гарт. Есть и очень скучные сочинения — тогда Марфенька решительно захлопывает книгу. Зачем читать, если она неинтересна? Тогда лучше разыскать что-нибудь научное, например «Очерки о Вселенной» Воронцова-Вельяминова или толстенный том Брема о животных. Однажды в поисках интересной научной книги Марфенька открыла шкаф, где лежали бесконечная энциклопедия и всякие толстые тома с формулами — иногда, впрочем, в них встречались занимательные картинки. Вот одна, например, толстенная, называется «Физика моря». На иллюстрациях море во всех видах: каменистые берега, песчаные берега, всякие волны, а потом разные приборы. Марфенька с интересом листает книгу, черные глаза ее блестят от удовольствия: она полюбила море, когда была в Артеке. Но читать здесь нечего. Она снова роется в шкафу. А вот книга какого-то Оленева... Тоже Оленева? Е. Оленев. Неужели автор — ее отец? Марфенька с вдруг забившимся сердцем заглядывает на последнюю страницу: Евгений Петрович Оленев. Значит, это папин труд. Она вслух прочла название: «Каспийское море в четвертичный период». Порывшись, Марфенька извлекла еще несколько сочинений отца:

«Лик Каспия», «Взгляд в будущее», «Каспийская проблема», «К вопросу о долгосрочных прогнозах».

Марфенька утащила все эти сокровища в свою комнату: там было тепло и уютно. Усевшись с ногами на диван, она стала с жадным интересом листать страницы. Конечно, она почти ничего не понимала: слишком сух и специфичен был язык этих книг. Все же отдельные места ей оказались понятными. Она читала, пока не заснула.

Возвратившийся Евгений Петрович, отперев, как всегда, дверь своим ключом, нашел во всех комнатах свет — он был бережлив и не любил этого — и крепко спящую посреди его книг Марфеньку. Он довольно долго смотрел на дочь. В ней было что-то от бабушки Анюты, может быть, цельность и суровая независимость. Черные глаза, овал лица, крупный и упрямый рот были от его матери. Но не было в ней ничего от красоты Любви Даниловны или тонкого обаяния, присущего самому Оленеву. Совершенно неинтеллигентное лицо.

Подумав, он разбудил Марфеньку:

— Раздевайся и ложись как следует, уже поздно.

Он знал, что сегодня Катя ушла рано (она отпрашивалась), но не догадался спросить, ела ли дочь. Сам он поужинал вместе с ученым секретарем, холостяком, в ресторане.

Ночью он плохо спал. Снотворного принимать не хотелось, и он вспомнил о том, что дочь не ужинала, ему стало неловко, но он успокоил себя: такая, как Марфенька, голодной не останется. На редкость самостоятельная!

Перед уходом на работу он зашел к дочери с типографскими оттисками в руках.

— Если тебя интересуют мои труды... можешь вот просмотреть. Это оттиски моей новой книги. Вполне популярно, рассчитано на массового читателя. Скоро выйдет из печати.

Он неловко поцеловал Марфеньку и вышел. На другой день Евгений Петрович поинтересовался, прочла ли она: оттиски уже лежали на его столе.

— Да, прочла. Очень интересно. Папа, ты бывал на Каспийском море?

Разговор происходил за ужином. Марфенька забыла о стынущей котлетке и Смотрела на отца широко открытыми глазами. Радужная оболочка их почти сливалась со зрачком, и потому глаза были похожи на две крупные черные вишни.

Оленев невольно улыбнулся.

— В юности много пришлось поездить... Принимал участие в ряде экспедиций. Это было еще до твоего рождения. И теперь иногда приходится выезжать. В позапрошлом году был в Баку.

«Я бы всю жизнь ездила!» — подумала Марфенька.

Постепенно отец и дочь несколько сблизились. В отсутствие Кати Марфенька поила его чаем, готовила несложный ужин. Евгению Петровичу особенно понравились бараньи биточки в приготовлении Марфеньки, и он иногда, даже в присутствии Кати, просил ее пожарить их. Довольная Марфенька повязывала густые русые косы платочком, чтоб не упал волос, старательно отбивала куски мяса и, обваляв их в сухариках, жарила биточки в кипящем масле.

У матери ей доводилось бывать редко, и Марфенька как-то стеснялась ее. Отчима (при живом-то отце!) Марфенька встретила с предубеждением и неприязнью, но выдержать такого тона не сумела. Уж очень забавным и добрым оказался этот человек. Виктор Алексеевич сразу нашел, что у Марфеньки «необычайно богатая мимика», и при каждой встрече заставлял ее разыгрывать небольшие сценки, что очень занимало ее. С ним было легко и весело.

Однажды, когда Виктор Алексеевич чуть не в десятый раз заставлял Марфеньку представить, что она заблудилась в лесу и боится волка («не так спокойно, ведь вечер надвигается, волк может выйти из-за каждого деревца!»), в комнату вошла с письмом в руке Любовь Даниловна.

— Удивительно милое и бесцеремонное письмо, — сказала она смеясь. — Какой-то мальчик с Каспийского моря из поселка Бурунного умоляет прислать

его старшей сестре... платье.

Она рассмеялась своим мелодичным, знакомым многим смехом.

— Прилагает тысячу пятьсот рублей. Вот перевод, представьте.

— Ой, мамочка, дай прочесть!

— Интересно! Дай-ка сюда письмо. Письмо было прочитано вслух. Вот его текст:

«Дорогая Любовь Даниловна! Только сейчас передавали по радио Ваш концерт. Это так прекрасно — Ваш голос и как Вы поете! Я всего лишь школьник Яша Ефремов из рабочего поселка Бурунного на Каспийском море и не очень-то разбираюсь в музыке. Но я был так потрясен, словно умер и снова родился.

Перед этим я сидел на своей койке в домике участкового надсмотрщика (мой отец — линейщик на важнейшей телефонно-телеграфной линии связи) и слушал, как свистит ветер над пустынными дюнами. Все эти годы, пока отец не женился, мы жили на заброшенном маяке, который временно отдали линейно-техническому узлу.

Каспий мелеет и уходит, и вот маяк остался один в дюнах, и некому ему светить. Люди, которые сумеют вернуть море и зажечь свет на маяке, сделают величайшее дело на земле. Так сказал Филипп Мальшет, океанолог, который жил у нас на маяке целое лето. Уезжая, он подарил мне лоцию Каспийского моря, и это ко многому обязывает человека. Моя старшая сестра Лиза тоже будет океанологом. Я еще не знаю, кем я буду, но знаю одно: мы с Лизонькой всю жизнь посвятим тому, чтобы вернуть море. Маяк снова должен светить людям. Это — цель моей жизни.

А еще у меня есть одно очень крепкое желание. И над ним я ломаю голову вот уже две недели. Я первый раз в жизни заработал деньги. А у Лизоньки еще никогда не было красивого платья (женщины придают этому большое значение).

Мне просто необходимо подарить ей платье. Оно должно быть белое и воздушное, такое, чтоб девушка, надев его, поверила вдруг, что все мечты, даже самые несбыточные, непременно сбудутся.

Но где я могу достать такое платье? Ни в Астрахани, ни в Гурьеве их нет, я узнавал. И вот я осмелился обратиться к Вам с огромной просьбой: пожалуйста, достаньте для Лизоньки такое платье. Ее рост — сто шестьдесят сантиметров, она тоненькая.

Мне некого попросить, и я подумал, что у великой артистки должно быть великое сердце.

Простите за такое беспокойство, но я просто должен подарить Лизоньке такое платье, у меня это из головы не выходит.

Заранее Вам благодарен, деньги перевожу вместе с письмом.

Ваш Яша Ефремов».

— Видели вы что-либо подобное? — от всей души рассмеялась Любовь Даниловна.

— Ой, мама!.. Подари мне это письмо! Ну, мамочка! — взмолилась Марфенька.

— Пожалуйста! — Любовь Даниловна небрежно протянула письмо, и в жизнь Марфеньки вошел Яша Ефремов.

— Что-то в нем есть, в этом Яше, удивительно хорошее... — задумчиво сказал режиссер. — Добрый он малый, хороший брат. Мне кажется, он талантлив. Когда ты думаешь послать платье? — обратился он ласково к жене. — Мы вместе поедem выбирать.

— Мама! Виктор Алексеевич! Возьмите меня с собой! Берете? Да? Ух!

— Надо позвонить в Дом моделей, возможно, там найдется подходящее нейлоновое платье,— несколько недовольным тоном произнесла Оленева.

Были куплены два прелестных серебристо-белых платья для выпускного вечера — Лизе Ефремовой и Марфеньке. Режиссер и Марфенька купили еще нарядное белье и туфли. Долго гадали, какой может быть у Лизы номер обуви, и решили взять наудачу — тридцать пятый. Упирающейся Любове Даниловне продиктовали письмо. Затем сами упаковали и отправили посылку.

Когда пришел благодарный ответ, Марфенька не выдержала и написала Ефремову Яше письмо. Так завязалась эта переписка, эта дружба — на долгие годы.

Глава четвертая

ХРИСТИНА

Детство Марфеньки не тема этого романа, который начинается со вступления Марфы Оленевой в самостоятельную жизнь. Пришлось вспомнить ее детские годы лишь потому, что в них истоки характера Марфеньки.

Марфенька действительно сама себя воспитала — у нее с самого детства на редкость самостоятельная натура. Читала ли она любимую книгу, выслушивала ли мнение одноклассников, рассуждения профессора отца, беседу классной руководительницы Берты Ивановны или даже вдумывалась в очередное письмо Яши Ефремова — высшего для нее авторитета, она с одним соглашалась другое решительно отвергала, третье ее вообще оставляло равнодушной. Она почти не поддавалась воздействию извне. Иногда ее можно было убедить — очень редко, когда ей что-то изнутри подсказывало, что она неправа.

Классной руководительнице Марфенька доставляла много хлопот, куда больше, чем самые избалованные из ее воспитанников, которые озоровали и капризничали, но легко поддавались влиянию наставника.

Так было, например, с вопросом о роли коллектива. Берта Ивановна произносила это слово с величайшим уважением. Она была председателем месткома и если делала что-нибудь для своего коллектива, то буквально священнодействовала. Когда кто-нибудь из ребят получал тройку, она всегда говорила:

— Как тебе не совестно, ты подводишь коллектив!

Эта добрая женщина была просто оскорблена в лучших Чувствах, когда Марфенька, а за нею несколько мальчишек стали ей возражать:

— Смотря какой коллектив собрался, а то может быть и так, что один или два человека правы, а остальные члены коллектива ошибаются.

— Этого никогда не может быть! — возмущалась молодая учительница.

Она долго объясняла Марфеньке ее ошибку. Марфенька, по своему обыкновению, внимательно выслушала, но промолчала, не любя споров.

— Ты поняла? — резко спросила Берта Ивановна, закончив объяснение.

— Чего же тут не понять,— равнодушно ответила Марфенька.

— Но ты согласна теперь? — стараясь не показать раздражения, спросила учительница.

— Не согласна.

— Ну, знаешь... Мы поговорим с тобой после уроков.

— Берта Ивановна, она все равно не согласится,— засмеялись ребята.

— Но как же можно не согласиться?

Однажды класс, сговорившись, сбежал с урока математики. Марфенька сначала возражала против этого, но потом, усмехнувшись, согласилась с большинством ребят. Пришедший на урок математик нашел лишь пустые парты и бросился к директору.

Когда разбирали эту историю, заведующая учебной частью обратилась к Марфеньке:

— Но уж от тебя-то, Оленева, мы никак не ожидали: такая рассудительная девочка. К тому же это твой любимый предмет.

— Так решил коллектив,— с видимым простодушием ответила Марфенька и пристально посмотрела при этом на Берту Ивановну.

Это было в первый и последний раз, когда она приняла участие в шалости. В старших классах ее уже выбирали старостой, редактором общешкольной газеты. Теперь она пользовалась у ребят авторитетом, особенно когда стала парашютисткой: пока еще никто из 9-го «Б» не отважился на прыжок с самолета.

Трудно сказать, когда подросток становится взрослым, у каждого это происходит в разное время. К Марфеньке зрелость пришла до получения аттестата зрелости, когда она сумела повлиять на чужую судьбу.

Не всякий может похвалиться тем, что он на семнадцатом году своей жизни спас человека если не от физической, то уж наверняка от духовной смерти, которая гораздо страшнее. Но у Марфеньки не было привычки хвастать, и об истории с Христиной даже не узнали в школе. А жаль...

Вот как это произошло. Был первый понедельник октября — чудесный день, много синевы, солнечного блеска и серебристых летающих паутинок. Марфенька возвращалась с аэродрома, полная впечатлений простора и облаков. У нее был сегодня прыжок, шестой по счету, и ей разрешили не явиться в школу на занятия.

От метро Марфенька шла пешком, ловко пробираясь между снующими автомобилями, бесшумными троллейбусами, среди пестрой льющейся толпы. (Кажется, она не особенно соблюдала правила уличного движения.) Почти взрослая девушка в трикотажной сиреневой юбке с белым горохом и белом свитере со значком парашютистки вместо брошки на груди. Она была очень счастлива: все было так хорошо, мир прекрасен, люди добры (к ней — значит, и ко всем, друг к другу), каждый человек — целый мир, заманчивый и интересный. Сегодня она прыгнула с высоты тысяча шестьсот метров. И в этот же день ей довелось наблюдать высотный прыжок заслуженного мастера спорта. Поистине в самом слове «человек» было что-то гордое. А где-то в космосе звучал слабый и четкий голос спутника. От восторга у Марфеньки мурашки бегали по спине, когда радио доносило до нее этот голос. Жизнь слагалась в какую-то дивную и величавую симфонию: до чего хорошо жить на свете...

И вдруг мелькнуло одутловатое бледное лицо нищенки.

Сначала Марфенька прошла мимо: нищие ее не интересовали — шлак, отходы общества, как говорит Берта Ивановна; они еще есть, не хотят работать и паразитируют на здоровом теле общества, но ей тут же стало неловко перед собой... Если человек просит денег, значит, очень нужно. Она же вот не просит? В белой кожаной сумочке нашелся рубль, и Марфенька, густо покраснев почему-то, положила его на аккуратно расстеленный платочек.



Что ее поразило в этой женщине — ведь не первого же нищего видела Марфенька в своей жизни,— так это глубина ее унижения. В Марфеньке очень сильно было развито чувство достоинства. Она испытывала страдание, если видела, что один человек заискивает перед другим. Один вид подхалима мог сделать ее больной на весь день — это при ее редком физическом здоровье.

Женщина стояла на коленях и клала прохожим земные поклоны. Больше уже нельзя было унизиться, по мнению семнадцатилетней Марфеньки.

— Чего только милиция смотрит! — услышала она позади желчный голос.— Что у нас, безработица, что ли? Безобразия!

— Они на эту милостыню дома строят да пьянствуют,— отозвался кто-то из прохожих.

.— Д-да...— неопределенно промычал третий и все же бросил двадцать копеек.

«Не похожа на пьяницу... и что дома строит»,— подумала Марфенька, терзаясь смутными угрызениями совести. Радость была спугнута. Марфенька, нахмурившись, возвращалась домой. Изможденное, полное отчаяния лицо, пожалуй, еще молодое, стояло перед ней. Почему эта женщина не работает? Почему? По всей Москве были расклеены объявления: требовались уборщицы, гардеробщицы, официантки, посудницы, а возле фабрик висели плакаты с перечислением специальностей, в которых нуждалась страна.

Почему же она все-таки не работает, эта женщина? Ведь это ужас — стоять вот так на коленях перед людьми и просить милостыню. Милостыня... Слово было из далекого прошлого, в среде Марфеньки оно не употреблялось вовсе. Но если слово осталось от прошлого, то женщина была сейчас, в настоящем, и некуда было деться от этого факта.

Попадались нищие-алкоголики — это было проще всего понять: страшная болезнь заставила их потерять человеческий облик. Но эта женщина не была алкоголиком, Марфенька была в этом уверена. Тогда почему же она предпочитает весь этот ужас работе?

Может быть, она больна? Внешний вид, пожалуй, говорил об этом: одутловатость, бледность, угасший взгляд. Но ведь есть больницы, какие-нибудь там дома для инвалидов, и, наконец, просто легкая сидячая работа, например, швейцара. Почему же она просила эту самую милостыню?

Вечером Марфенька не могла ни читать, ни заниматься. Ей и в голову не пришло то обстоятельство, что не одна ведь она прошла сегодня мимо, не узнав

даже, что заставило эту женщину выйти просить на улицу.

На другой день, возвращаясь из школы, Марфенька сделала основательный крюк, чтоб еще раз взглянуть на ту женщину.

Нищенка была на прежнем месте, так же била поклоны. Все то же измученное лицо, словно беда поставила на нем свою печать. Голова ее была повязана куском черной выгоревшей материи, черное, много раз стиранное платье и мужские брезентовые туфли...

Марфенька невольно оглянулась — никто не видит? — и, решительно подойдя к ней, присела на корточки.

— Зачем вы так... Не надо в землю кланяться, просто просите,— зашептала она ей в самое ухо.

Женщина каким-то одичалым взглядом посмотрела на Марфеньку, однако сразу поняла ее.

— Добрым людям отчего не поклониться,— ответила она тихо,— они лучше меня. Никакого мне тут нет унижения.

— Нет, есть,— убежденно возразила Марфенька — это и вас унижает, и меня, и всех прохожих. Пожалуйста, не надо в ноги кланяться, очень вас прошу! У меня вот есть с собой...— Марфенька дрожащими руками порылась в портфельчике и достала пятирублевую бумажку.— Вот, пожалуйста, возьмите. Скажите, а вы не пробовали искать работы? Ведь это ужасно — так страдать.

— Бог страдал и нам велел,— покорно произнесла женщина, но встала с колен и нерешительно посмотрела на протянутые деньги.

— Берите, берите,— настаивала Марфенька. Лицо ее залилось краской.

Женщина грустно оглядела Марфеньку и тоже чуть покраснела.

— Не надо...— тихо сказала она.— Дома тебя заругают. Совесть-то у меня еще есть. Спрячь, не возьму.

— Откуда вы родом? — спросила зачем-то Марфенька, машинально сжав деньги в потном кулачке.

— Москвичка я, коренная,— уныло ответила женщина.

— Вы больны?

— Я? Ревматизм у меня... Так по ночам корежит — сил нет.

— Сколько вам лет?

— Умереть бы скорее... Смерть вот не берет...— На вопрос она не ответила.

— Что мне надо сделать, чтоб вам помочь? — спросила, волнуясь, Марфенька. Скорбная улыбка скользнула по тонким губам.

— Бог один может мне помочь, а он... отвернулся... за грехи мои. Ты, девочка, иди домой.

И тогда Марфенька нашлась.

— Откуда вы знаете, что не бог меня послал? — спросила она.— Не сам же он явится?

Женщина долго смотрела на Марфеньку. Видно, очень ей хотелось, чтоб взаправду бог послал ей кого-нибудь, хотя бы и эту добрую девушку.

Утопающий, говорят, за соломинку хватается, а Христина тонула в тот суровый для нее час. Тоска ее угнетала, отвращение к жизни, никогда она не была так близка к самоубийству, только боязнь греха и удерживала ее от искушения броситься под машину. Для нее счастье заключалось в том, чтоб ничего не чувствовать. На другое она уже не надеялась. А в смерти ей отказывала суровая религия.

— Неисповедимы пути его,— сказала она со слабым проблеском надежды и

замолчала, с трепетом ожидая, что будет делать «божий посланец».

А у Марфеньки созрел план.

— Идемте к нам — пообедаем и посоветуемся, что можно сделать,— пригласила она и стала ласково тянуть женщину за рукав: — Пошли, пошли.

По счастью, Катя уже четвертый день не заглядывала к Оленевым. Она потребовала двести рублей прибавки (к шестистам), на что возмущенный Евгений Петрович ответил категорическим отказом. («Хочет зарплату научного работника получать!») Обедать никакого не было, его еще надо было принести из ресторана.

— Вы должны идти со мной,— сказала Марфенька решительно, и Христина пошла за «соломинкой».

Страшно волнуясь, боясь, что женщина раздумает, Марфенька на ближайшей стоянке взяла такси. Через десять минут ошеломленная Христина входила к Оленевым.

Марфенька провела ее в столовую и усадила на диван.

— Вы здесь посидите, я сейчас только сбегаю за обедом. Я так проголодалась, мы вместе поедем.

Торопливо похватав судки, Марфенька убежала.

Женщина нервным движением поправила на голове платок и пугливо огляделась вокруг. Она ждала каждую минуту, что придет кто-нибудь из взрослых и ее выгонят, а этой доброй девушке достанется. Но никто не приходил, и она понемногу успокоилась.

«Как люди живут!» — невольно подумала она без зависти, рассматривая огромный сервант, за стеклами которого холодно сверкал хрусталь. Она обвела взглядом комнату, ища икону, но иконы не было, и она со страхом подумала, что большой грех — общаться с безбожниками и надо бы встать и уйти, но она бесконечно устала, а здесь так хорошо.

Вернулась Марфенька и приветливо улыбнулась ей.

— Недолго я ходила, правда? — Она стремительно носилась то на кухню, то к буфету и, накрывая на стол, рассказывала о себе, что учится в десятом классе, что она комсомолка и парашютистка и этой весной заканчивает школу. Отец желает, чтобы она шла на физико-математический, но у нее свои, совсем другие планы.

— А как вас зовут? — спросила она, приглашая к столу.

— Христя!

— Христина? Какое красивое имя. А по отчеству?

— Савельевна...— Женщина хрипло откашлялась.

— Садитесь, Христина Савельевна, а меня зовут Марфой.

— Библейское имя.

— Да. И Марфа Посадница тоже была. И у Гончарова в «Обрыве» есть Марфенька. Только я ни на кого из этих Марф совсем не похожа. А знаете... вы простужены. Я вам налью немного вина?

— Спасибо вам. Не пью я вина.

— Если немножко, когда болен...

— Не люблю я его.

— Ну хорошо, ешьте борщ. Вам какого хлеба, белого или черного?

Марфенька держала себя так непосредственно и просто, с такой охотой делилась своими планами, что Христина совсем успокоилась и с жадностью ела все, что молодая хозяйка ей предлагала.

— А матери у тебя разве нет? — робко спросила Христина.

— Есть, но она живет отдельно.

— Развелись!.. («Господи, грех какой!» — подумала Христина.)

— А у вас есть родные?

— Нет у меня никого. Я сиротой росла. Детдомовская. А потом на швейной фабрике работала.

— Вы умеете шить?

— Умею.— Христина вдруг замолчала. Марфенька сразу прекратила расспросы.

Они пообедали, и Марфенька быстро убрала со стола.

— Теперь давайте поговорим! — Она властно усадила Христину на диван и присела рядом.— Больше вы просить не пойдете! — категорически заявила Марфенька.— Мы найдем вам работу, какую-нибудь легкую, пока вы не окрепнете. Поможем вам на первых порах материально. Вот придет папа — мы с ним посоветуемся.— Она ласково обняла женщину за плечи.— Я хочу вам самого доброго. Вы мне верите?

— Верю я, верю, да только...— Христина заплакала, не вытирая слез.— Не знаете вы обо мне! — вырвалось с горечью у нее.— Святая вы душа, а я не стою ваших забот. Я хуже всех людей! Если мне поступать сейчас на работу— значит, начинать жизнь сначала, а мне все равно погибать. Я уже погибла. Нет мне прощения ни от бога, ни от людей. И сама я себя никогда не прощу. Не будет мне во веки веков покоя... Я только месяц, как из тюрьмы вышла.

— Из тюрьмы?—Марфенька с сочувствием посмотрела на женщину.— Вас оклеветали?

— Что вы, бог с вами! За дело меня. Убить бы меня совсем. Не отстояла я своего сыночка! Что же я за человек... Мне воровка одна сказала: слизняк ты, а не человек. Умереть бы, а смерть не берет. Хуже я всякой воровки. Ох, мамушка, мука моя!..

Христина вдруг сползла на пол, корчась от невыносимой, ввевшейся в плоть и кровь муки. Она долго надсадно рыдала.

Побледневшая Марфенька молчала, не находя слов, которыми бы можно было утешить в таком горе.

Понемногу рыдания стихли, видимо не принеся облегчения.

— Вот что, Христина Савельевна,— уверенно начала Марфенька,— после вы мне расскажете все, если захотите... Сейчас для меня ясно только одно: какую бы ошибку ни совершили, вы дорого заплатили за нее. Кажется, не по силам дорого. Но вы живая, и надо жить. Надо как-то перенести это несчастье. Вы не пробовали искать работу?

— Нет.

— Почему? Вам просто все безразлично?

— Не знаю, как сказать... Руки у меня опустились. Крест хотела на себя взять. Может, бог простил бы...

— Ну... Думаю, богу было бы гораздо приятнее видеть вас молодой, счастливой, сильной, а не раздавленной на тротуаре. Не говоря уж о том, что он мог вообще не допустить всей этой истории...

— Нам дана свободная воля.

Кое-как, с большим трудом Марфенька выпытала у Христины, что та живет у старушки монашки, по имени Агния (комната Христины была давно занята). Она то и посоветовала ей просить милостыню: «Смирись перед людьми, проси милостыньку, и бог тебя простит. Нищие духом царство божие узрят». Христина отдавала старушке всю выручку, и та кормила ее и предоставляла ночлег.

«Вот уж точно: нищая духом»,— со вздохом подумала Марфенька.

— Давно вы из тюрьмы? — спросила она тихо.

— Месяц доходит,— проронила Христина и снова заплакала.— Да уж в колонии и то лучше было: наработаешься и спишь. А теперь глаз не сомкну до утра. Не могу я этот крест нести! Снова жизнь наладить, как все люди, не в силах: словно душу у меня вынули. Нет во мне чего-то самого главного. Сама я себе в тягость. Самое бы лучшее — руки на себя наложить, да греха боюсь, ох как боюсь! По делам меня бог наказывает, а я уйду от его наказания?

— Что ж, он вас всю жизнь будет наказывать? — мрачно возразила Марфенька.— Из тюрьмы вас и то выпустили, а он все будет наказывать?

— Бог карает, бог и милует,— кротко отозвалась женщина и перекрестилась.

В Марфеньке все бушевало от гнева, но она взяла себя в руки, твердо решив вернуть эту женщину к радости и счастью.

Задача была не из легких, но тем заманчивее было ее выполнить.

— Знаете что: сосните пока, до прихода папы,— решила она.— У вас такое измученное лицо, поспите.

Она принесла подушку со своей кровати и уложила женщину, несмотря на все протесты, на диван, ласково прикрыв ее сверху пледом.

Христина пригласилась и действительно уснула. Марфенька до прихода отца сидела неподвижно возле нее.

Девушка серьезно поговорила с Евгением Петровичем, не скрыв от него, что Христина сидела в тюрьме за какое-то, видимо уголовное, преступление.

— Папа, она совершенно раздавленная, как она только живет? Если ей не помочь, она погибнет.

— Я понимаю,— мягко сказал профессор,— но почему именно ты должна этим заниматься? У тебя выпускные экзамены в этом году. Я позвоню в исполком, и ей найдут работу.

— Хорошо, позвони,— обрадовалась Марфенька,— но работа в данном случае — это не все: ей нужна моральная поддержка и ласка!

— Но экзамены...

— А у тебя — твоя работа. У каждого что-нибудь есть. Я теперь не брошу ее, даже... даже если бы это правда помешало экзаменам. Человек дороже какого-то там аттестата.

Марфенька рассердилась, черные глаза ее сверкали и даже вроде как начали косить, что у нее бывало только в минуты крайнего раздражения. Евгений Петрович с интересом посмотрел на нее и слегка поморщился. Разумеется, он был недоволен появлением в своей квартире этой женщины, но Марфенька, судя по всему, не собиралась отступать, и профессору пришлось покориться обстоятельствам.

— Ты говоришь, она москвичка... Следовательно, прописана в Москве? Прописана? Ну, где она там у тебя... Доктор технических наук вошел в столовую, где давно уже проснувшаяся Христина со страхом прислушивалась к доносившимся до нее обрывкам фраз. Она угрюмо встала, как вставала в колонии при входе в барак начальника отделения, испуганно глядя на хозяина этой роскошной, по ее понятиям, квартиры. Она каждую минуту ждала, что ее выгонят, а Марфеньке достанется за то, что она ее привела.

Евгений Петрович вежливо поздоровался за руку, попросил ее сесть и сам присел в кресло. Затем он так же вежливо устроил Христине настоящий допрос. Марфенька стояла возле, готовая вмешаться, если отец чем-нибудь обидит гостью. Но, к ее некоторому удивлению, он оказался удивительно тактичным, так что Христина сразу приободрилась. Между прочим он спросил, какое у нее образование, и, когда Христина ответила, что семилетнее, Марфенька так и

ахнула про себя: уж очень было непохоже.

— У вас есть какие-нибудь документы?..— спросил Евгений Петрович.— Потребуются для поступления на работу.

— Есть документы, а как же... Я всегда их ношу с собой,— заторопилась Христина.

Она боялась оставлять их монашке: еще сожжет! Значит, в глубине души надеялась, что документы еще пригодятся. Христина вытащила из кармана черного платья — предварительно отколов булавку—ветхий бумажник и протянула профессору свои нехитрые справки. Вот их перечень, по выразительности своей не уступавший иной подробно написанной автобиографии: паспорт с московской пропиской («Двадцать пять только!» — ужаснулся Евгений Петрович), вместо метрики справка о воспитании в детдоме, свидетельство об окончании семилетки, справка о том, что она проработала полтора года на швейной фабрике и уволена по собственному желанию в связи с рождением ребенка, брачное свидетельство из загса, метрика о рождении сына и справка о досрочном освобождении из заключения в связи с амнистией.

— Простите, за что вас осудили? — мягко спросил Евгений Петрович.

Христина заметно побледнела. В широко раскрытых, чуть выпуклых голубых глазах был застывший ужас. Она молчала. Евгений Петрович ждал. Марфенька подошла и ласково положила узкую смуглую руку на плечо женщины.

— Папа, видишь: ей тяжело вспоминать... Ну, и не надо спрашивать. И она ведь уже отсидела. Может, она потому и работы не ищет, чтоб не спрашивали...

— Судили за соучастие в убийстве,— глухо произнесла Христина, стараясь ни на кого не глядеть. И покорно выждала тяжелую паузу.— Муж заперол до смерти сыночка. А я не сумела отстоять. Испугалась сильно... вроде как обомлела. Два годика ему было, сыночку-то. В железной печке сжег деньги. Отлучилась я... за хлебом. Он часто бумажки жег: играл так, нравилось ему, как вспыхивают... Бумажек-то не было больше, он деньги... две тысячи рублей. Муж прятал их... в сломанной гармонии... даже я не знала. Вот как... Пять лет мне дали. Меня одну судили. Муж-то ушел от милиции через забор. В ту же ночь повесился. Погорячился он. Характер у него был лютый. Так я его боялась... Говорил: если уйдешь от меня, все равно найду, хоть на дне моря, и убью. И сына, говорит, убью. Судья сказал: ты виновата, почему не звала на помощь? А я обомлела... Дала сыночка на глазах у себя убить.

Евгений Петрович смотрел не на Христину, а на дочь: свежее полное лицо Марфеньки побледнело, но в черных глазах была решимость, словно всем силам зла бросала она вызов.

«Дочь вернет к жизни эту несчастную,— подумал он.— Задача ей по силам. Но что же мне делать с Христиной? Устроить гардеробщицей к нам в институт, пока обживется... Ей и жить-то, наверное, негде, придется в общежитие ее устраивать. А что, если...»

Он с досадой вспомнил про Катину требование надбавить ей двести рублей: «Зналась баба, никто столько и не платит домработнице. Что я, миллионер, что ли!»

— Хотите поступить к нам домработницей? — неожиданно предложил он.

— Папа! — Марфенька хотела решительно возразить, но вдруг подумала, что на первое время для нее это будет, пожалуй, даже неплохо. Эта женщина так нуждалась в уходе и ласке, грубое или насмешливое, сказанное невзначай слово могло ее опасно ранить.

— Оставайтесь у нас, Христина Савельевна,— сказала она.— Не бойтесь, я

буду вам помогать.

Христина дрожащими губами пробормотала какие-то слова благодарности.

Марфенька пожелала, чтоб Христина сегодня же перебралась к ним. И на всякий случай — а то еще монашка разговорит — отправилась с ней вместе за вещами. У бывшей монашки, сморщенной, с опухшими ногами старушонки, комната была полна каких-то необыкновенно волосатых постояльцев: она пускала к себе ночевать приезжавших в командировку священнослужителей. Христина обычно спала на полу в кухне, возле газовой плиты. Все ее вещи уместились в крохотном узелке. Монашка не отговаривала ее: «Хорошим людям отчего не послужить. Девушка-то верующая, по лицу вижу (Марфенька чуть не фыркнула: «Увидела!»). А милостыньку просить благословила тебя, чтоб только не идти на фабрику: хорошему там не научат, безбожники!..» Стали прощаться.

Было решено, что сегодня Христина переспит в столовой на диване, а завтра для нее освободят маленькую комнату за кухней, превращенную Катей в кладовку.

Марфенька принялась деятельно устраивать гостью. Дала ей свое белье, туфли и платье, сама приготовила для нее горячую ванну.

Пока Христина мылась, Марфенька старательно накрыла на стол, положила в вазочку домашнего вишневого варенья и сбегала за тортом.

Приодетая, раздумывавшаяся после горячей ванны, оживившаяся, Христина даже похорошела. Она была бы хорошенькой — круглолицая, с немного вздернутым носом, большими голубыми глазами, — если бы не болезненная одутловатость и выражение приниженности и затаенного испуга во всем ее облике.

Она все порывалась услужить, но Марфенька категорически заявила, что сегодня она гостя и вообще ей нужно сначала хорошо отдохнуть и поправиться.

Пили чай втроем за длинным столом, накрытым, как для приема гостей. Чтобы не смущать Христину, Оленевы заговорили о посторонних для нее вещах: о театре, последнем спутнике, о новой книге Евгения Петровича, о прыжке Марфеньки.

Укладывая потом Христину спать, девушка сказала ей потихоньку:

— Старайтесь не думать о прошлом, думайте о будущем. Хотите знать свое будущее? Могу погадать.

— Разве вы можете?

— Ну конечно, нас этому в десятилетке учат! — Марфенька взяла маленькую жесткую руку Христины и стала разглядывать испещренную линиями ладонь.

— Вот что я вижу: все напасти в прошлом, они удалились. Вас ждет счастье — совсем рядом! Будете учиться, приобретете интересную профессию. Не разберу, кем вы будете... Может, инженером? Или врачом? Еще выйдете замуж, на этот раз за хорошего человека. Он блондин. Вы родите четырех сыновей, которые будут летчиками. Здоровье к вам вернется. Спокойной ночи! Дайте-ка я вас поцелую. Не холодно будет спать? — Марфенька тщательно подоткнула под нее одеяло. — Покойной ночи, Христина Савельевна.

На другой день своевольная Марфенька не пошла в школу, и они вдвоем освободили от всякой рухляди, выбелили, вымыли и обставили комнату для Христины. Получилось уютно. Накрытая пушистым одеялом кровать, последние осенние астры в бокале на столике, примула в горшках на подоконнике, два стула, старый зеркальный шифоньер, книжная полка над постелью.

Книги Марфенька тщательно подобрала из своей и отцовской библиотеки: рассказы Брет-Гарта и Тургенева, «Приключения Гекльберри Финна», «Давид

Копперфильд», «Мартин Идеи», «Тихий Дон», «Два капитана», несколько романов Пановой и Галины Николаевой, пара толстых книг по естествознанию, несколько научно-популярных брошюр. Ей очень хотелось подложить что-нибудь антирелигиозное, но все это было написано каким-то насмешливым, грубоватым языком, и Марфенька побоялась оскорбить чувства Христины. Вместо того она, подумав, добавила «Очерки о Вселенной».

— Эти все книги я вам дарю,—заявила она, улыбаясь.— На сегодня хватит возиться. Лежите и читайте.

Обед я сейчас принесу из ресторана. А завтра, когда я уйду в школу, вы сходите на рынок, и мы вместе приготовим что-нибудь вкусное. Хорошо? Зачем же вы плачете? Вам не нравится у нас?

— Очень... нравится. От радости я плачу. Спасибо вам! Награди вас бог!

— Ну вот, я рада, что вам нравится. Кажется, все есть, что понадобится...

Марфенька осмотрелась с довольным видом.

— Иконки вот только нет...— робко напомнила Христина.

— А-а!..

Марфенька пошла в кабинет отца, долго там рылась и наконец принесла репродукцию Сикстинской мадонны на слоновой бумаге. Репродукция была вставлена в рамку под стекло вместо какого-то пейзажа и, к великому восхищению Христины, повешена в угол.

В этот день Христине Савельевне Финогеевой казалось, что она после долгих-долгих странствий возвратилась домой. А Марфеньке — что к ним приехали родные.

Глава пятая

НИЩИЕ ДУХОМ

У Христины всегда получалось почему-то так, что стоило ей кого-нибудь полюбить, как она его теряла.

Кто были ее родители, она не знала. Воспитательница однажды рассказывала ей, что ее нашли в 1933 году на руках мертвой женщины возле Павелецкого вокзала. В найденном при умершей паспорте значилось: Финогеева Ксения Алексеевна. Там же был вписан ребенок — Христина.

Кто была ее мать, куда она ехала, что покидала и что искала, осталось навсегда неизвестным.

В детдоме Христина очень сильно привязалась к одной из воспитательниц. Та относилась к ней ласково, но не лучше, чем ко всем остальным ребятам: она никогда и не позволила бы себе иметь любимчиков! Дети стали звать ее мамой — воспитательница не возражала. Христина ходила за ней по пятам, не знала, чем ей угодить, тоско-268

вала и плакала, когда у воспитательницы был отпускной день. Иногда ей казалось, что воспитательница любит ее совсем как родная мать. Что это не так, она поняла, лишь когда с разрешения директора воспитательница стала ежедневно брать с собой на работу маленькую балованную родную дочку.

А между тем воспитательница была искренне уверена, что она не делает никакой разницы между детьми. Разница была не в лишней кружке молока или

яичке, а в блеске глаз, произвольно меняющемся голосе, в особой улыбке, когда сразу меняется все выражение справедливо строгого, обычного лица на умиленное.

В ночных обильных слезах ушла любовь маленькой Христины.

В пятом классе она слепо привязалась к одной девочке. Она не замечала, что маленькая хитрунья умело использует ее любовь для своей выгоды. Христина отдавала ей сладкое, делала за нее задачи и упражнения по грамматике, помогала в дежурстве. Когда их при расформировании детдома разлучили, она долго не могла утешиться.

Христина росла боязливой и робкой, всем уступала, боялась мальчишек и учителей. Говорила она таким тихим голосом, что надо было иметь терпение, чтобы ее выслушать. Но поскольку она не претендовала на внимание, никто ее и не слушал. Школьный врач нашел у нее малокровие, и детскую нервность. У нее не было никаких талантов, училась она на тройки (четверка в таблице была редким гостем).

Воспитание она получила нерелигиозное — все вокруг были неверующие, была неверующей и она. Что может знать о религии девочка, выросшая в детдоме? Ничего.

На шестнадцатом году жизни Христину — боязливую и неустойчивую — выпустили одну в огромный неизвестный мир. Детдом устроил ее на швейную фабрику, фабрика предоставила ей койку в женском общежитии и тумбочку. Вместо школы Христина стала ходить на работу. Она старалась изо всех сил, боясь неодобрения мастера, старшего закройщика, работниц, но у нее, видимо, не было способностей к шитью (кто знал, к чему у нее способности, если она сама не знала, и кто этим интересовался?).

Скоро стало очевидным, что ни хорошей мастерицы, ни закройщицы из нее не выйдет. Она безнадежно застряла на подсобной операции — пришивании пуговиц. И здесь она редко выполняла норму, потому что слишком добросовестно пришивала каждую пуговицу. Каждый, кто покупал готовые платья, знает, как они обычно пришиты...

Христина превратилась во взрослую девушку. Успеха у парней она не имела никакого: слишком скромная, пугливая, неразговорчивая — с ней им было скучно. Подружки одна за другой выходили замуж, Христина оставалась одинокой.

И вот тогда, в недобрый час, появился на ее пути Василий Шукин — шофер швейной фабрики, высокий, жилистый, с красивым благообразным лицом. На фабрике он пользовался авторитетом (не то что плохая работница Христина!), его портрет не сходил с Доски почета. Он не пил, не курил, не хулиганил, много работал. Родители его были когда-то раскулачены, судимы и сосланы. Назад они не вернулись, осели в благодатной Сибири, где земля плодородна, реки кишат рыбой, леса — зверем. Василия воспитал крестный — церковный староста одной из московских церквусек. Умирая, он завещал воспитаннику кое-какую обстановку, комнату на 3-й Мещанской и толстую, распухшую от сырости и постоянного чтения Библию.

Из крестника вышел человек богобоязненный, строгий, озлобленный, но скрывающий свою озлобленность под маской равнодушия. Было Шукину лет под сорок. Ему бы давно жениться, да не нравились современные девицы: безбожные, бесстыдные, дерзкие.

Христина покорила его именно своей безропотностью, смирным характером. Ей он с первого взгляда внушил непреодолимый ужас. Она и сама не знала,

почему его так боялась. Когда Марфенька допытывалась у нее, зачем же она тогда вышла за него замуж («не любила, боялась, отвращение внушал и все же пошла»), Христина не сумела ответить на этот вопрос. Добрые люди советовали выходить: что же одной-то сироте по свету мыкаться? Может, здесь была жажда семьи, которой никогда не было, желание иметь свой уголок? А может, победила сильная воля Щукина? Как бы то ни было, они поженились. Местком даже средства выделил на свадебный подарок, но чего местком не знал (или предпочел не знать!) — это того, что шофер Щукин венчался в церкви. Когда Христина по желанию мужа бросила работу, о ней никто не пожалел: работница была не из умелых. («Плохой коллектив: о выработке в нем думали, а не о человеке», — возмущалась Марфенька.)

Три года замужества прошли для Христины, как тягостный сон, когда бесплотные тени движутся в серых сумерках — бывают такие темные сны.

Она была очень несчастна. Не то чтобы Щукин обижал ее или оскорблял ее достоинство, наоборот, он по-своему даже любил ее, несомненно уважал, его очень огорчал явный страх, который он вызывал в молодой жене, но ей было с ним очень тяжело. Характер у него был вспыльчивый до бешенства, «лютый», как определила Христина. Однажды он в драке чуть не убил в ее присутствии приятеля, ни с того ни с сего приревновав жену к нему. К счастью для Василия, все окончилось мировой, пришлось только пол-литра водки поставить и угощение. На Христину, правда, он даже не закричал ни разу, да она и повода не подала для этого, во всем старалась ему угодить. Казалось, вокруг этого человека было замкнутое мертвящее пространство, и она оказалась в этом кольце и разорвать его не могла и не умела.

С первых дней их брака Василий попытался обратить жену в свою веру. Конечно, неверующая жена «освящается» через верующего мужа, но он любил ее и хотел, чтоб она «спаслась». Результат превзошел все его ожидания.

«Нищие духом царство божие узрят...» Одинокая, неразвитая, ни к чему не способная женщина (слабейшие в обществе), не нашедшая в замужестве, как до этого в работе, ни радости, ни душевного тепла, томящаяся сама не зная чем, она вдруг обрела и покой, и веру, и духовное удовлетворение.

Ей понравились длинные торжественные богослужения, когда мерцают, оплывая, свечи, чистые, звенящие голоса хора уносятся в подернутый дымкой купол, и каждый на коленях, рядом, локоть в локоть, просит у незримого и непонятого божества (грозный или всемилостивый?) хоть крупицу счастья... Но «да будет воля твоя».

Теперь она любила долгими зимними вечерами, когда муж уезжал в далекие рейсы,— она уже вынашивала ребенка — читать Евангелие. В комнате чисто, тепло, уютно: ситцевые занавески с голубенькими цветочками, высокая кровать, пузатый комод (наследствокрестного), в стеклянном бокальчике законсервированная верба, в углу перед образом теплится лампадка. Если никогда еще, за всю жизнь, не было своего угла, то ведь покажется уютной и такая комната и этот комод. Но почему на сердце тоска, почему кажется, что кто-то обманул, не сдержал обещания? Камень — вместо хлеба. Ну, а что было лучшего?.. Фабрика, где все на тебя смотрят свысока (самая плохая работница)... Детдом вспоминался, как самое светлое время. Где уж самой изменить жизнь... ничемная, ненужная, некрасивая, слабая.

Христина, облокотившись обоими локтями на стол, внимательно читает Евангелие, чуть шевеля пухлыми по-детски губами. Русые волосы гладко зачесаны назад с чистого лба.

«Приидите ко мне все страждущие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня: ибо я кроток и смиренен сердцем; и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христина, бледная, прижимает руки к груди: «Какие слова, какое откровение! Я беру на себя твое иго, дай мне успокоение!»

А потом настал день, и родился ребенок — сын. Маленький, теплый, родной комочек. Христина благодарит бога. Теперь она вся — любовь. Во всем мире они вдвоем—сын и мать. В сыне и цель, и смысл жизни, и счастье.

Словно поднесли к иссохшему от жажды рту кружку с ключевой водой. Только не дали напиться — отняли. Бог дал, бог и взял.

Любила сына и лишилась так страшно. До самой смерти будет сниться, как прибежала из булочной с хлебом в руках, а Василий со страшным лицом — вот таким его чувствовала и потому боялась — убивает ее мальчика.

— Бог-то, бог! — только и вскрикнула Христина, бросившись к помертвевшему ребенку.

— Уйди, недоглядела деньги! — Василий отшвырнул ее, как котенка.

Наверно, можно было в тот момент спасти, отходить сыночка, но Христина «обомлела», по ее выражению, что-то с ней сделалось, она могла только воззвать: господи, защити! ;

Опомнилась, когда пришла милиция: соседи вызвали. Запоротый насмерть ребенок лежал у нее на руках.

На полу у кучки золы — остатки сгоревших денег.

Никто не видел, что Христина уходила в булочную, и у суда создалось мнение, что она присутствовала при истязании ребенка с самого начала. Христина не пыталась оправдываться, сама считая себя виновной: недоглядела сыночка. Так виноватой и пошла в тюрьму.

С тех пор прошло четыре года, и душа ее завяла, как пустоцвет.

И вдруг к ней пришла Марфенька и увела с собой. Марфенька, добрая, сильная, здоровая, веселая, красивая,— она входила в комнату, и даже полинявшие обои улыбались. Марфенька, которую нельзя было не любить, которой нельзя было не восхищаться. Счастьем было беседовать с ней, жить под одной крышей, смотреть на нее, любоваться ею, что-нибудь делать для нее.

Отныне Христина знала один страх: лишиться Марфеньки. Этого бы она уже не пережила. Если бы Марфенька прогнала ее от себя, она удовольствовалась бы тем, что каждый день ходила, чтобы только взглянуть на нее издали, и, увидев ее живой и здоровой, чувствовала бы себя успокоенной и счастливой.

Она боялась, что бог может забрать ее совсем, как забрал сыночка: Марфенька была парашотисткой, она прыгала так высоко, из-под самых облаков. Отныне каждый прыжок Марфеньки стоил Христине невероятного напряжения сил.

— Господи! — молилась она перед сном и, проснувшись, ночью.— Одно прошу: сохрани и помилуй Марфеньку, прости ей безверие ее. Мне ничего не надо, но ей даруй счастье!

Христина не знала, чем только угодить Марфеньке. Марфенька хотела, чтоб Христина прочитывала все те книги, которые она ей приносила,— Христина стала их читать. Марфенька хмурилась, когда Христина стремглав кидалась исполнять приказание «хозяина» Евгения Петровича,— Христина стала ходить с достоинством. Марфенька терпеть не могла, когда она кстати и некстати поминала господи,— Христина стала воздерживаться от этого (и в Евангелии написано: «Не упоминай имя божие всуе»). Марфенька пожелала, чтоб она стала готовиться в восьмой класс вечерней школы,— Христина послушно приняла от

нее старые учебники и теперь каждую свободную минутку решала задачи или зубрила физику.

Единственное, что она не могла бы сделать для своей любимицы,— это перестать верить. Марфа отлично понимала это и старалась не оскорблять ее чувств. На что она отважилась в этом направлении — это подарила Христине «Овода». «Библия для верующих и неверующих» Ярославского постоянно лежала на столе, но ее никому не предлагали читать. Христина переключивала ее с места на место, однако ни разу не заглянула в эту книгу: верующие обращаются к антирелигиозной литературе, лишь когда начинают сомневаться, а Христина верила крепко.

«Овод» произвел на нее неизгладимое впечатление. Она очень плакала над судьбой Артура, но больше всего ей было жаль Монтанелли. Он был поистине святой.

Глава шестая

БРАТ И СЕСТРА

Марфенька и Христина только что закончили генеральную уборку квартиры. Евгений Петрович ждал сегодня гостей — каких-то Львовых — брата и сестру, детей его умершего коллеги Павла Дмитриевича Львова.

Отец специально попросил Марфеньку принять их получше, самой одеться тщательнее и быть за хозяйку. И еще он попросил, чтоб Христина не сидела с ними за столом хоть сегодня: неловко, все-таки она домработница.

— Как хочешь, папа, мы с ней можем поужинать и на кухне,— спокойно согласилась Марфенька.

— Но...

— Я комсомолка... А хотя бы и не комсомолка,— все равно бы не смогла. Это нехорошо, как ты не понимаешь, папа?

— Тогда скажем, что это наша родственница из провинции,— нашелся профессор Оленев.

Марфенька, воспользовавшись «повышением», выпросила у отца денег, добавила, сколько было, своих (мама всегда ей давала на личные расходы) и купила для Христины хорошенькое пестрое платье.

Сама Марфенька надела узкое строгое черное платье и на шею красивый кулон из русских самоцветов — подарок Виктора Алексеевича. Отец внимательно оглядел ее и остался доволен.

— Ты понемногу становишься красивой,— одобрительно сказал он и поцеловал ее в щеку.

Он и сам выглядел сегодня молодым и подтянутым. Новый синий костюм сидел на нем превосходно, живота почти не было видно.

Евгений Петрович обнял дочь за плечи и, прохаживаясь с ней в ногу по кабинету, стал рассказывать о семье Львовых.

Покойный Львов был весьма интересным человеком, большим знатоком Каспия, даже женился на какой-то красавице рыбачке и всю жизнь был ей верен, во всяком случае, не бросил ее. Правда, человек он был кляузный, мстительный, с ним боялись связываться. Говорили, что он оклеветал нескольких человек, но

никто не знал ничего определенного, так что, возможно, это было, в свою очередь, клеветой.

Своей дочери Мирре он дал блестящее образование: она свободно владеет несколькими языками, превосходная пианистка. Сейчас она работает в Океанологическом институте — научный работник, гидробиолог. Красавица, умница, интереснейшая женщина. Знакомство с нею несомненно принесет Марфеньке пользу. Да...

— А что собой представляет брат? — поинтересовалась Марфенька.

— Гм... Глеб Павлович поступил ко мне лаборантом... Вообще эта работа для него чересчур примитивна. Но он просился... Мирра Павловна за него просила. Кстати, Марфенька, ты так увлекаешься воздухоплаванием... Тебе будет интересно побеседовать с ним: он ведь в прошлом летчик.

— Почему в прошлом? Он что, инвалид, болен?

— Н-нет, не болен, просто оставил авиацию.

— Хороший летчик не оставит авиацию по собственному желанию! — категорически заявила Марфенька.

— Его, кажется, «списали на землю» — так у вас говорят? — уклончиво заметил Евгений Петрович и заговорил о другом.

«Львовы... Мирра и Глеб»,— вспоминала меж тем про себя Марфенька. Ну конечно же, это о них ей писал еще два года назад Яша Ефремов. Они вместе были в экспедиции на Каспии... Судно «Альбатрос»... Яша там был матросом. Начальником экспедиции был океанолог Филипп Мальшет. Яша отзывался о нем с огромным уважением... Но вот этот Глеб сыграл очень некрасивую роль: из-за него чуть не погибли Яша и капитан «Альбатроса» Фома. Да, Марфенька теперь хорошо припомнила эту историю. Летчик Глеб Львов должен был доставить на берег двоих членов экспедиции: Яшу и Фому; самолет попал в бурю, началось обледенение, и, опасаясь, что машина не доставит всех троих, этот Глеб высадил своих товарищей прямо на лед. Именно тогда Яша и Фома попали в относ и едва не погибли.

Вот почему Львова «списали на землю» — за аморальный поступок! Он действительно был умелым летчиком... Не знания техники ему не хватило в час испытания, а человечности...

Марфенька прошла в свою комнату и, быстро выдвинув ящик письменного стола, достала толстую пачку Яшиных писем.

Так вот кто лаборант академика Оленева! Это у ее отца нашел «пристанище» Глеб...

Марфенька грустно рылась в старых письмах. Интересно, знал ли отец об этой истории? Судя по его уклончивости, знал. И все же согласился работать с таким человеком: Мирра Павловна просила.

Раздался звонок. Надо было идти и играть в «хозяйку дома». Марфенька положила пачку писем под подушку: перед сном перечтет некоторые места.

Отец уже вел гостей в свой кабинет.

— Мирра Павловна,— сказал он, останавливаясь и явно волнуясь,— это моя дочь Марфа.

— Совсем взрослая дочь у такого молодого отца!— удивилась гостья. У нее был приятный, хорошо поставленный голос низкого тембра — словно прохладный голос, он бы освежал в жару. На Марфеньку смотрели серые, как серый бархат, огромные глаза.

«На марсианку похожа — Аэлиту,— подумала Марфенька, пожимая выхоленную, но сильную руку.— Спортом занимается. Как это люди ухитряются

выглядеть так модно? Более модно, чем манекенщицы».

— Я давно слышал о вас и даже вашу фотографию видел,— сказал, улыбаясь, брат Мирры, в свою очередь пожимая Марфеньке руку.

Он был еще красивее сестры, так же тщательно и со вкусом одет, держался непринужденно.

— От кого же вы обо мне слышали, от папы? — спросила Марфенька. «Неужели не побойтесь признаться, от кого слышал?»

— Когда я был воздушным извозчиком... Мне доводилось, представьте, возить ваши письма. Им всегда были очень рады на «Альбатросе». Я доставлял на судно письма, посылки, продукты... Он славный мальчуган, этот Яша Ефремов. Вы с ним до сих пор в переписке?..

— Да, конечно...

Мирра попросила Евгения Петровича показать ей оттиски его новой статьи. Они ушли в другой конец кабинета и сели там вдвоем у заваленного бумагами круглого стола. Марфеньке пришлось занимать Глеба.

Он сидел против Марфеньки на диване, заложив ногу на ногу, и бесцеремонно разглядывал ее. Что-то в нем было хрупкое, несмотря на видимую физическую силу,— словно молодое дерево, надломленное пополам, но все еще растущее, или это чахоточный румянец на скулах придавал ему такой вид? «Слишком быстро показал, что не боится прошлого. Значит, на самом деле боится».

— Вам нравится ваша теперешняя работа?

— Да, я доволен... Работа несложная и дает мне время для занятий. Я ведь теперь учусь заочно на физико-математическом. Уже на третьем курсе. Почему вы никогда не зайдете в лабораторию вашего отца?

— Но ведь туда посторонним вход не разрешен...

— Это можно устроить... Дочь академика Оленева...

— Не хочу!

«И все же как он красив! Какая-нибудь бедная девчонка попадет на эту красоту, как рыбка на удочку, и будет трепыхаться. Ему очень не хотелось к нам идти — из-за меня, потому что я о нем все знаю от Яши. Отец его давно уже приглашал... Почему же теперь он пришел?»

— Простите, мне надо выйти на кухню,— холодно извинилась Марфенька и вышла.

— У вас интересная дочь,— услышала она голос Мирры.— Единственная? Представляю, как вы ее любите.

— Спортсменка: парашютистка, уже четырнадцать прыжков,— донесся до нее басок отца.

Запыхавшаяся, раскрасневшаяся Христина с прилипшими к выпуклому лбу волосами торопливо заканчивала сервировку стола. Марфенька кое-что переставила: пусть отец будет доволен. Он просил подать весь хрусталь. Праздник так праздник, был бы только стоящим поводом...

Брат и сестра Львовы оказались ультрасовременными людьми. Все, что было несовременным, их попросту не интересовало. За ужином речь шла о самых современных вещах. Мирра объявила, что опера устарела и скоро отомрет. Евгений Петрович, не понимавший и потому не ценивший оперной музыки, охотно с этим согласился: да, опера, несомненно, отмирает.

— А что же будет при коммунизме, джаз-банд? — невинно осведомилась Марфенька.

— Будущее за новыми инструментами,— уверенно пояснила Мирра.— Симфонии, исполняемые на колоссальных электронных...

— Барабанах? — серьезно подсказала Марфенька. Глаза ее смеялись, но лицо хранило доверчивую серьезность.

Евгений Петрович недовольно посмотрел на дочь. Глеб, отдав должное кулинарному искусству хозяек, стал развивать ту мысль, что будущее — за техникой.

— Физика, математика, автоматика, кибернетика, наука о реактивном звездоплавании — вот что определит содержание интересов человека будущего. Искусство в наш космический век вообще отживает. Фантастика безнадежно отстала от жизни. Техника — вот что делает невозможное возможным. Мы живем творчеством разума, а не чувства. Лик эпохи — техника. Это она влияет на вкусы, нравы, поведение человека.

— Если в Америке задержится революция, то капитализм приведет к тому, о чем вы говорите, но это будет одичание, моральное и духовное одичание! — с омерзением выпалила Марфенька.

— Вы не согласны со мной? — как бы удивился Глеб. — Марфа! — одернул ее Евгений Петрович.

— Погоди, папа! Простите, но эти ваши мысли кажутся мне такими убогими,— грустно продолжала Марфенька.— Я ведь уже не раз слышала подобные высказывания. Мальчишки в нашем десятом «Б» — некоторые, знаете, мамины сынки — тоже так рассуждают. «Не чувства, а разум, не искусство, а техника». По-моему, это оттого, что чувства их не развиты, а раз отстали в своем развитии чувства, то поэзия им просто недоступна! Их можно только пожалеть: люди с дефектом!

Румянец на скулах Глеба чуть сгустился.

— Неизвестно, кого жалеть! Может быть, тех, кому недоступна поэзия теорий, идей, экспериментов. Простите, но я хочу задать вам прямой вопрос: за кем следует в наше время современная жизнь — за художниками и поэтами? Можете вы это утверждать? Назовите поэта, писателя, который ведет за собой народ. Не назовете? Эпоху делают те, кто создает спутники, атомные ледоколы, синхрофазотроны...

— Эпоху делают идеи — идеи коммунизма! — горячо воскликнула Марфенька.

— Идеи! Но ведь это чистейший идеализм, ваше утверждение,— с чуть утрированным ужасом возразил Глеб.— Коммунизм — это высокая техника плюс электрификация всей страны.

— Коммунизм — это, в первую очередь, высокие чувства,— рассердилась вконец Марфенька,— а техника необходима лишь для того, чтобы освободить человеку больше времени, облегчить жизнь — и только.

— Мы хотим быть хозяевами Вселенной...— начал Глеб.

— Неправда! Это, может, империалисты хотят все завоевать, даже другие миры. Наука хочет познать космос, а при чем здесь «хозяева» — слово-то какое противное!

Христина сидела молча, она никогда бы не решилась вмешаться в спор, хотя у нее были кое-какие мысли на этот счет. («Жива душа, жив бог! Остальное от лукавого».) Она старательно подкладывала всем в тарелки и краснела. Свет от тяжелой, с хрустальными подвесками люстры играл на хрустале и фарфоре стола, тугой накрахмаленной скатерти, лакированной мебели, лысеющем лбу Евгения Петровича, на заграничных клипсах Мирры. Перед глазами Христины словно стояла сетка. У нее это иногда бывало, не то от малокровия, не то на нервной почве. В то же время ей было так хорошо. Она сидела, словно хозяйка, за столом,

все к ней обращались так вежливо: «Христина Савельевна, пожалуйста», и ни одного грубого слова — она так всегда боялась грубости, бессердечия, жестокости. Такие добрые, хорошие, воспитанные люди! Марфенька была слишком резка, но она еще молода. Понемногу образуется среди таких людей. Они вели ученый спор, но никто не повышал голоса, не сердился. Время от времени Христина бросала робкий взгляд в сторону Глеба. Очень ее поразил чем-то Глеб Львов.

— Хватит споров, друзья! — решил Оленев.

Он сам открыл бутылку шампанского и предложил первый тост:

— За советскую науку, которой мы служим верой и правдой!

— За великую технику коммунизма! — провозгласил Глеб.

— За хозяина этого дома! — кокетливо улыбнулась академику Мирра.

Пока Марфенька слушала эти разноречивые тосты, бурно пенящееся шампанское осело, и его осталось совсем чуть-чуть на дне бокала.

После ужина все, кроме Христины, опять перешли в просторный кабинет профессора. Марфенька поспешно раскрыла двери настежь, чтоб Христина могла слушать, если захочет.

Глеб стал рассказывать о чудесах кибернетики. Слушать его было интересно, хотя Марфенька никак не могла отделаться от внутреннего протеста. Не любя споров, она и на этот раз возражала только мысленно.

Глеб восторгался мыслящей электронной машиной, которая, по его убеждению, несомненно окажется сильнее ее творца и создателя — мятущегося, несовершенного человека.

Он говорил о машинах, способных воспроизводить самих себя. Они будут развиваться в соответствии с законами биологии, то есть подвергаться мутациям, бороться, принимать категорические решения.

Конечно, пока еще ни одна самая сложная машина не подошла к той грани, где начинается сознание, но несомненно перейдет ее. Ничто, кроме предубежденности и предрассудков, не позволит отрицать эту возможность.

— Мыслящие роботы... — мечтательно произнесла Мирра.

«Они, видно, привязаны друг к другу, — думала Марфенька, — и все же даже в этой братской любви чего-то не хватает... Может быть, просто человеческого? Они гордятся друг другом, потому что у них много общего».

— Кибернетика так же чревата опасностью, как, скажем, разложение атома, — вдруг произнес Евгений Петрович. — Когда человек придает кибернетическим машинам способность творить, он создает себе могучего и опасного помощника...

— Боятесь, взбунтуется против своего творца? — усмехнулся Глеб и, усевшись в кресло поудобнее, вытянул длинные ноги в серых, модного покроя туфлях. Он держался с академиком, как равный с равным. Странно, что Марфеньку, не терпящую заискиваний и подобострастия, на этот раз покорила Глебова манера держаться. «Нахальный какой... Но почему папа его не осадит?»

— Видите ли, дело в том, что, задавая машине программу, — неторопливо продолжал Оленев — он смотрел при этом на Мирру, — мы ожидаем от нее действий в соответствии с нашими человеческими представлениями. Но машина, даже превосходящая «умом» своего творца, все же не человек, и здесь малейшая неточность в заданной программе может повести к совершенно неожиданным результатам.

— На Западе крупные ученые-специалисты заняты созданием машины, способной воспроизводить самое себя. Нельзя допустить, чтоб они опередили нас в этом, — с ударением произнес Глеб.

— Чем большие творческие способности даются машине, чем больше у нее возможностей принимать самостоятельное решение, тем сложнее управлять этой машиной,— повторил профессор.— Никогда еще человечество не обладало такими чреватými смертельной опасностью возможностями, как в нашу эпоху...

— Ты подразумеваешь опасность атомной войны, папа? — спросила Марфенька.

— И это тоже, само собой. Но я говорю, что научная теория отстает от техники. Она не всегда может предупредить о последствиях того или иного технического новшества. В окружающей нас природе настолько все тесно взаимосвязано, что изменение одного природного процесса неминуемо ведет к изменению, нарушению множества других.

Когда уменьшается ледовитость северных морей, уровень Каспия начинает понижаться, а следом за ним падает и уровень озера Мичиган в Северной Америке. Таяние ледников Арктики ускоряет рост коралловых островов в тропической полосе Тихого и Индийского океанов.

Совсем недавно плохое знание процессов, происходящих в океане, едва не привело к трагическим последствиям. Американцы предложили сбрасывать радиоактивные отходы на дно океана. По счастью, работы советских океанологов, кстати проведенные, показали, что это привело бы к заражению мирового океана и атмосферы.

Любое воздействие общества на природу возвращается в виде ответного воздействия природы на общество. Помните крылатые слова Энгельса, что природа «мстит» человеку при непродуманном хозяйничанье.

— Вы пессимистически смотрите на вещи,— лениво проговорила Мирра.— Жаль, что у вас нет рояля, я бы сыграла вам мою любимую сюиту Шостаковича. Вы слушали его музыку к «Гамлету»? Хорошо!

«Ну, это хоть правда хорошо»,— внутренне согласилась Марфенька. Разговор зашел о последних постановках театра «Современник», и она неслышно оставила комнату: надо было помочь Христине убрать посуду.

Марфенька легла в эту ночь поздно. Она ходила по комнате, путаясь ногами в длинной, до пят, ночной сорочке, то сядя на постель, то вставая, и размышляла. Ей хотелось «судить по справедливости».

«Почему я терпеть не могу нашу классную руководительницу Берту Ивановну? — спрашивала она себя.— Кажется, я не люблю ее за то, что она все эти годы стремилась воспитать нас всех — целый класс — совершенно одинаковыми, мыслящими, как она сама. Ну да, потому я всегда и противодействовала ей. Какими бы скучными и убогими были люди, если бы они мыслили все, как один! Фу, какая гадость! Только непроходимый дурак может этого желать!

Но почему я изо всех сил пытаюсь сделать Христину такой же неверующей, как я сама? Почему мне так противны были сегодня рассуждения Глеба? Я с ними не согласна — отлично, но ведь это его убеждения? Может быть, Берте Ивановне тоже противны некоторые мои мысли? Неужели я такая же, как она? Также хочу, чтоб все мыслили одинаково и по-моему? Нет, я не такая! Идеи могут быть нравственные и безнравственные. Фашизм — тоже идеи, но это человеконенавистнические идеи, и потому мы их не принимаем. Христина... Религия запугала и согнула ее. Я только хочу, чтоб она распрямилась. Стала гордым и свободным человеком на прекрасной земле. Не «господи, воля твоя», а ее собственная ясная воля! Но она утверждает, что бог дал людям свободную волю. Или это в добре и зле? Хочешь — сделай плохо, хочешь — хорошо.

О, какая я еще невежественная, как плохо во всем разбираюсь! Ну почему Христина такая приниженная? Это религия делает ее такой. Быть домработницей — это не выход для нее, хотя она так цепляется за наш дом. Она так благодарна мне и папе за то, что мы укрыли ее у нас от жизни! Ну пусть немного передохнет, наберется сил.

Мы вместе, чтоб ей было не страшно, пойдем в огромный мир. Уж я-то ничего не боюсь! В институт я пока не пойду: хватит, мне школа надоела. Мы с ней вместе поступим на работу... Куда-нибудь, на аэродром, что ли, — летать!»

Марфенька сосчитала по пальцам, сколько месяцев осталось до окончания школы, и со спокойной совестью улеглась спать. Ей не пришло в голову, что она выбирает за Христину, как выбрал за нее когда-то детдом, устроив ее на швейную фабрику. Причем тогда Христине было шестнадцать лет, а теперь это была много пережившая женщина, на двадцать шестом году жизни.

Марфенька спала, как всегда, крепко, безо всяких сновидений.

У Евгения Петровича была бессонница. Он стоял в ватном халате у раскрытого окна и, поеживаясь от морозного воздуха, думал о наступающей одинокой старости — дочь не в счет, у нее скоро будет своя семья.

Христина металась по кровати, ее мучили кошмары. Сначала ей привиделся светящийся грозный лик архангела, взбунтовавшегося против самого бога, но потом оказалось, что это огромный робот, который вышел из повиновения человеку. Он хотел ее раздавить. Христина проснулась вся в поту с усиленно бьющимся сердцем. Несколько раз перекрестилась, прочла «Отче наш» и попыталась снова уснуть, но не уснула.

Глава седьмая

ПОЯВЛЯЕТСЯ ЯША ЕФРЕМОВ

Марфенька сидела, раскрасневшаяся и довольная, на краешке стола, крепко сжимая телефонную трубку. Было утро. Евгений Петрович ушел в институт. Только что звонил Яша Ефремов, прямо с Павелецкого вокзала. Он поехал устраиваться с ночлегом. Как только Яша устроится, он приедет сюда. Марфенька должна его ждать. В школу она сегодня, конечно, не пойдет: они переписывались более трех лет, но еще не виделись. Яша приезжал один раз в Москву, когда был напечатан его рассказ. Хороший рассказ! На Марфеньку он произвел неизгладимое впечатление. Одинокий мальчуган-подросток отказался признать единственного родного человека — дядю, капитана корабля, — потому что тот когда-то сделал подлость: оклеветал лоцмана из их поселка Бурунного.

Яша и сам жил в поселке Бурунном и тоже был принципиален: не согласился же он переделать рассказ, хотя мог думать, что его в таком виде не напечатают.

Так вот, когда Яша приезжал, Марфенька как раз уехала с отцом в Крым. Так они и не встретились. Но переписывались очень часто. Если бы издать все Яшины письма, то получилась бы целая повесть — эпистолярная повесть о его приключениях.

Яша Ефремов был совсем особенный, в их школе не было таких ребят ни одного. В поселке Бурунном, может, и были, но у них — ни одного! Он был самостоятельный, давно работал и сам содержал себя.

Несмотря на то что ему едва сравнялось двадцать лет, он уже работал линейщиком на междугородной линии связи, наблюдателем на метеорологической станции, ходил в море матросом, ловил с ловцами рыбу «на глуби», участвовал в научно-исследовательской экспедиции, попадал в отнoсы и чуть не погиб. Последний год он работал механиком на аэродроме и летал над Каспием. Но самое главное, за что его любит и ценит Марфенька, — Яша Ефремов всегда самостоятельно мыслит. Уж он-то никогда не будет повторять чужие мысли, будь они хоть сверхмодные! У них, судя по переписке, было очень много общего. Но Марфенька никогда не видела Яшу, даже на фотографии: он не любил сниматься и так и не прислал ей свою карточку.

И вот Яша здесь. У Марфеньки гулко колотилось сердце: а вдруг он в ней разочаруется? Вдруг она ему не понравится? На фотографии она всегда выходит гораздо лучше, чем на самом деле, потому что у нее фотогеничное лицо — так уверял Виктор Алексеевич. Ах, разве для такого, как Яша, может иметь значение, красива она или нет? Красивее Мирры уже некуда быть, а она совсем ему не нравится. Но у него такая умная, благородная сестра Лизонька, он столько писал о ней и с такой любовью! Он просто преклоняется перед ней. Разве она, Марфенька, выдержит такое сравнение?

Вошла Христина, гладко причесанная, в платье-халатике, сшитом по вкусу Марфеньки, и внимательно посмотрела на нее: она сразу почувствовала, что Марфенька чем-то взволнована.

— Приехал Яша Ефремов, скоро придет! — сообщила Марфенька.

Они приготовили все к чаю и сели рядышком на диван — ждать.

Яша пришел только к вечеру. Марфенька сама отперла ему. Оба так смешались, что только молча пожали Друг другу руки. Яша, не дождавшись приглашения раздеться, сам догадался снять пальто и повесил его в передней. Тогда Марфенька, проговорив: «Ну вот, это, значит, вы!» — и сразу покраснев, потому что вспомнила, что переписывались они на «ты», повела каспийского гостя в свою комнату.

В комнате Марфенька устроила настоящую иллюминацию (пусть будет праздник!), включив сразу все лампочки. Любовь Даниловна любила удобства, и в ее бывшей спальне повсюду были штепсельные розетки, к которым протягивались шнуры от всех видов ламп. С середины потолка спускался пластмассовый плафон, у туалетного столика сияло хрустальное бра, на письменном столике покоилась изящная настольная лампа под слоновую кость, а в любимом уголке Марфеньки — высокий торшер с серебристым шелковым абажуром над широким мягким креслом, где она любила читать, поджав под себя ноги. Они стояли посреди комнаты и серьезно рассматривали друг друга. «Так вот он какой — Яша Ефремов!» — «Так вот она какая — Марфа Оленева!» Марфенька представляла Яшу гораздо выше и крепче, а он оказался ростом с нее — худощавый паренек с необычно светлыми серыми глазами на смуглом лице. Когда он улыбнулся, на щеках его проступили ямочки, что придавало ему какой-то совсем ребяческий вид. Темные волосы аккуратно подстрижены, и от них пахнет одеколоном. Похоже, что он только сейчас был в парикмахерской, оттого и задержался: не в поселке же ему подстригаться, если он едет в столицу! На нем был коричневым, с иголки, костюм, наверное, купил его готовым только сейчас и сразу надел. Марфенька рассердилась на себя за то, что примечает все эти мелочи, даже то, что ботинки-то он забыл или не успел почистить, а вот главное — его сущность — никак не уловит. Словно его душа залезла, как улитка, в свою раковину, и до нее не добраться. Даже его улыбка была какой-то напряженной,

несмотря на девичьи ямочки. Марфенька вдруг увидела, что на его прямом носу выступили бисеринками капельки пота, и с чувством острой жалости поняла, как он волнуется, как ему неуютно и тягостно.

«Не здесь нам надо было встретиться первый раз! — мелькнула запоздалая, как раскаяние, мысль. — Вся эта дорогостоящая мебель папы и мамы — ведь это не мое и не подходит ко мне, а он может этого не знать». Приходилось теперь инициативу брать на себя. — Ты меня такой представлял? — просто спросила Марфенька.

— Нет. Не такой.

— Какой же?

— Менее взрослой и более простой.

Марфеньке захотелось заплакать.

— Ну вот... А я хуже?

— Не хуже, но другая.

— О!

— Ничего, я привыкну. Ведь ты... (с какой натугой он произнес это «ты»), ведь в письмах ты была настоящая.

— Ну конечно, настоящая! Мы еще просто не привыкли друг к другу. Яша, ты надолго приехал? Давай сядем вот здесь, у письменного стола. Ты видишь: над ним карта Каспия. Здесь я занимаюсь — у моря. Я должна бы Ветлугу вспоминать, а я мечтаю о море.

— Я приехал на курсы пилотов-аэронавтов. Получил письмо от Ивана Владимировича Турышева, я писал тебе о нем — ученый-климатолог и аэролог. Так он сообщает, что с весны откроют, наверное, институт Каспия. Несколько лет Иван Владимирович и Филипп Мальшет добивались открытия этого научно-исследовательского института. Понимаешь, чтобы решить проблему Каспия как можно скорее, все наблюдения должны быть сосредоточены в одном месте, а они по разным ведомствам. Ихтиологи для себя изучают, геологи для себя, океанологи и метеорологи для себя. В каком институте есть Каспийский отдел, а в каком — один кто-либо изучает Каспий на свой страх и риск. Это очень важно, ты даже не представляешь, как важно, чтоб был один центр по изучению Каспия — институт. Директором будет Филипп Мальшет, я тебе писал о нем. Он всю жизнь посвятил, Каспию. Он был тогда начальником экспедиции — ну, я тебе писал о всех наших приключениях. Филипп настоящий человек и настоящий ученый! Ты не представляешь, как мы с Лизой его уважаем! Ну, ты знаешь, я ведь писал. Так вот, Мальшет и Турышев хотят собрать в институте (если, конечно, в последний момент не раздумают его утвердить) таких людей, которые действительно увлекаются Каспием, а не просто деньги зарабатывают или ученые степени. Понимаешь? Ведь первое время будут всяческие неполадки, неустройство, а работать придется много.

В научной теории сейчас столько неизвестного... и все это требует самого скорейшего разрешения. Иначе проблема Каспия не будет решена. Пригласили Лизоньку в качестве метеоролога и меня как пилота. А пока время есть, я должен лучше изучить аэростатику и аэронавигацию. Вот почему я поступаю на курсы. Они уже работают, в Долгопрудном при Центральной аэрологической обсерватории, — мне придется приналечь на занятия. Там я буду жить эти четыре месяца. А Лизонька до открытия института пока остается в Бурунном на метеостанции.

— Яша! А где же будет этот научно-исследовательский институт Каспия? — сильно волнуясь, переспросила Марфенька.

— На Каспийском море, разумеется. Неподалеку от поселка Бурунного, рядом с нашей метеостанцией. Мальшет считает, что это самое подходящее место.

Яша оживился, светлые глаза его блеснули, он даже начал жестикулировать.

— Знаешь, какой институт будет? Свой корабль для океанологических изысканий! Капитаном приглашен Фома Шалый. Аэростаты для аэрологических наблюдений. Вот я буду пилотом на таком аэростате. Радиозонды, приборы всякие для изучения атмосферы и моря. Очень интересно будет там работать.

— Яша! — Марфенька даже сложила умоляюще руки. — Яша, и я хочу работать в этом институте! Неужели меня не примут? Хоть кем-нибудь. Я как раз кончаю весной школу. И я ведь парашютистка. Могу прыгать с аэростата, если понадобится. Не примут?

Яша вдруг густо покраснел, растерянно, со счастливым выражением на лице смотря на девушку.

— Ты бы поехала? Бросила Москву и... все это.

— О, я ведь деревенская, с Ветлуги, никогда я не чувствовала себя настоящей москвичкой. Тосковала по просторам. Оттого и парашютисткой стала. Ты думаешь, меня возьмут?

Яша с минутку сосредоточенно размышлял, на его прямом носу опять выступили капельки пота.

— Возьмут, — решил он. — Лаборанткой могут взять. В аэрологический отдел. Парашютистка ведь привыкла к высоте. Мы, Марфенька, будем вместе летать на воздушном шаре — Турышев, ты и я!

— Это слишком прекрасно, чтоб сбылось!

— Сбудется, вот увидишь! А знаешь, я мечтал об этом, но я боялся, что ты не пожелаешь. Конечно, решит Филипп Мальшет. Но он любит таких людей, как ты, — смелых спортсменов, которые не гонятся за удобствами в жизни. Знаешь что, Марфенька, я тебя с ним познакомлю!

Где-то далеко было море, которое Марфенька никогда не видела, оно мелело и иссыхало, на него надвигалась пустыня. Человек должен научиться управлять уровнем моря. Еще нигде на земном шаре не умели регулировать уровень целого моря. Цель была, что и говорить, великой!

И Марфенька решила принять участие в ее достижении. Марфенька родилась в счастливую эпоху, когда великие цели разбрасывались щедрыми пригоршнями — только подбирай. Она выбрала цель, на которую откликнулась ее душа. Выбор оказался не таким уж случайным. Отец был специалистом по Каспию: труды отца и других ученых, в том числе Турышева и Мальшета, лежали на полках в кабинете отца, и Марфенька не раз читала и перечитывала их. Она переписывалась с Яшей Ефремовым, письма которого были насыщены дыханием моря. И, наконец, было в ней самой что-то всегда готовое откликнуться на зов света, простора и благородное задание.

Работать в институте моря — это казалось ей высшим счастьем на земле! Христина, разумеется, поедет с ней, Марфенька ее не бросит никогда, по крайней мере до тех пор, пока она будет нуждаться в ее покровительстве и опеке. А вдруг институт не будет открыт — не утвердят? Какое разочарование постигнет их всех!

Насчет места лаборантки для Марфеньки вопрос был в принципе решен.

— Нам такие люди нужны, — сказал Мальшет, — пусть пока заканчивает школу.

Зима прошла в самой напряженной учебе — Марфенька с Яшей встречались редко. Все же в апреле Яша выбрал время — в субботу — и повел Марфеньку к

своим друзьям Турышевым.

Турышевы жили в новом доме на Ботанической, за гостиницей «Останкино». Двухкомнатная отдельная квартира, обставленная старомодно, оказалась такой уютной, что Марфенька пришла в восторг. В две комнатки было втиснуто столько вещей и столько людей, что можно было только удивляться, как они не сталкиваются и почему все же так мило и так уютно. Спальня служила Турышевым и рабочим кабинетом, а в столовой спали сестра Вассы Кузьминичны с семилетним сыном Колькой.

Все очень обрадовались Яше — видимо, здесь его очень любили, а с него частица любви была перенесена и на Марфеньку. Она поняла, что лишь от нее самой зависит, полюбят ли ее больше или будут разочарованы.

От Яши Марфенька знала, что пожилые супруги были женаты всего лишь два года и что именно экспедиция на Каспий и сблизила их навсегда. Обоим было за пятьдесят. Иван Владимирович, так много переживший в своей жизни, все же выглядел очень бодро. Высокий, подтянутый, с матово-смуглым лицом, почти без морщин, с черными пронизательными глазами и седыми волосами, гладко зачесанными назад. Никаких следов лысины!

Его жена Васса Кузьминична Бек, известный в ученых кругах ихтиолог, оказалась полной, живой, добродушной женщиной.

— Скоро придет Мальшет! — обрадовала она Яшу.— Ждем новостей. Он сегодня на приеме в Госплане.

— По поводу института? — сразу заволновался Яша.

— Нуда!

Все сели в столовой возле круглого стола. Сестра Вассы Кузьминичны, совсем на нее не похожая, но тоже очень понравившаяся Марфеньке («Наверное, с большим чувством юмора. Как у нее лукаво блеснули глаза, когда Яша представил: «Мой товарищ Марфенька!»), ушла с мальчиком к окну и разложила на табурете какую-то настольную игру — щелкали шарики, Колька смеялся, смеялась и мама. («Наверное, сели там, чтоб не мешать взрослым разговаривать».)

Иван Владимирович стал подробно расспрашивать Яшу о его занятиях на курсах аэронавтов. Потом вспомнили совместную экспедицию на Каспий, когда был открыт новый остров. Поинтересовались письмами Лизы. А затем оба супруга стали показывать молодым гостям разложенные на стеллаже реликвии Каспия: камни, раковины, бутылки с морской водой. Повеяло ветром дальних странствий. Одна из бутылок имела интересную историю. Ее носило по Каспию около ста лет, пока не выловили рыбаки и не отдали Ивану Владимировичу. В ней была записка штурмана с купеческого парохода «Тигр» (нелепое название!). Не успели дослушать историю о выловленной бутылке, как раздался резкий звонок: пришел Мальшет.

Все, кроме Марфеньки, вскочили со своих мест и бросились в переднюю.

Марфенька много слышала о молодом ученом. Читала его статьи в журналах «Знание — сила», «Техника — молодежи», в газетах, листала его труды в библиотеке отца. Очень любопытно было увидеть совсем близко, рядом, этого замечательного человека.

Мальшет оказался сильно не в духе. Густые рыжеватые волосы его были спутаны (видно, не причесывался целый день), зеленые глаза сверкали от еле сдерживаемого раздражения. Едва поздоровавшись общим поклоном, он сорвал с себя галстук и, бросив его в дальний угол комнаты, прямо на пол, быстро расстегнул ворот зеленой в полоску рубашки.

— Простите, Васса Кузьминична,— сказал он и, вытащив из кармана брюк

платок, вытер лицо и шею.— Ну и денек! Так бы и дал кое-кому в морду.

— Не утвердили? — вскричал Яша.

— Пока еще не отказали. «Надо подождать!» Вот бюрократы, черт бы их подрал! Видите ли, академик Оленев не находит целесообразным организацию специального института Каспия. Нашли с кем советоваться... Тоже мне — компетентное лицо! Ах ты черт! Пишет тридцатую книгу о Каспии, не выходя из кабинета. Компилятор проклятый! Чиновник от науки.

— Филипп!—ужаснулась Васса Кузьминична. Круглое доброе лицо ее покрылось красными пятнами.— Филипп Михайлович, познакомься, пожалуйста,— Марфенька Оленева!

— Марфенька? Это которая парашютистка? — Он живо повернулся к мучительно покрасневшей Марфеньке и, схватив ее руку, крепко сжал обеими руками.— Слышал, слышал о тебе от Яши. Так вот, этот кретин Оленев находит, что никакой проблемы Каспия не существует в природе. Зачем регулировать море, если за последние два года уровень поднялся на два сантиметра...

— Филипп! — твердо перебила его Васса Кузьминична.— Марфенька — дочь Евгения Петровича Оленева!

— Что? А! Гм! Что ж ты, Яшка...

До Мальшета наконец дошло, кто такая эта парашютистка, и он тоже сконфузился, как-то совсем по-детски. И сразу стало видно, что он еще очень молод.

Марфенька готова была сквозь землю провалиться. «Хоть бы не заплакать, вот будет позор! — с отчаянием подумала она.— О, какой стыд! И это все правда. Папа, вместо Каспия, путешествует вокруг Европы».

— Не понимаю, как же вы просились в этот самый институт? — обратился к ней Мальшет. Лицо его было холодно и неприязненно.

«Неужели теперь меня не примут?»

— Я еще не говорила с папой о своей мечте,— сказала Марфенька, изо всех сил стараясь не показать своей обиды.— Он не предполагает даже... Хотите, я попробую уговорить его? — Она окончательно смешалась. «Ох, как нехорошо: очень ему нужно, чтоб я еще просила!» — Вы лучше приходите к нам домой и как следует поговорите с отцом. Я скажу вам, когда он будет дома. И... он ведь... он в молодости много ездил по Каспию. Я видела его снимки... А сейчас он старый... — «Оправдываю! О, какая я дура! Турышев ведь еще старше, а участвует в экспедиции. И теперь уедет из Москвы, если откроют институт. О, я никудышная!»

— Давайте, друзья, пить чай. Колька давно уже проголодался,— раздался, словно издали, голос сестры Вассы Кузьминичны.

Для Марфеньки вечер был, конечно, испорчен, и, когда она после чая, который еле смогла проглотить, стала объяснять, что ей еще надо учить уроки, никто ее не удерживал.

Кое-как попрощавшись, она вышла вместе с расстроенным Яшей. Но ей хотелось побыть одной.

— Яшенька, очень прошу тебя, не провожай! Я поеду троллейбусом. Ну, иди! Лучше вернись к Турышевым, посиди еще. До свидания. Нет, нет! — Она вырвала руку и бросилась в отходивший троллейбус.

Остановку свою Марфенька не заметила — проехала до конечной и вышла где-то на окраине Москвы. Она долго ходила по засаженным деревьями улицам. Днем текла вода, ночью подморозило, и сделался гололед — прохожие спотыкались, скользили, чертыхались, а Марфенька даже не заметила, что

скользко.

«Вот какого мнения люди о папе! Чиновник от науки.

Компилятор. Такой, как Мальшет, зря не обзовет. Ох, какой же позор! Какой ужас! А бабушка Анюта сказала: эгоист, только себя понимает. Это она об обоих так сказала — и о папе, и о маме. Она их хорошо знала. Конечно, эгоист! Ему все равно, как там жила Марфенька в Рождественском. Может, и плохо, он ведь не знал. И ему безразлично, будет ли открыт институт Каспия. Что ему Каспий? Он считается лучшим знатоком Каспийского моря, потому что академик знает все, что о море написано. Компилатор! О! Он и не хочет совсем, чтоб другие ученые изучали море прямо на месте: они ведь тогда обгонят его! Яша говорил, что, когда утверждали план работ, не утвердили несколько каспийских тем. Как будто это не нужно! Когда государство терпит убытки в миллиарды рублей... Оттого что есть такие, как мой отец. Папа, папа!..»

У Марфеньки сердце разрывалось на части, потому что она уже любила отца, какой он есть. Ведь это был ее родной отец! И она его любила.

Долго-долго бродила по улицам, пока не наткнулась на вход в метро,— тогда поехала домой. Было за полночь, когда она подходила к дому. У подъезда неподвижно стояла продрогшая Христина в пальто и платке. Она ее ждала. Ждала, как та мать, про которую рассказывала когда-то белобрысая девушка. Как ей тогда она завидовала!

Марфенька бросилась к Христине и без стеснения горько заплакала: при ней не совестно. .

Глава восьмая

О СЕБЕ

(Дневник Мирры Львовой)

Вчера в институтской библиотеке я подслушала разговор двух «научных кумушек». Они обсуждали несостоявшийся брак Филиппа Мальшета и «этой Мирры». Вот их диалог:

— Я всегда поражалась, как это мог такой умный и талантливый ученый, как Филипп Михайлович, ухаживать за этой Миррой. Неужели он не видел, что она собой представляет? Все в институте просто недоумевали.

— Видите ли, Мирра Павловна красива, остроумна, одевается со вкусом — в этом ей не откажешь. Не первый случай, когда умный мужчина попадает на удочку модной куклы. Но свадьба не состоится, это уже все знают.

— Да, но... ведь это она его бросила.

— Этого не может быть!

— Именно — она! Я своими ушами слышала, как директор сказал: «В конце концов это к счастью, что Мирра Павловна его бросила. Филипп Михайлович не был бы с нею счастлив. Он человек совершенно другого склада, другого отношения к жизни». И еще сказал: «Львова — самоуверенная карьеристка! Она умна, способна и далеко пойдет, но ум у нее развился за счет ее чувств».

Ну что ж... все одно к одному. Однажды Филипп мне сказал: «Меня огорчает чрезмерная рациональность, техничность твоего мышления».

Он этого не замечал, пока не встретил Лизу Ефремову. Рядом с нею я,

вероятно, показалась ему каким-то моральным уродом. А ведь во всем остальном — кроме области чувств — она ничтожество передо мною. Что ж... *Beati Possidentes!* (Счастливы обладающие!)

Пожалуй, они и правы в своей оценке. Но ведь страдательным лицом являюсь я. Я не могу быть другой. Даже если бы захотела. Но я не хочу.

Да, я уверена в себе. Я из породы карьеристов. Я знаю, что я далеко пойду. А почему бы нет? Я умею работать, и я действительно умна и способна. К тому же мне дали прекрасное образование, я знаю четыре языка, это облегчает дело.

В школе я была первой ученицей. Филиппу случалось схватывать и тройки и двойки. (Мы учились в одном классе, сидели на одной парте.)

В университете от первого курса до последнего я шла круглой отличницей. В аспирантуре, несмотря на то что была всех моложе, я выделялась как познаниями, так и умением находить научные идеи. Каждая моя статья в научных журналах привлекала внимание ученых.

Если я с данными мне от природы способностями и умом, с умением работать могу свободно достичь степени доктора биологических наук и — в более отдаленном будущем — стать академиком, то непонятно, почему я не должна этого добиваться. Тем более, что я до страсти увлекаюсь биологией моря. Почему я должна лицемерить и скромничать, показывая, что я не уверена в себе? Как эти жалкие дуры, что сплетничали обо мне в библиотеке. Им скромность к лицу, потому что выше степени кандидата наук ни одна из них не подымеется.

Мне безразлично их мнение, а также мнение директора института. Он-то далеко не пошел в науке, ему только и остается администрировать.

Дело не в этом. Совсем в другом.

Почему мне тяжело? Откуда вдруг неудовлетворенность и грызущее чувство тоски?

Мирра Павловна, ты ли это? Дошла до лирических излияний в дневнике? Никогда я не вела никаких дневников, даже письма (кроме деловых) не любитель писать.

Что же меня заставило теперь обратиться самой к себе?

Нужно разобраться. Расстраивать нервную систему по пустякам я не желаю.

Может, причина в моем разрыве с Филиппом? Филиппа оставила я, хотя этого и не «может быть».

Не совершила ли я роковую ошибку, сначала порвав с ним, а затем оттолкнув его навсегда своей статьей в «Экономической газете», где я издевалась над самыми дорогими его идеями. Над его мечтой... Этого он не простит мне никогда! Он бы простил и понял личное мнение, не согласное с ним, но не этот издевательский тон. После моей статьи вряд ли в Госплане отнесутся серьезно к его проекту.

Не знаю, как я могла это сделать... Но я была страшно озлоблена и расстроена.

Как это все получилось? Ведь дороже Филиппа нет для меня ни одного человека на всей земле.

Начну издалека. У меня никогда не было подруги. Я всегда слишком чувствовала свое превосходство, и, в лучшем случае, я лишь позволяю себя любить.

В детстве я была привязана только к своему отцу.

Это ужасно, но я презирала свою мать. Она была такая приниженная, робкая, так заискивала перед отцом и даже передо мной. Он совершенно подавил ее волю, ее достоинство, самостоятельную мысль.

Мать работала когда-то лаборанткой вместе с отцом. Она была красивой — в

нежных акварельных тонах, ей очень шли кружева, хотя это было и немодно. Он женился на ней — и вот во что превратил. Она не могла отстоять себя, она умела только любить всей душой — мужа и детей.

Отец умел заставить нас всех уважать его и восхищаться им. Он был высшим авторитетом для семьи, только не для Глеба — тот бунтовал. Я была любимицей отца. Он поставил меня наравне с собой. Мать он третировал, я тоже стала относиться к ней свысока.

Самое ужасное, что я не подозревала, как я люблю ее, как она мне нужна и как я убиваю ее своим обращением. Мы с отцом загнали ее в могилу. У нее развился рак. Она очень быстро умерла — и с болезнью не умела бороться. И тогда я поняла, как она была мне необходима. Не услуги ее, не забота, а сама она, материнское тепло, которое она излучала так щедро.

Мачеха вошла в дом на десятый день после похорон — неприлично скоро. Она была у него наготове — красивая, сильная рыбачка с Каспия. Мачеху он поработил, как и первую жену, хотя Аграфена другой «конструкции» и ее требовалось снова и снова умирять, как тигрицу в цирке. Отец с этим справился. С чем она никогда не могла до конца примириться, — это мое первенствующее положение в семье. Мне — лучшая комната, лучшие туалеты, мое желание — закон для отца. Он очень считался со мной. Любил меня, насколько он был способен любить. Мы гордились друг другом.

Мне было шестнадцать лет, когда я узнала, что мой отец — клеветник и подлец. Странно, что я, преклоняясь перед отцом, все же сразу этому поверила. Я всегда смутно чувствовала в нем что-то такое, что давало основание ожидать от него любого. Позднее, когда я, уже взрослая, говорила с ним по этому поводу, он не отрицал.

— Тогда нельзя было иначе, — цинично объяснил он.

«Другие же не клеветали!» хотела возразить я, но почувствовала вдруг отвращение к разговору на эту тему.

С братом у нас никогда не было близости. Он меня не любил, как и отца.

Я была отчаянно одинока к началу моей дружбы с Филиппом. Говорят, противоположности сходятся. Мы и были такие разные по характеру, по взглядам, общим у нас было только увлечение наукой. Мы целые дни проводили вместе. Так продолжалось и в университете. Мы учились на разных факультетах, но встречались сразу после лекций и вместе шли обедать — к нам или к нему. Его мать одобряла эту дружбу: я ей импонировала. Как говорят в таких случаях: дружба перешла в любовь. Филипп любил меня — и я любила его.

Я не умею проявлять свои чувства, не умею быть ласковой, нежной. Что-то меня всегда сковывает: боязнь показаться смешной, сентиментальной или что-то другое, в чем я сама не разберусь. Я никогда не могла приласкать ребенка. Когда с детьми начинают сюсюкать, меня охватывает отвращение. Может, я действительно какой-то душевный урод, аномалия среди людей простосердечных и... недалеких?

Без Филиппа я не могу быть счастлива! Кроме того, Филипп принимал меня такой, какая я есть. Всем я внушала антипатию, а ему — любовь.

Не всем, конечно, антипатию: пожилые ученые (мужчины) относились ко мне очень хорошо — это без учета моего женского очарования, просто им нравился склад моего ума, эрудиция, смелость мысли. У меня есть несколько настоящих, преданных друзей среди членов академии. Вообще с пожилыми я себя чувствую легче и естественнее, чем с молодежью. За исключением опять-таки Филиппа. Если бы не эти брат и сестра Ефремовы из глухого закаспийского поселка. Это

они встали между нами.

Но как это могло случиться? Как я допустила?

Деревенские мальчишка и девчонка, только что окончившие десятилетку... Их отец—линейщик. Совсем из простой семьи!.. Читать они любят. Увлечлись проектом Мальшета. Это его подкупило. Он много мне о них рассказывал.

А потом — совещание в Астрахани по проблеме Каспия. Мы с отцом вынуждены были поехать...

Это произошло в театре, где проходило совещание, во время перерыва. В фойе было довольно много народу.

Достаточно много, чтоб об этом происшествии стало известно на другой день всей Москве.

Отец узнал в лице Ефремовой свою ученицу по курсам наблюдателей-метеорологов и протянул ей руку. А Яша Ефремов бросился и загородил сестру, будто ей угрожал укус скорпиона. Он явно испугался, что сестра осквернит себя этим прикосновением.

Я сразу поняла, в чем дело. Ведь они жили тогда с Турышевым на одной метеостанции. И отец знал об этом. Не мог же он думать, что Турышев будет скрывать, что его оклеветали и кто именно клеветник. Чего ради? Достаточно, что он не привлекал своего врага к ответственности.

Отец тоже все сразу понял, но не таков у него был характер, чтоб отступить и смолчать. Он снисходительно осведомился о причине Яшиного поступка, и парень ответил со всем простодушием дикаря: «Потому что вы... подлец, я знаю!»

Турышев стоял здесь же с непроницаемым лицом, и его будущая жена Васса Кузьминична Бек, и корреспондент центральной газеты — все, все!

Кто-то из женщин громко вскрикнул. Кто-то ахнул. Никто не засмеялся. А отец... Он предпочел обратить все в шутку. Он сказал: «Да ты, брат, комик!» — и как ни в чем не бывало прошествовал со своей свитой в театральный буфет.

У меня потемнело в глазах, затошнило.

— Я думаю, тебе лучше ехать в гостиницу! — сумрачно сказал Мальшет. Он вызвал для меня такси. Сажая в машину, он поцеловал меня в щеку.

— Ты здесь ни при чем! — шепнул он. Кому — мне или себе?

Ночью у нас с отцом произошел крупный разговор. Я требовала, чтоб он привлек наглеца к ответственности, отец презрительно фыркнул:

— Львов подаст в суд на школьника? Какой абсурд!

— Пусть его хоть исключают из школы.

— Его не исключают! — с расстановкой произнес отец.— Он будет со всем пылом семнадцати лет доказывать, что я подлец...

Так мы и уехали с пощечиной. В институте состоялось заседание партийного бюро, где обсуждался вопрос: «Как относиться к клеветнику Львову?» Думаю, что были бы последствия, если бы отец не заболел. Рак списал со счета все.

Когда я уезжала в экспедицию, отец еще не знал, что у него рак, никто не знал. С каспийской экспедицией у меня было связано столько планов, надежд. Я не могла от нее отказаться, тогда пропала бы моя диссертация. И... я хотела быть рядом с Филиппом.

Он был начальником экспедиции, он подбирал научный и рабочий состав группы. И вот ее участники: Турышев, Васса Бек, брат и сестра Ефремовы, Фома Шалый, я и сам Мальшет. Если еще учесть, что этот Фома — сын моей мачехи, которую Львов, отец мой, когда-то отбил у его отца, то «подбор кадров» более чем странен.

Я потребовала у Филиппа объяснений, он их дал. Турышева и Вассу

Кузьминичну Бек назначил директор Океанологического института. Но рабочих подбирал он сам, и я потребовала их отстранения.

Филипп отказал наотрез: он обещал взять их с собой еще несколько лет назад, они сжились с мечтой об экспедиции, и нарушить данное слово невозможно. Он предложил мне «не заниматься всякой ерундой».

Мне надо было сразу отказаться от участия в экспедиции, а я почему-то проявила упорство.

Эти несколько месяцев были для меня сплошной мукой. Пыткой... О, как я их всех ненавидела!

К тому же эта непрерывная качка. Филипп арендовал жалкое промысловое суденышко. «Альбатроса» подбрасывало, как арбузную корку. Меня непрерывно мучило. Просто не понимаю, как я могла выполнять свою работу! Но я бы скорее умерла, чем сдалась. Я собрала богатый материал для диссертации и, главное, убедилась в правильности некоторых своих предположений насчет специфики каспийского планктона.

Только телеграмма мачехи, извещавшая об агонии отца, заставила меня покинуть Каспий.

Я уехала с чувством обиды и досады на Филиппа. То, что он так привязался к Яше, публично оскорбившему моего отца (пусть это правда — дело от этого не меняется), и его сестре, я приняла как личное оскорбление.

И я не могла простить ему. А потом смерть отца.

Как он умирал!.. Самый лютейший фашист не сумел бы придумать такой муки. И находятся же слабоумные, верящие в милосердие всемогущего бога! Моя мачеха, например, которая последнее время явно ударилась в религию и чуть ли не ежедневно ездит в Загорск на богослужение.

В тот день, когда я писала злополучную статью, мне казалось, что я ненавижу Мальшета. К тому же я действительно считаю и — он это знал — всегда считала его проект не выдерживающим серьезной научной критики.

Так я потеряла Филиппа.

Мне двадцать шесть лет, и я совсем одна. Возможно, мне пора замуж. Выходить замуж без любви? Например, за академика Оленева, который время от времени делает мне предложение руки и сердца. Он красив, молодо выглядит, рыцарски относится к женщине. Давно уже разведен с женой. Правда, у него взрослая дочь... На днях он познакомил нас. Марфенька смотрела на меня не особенно ласково, но без неприязни. Не знаю почему, но она мне очень понравилась. Я так измучена, а у нее такое доброе лицо и задушевная, совершенно искренняя манера говорить. Она освежает, словно ветерок с лугов. Должно быть, приятно иметь дома такую дочку. Она, наверное, ласковая и заботится о нем.

У меня вряд ли будут когда-нибудь дети. Зачем они научному работнику? Только будут мешать трудиться над очередной диссертацией... И замуж я вряд ли выйду. В помощи и защите мужчин я не нуждаюсь. Я всегда могу заработать достаточно денег и защитить себя не хуже любого мужчины. Я сильная.

У меня лишь одна слабость, о которой никто не догадывается: я всегда буду тосковать неизвестно о чем, скрывая это от людей. И *Faire bonne mine a mauvoes liv.* (Делать веселое лицо при плохой игре.)

Глава девятая

АЭРОНАВТЫ

И все же научно-исследовательский институт Каспия был создан, когда уже почти потеряли надежду. Собственно, не институт, а обсерватория — Марфенька плохо разбиралась, в чем тут разница.

Она спала крепчайшим утренним сном — в открытое настежь окно вливался холодный, как лед, воздух, на рассвете был заморозок,— когда Христина разбудила ее: вызывал по телефону Яша.

Марфенька босиком, в длинной ночной сорочке перебежала в отцов кабинет и со страхом схватила трубку. Глаза ее все еще невольно закрывались. Христина, давно уже умытая и причесанная, стояла рядом.

— Яша, это ты? Что-нибудь случилось?

— Да, случилась наконец большая радость! Марфенька, вчера был уже подписан документ. Я сам узнал только сейчас. Понимаешь? Будет Каспийская климатологическая обсерватория. Долгосрочные прогнозы — вот что интересует Академию наук. Мальшет назначен директором обсерватории. Он сказал: плевать, как она называется, будем делать, что нужно. Это очень важное событие, Марфенька. Где мы можем встретиться? Как это когда? Сейчас, разумеется. Вместе пойдем к Мальшету. А вечером соберемся все у Турышевых, они тебя звали. Будет шампанское, тосты и что-то вроде собрания. Помещения ведь пока у обсерватории никакого нет.

Это было утро десятого мая. Директор вновь рожденной обсерватории Филипп Михайлович Мальшет подобрал штат сотрудников — в него вошла и лаборант Марфа Оленева — и уехал на Каспийское море выбирать место, где будет строиться здание обсерватории. Кроме того, он собирался снять в аренду какое-нибудь помещение, где временно разместятся научные отделы. Необходимо было срочно приобрести судно для морских наблюдений, доставить аэростаты, приборы, всяческий инвентарь. Работы было для всех, что называется, невпроворот, тем более что неистовый директор требовал немедленного начала научных наблюдений — это помимо всяких организационных дел. Научные сотрудники пока помещались в небольшой комнате при Центральной аэрологической обсерватории и в квартире Мальшета на Котельнической набережной.

Марфенька разрывалась на части — экзамены и работа, хотя Турышев прогонял ее: «Идите занимайтесь!» Но Марфенька уже тяготилась школой. Ей не терпелось приступить к настоящей работе.

Если бы не предыдущая подготовка, Марфенька ни за что бы не выдержала экзаменов. Все же рухнули и золотая и серебряная медали: в таблице оказались четверки, и Евгений Петрович был недоволен.

Предстоящий отъезд дочери на Каспий и то, что она забирала с собой Христину, которой Мальшет обещал работу в баллонном цехе, тоже раздражало профессора.

Из Христины вышла просто идеальная домработница. Ее глубокая религиозность не только не мешала, как он опасался, а наоборот, именно это обстоятельство и делало ее такой удобной, незаменимой прислугой.

Марфенькина взбалмошность грозила профессору большими неудобствами. Уж если ей непременно хочется до университета поработать, он бы прекрасно мог

ее устроить и у себя в институте. С этой Каспийской обсерваторией она совсем голову потеряла. Напрасно он согласился им помочь, когда они хлопотали об утверждении, но ему крайне необходимы кое-какие данные по физике моря, еще никем не изученные, а Мальшет обещал вклинить его тему в план работы. Можно будет тогда откомандировать на Каспий Глеба. На этого молодого человека можно положиться: умеет работать, умен, настойчив. Сестра вправе им гордиться.

У Марфеньки было готово к выпускному вечеру изумительное бальное платье, но Турышев, ничего не подозревая, назначил на этот день полет на аэростате. Лететь должны были трое: сам Иван Владимирович, пилот Яша Ефремов и лаборант Оленева.

Конечно, Марфенька скрыла о выпускном вечере и, успокоив, насколько сумела, Христину — та просто заболела при каждом полете Марфеньки, — отправилась с утра в Долгопрудное.

Аэростат, уже наполненный водородом, покачивался над заросшей травой стартовой площадкой. Спешно заканчивались приготовления к двадцатичасовому полету. Марфенька сама проверила укладку парашютов (кто знает, вдруг придется прыгать!). Турышев хлопотал возле приборов, прикрепленных с наружной стороны гондолы. Яша в комбинезоне и шлеме совещался о чем-то с заслуженным мастером спорта Сильвестровым, своим учителем на курсах. Это был известный рекордсмен-воздухоплаватель. Они уже совершили с ним вдвоем за эту весну несколько полетов. Сильвестров последнее время не вмешивался в управление, предоставляя Яше полную самостоятельность. Яша вылетал и один — на шаре-прыгуне. Но впервые он будет пилотировать в присутствии Марфеньки и Ивана Владимировича, отвечать за их жизнь...

Яша, видимо, волновался: на носу выступили капельки пота, а светло-серые глаза казались еще светлее. Или это он загорел так за весну, оттого особенно выделялись светлые большие глаза? Не без волнения Марфенька, тоже одетая в комбинезон и кожаный шлем, забралась в сплетенную из прутьев ивы четырехугольную корзину высотой ровно в один метр.

Юго-восточный ветер шумел в туго натянутых стропах, словно пытаясь развязать и утащить с собой аэростат — не казался ли он ему огромным футбольным мячом?

Поскрипывание, шелест, протяжные вздохи, хлопанье материи напоминали о море, словно совсем рядом бились тяжелые огромные волны. Яша попросил Марфеньку проверить балласт. И пока она пересчитывала мешки с песком, привешенные снаружи корзины, он еще раз осмотрел навигационные приборы и наконец подписал документ о приемке аэростата.

Прозвучал веселый голос стартера:

— Выдернуть поясные!

Продетые в особые петли на оболочке шара веревки упали на землю. Сильно раскачиваясь, корзина оторвалась от земли. И мгновенно стало так тихо, как будто ветер прекратился — полный шпиль, аэростат поднимался вверх.

Далеко внизу мелькнула взлетная площадка с кучкой людей: они всё не расходились, но уже стали крошечные, как на картинке. Марфенька с восторгом помахала рукой и что-то крикнула, тут же забыв что: так велика была ее радость.

Особенность этого полета была в том, что экипаж аэростата — все трое — чувствовал себя необыкновенно счастливым.

Счастливых на свете гораздо больше, чем это принято думать, но в большинстве случаев люди этого не осознают: мешают мелкие бытовые неполадки. Лишь утерев счастье, начинают с завистью к своему прошлому

вспоминать, как они были счастливы. Мудрый Андерсен это прекрасно выразил в своей философской сказке о елочке.

И только в редкие моменты, когда неожиданно сбываются мечты, человек всей душой отдается ощущению счастья, не замечая уже тогда никаких помех. Вот как раз такой момент переживал каждый из трех героев этой повести.

Турышев был счастлив потому, что он имел возможность работать в полную меру своих способностей и сил. Он, как ребенок, радовался, что мог ставить любые опыты для проверки своих теоретических предположений, созревших и выношенных в прежние годы, когда он этой возможности не имел. В его распоряжении был аэростат, аэронавигационные и научные приборы, работающие безотказно, специально обученный пилот, послушная, старательная лаборантка.

А на Каспийском море его друг и ученик Филипп Мальшет был занят организацией обсерватории, где будут подробно разрабатываться научные проблемы, выношенные Турышевым.

Наблюдая за работой приборов, Иван Владимирович даже напевал что-то под сурдинку, кажется арию из «Бориса Годунова».

Счастье Яши в тот памятный день, когда ничего не произошло и произошло очень многое, можно передать одним словом: Марфенька. Он и жил теперь для нее, и работал для нее, и радовался миру, потому что в нем было такое чудо — Марфенька. И она была с ним, рядом.

Марфенькины чувства были сложнее: радость полета на воздушном шаре, восторженное ощущение высоты, тишины, близости неба и облаков, горделивое сознание, что она, школьница, участвует в полете, наравне со всеми исполняя определенную ответственную часть работы, удовольствие находиться в обществе таких замечательных людей, как Яша Ефремов и Иван Владимирович, и предчувствие любви — еще не осознанной, но уже надвигающейся, близкой и великолепной, как майская гроза. Румянец не сходил с ее щек, глаза блестели от восторга. Вот бы ее видели школьные учителя, которые считали ее такой спокойной и уравновешенной, чуть ли не флегматичной!

Яша вел аэростат на высоте пятисот метров. Каким огромным был горизонт, как сверкали на солнце леса, луга и села Подмосковья, какой глубокой и прозрачной была синева безоблачного мира! Воздушный шар, серебристый и легкий, несший на шестнадцати веревочных стропах их корзину, казался Марфеньке гигантским: он закрывал полнеба. Наверное, на таком в точности аэростате пересекли океан пятеро отважных беглецов: Сайрес Смит, Геден Спилет, Наб, добрый моряк Пенкроф и юный Харберт. Сознать, что ты уподобился героям Жюль Верна, было чудесно!

Марфенька аккуратно, округлым детским почерком записывала показания автоматического счетчика. Яша каждые полчаса делал записи в бортовом журнале. К вечеру аэростат снизился, внизу плыли — совсем близко — огромные пологие холмы, упирающиеся в край неба, зеленые хлеба, светлые речки среди нескошенных трав, затерянные в равнинах деревеньки, словно нанесенные на кальку планы.

— Прыгнуть бы сейчас на парашюте и приземлиться вон на том лужке! — воскликнула Марфенька.

Незаметно наступала безлунная ночь. Яша включил бортовой огонь. В темнеющем небе замерцали созвездия. Явственнее тикал часовой механизм, поворачивающий барабан барографа, солидно постукивали авиационные часы.

Яша давал почти полную свободу аэростату, и он то снижался до высоты трехсот метров, то постепенно поднимался опять — он дрейфовал: Турышева

интересовали струйные течения в атмосфере — дорога ветра.

Поздно ночью Иван Владимирович решил немного отдохнуть. Марфенька устроила ему прямо на дне корзины сиденье из пустых балластных мешков. Прислонившись спиной к борту, Турышев со вздохом облегчения устроился подремать. Яша и Марфенька сели рядышком на сложенные парашюты.

— Как хорошо! Правда? — тихонько спросила Марфенька.

— Очень!—вздыхнул от полноты счастья Яша.— Ты счастлива?

— Еще бы!

Они умолкли, словно к чему-то прислушиваясь.

Аэростат теперь плыл над лесами. Отчетливо доносился сюда гул сосен, то нарастающий, то затихающий: шумел ветер, тот, что нес с собой аэростат. Слышался плеск скрытой в ночном сумраке реки. Лаяла собака.

Мелькали огоньки засыпающей деревеньки, быстро скользил по невидимой дороге двойной огонек фар, и грохот машины ненадолго заглушал глухой шум леса... А потом откуда-то — совсем издалека — донесся одинокий гудок паровоза. Когда они пролетали над каким-то полуосвещенным селом, явственно донесся молодой голос: «Настенька, ты придешь завтра в клуб?» И веселый смех неведомой Настеньки. А потом снова без конца пошел темный лес, кричали ночные птицы.

— Как слышно! — прошептала Марфенька.

— Голоса Земли,— задумчиво проговорил Яша.

— Как ты хорошо сказал, я никогда не забуду: «голоса Земли»!..

Марфенька теперь стояла, держась за стропы, высокая и стройная, в таком же комбинезоне и шлеме, как и мужчины. Она вдруг почувствовала, как до слез, до боли любит эту родную огромную и прекрасную Землю. Она вдохнула глубоко, всей грудью, свежий, напоенный лесными запахами воздух. «Неужели есть люди,— вдруг подумала Марфенька,— которые могут не любить своей планеты? Загрязняют ее чистую воду и атмосферу, заражают радиоактивностью, такие люди, которым даже не жалко погубить Землю? И они не хотят прислушаться к разумным и добрым голосам, не хотят ничего знать в своей озлобленности. Они предпочтут погибнуть сами и погубить все, что живет на планете, лишь бы не было никогда коммунизма. Только потому, что они имеют собственность, с которой не в силах расстаться, и права, захваченные жестоко и несправедливо.

Земля, полная схваток, борьбы, криков о помощи, гнева и слез... Стоит взять любой номер газеты. Даже читать не хочется, но ведь надо, не отвернешься от того, что есть. И забыть нельзя. Какое же имеешь право? Хотя, когда очень счастлив, так не хочется об этом думать!»

— О чем ты, Марфенька? — спросил Яша.

Марфеньке ужасно захотелось поделиться своими мыслями, но она чего-то застыдилась. («Еще подумает: вот громкие слова!») А что она сделала? Пока ничего!

Аэростат чересчур снизился, и Яша, взяв совок, отсыпал немного балластного песку. Разговор прекратился надолго. Марфенька примостилась рядом с ученым. Ночь навевала дремоту. Фосфорически светились во мраке стрелки приборов. Звезды разгорались все ярче — огромные и косматые. Потом стали медленно блекнуть. Сонный Яша, с чуть припухшими веками, при свете фонарика отмечал карандашом по карте пройденные ориентиры. Перед рассветом напала непреодолимая дремота. Все трое с облегчением встретили утро. От горизонта до горизонта качался лес. Светлой тропой мелькала река. Над ней колыхался утренний клочковатый туман.

— Ветлуга,— сказал Яша.

Марфенька вскрикнула и ужасно заволновалась:

— Где-то в этих местах мы жили!.. Бабушка Анюта и я. А не знаешь, какой район?

Яша не знал.

— А нельзя здесь приземлиться?

— Можно,— сказал Турышев. Он поплотнее укутал горло шерстяным шарфом.— Чертовски холодно!—пробормотал ученый.

Яша с хрустом потягивался.

— Можно умыться,— сказал он,— воды достаточно. Марфеньке было не до умывания, она чуть не выпала за борт: так перевешивалась из корзины, разглядывая родные места.

Приземлились двумя часами спустя на берегу Ветлуги, неподалеку от города Шарья. До Рождественского было далеко.

Колхозники помогли им упаковать оболочку аэростата и доставить ее до станции. Первым поездом аэронавты возвратились в Москву. И на этой же неделе выехали на Каспий.

УТРОМ

Глава первая

ВЫСАДКА НА ПЕСЧАНОМ МЫСУ

«Альбатрос» остановился далеко от берега: ближе не подойти — мель. Свежеосмоленная лодка с надписью на борту «Лиза» подошла к судну, и на нее погрузили ящики с приборами и стеклянной лабораторной посудой, чемоданы, перевязанные шпагатом, пачки книг, чертежные доски, штативы. «Лиза» прокурсировала взад и вперед много раз, пока Мальшет разрешил перевезти и сотрудников. Капитан океанологического судна «Альбатрос» Фома Шалый, высокий, плечистый, красивый парень, всю дорогу от Астрахани до Бурунного, посмеиваясь, разглядывал москвичей. Особенно бесцеремонно изучал он Марфеньку. Она ему явно понравилась, о чем он и сообщил зычным шепотом покрасневшему Яше.

«Лиза» с разбегу уткнулась в песок, и приезжие высадились на влажном от морских брызг пустынном мысу.

Берег был дик и безлюден — море и дюны. Неподалеку стоял единственный длинный каменный одноэтажный дом, обомшелый от времени, а рядом — метеорологическая площадка. Вот и все.

Оробевшая Христина в плаще и шерстяной зеленой косынке, завязанной под подбородком, втихомолку перекрестилась. Она никогда не видела ни моря, ни пустыни, и ей казалось, что их привезли куда-то на край света. Правда, рядом была Марфенька, а с ней она ничего не боялась и готова была на все испытания.

Два молодых научных работника, оба в синих беретах и с фотоаппаратами через плечо, сразу стали восторгаться ландшафтом, а потом увековечили высадку снимком сотрудников обсерватории — для будущего музея. Одного из них звали Валерий Дмитриевич, другого — Вадим Петрович, с очень странной фамилией — Праведников. Тоненькая, длинноногая девушка в сером, в поперечную полосочку платье с кожаным пояском, очень похожая на пилота Яшу Ефремова, с такими же необычно светлыми серыми глазами, крепко расцеловала растроганную Вассу Кузьминичну и Ивана Владимировича. Затем подошла к Марфеньке.

— Вот вы какая!.. — удивилась она. — Я почему-то представляла вас совсем другой. Ведь вы — Марфенька?

— Марфа Оленева, — почему-то сухо представилась Марфенька. Сердце ее усиленно забило. Ей столько расхваливали Лизу, что теперь она смутилась и скрыла смущение за напускной холодностью.

— А я Лиза Ефремова...

Девушки сдержанно обменялись рукопожатием.

Яша стоял рядом и внутренне ахнул: неужели не понравились друг другу?



— Не расстраивайся! — шепнул ему на ухо Фома, когда девушки тут же разошлись в разные стороны. — Бабы — они всегда так! Просто обе ревнуют тебя: Лизонька привыкла, что ты ее одну любишь. А теперь, как ни говори, сестра будет на втором плане.

Фома был доволен. Плохо, когда девушка, кроме брата, никого не видит вокруг. Может, теперь полюбует. Эх, Лиза, Лиза!

— Товарищи, прошу за мной! — громко позвал Мальшет. Он привел своих сотрудников к склону большого песчаного холма.

— Здесь будет стоять Каспийская климатологическая обсерватория! — торжественно провозгласил он.

— Это вот — аэрологический отдел, — Филипп показал на чисто обструганные колышки, воткнутые в землю, — а там поместятся океанологи. Рядом — библиотека. В левом крыле — физика моря. Посредине высится наблюдательная башня. Рядом — жилые корпуса... Посмотрите, какие чудесные трехкомнатные и двухкомнатные квартиры! Можно провести морскую воду и принимать зимой укрепляющие ванны — будешь здоровым, как тюлень.

Филипп еще долго показывал всем обсерваторию. Ветер гнал по земле, словно снежную поземку, песок — слегка буранило.

— А где мы будем спать... сегодня? — почему-то заикаясь, спросил Вадим

Петрович.

— Сегодня? Так мы же привезли палатки. Надо установить их!

Палатки устанавливали дотемна. Марфеньке и Христине досталась крошечная двухместная палатка. Раскладушек им не хватило. Яша принес два ватных матраца, шерстяные одеяла и простыни. Осведомился, есть ли у них что покушать, и тут же убежал. Христина постелила прямо на песке.

— Здесь не водятся сколопендры? — шутливо спросила она.

— Не знаю,— коротко бросила Марфенька. Она почему-то чувствовала себя одинокой, ей было грустно и не хотелось разговаривать. Сделала вид, что уснула сразу.

Марфенька лежала и прислушивалась к необычным звукам: шуму волн, шуршанию песка, передвижаемого ветром.

Ветер насвистывал так уныло, как это только ветер умеет, и хлопал концом палатки. На простыне уже хрустел песок. Марфеньке становилось все грустнее.

«В сущности, я совсем, совсем одна,— думала девушка.— Христина... кто она и почему со мной? Ведь это просто случай, что я тогда подошла к ней. Что-то в ней было щемящее душу... Ее незащищенность в жизни. Если бы не я, непременно кто-нибудь другой подошел бы. Это был человек в отчаянии, совсем не похожий на профессиональную нищую. Но ведь она мне чужая, со своей верой в несуществующего бога, которому она поклоняется. Конечно, она меня сильно любит, потому что я помогла ей в тяжелый для нее час. Но... какой она мне товарищ? Что у нас общего? Ничего... Нет у меня настоящего друга!.. В школе я была в хороших отношениях со всеми, а одного, настоящего друга не было.

Все эти ученые... Они заняты только своей наукой... Мальшет, например, ничего, кроме обсерватории, не видит. На меня он смотрит, как на девчонку. А эта Лиза, кажется, его любит. Как она на него смотрела, когда он рассказывал про обсерваторию! Эти двое — как их? — Вадик и Валерик, они просто ученые дураки. Память у них хорошая, вот они и вызубрили все, что им положено сдать для получения диплома.

А Яша... так рад встрече с сестрой, что про меня уже и забыл. Он всегда будет нас сравнивать, и сравнение не в мою пользу. И разве это не так?

Я злая, эгоистичная... Ну конечно, эгоистичная: уродилась в моих родителей. Они даже не пришли меня проводить на вокзал. У мамы — спектакль, у отца — ученый совет. Он сердится, зачем я увезла чудесную домработницу Христину.

И всегда с ним этот Глеб Львов, который увлекается кибернетикой, а работает в Океанографическом институте... Кажется, ему все равно, где работать и что с ним будет. Он вообще не верит в счастье. А я — верю? Конечно. Я так хочу быть счастливой. Ох, как плохо на сердце, хоть бы уснуть скорее, но разве здесь уснешь? Я совсем не хочу спать — нисколько!»

Марфенька вдруг поднялась, нашарила впотьмах халатик и босоножки и выползла из низкой палатки.

Луны не было, зато ярко мерцали знакомые с детства звезды. При их свете смутно вырисовывались палатки, дюны и огромное беспокойное море впереди.

Марфенька вздрогнула и плотнее запахнула халатик: ночь была свежей. Послышался тихий разговор, кто-то шел—двое. Марфенька спряталась за палатку. Мимо прошли Мальшет и Лиза.

— Ты не представляешь, сколько можно сделать, когда работа будет идти из года в год, а не в кампанейской обстановке экспедиций,— донесся до нее голос Филиппа Михайловича.— Кабы ты знала, Лизонька, чего мне стоило добиться открытия этой обсерватории! Если бы не помощь академика Оленева... Нам

придется разрабатывать его тему: с этим условием он только и взялся помочь. Обещал приехать, когда все наладим.

— Это его дочь... Марфенька, очень славная. Яша так ее любит. Он ни о чем другом не мог мне писать,— сказала Лиза.

— Я так рад, что мне удалось заполучить к себе Турышева. Это крупнейший ученый нашего времени. Теперь, когда есть обсерватория...

«Колышки, а не обсерватория»,— усмехнулась Марфенька и, показав вслед прошедшим язык, полезла опять в палатку. Скоро она уснула, успокоенная.

Тогда Христина неслышно стала на колени и долго молилась (она стеснялась молиться при Марфеньке).

Христина прочла «Отче наш», «Верую», молитву Ефрема Сирина, потом попросила от себя лично, чтоб не было войны, чтоб всем людям было хорошо, и еще — счастья для Марфеньки. Для себя она никогда ничего не просила. Она была великая грешница и должна была смиренно переносить все, что ей ниспошлет бог. Он и так пожалел ее, послав ей Марфеньку. На всем свете нет добрее и прекраснее Марфеньки!

Долго ютиться в палатках не пришлось. База каспийской авиаразведки, расположенная в двух километрах от метеостанции, была переброшена обратно в Астрахань, и обсерватория получила в аренду двухэтажное кирпичное здание штаба, крупнейший ангар, всякие пристройки, несколько жилых домов и отличный аэродром — чудесную стартовую площадку для аэростатов.

Все это было передано аэрологическому отделу, который возглавил Иван Владимирович Турышев.

Марфенька с Христиной получили комнату в том же доме, где брат и сестра Ефремовы и сам Турышев, занявший с женой две небольшие комнаты.

Остальные отделы пока помещались в каменном здании метеостанции. Для жилья сотрудникам было доставлено несколько разборных домиков, которые почему-то назывались «финскими», хотя делали их у нас в верховьях Волги. Дома были собраны недели за три, и тогда приступили к строительству обсерватории.

Часть строителей разместились в палатках, остальных привозили каждое утро на грузовой машине из Бурунного. С рабочими Мальшету посчастливилось. Как раз была закончена третья, последняя, очередь консервного завода, и строительный трест взялся за постройку обсерватории. Все же рабочих не хватало. Чтобы ускорить строительство, научные сотрудники каждый день после занятий работали на стройке по три часа. Помогали школьники, являвшиеся, как заправские строители, на грузовых машинах, с невероятным шумом и гамом и, к великому расстройству прораба, то и дело шмыгавшие под самым краном. А после того как Мальшет и Васса Кузьминична прочли на консервном заводе несколько лекций, стали помогать и рабочие этого завода.

Рыболовецкий колхоз с самого начала взял шефство над учеными. Председателем колхоза теперь был Иван Матвеевич Шалый, отец Фомы, и Мальшет, не стесняясь, обращался к нему по всякому поводу.

Так неожиданно на этом пустынном берегу Марфенька и Христина очутились в самой гуще пестрой, оживленной, многолюдной толпы.

Строители, ловцы, электрики, механики, капитаны промысловых судов, матросы, женщины-рыбачки, школяры— народ разнообразный, шумный, горластый, веселый, работающий. Благодаря энергии Мальшета, не жалеющего ни времени, ни сил на лекции, на статьи в газету, будь то областная — «Волга» или

районная — «Каспийский ловец», каждому были ясны и цель постройки обсерватории, и важность этой цели в дальнейшей борьбе с обмелением Каспия.

Так как сотрудников обсерватории было мало, все они оказались на виду, их с интересом рассматривали, наблюдая открыто, с детским любопытством. Называли каждого по имени. Научные работники, как правило, шли к строителям в подручные, вызывая порой своей неловкостью добродушные усмешки и поддразнивания. Но Марфенька, Христина, Яша, Лиза и Турышев составили самостоятельное звено, выполнявшее, к великому восторгу строителей, за три часа дневную норму. Слаженность их работы привлекала каждый день зрителей.

— Черт побери, вот это кладут!.. А казалось бы, что — ученые? — удивлялись строители не без зависти. — И когда они успели научиться?

— Тут что-то не так, — решили женщины. — Который старик и которая на монашку похожа — не иначе как бывшие каменщики. Нас не проманешь!

Действительно, «промануть» их было трудно. Иван Владимирович когда-то перевыполнял норму на скоростных стройках Магадана, Христина работала на стройке. И вот неожиданно пригодилось.

Впереди идет Яша и легко, сноровисто раскладывает по стене ровную полосу раствора. Христина в старой кофте, в надвинутом на лоб ситцевом платке размеренными движениями, но так быстро, что только мелькает в глазах, укладывает кирпич за кирпичом и подрезает раствор. Они кладут наружную, самую ответственную, часть стены. Турышев и Лиза клали внутреннюю. Марфенька заполняла кирпичом промежуток между стенами — тут не требовалось особого умения. Стена росла на глазах.

Однажды прораб, сухонький старичок во много раз стиранном чесучовом пиджаке и выгоревшем на солнце картузе, не выдержав, стал расспрашивать Христину, где она училась класть, а потом предложил перейти к ним в строительную организацию каменщицей. Польщенная Христина заулыбалась, но, конечно, отказалась наотрез: она от Марфеньки никуда. Наблюдал ее работу и Мальшет, потом вызвал к себе в кабинет.

Оробевшая Христина неловко присела на краешек стула. За окном узкого кабинета ветер гнал песок.

— Христина Савельевна, — деловито начал Мальшет, — работать вы умеете, я видел. Будете бригадиром в баллонном цехе. К нам приезжает на месяц старейшая работница баллонного цеха аэрологической обсерватории в Долгопрудном — Евгения Ивановна Кузнецова. Еле ее выпросил. Вы должны научиться у нее всему, что она знает. Понятно?

— Я... А я сумею? — пролепетала Христина и покраснела до слез.

— Должны суметь. Да можете на стройку пока не выходить... Вам, наверное, трудно будет?

— Нет... всего три часа! Я уж лучше буду ходить.

— Ну, как сами найдете нужным. Желаю удачи!

Евгения Ивановна оказалась высокой худощавой седой женщиной в коричневом платье, туго перетянута кожаным ремнем. Она курила папиросу за папиросой и на каждом слове поминала черта — большое испытание для Христины. Кроме того, она была агрессивна настроена по отношению к религии и попам. Работая целый день бок о бок с Христиной, она сразу поняла, что та религиозна, и ринулась в атаку.

Христина втихомолку даже плакала, но терпеливо выносила святотатственные нападки, не вступая, к великому огорчению Евгении Ивановны, в спор. Уж очень ей хотелось оправдать уважительное доверие директора обсерватории и научиться

всему, что нужно, у этой безбожницы.

Время не шло, а летело. Скоро Евгения Ивановна уедет, и сборка аэростата ляжет на Хрестину. (Конечно, останется инженер, но он не особенно любил утруждать себя мелочами — не понравится ему каждый день поправлять Хрестину.) Она бригадир, в ее ведении несколько девушек-работниц, которые относятся к ней с большим уважением. В глубине души Хрестине казалось поразительным то, что именно ей придется отвечать за сохранность аэростата, на котором будет подниматься ее Марфенька. Кто больше ее заинтересован в здоровье и счастье Марфеньки? И вот именно ей доверена эта драгоценная жизнь. Это было явным вмещательством провидения.

Хрестина так старалась на работе, что растрогала даже Кузнецову.

— Молодец! — похвалила ее Евгения Ивановна. — Золотые у тебя руки! Жаль, что голова набита всякой чепухой. Нашла кому верить — попам. Дура и есть! На нашей улице один поп за сто тысяч рублей купил себе дом. Со всеми как есть удобствами. И в этом доме пьянствовал.

— При чем же здесь бог?.. — не выдержала Хрестина. — Люди слабые, грешные. Плоть немощна. Если вы найдете такого члена партии, что дачу большую купил, так коммунизм здесь ни при чем? Правда? Священник такой же человек, как и я. Бог велик.

— Ишь ты!.. — удивилась Евгения Ивановна. — Ну и ну!..

Перед отъездом Евгения Ивановна сочла своим долгом поговорить о Хрестине с директором обсерватории.

— Так-то вот, Филипп Михайлович, время я у вас даром не потеряла: научила ваших работниц сборке и ремонту материальной части. Теперь обойдутся без меня, особенно эта... Финогеева Хрестя. Старательность у нее большая и способности к этому делу.

— Очень рад, большое спасибо! — обрадовался Мальшет и крепко пожал руку старой баллонщице.

— Не стоит благодарности. Не за тем зашла. Хочу вот... поставить вас в известность...

— Что случилось? — обеспокоился Мальшет.

— А то, что просто позор всем сотрудникам обсерватории! А еще научные работники... Ученые. Атеистическая пропаганда у вас на низком уровне.

— Атеистическая... Вот те раз!..

— Да, совсем хромает пропаганда.

— Не понимаю...

— Оно и видно. Хрестина Савельевна-то у вас в бога верит. Недаром ее «монашкой» на стройке прозвали. Может, и случайно, а кстати. И в черта верит. Я как чертыхнусь, ей аж муторно.

— Вот не знал! Странно. Она ведь, насколько мне известно, детдомовская.

— А это ее уж после детдома обработали. Детдом здесь ни при чем.

— Вот как! Ну что ж, спасибо. Буду иметь в виду. Евгения Ивановна ушла, а Мальшет долго раздумывал над ее словами.

В тот же день он заглянул в лабораторию, где работала Марфенька. Она была одна и занималась самым детским делом: клеила огромного змея.

— Ого! — восхитился, как мальчишка, Филипп. — А вы толк в этом знаете!

— Когда-то в деревне с ребятами запускала. А теперь вот для аэрологических целей...

Мальшет присел на конец массивного, грубо сколоченного стола.

— Не испачкайтесь в клейстере!

— Ничего.

Мальшет помолчал, разглядывая полное румяное лицо Марфеньки с черными, словно крупные вишни, глазами. Розовые губы еще по-детски пухлы, подбородок несколько тяжеловат. В нижней части лица что-то упрямое. Очень насмешливые глаза. Короткие взлохмаченные волосы. «Стрижка — «мальчик без мамы», — усмехнулся про себя Филипп, а вслух спросил без обиняков:

— Где вы нашли Финогееву?

Марфенька медленно отодвинула банку с клейстером и вытерла руки о фланелевую тряпку.

— Могу вам сказать, как директору, но попрошу дальше не распространять.

Марфенька села на другой конец стола и коротко рассказала историю Христины Финогеевой.

— Вот и все!

Мальшет вытер пот со лба тыльной стороной руки: платок он вечно терял — потерял и на этот раз.

— Ужасно! — проговорил он. — Но чего же смотрела швейная фабрика? Ведь она была их работницей, пришла прямо со школьной скамьи...

— Дурной коллектив, равнодушный и черствый. Правда, она им не подходила. У нее же совсем нет никакого призвания к шитью. Она терпеть не может шить! Я заметила, она даже пуговицы не пришьет, пока не оторвутся все до последней. Каменщица из нее вышла отличная, но никак не портниха. В баллонном цехе ей, кажется, нравится. Она просто в восторге, что ей доверяют сборку аэростата.

— Вы никогда не пытались убедить ее?

— В чем?

— Ну... Я насчет всяких суеверий... — Мальшет почему-то сконфузился и даже покраснел.

Марфенька смотрела на него холодно.

— Нет, не пыталась. Я думала: рано еще пока... Что у нее за душой есть, кроме этой религии? Выпустили ее одну на дорогу, такую слабую, пугливую, — она сразу и заблудилась. Вот когда она станет крепко на земле... Хоть вполовину так крепко, как вы стоите, хоть в четверть! Тогда можете попробовать разубедить ее... Филипп Михайлович.

Марфенька соскочила со стола.

— Скажите, вы не думаете, что общество должно отвечать за слабейших в нем? Например, тот дурной коллектив, который дал ей погибнуть. Никто не ответил за нее. А должны были бы ответить. Человек же не виноват, что родится слабым. Я читала у Павлова. Бывает нервная система сильного типа, а бывает слабого. Человек не выдерживает жизненных ударов и срывается. Это еще лучший исход, когда в религию ударится, а то может быть и еще хуже... Христина еще не пришла в себя, понимаете? Она ночью всегда мечется и кричит во сне. Я ее сразу бужу. У Павлова сильно сказано, я даже наизусть запомнила. Вот послушайте: «В подкорковых центрах головного мозга надолго сохраняются следы сильных страданий. Едва кора ослабляет контроль свой, угнетенные силы встают». Это значит во сне — понимаете?

Марфенька даже побледнела, цитируя эти строки. Мальшет посмотрел на нее с интересом.

— Да. Крепко сказано. А у вас нервная система сильного типа?

— Конечно!

Мальшет рассмеялся. Поднял наполовину склеенный змей и опять положил его на стол.

— Чему же вы смеетесь? — немножко обиделась Марфенька.

— Простите. Я просто вспомнил одну пословицу: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». И... не знаю, собственно, почему... Я ведь мало знаю Христину Савельевну, но не кажется мне она такой уж слабой. Тут что-то другое, и одними павловскими теориями не объяснишь. Она легко ранимая. Но слабость ли это? Бывает, что такие «слабые» совершают подвиги, недоступные сильным. До свиданья, Марфа Евгеньевна. Будем надеяться, что о нас не скажут потом: плохой коллектив.

Мальшет лукаво улыбнулся и осторожно прикрыл за собой дверь.

«Эта Марфенька очень красивая, чем-то похожа на Мирру... нижняя часть лица,— подумал он и внутренне застонал.— Совсем не похожа! Никто на нее не похож. И... ведь знаю, как она страдает теперь, как я ей нужен. Ведь все равно не вытерпит и позовет меня. Тоже заблудившийся ребенок. Бравирует. Напускает на себя. И никто не знает, что она хорошая. Хорошая, я в это верю. Виновата ль она, что ее отец был клеветник и подлец?»

Глава вторая

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Христина и Марфенька просыпались утром рано, часов в шесть, и, не умываясь, шли к морю купаться.

В тот год необычно смирным казался Каспий. Свеж и чист был воздух, пропитанный запахами моря. На высоком небе толпились каждое утро маленькие белоснежные кучевые облачка, называемые барашками. Они и вправду походили на беленьких пугливых барашков, спешащих на водопой. Иногда взошедшее солнце еще заставляло бледную после бессонной ночи луну. Остывший песок хрустел под ногами. Волны тихо плескались, вылизывая песок. Дюны чуть курились: просыпался ветер. Пустынный горизонт был четок, как проведенная карандашом черта. Восток еще розовел.

Марфенька на ходу снимала халатик и, смеясь, бросалась в теплые на рассвете волны. Она тут же уплывала так далеко, что Христина теряла ее из виду и начинала беспокоиться. Только когда показывалась вдали голова девушки, Христина успокаивалась и сама заходила в воду. Берег был такой отмелый, что надо идти далеко-далеко, и все еще будет до колен. Христина немного плавала, умывалась, напевая тихонечко, потом подплывала Марфенька, фыркая, как тюлень.

— Как ты близко от берега,— корила ее Марфенька.— Иди ко мне, я буду тебя учить плавать. Ты же по-собачьи плаваешь! Смотри, вот стиль брасс. Попробуй, иди же! Смотри! А потом я тебе покажу баттерфляй. Ты должна научиться всем стилям. Ну!

Христина смеялась и старательно проделывала все приемы. Скоро она действительно изучила многие стили, но все равно боялась далеко заплывать.

— Трусиха! — возмущалась Марфенька.— Стоило тебя учить!

Скоро к ним присоединялись Яша и Лиза, супруги Турышевы, Мальшет и все остальные. Рабочий день сотрудников обсерватории начинался с купания в море. Но с Марфенькой никто не мог состязаться в плавании, разве что один Фома

Шалый.

Яша несколько раз отчаянно пускался рядом с ней, не особенно надеясь вернуться,— он бы скорее утонул, чем признался, что дальше не может плыть. Марфенька понимала это и сама первая поворачивала обратно.

Ей нравилось уплывать одной так далеко, что почти исчезал берег, и отдыхать на спине, чуть отталкиваясь ногами. Ее охватывал тот же глубокий восторг, который она пережила во время прыжка с парашютом, оставаясь наедине с голубым небом.

Накупавшись, медленно брели в столовую. Понемногу Христина привыкла к окружающим ее людям. Научилась смеяться их шуткам, радоваться их радостям, интересоваться их делами и немного рассказывать о своих. Как ребенок учится ходить, так Христина понемногу, каждый раз хватаясь за Марфеньку, чтоб не упасть, делала самостоятельную вылазку в жизнь.

Ей очень нравилась ее работа. Нравилось заходить по утрам в высокий с застекленным потолком баллонный цех (бывший ангар), нравился мерный шум вентиляторов, запах прорезиненной материи, нравилось ступать босыми ногами или в одних чулках на огромный серебристый круг оболочки аэростата — еще его иначе называют баллоном. Она уже теперь отлично разбиралась во всех деталях: баллон, такелаж — надвесная система, снасти управления, сплетенная из прутьев ивы гондола — четырехугольная корзина в метр высотой. В этой низкой корзине подымались за облака ее Марфенька, Турышев, Яша, сам Мальшет. Ее ошибка в работе (инженер, зная добросовестность Христины, не особенно тщательно ее контролировал) могла стоить людям жизни. Поэтому во время сборки она всегда волновалась и много раз проверяла сделанное, доводя до изнеможения девчат-помощниц.

На широких, поднимающихся до самого потолка полках хранились в специальных пакетах оболочки аэростатов. За их сохранность тоже отвечала Христина. Мальшет сказал: «За материальную часть у нас отвечает Христина Савельевна». Ей, недавно столь униженной, доставляло бесконечную радость уважение окружающих, то, что ее называли полным именем, советовались с ней, как с равной,— такие люди, большие ученые!

Несмотря на усталость, она неохотно оставляла цех.

На стройке Христину каждый день ожидал «маленький триумф», как говорила, смеясь, Марфенька. И Христина клала стены обсерватории, камень за камнем, с чувством неостывающего удовлетворения.

Иногда она с недоумением размышляла над тем, почему та же самая работа в прошедшие годы не доставляла ей никакой радости, только горькое сознание: надо все перенести, что бы ни послал ей бог. Как же так, удивлялась Христина, значит, одна и та же работа в одном случае может давать счастье, в другом — казаться тягостной и нудной? Но почему?

После работы опять шли к морю, купались, потом ужинали, немного отдыхали — Христина спала, Марфенька лежа читала,— а вечером... вечера были как праздник. Молодежь танцевала где придется под звездным небом, пели хором, уходили далеко по берегу моря, разговаривали, философствовали, катались на лодке, опять купались — при свете луны. В ненастную погоду собирались то у радушных Турышевых, то у Ефремовых — опять беседовали, спорили, шутили.

А ночью приходил крепкий сон, без сновидений, у открытого настежь окна, и лишь изредка — старые кошмары. Тогда Христина металась, стонала, и Марфенька торопливо будила ее.

Каждое утро Христина просыпалась с таким ощущением, будто сегодня

большой праздник и ее ждет масса всяких удовольствий.

Никогда не чувствовала себя такой счастливой, как теперь! Почему?.. Почему все воспринималось так ярко, так празднично?

Вот Христина стоит босыми ногами на песке и любуется высоким, как невиданный храм, безоблачным голубым торжественным небом. Мурашки бегут по спине: такая красота! Но ведь небо было так же прекрасно и прежде? Почему же были слепы ее глаза, почему краски не открывались ей во всем своем торжествующем блеске?

И звезды стали крупнее — такие огромные, косматые, блистающие! Вода чище, песок ярче, небо глубже. И какие у людей глаза — чистые, сияющие, удивительно хорошие! Как все хорошо! Только бы этого не потерять! Если бы это, вот все как есть, как сейчас, можно было сохранить навсегда, на всю жизнь...

Христина втихомолку молилась: «Господи, ты добрый, ты хороший, не отнимай у меня этого. Мне так хорошо! И сохрани Марфеньку!»

Христина читала наизусть молитву о плавающих и путешествующих. О летающих там не упоминалось — она добавляла своими словами. И еще Христина каждый день молилась о неверующих: они не веруют, но они тоже хорошие, не надо обрушивать на них свой гнев. Высшим благом было находиться рядом с такими людьми, какие окружали ее здесь, на этом пустынном каспийском берегу.

Сначала она обрела Марфеньку — добрую, сильную, красивую душой, а потом всех этих людей — большой, дружный, как одна семья, коллектив.

Христина обладала достаточным жизненным опытом, чтобы знать: не во всяком коллективе есть такие люди, ей повезло, что судьба привела ее сюда, в эту обсерваторию.

Обсерватория переживала свой лучший период, когда ни одна неприятность, ни одно неудовольствие не омрачало недавно рожденного коллектива. Настанет день, и — кто знает? — быть может, начнутся разногласия, мелкие и крупные обиды, даже зависть к успеху товарища. Кто знает? Но пока ничто не омрачало тесной дружбы этих разных людей, имеющих одну цель.

Однажды на собрании Марфенька вдруг неожиданно для самой себя спросила:

— Товарищи, вы правда, что ли, такие хорошие, будто уже при коммунизме, или я просто еще не разобралась в вас?

— Разбирайся! — посоветовал под общий хохот директор обсерватории.

— Чур, не сглазить! — пошутила Христина. (Пошутила ли?)

После собрания Яша потащил Марфеньку и Христину к Турышевым пить чай — они звали. Туда же пришли Лиза, Фома, Мальшет, инженер баллонного цеха Андрей Николаевич Нестеров, неразлучные друзья Вадик и Валерик, прозванные Марфенькой Аяксами.

Оживленная, принаряженная Васса Кузьминична разливала чай, Вадим ей помогал. За столом не уместились — кому поставили чай на подоконник, кто присел с чашкой прямо на постели.

— Тебя удивляет отсутствие склок? — обратился Филипп Михайлович к Марфеньке.

— Ну, не склок... а только на удивление дружно живем. Отец рассказывал... У них в институте не так.

— Хорошо живем и работаем, — серьезно подтвердила Васса Кузьминична.

— Иначе не могло быть, — сказал Мальшет. — Дело в том, что сюда попали только те, кто страстно любит свое дело. Ставка у нас обычная: никаких надбавок на безводность, на пустыню. Условий... почти никаких. Оставили же столицу, «культуру», быть может, «карьеру» — и ради чего? Ради труда, кропотливого,

незаметного, будничного труда во славу науки. Насильно ведь сюда никого не посылали! Ну, а кто способен ради науки на отречение от всяческих благ, тот не будет тратить драгоценное время на пустяки, дразги. Верно я говорю, Иван Владимирович?

— Безусловно так,— подтвердил Турышев. И заговорил о другом: —Мы вот с Вассой Кузьминичной на днях говорили о Марфеньке...

— Обо мне? — удивилась девушка.

— Да, о вас... Что вы думаете о своем будущем? Не теряете ли вы этого самого драгоценного времени? Вы не предполагаете учиться заочно? Вот Лизонька уже на последнем курсе, а как незаметно промелькнули эти четыре года. Мы с удовольствием вам поможем, коль вы будете учиться заочно.

— Заочно? Где? —протянула Марфенька и чуть покраснела.

— Смотря какая отрасль науки вас интересует...

— Иди учиться на физический,— подсказал Валерик,— у тебя же способности к математике.

Яша испуганно взглянул на Марфеньку.

— Меня никакая отрасль не интересует,— хладнокровно возразила она.— Мне наука так же малоинтересна, как и искусство. Я с увлечением прочту научно-популярную книгу, от души буду восторгаться произведением искусства, но все это совсем не то, что я бы хотела делать.

Все мигом уставились на Марфеньку. Среди этих подвижников науки подобные слова звучали кощунством. Яша положил в сладкий чай ложки четыре сахара и стал пить, не замечая вкуса.

— Вот и сглазили! — вздохнула Лиза, лукаво взглянув на побагровевшего Мальшета.

— Что же бы ты хотела делать? — спросил Мальшет и потянулся в карман брюк за портсигаром (он уже второй год курил).

— Я хочу быть пилотом аэростата,— пояснила Марфенька.— Вот что я хотела бы делать всю жизнь. Я хочу подняться в стратосферу. И чтоб самой управлять!

— Ты, наверное, когда была маленькой, всегда говорила: я сама! —засмеялся Валерий.

Мальшет смотрел на молодую девушку, наморщив лоб.

— Тебя увлекают спорт, рекорды? —не понимая, спросил он.

— Пожалуй, было бы замечательно установить мировой рекорд на аэростате,— задумчиво произнесла Марфенька.— Нет, спорт ради спорта меня не интересует. Мне хотелось бы водить аэростаты ради научных целей. Вот как Яша.

Все вздохнули с облегчением.

— Хорошо! — сказал Мальшет.— Нам как раз нужны пилоты. Отпустить тебя на курсы сейчас не могу: на учете каждый человек. Пусть тебя обучит Яша, а потом съездишь в Москву, сдашь экзамены. Есть?

— Есть! — звонко ответила просиявшая Марфенька. Яша перевел дух и залпом допил сироп.

В комнате, несмотря на раскрытые окна, было душно, и все вышли на воздух.

Вадик и Валерик приставали к Фоме с просьбой показать им приемы бокса. Аяксы решили драться с бывшим чемпионом поочередно. Добродушный Фома согласился, но чересчур увлекся и нокаутировал Вадика. Валерик поспешно бежал, укрывшись за Вассой Кузьминичной. Все хохотали, особенно заливалась Лиза. Христина, не выносившая бокса, пошла одна к морю. Ее окликнул Мальшет. Она смущенно остановилась.

— Почему ты меня стесняешься? — с досадой спросил Мальшет.— Неужели

потому, что я директор? Звучит так страшно? Какая чепуха.

Он предложил оробевшей Христине пройтись по берегу. Ему давно хотелось с ней поговорить по душам.

— Пойми меня правильно, Христина,— начал он, опутив на этот раз отчество,— я совсем не хочу, как это говорится, залезать человеку в душу... Но ты мой товарищ по работе («Мой товарищ» — эхом отозвалось в душе Христины), и я хочу знать, что у тебя здесь...— Он приостановился — они уже подошли к излучине бухточки — и шутливо дотронулся пальцем до ее выпуклого лба.— О чем ты думаешь, всегда такая молчаливая? Что любишь? Что ненавидишь? Во что веришь?

Христина молчала, наклонив голову. Мальшет ласково взял ее за руку.

— Перестань дичиться. Ты веришь, что я твой друг?

— Верю. Вы всем людям друг,— проронила Христина.

— Не всем, положим... Скажи, это правда, что ты... религиозна?

Христина испуганно уставилась на него. «Сказать правду?.. А вдруг ее снимут с работы. Нет, за это не снимают».

Она сказала просто:

— Филипп Михайлович, я верю в бога. — Гм! Всегда, с детства?

— Нет. Я потом стала верить, когда прочла Евангелие.

— Но почему?

— Уж очень великие слова, такое нельзя придумать!

— Они искренние! Тот, кто их писал, чистосердечно верил. И все же он ошибался. Это ведь все равно, что вера в Зевса. Нелепость!



Увлечшись, Мальшет прочел Христине целую лекцию. Она слушала, радуясь, что он говорит для нее одной. Мальшет понял, что его слова впустую.

— Тебя не убедишь! — Он вдруг с горячностью потряс ее за плечи.— Посмотри вверх. Видишь миры? Рано или поздно ты сама поймешь: нет на небесах никого, кому бы могла молиться, на кого бы могла надеяться. Это

придумал слабый, одинокий человек в своем страхе. И это его успокоило. Религия несчастных и обремененных. Я читал Евангелие. Одно время я очень увлекался историей религий. Их множество, начиная с языческих. И все же никаких богов нет. Знаешь, что есть?

— Знаю, Марфенька говорила: закон тяготения есть, электроны и протоны есть! — в отчаянии воскликнула Христина.— Но ведь это страшно, Филипп Михайлович!

— Это прекрасно и величественно!

— Но кто же тогда все это создал?

— А кто бога создал?

— Он был всегда! Он вечный...

— И материя вечна.

— О! Я такая неразвитая, я не умею доказать. Я просто верю всем сердцем.

— Учись — и тебе скоро понадобятся доказательства!

— Я с осени буду учиться в восьмом классе, заочно, но я все равно буду верить, сколько бы ни училась.

— Ерунда. Ты сама перестанешь верить, когда перестанешь бояться. Твоя вера — это твой страх. Я уверен, что ты каждую ночь умоляешь отклонить от тебя все беды. За Марфеньку, наверное, просишь. Ведь так?

Филипп пытливо заглянул в ее лицо, приблизившись, так как сумерки сгустились. Губы ее чуть вздрагивали.

«В ней что-то есть притягивающее...— неожиданно подумал он.— Я бы не удивился, если бы кто-то полюбил ее, страстно, на всю жизнь. Как-то никто еще не видит... Она очень глубокая натура, как Лиза. Но Лиза вся — свет, утро, а эта бродит во мраке».

— Это пройдет у тебя,— сказал он вслух.— Ты станешь здоровой, сильной, смелой. Интересно будет тогда посмотреть на тебя... А ты... красивая!

— Филипп Михайлович!..

— Тебя, верно, ищет Марфенька... Пошли. Мальшет в молчании проводил Христину до дому и пошел к себе. Христина долго смотрела ему вслед, потом вошла в комнату.

Марфеньки не было. Не зажигая огня, Христина села на подоконник затаив дыхание. Сердце ее билось усиленно. Он сказал: «А ты... красивая!»

Это ей, Христине, сказал Филипп Мальшет: «Ты... красивая!»

В комнате было душно. Молодая женщина снова вышла наружу. Ночь была темной, знойной, безлунной. Прямо над головой сиял Млечный Путь. «Видишь миры?»

Вижу. Я вижу. «Ты... красивая!»

Глава третья

ЗАМЫСЛЫ, СОМНЕНИЯ, НАДЕЖДЫ

(Дневник Яши Ефремова)

Вышла в роман-газете моя повесть «Альбатрос».

Странно и приятно было держать ее в руках: еще всюду валяются черновики, еще так недавно, кроме меня самого, никто о ней ничего не знал.

Мачеха говорит: «Вот куда государственные денежки летят: Яшка чего-то там набредил, а они печатают».

Отец и то смотрит с каким-то удивлением, особенно когда узнал, сколько я за это получу денег. В поселке столько разговоров об этом! Они тоже не одобряют.

Кажется, один только Афанасий Афанасьевич радуется от всего сердца. Он сказал мне при встрече: «Ничего, парень, нет пророка в своем отечестве. Так повелось исстари, что в родном городе признают самыми последними. Я всегда чувствовал, что у тебя какой-то талант, только не знал какой, ведь ты с учителями не очень-то откровенничал, даже со мной, хотя я был твой классный руководитель и любил тебя».

Это правда, он очень любил меня, а я его—больше всех учителей. Афанасий Афанасьевич сильно постарел, волосы у него вылезли, и он совсем лысый. Дочь его, моя одноклассница Маргошка, вышла замуж.. За кого бы вы думали? За Павлушку Рыжова, которого и я, и Афанасий Афанасьевич терпеть не могли. Они живут в городе. Успели получить хорошую квартиру еще до того, как его дядю «областного масштаба» сняли по многочисленным жалобам трудящихся.

В обсерватории целый переполох, на книгу установилась очередь—пришлось выписать целую сотню (в поселке ведь тоже хотели ее прочесть) и дарить всем знакомым с автографом. Голову сломал, придумывая разнообразные пожелания.

Марфеньке я надписал не думая — она стояла рядом и нетерпеливо ждала,— написал так: «Марфеньке — единственной». Подпись — и все. Потом спохватился и, кажется, покраснел. Она тоже покраснела и спрашивает; как это понять? Я ответил уклончиво: каждый человек—единственный в своем роде! Она говорит: «А-а-а». Мне показалось, с некоторым разочарованием. Возможно, мне это именно показалось.

Мы теперь с ней целые дни вместе. Я стал учить ее аэростатике и пилотажу. Какая она способная! Формулы ей даются гораздо легче, чем мне. Я на курсах здорово с ними помучился, а ей хоть бы что. Для нее формулы — мышление в образах. Она смотрит на неудобопонятную фигуру и, почти не думая, говорит: «Ага, значит, скорость аэростата... зависит... от перегрузки, от коэффициента лобового сопротивления, от плотности воздуха... ага, и от максимальной площади сечения аэростата». Ей лишь бы знать, что означают буквы, а уж она сама разберется.

Я по сравнению с ней совсем бестолковый парень. Не удивительно, что наш математик до сих пор удивляется, как это из меня вышел писатель.

А какая она смелая, ловкая! Она ничего не боится. Прыгает с парашютом с любой высоты, заплывает так далеко, что ее не видно, ныряет. Злится, что никак не достанет акваланг: ей хочется разгуливать по дну моря. Жалеет, что поблизости не ведутся водолазные работы. Она бы, конечно, спустилась с водолазами. Из нее замечательный будет аэронавт. У нее призвание к этому, не так, как у меня. Я могу быть пилотом, мне нравится это занятие (оно облагораживает человека), но ведь мне нравится и работа матроса, и линейщика, и наблюдателя метеостанции. Я и кочегаром с удовольствием бы работал, и трактористом.

Но по-настоящему, то есть непреодолимо, меня тянет только писать — без этого я не могу жить.

Одних только дневников накопилось уже около ста тетрадей. Рассказы отделяются по многу раз, а в дневнике разговариваешь непринужденно, с глазу на глаз с самим собой. Но все-таки самых заветных мыслей и чувств не касаешься даже в дневнике. Как-то стесняюсь. Самого себя, что ли?

О некоторых вещах даже думать страшно — так это огромно!.. Марфенька... Марфа — это для меня на всю жизнь. Я знаю, что она любит меня, но как? Мальшет тоже любит мою сестру Лизу, но не так, как бы ей хотелось, не как Фома... Марфенька, безусловно, любит меня, как друга. И я не хочу потерять эту дружбу. Иногда я боюсь: вдруг она увлечется мной? Не полюбит, как я, на всю жизнь, а именно только увлечется, а потом у нее пройдет.

Подумать страшно об этом! Тогда и дружба будет потеряна, и надежда на счастье. Поэтому я просто боюсь наводить ее на такие мысли. Ей только восемнадцать лет, и она себя еще не знает. По-моему, она натура увлекающаяся, и я слишком рано попался ей на пути.

Просто не знаю, как быть... Но я непременно хочу сохранить ее навсегда. Но не могу же я пережить, когда у нее пройдут все увлечения! А может, я в ней ошибся, и она совсем не такая, как я почему-то решил? Я заметил, что ей нравится, когда за ней ухаживают даже такие оболтусы, как В. и В. А моя сестра Лиза терпеть не может этого — ей делается неловко, неприятно. Она сердится на Фому, что тот ее любит. Марфенька бы не стала сердиться: ей бы это нравилось.

Просто ужас что такое... Я даже заметил, что она не прочь немножко пококотничать и с Фомой, и с Мальшетом, даже с Турышевым. И поэтому она нравится мужчинам. Мне-то не поэтому, но другим именно из-за этого самого. Уж очень она милая, когда слегка кокетничает — чуть-чуть! Порой мне так хочется схватить ее и целовать изо всей силы, что я зажмуриваюсь.

Вчера она спрашивает:

— Яша, отчего ты часто жмуришь глаза, у тебя это не тик? В нашем десятом «Б» училась девочка с тиком.

Я разозлился ужасно, но она смотрела на меня с таким простодушием и была так хороша, что я... опять зажмурился.

— Ты чудак, Яша! — сказала она задумчиво. — Я тебя не совсем понимаю. Ты откровенен со мной?

— Нет.

— Почему?

— С девушками нельзя быть откровенным до конца.

— Но почему?

— Потому, что ты еще сама себя не знаешь...

— Ты думаешь?

— Уверен!

— А с сестрой можно быть откровенным во всем?

— Наверно, можно. Лизе ведь не надо говорить, она и без слов понимает.

— А я не понимаю?

— Нет.

— Ну, благодарю... — Она, кажется, обиделась и отошла.

Вечером мы, как всегда, занимались аэростатикой. Христина сидела у окна, смотрела в сторону моря — там была темь — и о чем-то думала. Она, по-моему, ничего не видела и не слышала вокруг себя. Глаза у нее были какие-то странные, на губах блуждала улыбка. Она словно выпила вина и захмелела.

Вот кто действительно чудачка. Она верит в бога, но, видимо, прекрасно понимает, сколько несуразностей всяких в религии. Когда в ее присутствии Мальшет стал перечислять разные евангельские противоречия, она сильно покраснела и говорит: «Каждый воспринимает бога, каким он ему кажется, оттого столько всяких сект и вероисповеданий. Но никто не может знать, действительно ли бог таков: он непостижим для людей».

А Мальшет говорит: «Но откуда вы знаете, что он есть, раз он непостижим?»

Христина говорит: «А я совсем этого не знаю, и никто не знает. Я только верю. Я его чувствую».

Мальшет долго на нее смотрел, она краснела все больше, а потом Филипп Михайлович сказал: «Вам хочется, чтобы он был?»

Мы все собрались у нас, и Лиза заинтересовалась этим разговором. Она села рядом с Христиной и с каким-то сочувствием поглядывала на нее. У Христины дрогнули губы — я думал, что она заплачет, но она не заплакала. Ответила одним только словом: «Да».

Я заметил, что все в обсерватории как-то конфузятся, что она верующая. Все по очереди, кстати и некстати, ведут с ней антирелигиозную пропаганду. Она всех внимательно слушает, соглашается, а потом говорит что-нибудь неожиданное, вроде: «Конечно, так не могло быть, было как-нибудь иначе, кто может знать, как было?»

По-моему, с ней разговаривать на эту тему — бесполезное дело, но все думают по-другому. А Фома сказал: «Если будут изо дня в день вести антирелигиозную пропаганду, то лет через пятнадцать, пожалуй, убедят ее». Марфенька думает, что и за десять лет можно переубедить, во всяком случае, вызвать сомнения. А это уже полпобеды.

В тот вечер Марфенька несколько раз с недоумением посматривала на нее: чему она радуется? Тогда Христина вышла на крыльцо и весь вечер сидела молча на ступеньках, в темноте (ночи сейчас очень темны).

Со стороны моря надвигались плотные тучи. Каспий тяжело плескался. Как бы не было бури! «Альбатрос» как раз в море. Сегодня с Фомой вышел для океанологических исследований и Мальшет. Мне так захотелось идти с ним в море, что даже сердце защемило.

Мы кончили заниматься аэростатикой, сидели и разговаривали. Марфенька расспрашивала меня о моих творческих планах. Я немножко рассказал, без особой охоты: лучше потом дать прочесть. До сих пор я писал в приключенческом жанре. Я описывал приключения на море и на суше, а по существу решал моральные проблемы. Теперь я буду работать над фантастическим романом, действие которого происходит в двухтысячном году — не в таком-то далеком будущем... К этому времени уже, конечно, наступит на земном шаре коммунизм. Тем, кому это не нравится, можно отвести какую-нибудь часть света, хотя бы Австралию. Пусть там делают себе какой хотят строй.

Марфенька нашла, что целая Австралия — это слишком много, хватит им и острова Пасхи. Поспорив, решили отвести им архипелаг, чтобы не роптали.

Техника будет невообразимо высокой — сплошная автоматика, телемеханика и кибернетика. Между прочим, человек будущего не будет придавать технике такого значения, какое придаем мы в середине XX века. Меня больше интересует, каким тогда будет человек.

Пусть распределение станет по потребности, а труд по способностям, пусть исчезнут деньги, пьянство, войны, тюрьмы, пусть общественный строй будет называться коммунистическим, но если в этом высокоорганизованном обществе еще будут существовать эгоизм, трусость, равнодушие, беспринципность и порожденное ими властолюбие, я не назову это общество коммунистическим. Никогда! Да и не один честный человек не назовет. Вот я и хочу показать, какими станут люди при настоящем коммунистическом обществе.

Марфенька подумала и говорит:

— Есть очень противные мальчишки, маленькие, а уже подлые. — Она привела

несколько случаев из школьной жизни.— Ты думаешь, они исправятся за сорок лет?

— Конечно,— сказал я,— непременно. Самые безнадежные могут ехать на архипелаг. На выборные должности будут выдвигаться самые скромные, благородные, самоотверженные и добрые. А всяких честолюбцев, жадных до благ и власти, не будут никуда выбирать. Пусть себе остаются на самых низших должностях.

— Разве при коммунизме будут «низшие» должности?— усомнилась Марфенька.— Черную работу будут делать роботы.

— Правильно. Вот мы и поставим бюрократа властвовать над роботами, но не над живыми людьми.

— А тема твоего фантастического романа?

— Решение проблемы Каспия. Исполняется мечта Филиппа Мальшета: человек сам регулирует уровень Каспия.

Марфенька так расстроилась, что даже побледнела.

— Неужели ты думаешь, что раньше двухтысячного года...

— По-моему, нет.

— Ты хоть не говори этого Мальшету!

— Что я, одурел? Конечно, не скажу.

— И Лизе не надо говорить.

Мы долго обсуждали, какими будут люди двухтысячного года. И какие тогда могут быть конфликты.

Когда я уходил, Марфенька пошла меня проводить. Мы всегда провожали друг друга, хотя жили в одном доме. Мы подолгу ходили у моря: весьма полезно перед сном.

— А на какую планету у тебя летят? — поинтересовалась Марфенька.

— Ни на какую.

Марфенька с недоумением покачала головой и взяла меня под руку.

— Во всех произведениях о будущем всегда летят в космос.

Мы шли под руку по берегу, ветер трепал на Марфеньке платье и волосы. Рука у нее нежная, крепкая и горячая. Темь была кромешная, мы шли, как слепые. Было удивительно хорошо!

— Яша...— начала Марфенька. Лицо ее чуть белелось в темноте.— Яша, ты никогда не целовал женщине руку?

Я долго вспоминал — оказывается, нет., Лизу я обычно целую в щеку. Учительниц совсем не целовал.

— Ты это считаешь унижительным? — спросила Марфенька.

— Нисколько!

Я понял, что ей хочется, чтоб я поцеловал ей руку. Я поцеловал обе, сначала одну, потом другую, как средневековый рыцарь своей даме.

— Ты все-таки очень странный! — вздохнула Марфенька, и мы пошли домой.

Глава четвертая

АКАДЕМИК ОЛЕНЕВ

В конце августа приехал академик Оленев, его сопровождал, «как адъютант»

(по выражению Яши), лаборант Глеб Павлович Львов. Сначала пришла телеграмма, и все готовились к встрече: мыли, скребли, спешно оформляли наблюдения.

Мальшет втихомолку чертыхался, но ссориться с Оленевым ему, наверное, не хотелось, и он тоже готовился к встрече.

Самолет с важными гостями приземлился на стартовой площадке. Евгений Петрович, в совершенно свежем, прекрасно выутюженном костюме, с плащом через руку (чемоданы нес Глеб: в одной руке свой, в другой —принципала), любезно приветствовал директора обсерватории . и Турышева и раскрыл Марфеньке отцовские объятия. Все нашли, что они обнялись очень сердечно, как и следует отцу с дочерью. На Христину, стоящую возле, он посмотрел с таким изумлением, что Марфенька не выдержала и спросила, что его в ней так удивило. После секундного колебания профессор пожал руку и Христине и стал знакомиться с остальными сотрудниками.

Было уже пять часов пополудни, и осмотр обсерватории решили отложить до утра. Марфенька повела отца к себе. Христина спешно перебралась к Лизе, но тут же вернулась, чтоб накрыть на стол.

— Христина похорошела, да, папа? — потребовала ответа Марфенька.

Профессор решил на сравнение:

— Она расцвела, как цветок, спрыснутый водой. Она... гм... Она поразительно похожа... была такая американская артистка — Лилиан Гиш, ты не помнишь фильмы с ее участием: демонстрировались до твоего рождения. Большое сходство!

Евгений Петрович подумал, что Христина приобрела за это короткое время то, чего ей не хватало раньше: чувство достоинства и какой-то самостоятельности, что ли, но ему почему-то не хотелось признать это вслух, и он ограничился тем, что еще раз отметил ее женское обаяние.

Пришел Глеб — его устроили у Аяксов, и Марфенька повела гостей выкупаться перед обедом. Евгений Петрович нашел, что Марфенька сильно похудела, в комнатке слишком, бедно, и решил переслать ей в контейнерах часть ее вещей.

— По Москве еще не соскучилась? — осторожно начал он, но Марфенька сразу заявила, что она останется здесь «на несколько лет, во всяком случае».

Солнце палило нещадно, песок был такой горячий, что чувствовался через подошвы туфель. Профессор с наслаждением вошел в прохладную морскую воду.

— Нет, вы посмотрите, как он сложен,— Антиной, да и только! — восхищался профессор, любясь действительно прекрасным сложением Глеба Павловича.

Марфенька спокойно осмотрела усмевающегося Глеба.

«Он красив, весь словно выточенный, ну просто ни одного изъяна,— подумала она равнодушно.— Но я бы никогда такого не полюбила. Почему? Чересчур он рассудочный... Или что другое? Как он будет каждый день встречаться с Яшей и Фомой, если высадил их на лед посреди моря?»

Она сняла платье, поправила туго обтягивающий купальный костюм и, бросившись в воду, уплыла, по своему обыкновению, чуть не до горизонта.

Оленев с Глебом сидели мокрые на влажном песке и с беспокойством ждали возвращения Марфеньки.

— Сумасшедшая! — ворчал Евгений Петрович.— Разве можно так заплывать? Вдруг судорога или сердце... Может быть, вызвать спасательную лодку?

— У нее крепкое сердце,— заметил Глеб.

Евгений Петрович так разволновался, что ему чуть не стало дурно.

Он послал Глеба за Мальшетом. Прошло минут сорок, пока тот его разыскал и привел. У Оленева дрожали губы, и он так рассердился на своего лаборанта, что не мог на него смотреть.

— Марфа Евгеньевна всегда так далеко заплывает, ничего не случится,— уверял Мальшет.— Мы уже привыкли. Вначале тоже беспокоились. Она, кажется, плавает с четырех лет. Ветлугу в разлив переплывала.

— Совсем не знал,— удивился любящий отец.— Кто же ее выучил так плавать? Ведь в Рождественском не было инструкторов плавания... Сама, как всегда и во всем!

Марфенька вернулась, по часам профессора, через час двадцать минут как ни в чем не бывало. Оленев в сердцах выругал ее, потом полюбопытствовал, почему она даже не запыхалась.

— А я отдыхаю,— пояснила Марфенька,— я люблю заплывать далеко в море, лечь на спину и отдыхать. Я не подумала, что ты будешь волноваться... Я... мне приятно, что ты за меня беспокоился. Пошли обедать. Филипп Михайлович, пообедайте у нас!

— Благодарю вас, Марфа Евгеньевна, я уже обедал! — отвечивал Мальшет.

Марфеньке захотелось показать ему язык, но это было невозможно, и она только лукаво посмотрела на молодого директора.

Пообедали вчетвером, причем Глеб принес бутылку какого-то редкого вина, которое он достал в Москве только через знакомую официантку. Вино было и вправду хорошее, даже Христина выпила рюмочку. Обед был очень вкусный, профессор ел и вздыхал: какую домработницу навсегда потерял! Что навсегда — это было теперь несомненно: Христина узнала радость труда общественного, гордость, что труд этот оценен коллективом, который она уважала и чье уважение ей было очень дорого.

Ночью, когда отец и дочь лежали уже в своих постелях, между ними произошел следующий знаменательный разговор:

— Да, Марфенька, ты уже взрослый, самостоятельный человек! — начал Евгений Петрович.— Не влюбилась ли ненароком,а?

— Как сказать...— неопределенно отвечала Марфенька.— Сама не знаю. Нравится мне один парнишка. Но он пока... вообще чудак!

— А-а... Это твой приятель Яша Ефремов?

— Ну да. Он, по-моему, любит меня. Но почему же не скажет?

— А если скажет... ты выйдешь за него замуж? Не рано ли? Тебе и девятнадцати нету.

— Зачем же сразу замуж... Пусть докажет свою любовь. (Марфеньке не пришло в голову, что Яша может ждать доказательств от нее!)

— Торопиться не надо, Марфа. Брак —это река, упасть в нее легко, а попробуй выбраться.

— Где это ты вычитал?

— Был такой писатель —Давид Фридман, остроумный! Непонятно, почему не переиздают.

— Папа! — Марфенька даже села на постели.— Знаешь, папа, это тебе надо жениться!

Евгений Петрович слегка приподнялся на локте.

— Я думал, ты меня считаешь стариком...

— Вот чепуха, какой же ты старик! Совсем молодо выглядишь. Тебе, папа, наверное, тоскливо одному. Мама говорила, что есть одна лаборантка... любит тебя всю жизнь.

Евгений Петрович кашлянул и лег поудобнее.

— Только твоя мама и может такое придумать! Ольга Семеновна уже стара и не помышляет ни о каком замужестве.

— Уже не надеется на замужество?

— Кха!.. Она тут ни при чем. Я как раз хотел с тобой поговорить. Ты имеешь право знать... Я хочу жениться. В конце концов, я еще не стар, черт побери!

— Ты совсем молодой, папа! Я ее знаю? Кто она?

— Мирра Павловна Львова.

Наступило молчание, довольно тягостное для обоих.

— Она тебе не нравится? — высокомерно осведомился профессор. И, откинув нетерпеливо одеяло, встал и сел у окна. Ему было жарко.

Оба окна были открыты настежь: здесь, на побережье, воров не боятся. Скоро похолодает. Климат в этих местах резко континентальный.

— Ты обидишься, папа, если я скажу откровенно? — деловито спросила Марфенька, спуская ноги и шаря чувяки.

— Может быть, обижусь... Все же попрошу тебя высказаться яснее.

Марфеньке тоже стало жарко. В длинной, до пят, ночной сорочке с кружевными рукавчиками она подошла к отцу, присев рядом на подоконник.

— Я думаю, папа, что, женившись когда-то на моей матери, ты совершил большую ошибку.

— Безусловно! Хорошо, что ты это понимаешь. Ты умница, Марфа.

— Так вот, папа... Теперь ты делаешь вторично ту же самую ошибку.

На этот раз молчание затянулось на добрые десять минут. Марфенька решила, что промолчит так до утра, но ни за что не заговорит первой.

Самое неприятное для Евгения Петровича было в том, что юная дочь была, безусловно, права. Она строго уточнила расплывчатые, неясные мысли самого профессора. Мирра была женщиной именно того типа, как и не принеся ему счастья Любовь Даниловна, к тому же еще моложе ее на добрых двадцать лет.

— Я ее люблю! — глухо произнес профессор.

Марфенька порывисто наклонилась к отцу и, поцеловав его в гладко выбритую щеку, прижала к себе седеющую голову.

— Тогда, папа, женись, ну, пострадаешь немножко. Только не надо на нее дуться целыми неделями.

— О! А-а... ну, на Мирру это бы не действовало. Евгений Петрович хотел засмеяться, показывая, что шутит, но не смог. Он был очень взволнован. Доброта и мудрость дочери — именно мудрость! — его растрогали. Какое счастье — такая дочь! А он старый дурак. И все же он женится на Мирре... если она не возьмет назад своего слова. Мирра обещала стать его женой, когда защитит кандидатскую диссертацию. Она, несомненно, защитит ее блестяще. В покровительстве она не нуждалась.

— Видишь ли, дорогая Марфенька, — заговорил академик, — ты мало знаешь Мирру Павловну. Она не подходит под шаблонную мерку. Никто не сможет сказать, что она выходит за меня замуж по расчету — это было бы клеветой. Она настолько блестящий ученый, что не нуждается ни в чьей протекции. Она сама благодаря своему уму, обширным познаниям и умению работать сделает любую карьеру, какую только захочет. И уже сделала: быть кандидатом наук в двадцать шесть лет — это замечательно. Не может у нее быть и материального расчета. У нее огромная квартира, оставшаяся после отца, двухэтажная дача неподалеку от села Архангельского — я бывал там у покойного Львова. Она не особенно всем этим и дорожит, это я знаю точно. Не потому, что не нуждается в комфорте —

такая женщина не может быть без комфорта,— но потому, что она сама заработает столько денег, сколько пожелает. Она далеко пойдет в научном мире. Так что она выходит за меня отнюдь не по расчету.

— Она тебя любит?

— Нет. Не любит. Она никого не любит. Но ей хорошо со мной. У нас много общего. Она ценит во мне интересного собеседника, верного друга. Ну и, конечно, ученого. Мы будем гордиться друг другом.

— Я все же надеюсь, что впоследствии она и полюбит.

— Я надеюсь, что вы подружитесь. Она, Марфенька, вполне порядочный человек!

— Чего нельзя сказать о ее брате!

— Ну, он просто взялся не за свое дело. Он также очень способный. Работал в нашем институте, учился заочно и, представь, дважды перешагнул через курс, чтоб быстрее закончить. Он блестяще защитил диплом. Ему предлагали остаться в аспирантуре, но он и аспирантуру будет, заканчивать заочно. Зимой у нас освобождается место младшего научного сотрудника... а пока Глеб Павлович будет работать здесь над моей темой. И собирать материал для своей диссертации. Он знаток Каспия — это ему весьма поможет в работе. В смысле материала здесь золотое дно.

— Я бы на его. месте постыдилась сюда показываться! — сухо бросила Марфенька.— Его же все презирают.

— Напрасно! Ты все про ту злополучную историю? Он же спасал самолет — социалистическое имущество. Эта амфибия, к тому же обледеневшая, все равно бы не вывезла троих.

— Он должен был погибнуть, но не бросать на льду товарищей.

— Ты романтик, Марфа. Давай ложиться спать. Уже поздно.

Марфенька уснула сразу, как легла, а Евгений Петрович долго ворочался с боку на бок, сожалея, что забыл взять снотворное.

Утром Мальшет и Турышев повели «высокого» гостя осматривать обсерваторию. Начали с летного хозяйства, как ближайшего.

Евгений Петрович с интересом осмотрел баллонный цех, пощелкал пальцем по наполненному водородом газгольдеру, привязанному к ввинченному в землю металлическому штопору. Аккуратно обошел расправленную воздухом оболочку азростата, занимавшую чуть не весь цех. Некоторое время удивленно наблюдал за работой Христины. И даже засмеялся, когда Христина, захватив переносную электролампу, сказала, скрываясь внутри оболочки: «Прошу, товарищи!» — словно приглашала к себе на квартиру.

Заинтересованный Глеб нырнул вслед за ней и очутился в обширном помещении с колышущимися «стенами» из прорезиненной материи. Дольки, составляющие поверхность воздушного шара, сходились у клапана, словно лепестки гигантского цветка. Христина погасила лампу. Через плотную материю равномерно пробивался дневной свет. Нигде ни малейшего отверстия, оболочка в порядке.

— Фу, душно как! — воскликнул Глеб и поспешно выбрался.

Далее осматривали вспомогательные сооружения: водородный сарай, фотолабораторию, мастерскую для ремонта приборов.

Пошли на бывшую метеостанцию, где располагались остальные отделы. Всю дорогу Оленев развивал свою климатическую теорию. Он превосходно знал, что идет рядом с творцом другой теории, которая камня на камне не оставляла от его собственных выкладок, но Турышев не был так известен, так мастит, как он, и

Евгений Петрович даже из вежливости не коснулся теории коллеги. Он ее просто замалчивал, игнорировал, как нечто нестоящее. Все это бесило вспыльчивого Мальшета. И Турышев предостерегающе коснулся его руки.

В обсерватории сначала все шло хорошо. Научные сотрудники охотно докладывали академику о проделанной работе, почтительно выслушивали замечания, даже когда были с ними не согласны.

После осмотра удалились для беседы в кабинет Мальшета.

Филипп Михайлович сел на свое директорское место за письменным столом. Оленев — в глубокое кресло у стола, сзади него на стуле — Глеб. Турышев устало опустился на диван и, вынув расческу, стал причесывать свои серебристые густые волосы, что он всегда делал, когда у него начиналась мигрень: ему это помогало. Было нестерпимо душно и жарко.

— Сквозняка не боитесь? — осведомился Мальшет.

Никто сквозняка не боялся. Мальшет раскрыл настежь окна и двери в соседнюю просторную комнату, где работали Васса Кузьминична, Лиза и оба Аякса. Горячий ветер пополам с песком, ворвавшись в окно, поднял в воздух несколько бумаг, Мальшет засунул их в ящик.

Лиза была занята обработкой наблюдений и сначала не прислушивалась к разговору в кабинете. Она очень сухо ответила на поклон Глеба, но все же ответила, и теперь терзалась, зная, что брат ее осудит.

Яша более принципиальный. Он тогда не дал ей поздороваться со Львовым. Никогда бы она не решилась сказать вслух при всех людях: «Я не могу пожать вашу руку, потому что вы — подлец!»

Это был урок на всю жизнь, и этот урок дал ей младший брат. Яша очень честный. Он не стал бы здороваться с заведомым подлецом. Он нетерпим к подлости. А она вот не решилась отвернуться: духу не хватило. Но разговаривать с Глебом она не будет. Ни за что!

Лиза сделала ошибку, начала считать сначала, но ее вдруг охватило утомление. Еще эта жара! Она чуть отодвинула журнал. И тут она увидела, что Васса Кузьминична тоже не работает, а прислушивается. Полное добродушное лицо ее покраснело, даже толстые обнаженные руки покраснели. Аяксы тоже слушали и курили.

Теперь в кабинете говорили громче, голоса звучали раздраженно. В открытую дверь видны были все четверо, но неловко было смотреть. Они уже сидели в кабинете более чара и все время, видимо, спорили.

— ...Да, именно на основании аэрологических наблюдений Ивана Владимировича, — громко сказал Мальшет. — Исследования атмосферы над морем, выполняемые нашей обсерваторией под руководством Ивана Владимировича, войдут в фонд науки.

— Филипп! — остановил его Турышев. Он все еще расчесывал гребешком волосы: видимо, боль не проходила.

— ...не согласовывается с общепринятыми синоптическими схемами строения атмосферы, — донесся ровный, холодноватый голос Оленева.

— Плевать мне, что не согласовывается! — резко выкрикнул Малынет. — Схемы ваши давно устарели и нуждаются в изменении, чем и занят сейчас Иван Владимирович.

Васса Кузьминична тревожно посмотрела на Лизу. Девушка успокоительно покачала головой.

— Моя теория образования кучевых... — обиженно начал Оленев, но Мальшет его прервал:

— Ваша теория неверна! Простите, но я душой кривить не умею и скажу вам прямо: только не выходя годами из институтского кабинета, можно создавать такие теории.

— Филипп Михайлович,— опять попытался его остановить Турышев, но Мальшет был сильно раздражен, почти взбешен.

— Я возглавляю работу обсерватории и буду вести научные исследования с той научной позиции, которую признаю верной.

— В нашем научно-исследовательском институте...— начал строго Оленев.

— Ничего общего нет у нас с вашим институтом!

— Однако общая научная тематика...

— Дело не в тематике! Ни один уважающий себя ученый не пойдет работать в ваш институт, потому...



— Однако это уже наглость...

— ...потому что научный уровень исследований в нем низок, ученые оторваны от практических запросов современной жизни. Исследовательская работа ведется устаревшими методами. Вопрос о путях климатологии у вас даже и не ставился. И вы еще осмеливаетесь делать замечания тем, кто действительно движет науку вперед, как Турышев.

— Филипп Михайлович, прошу тебя! — настойчиво оборвал Турышев.

Мальшет неохотно умолк. Лиза испуганно посмотрела в открытую дверь: Глеб скромно сидел на стуле, видимо наслаждаясь в душе этой сценой. Теперь он заговорил.

— Я не ожидал этого от тебя, Филипп,— укоризненно начал он,— скажу, как твой друг...

— Бывший друг,— сквозь зубы поправил Мальшет.

— У Евгения Петровича мировое имя... просто странно такое отношение. Он приехал от Академии наук... От него зависит... Я считаю, ты обязан извиниться.

— Я не требую извинений,— сухо прервал его Оленев, поднимаясь, и, простившись с Турышевым кивком головы, прошел в сопровождении Глеба мимо Лизы, обдав ее запахом дорогого одеколona и табака.

— Теперь будем иметь врага,— вздохнул один из Аяксов,— Оленев этого не забудет! Он, конечно, порядочный человек, но сумеет дать почувствовать. Это в

его силах!

— Филипп Михайлович высказал свое мнение,— возразила огорченная Лиза.

— Не могу я с ним разговаривать. Никогда не мог,— расстроено объяснял Филипп Ивану Владимировичу — он уже каялся в своей горячности.

Турышев закрыл дверь и что-то тихо стал доказывать Филиппу.

В тот же день Мальшет ушел с Фомой в море на «Альбатросе», сославшись на необходимость срочных океанологических исследований. С Оленевым в дальнейшем беседовал заместитель директора Турышев.

Через день Оленев уехал, оставив при обсерватории Глеба.

Прощаясь с дочерью, он высказал свое неудовольствие тем, что Марфенька работает под руководством «столь малосведущего в науке и безответственного человека, как Мальшет».

— Очень молод и... просто неумен... Непонятно, как могли его поставить директором обсерватории, имеющей столь большое научное значение. Я буду вынужден доложить, кому следует, свои выводы.

— Папа, Филипп Михайлович — замечательный руководитель,— горячо возразила Марфенька,— энергичный, работоспособный, преданный своему делу...

Профессор возмущенно фыркнул. Марфенька попыталась утихомирить отца.

— Ты, папа, не сердись на него. Просто у Филиппа Михайловича такой характер — вспыльчивый и резкий. Он вообще очень живой, стремительный, порывистый, крутой на слово: Но знаешь, как он увлечен своей идеей решения проблемы Каспия!

— Никакой проблемы Каспия не существует! — отчеканил профессор.— Уровень Каспия уже повышается. Идеи! Мальчишество и вздор, а не идеи.

Проводив отца, Марфенька тотчас легла спать: у нее с детства была привычка ложиться спать, когда расстроится.

Привычка, которой можно только позавидовать.

Глава пятая

НАСЛЕДСТВО КАПИТАНА БУРЛАКИ

Фома неожиданно получил наследство. Умер капитан Бурлака, проживший в Бурунном последние тридцать лет своей жизни. Дом и все свое имущество он завещал Фоме Ивановичу Шалому.

Фома был так растроган, что еле удерживался от слез.

— Никогда я не думал, что покойный так меня любил,— рассказывал он Лизе и Яше,— он же меня всегда ругал на все корки. Только слышит мои шаги— и уже ругается так, что просто срам слушать. Серьезный был старичок и вот — умер! Много для меня сделал. Если бы не он, ни за что бы мне не закончить заочно мореходного училища. Кирилл Протасович натаскивал меня, как щенка. Даже бил несколько раз палкой, если я запускал занятия. Я не сердился: для моего же блага. Он мне вроде родного деда был.

— Сердитый дедушка,— сказала Лиза.— Помню, в детстве я его ужасно боялась. Сколько ему было лет?

— Девяносто два... Но он был крепок, ум ясен, характер горяч.

Лиза и Яша, конечно, знали капитана Бурлаку. Сухонький, желчный,

вспыльчивый — с его палкой был знаком не один Фома. Шестнадцатилетним юнгой начал Кирилл Бурлака свой труд в русском флоте, дослужился до капитана, плавал на всех морях, участвовал в двух революциях и нескольких войнах, побывал на каторге, прокладывал Северо-морской путь, а когда состарился, осел в Бурунном. Неизвестно почему, так как сам он был петербургский, а в Бурунном у него никого не было. Может, потому, что здесь было море и не было курортников, которых капитан не терпел. Кирилл Протасович построил себе дом у самого взморья, по собственноручным чертежам, с иллюминаторами вместо окон. Когда море ушло, он первый перенес свой дом на остров, за ним потянулись ловцы. Отставной капитан вникал во все дела рыболовецкого колхоза, страшно сердился, когда его не слушали, что, впрочем, случалось редко, грозно стучал палкой и ругался неистово и живописно, как умели ругаться только старые моряки.

Яша и Лиза никогда им особенно не интересовались, мало его знали. Больше всех в поселке знал его Фома, с детства подружившийся с одиноким стариком. Фома был феноменально молчалив, но зато умел слушать.

Фома ухаживал за стариком, когда тот болел, Фома принял его последний вздох и закрыл его много видевшие глаза.

— Там много книг,— грустно сказал Фома Лизе.— Ты ведь любишь читать, приходи и выбери, что хочешь!

— О, непременно приду!— В Лизе сразу заговорил книголюб.— Янька, пойдем в воскресенье?

Но Яша уже обещал Марфеньке идти с ней на парусной лодке в открытое море.

— Ну, я приду одна, пораньше, до жары,—обещала Лиза. Лицо ее чуть омрачилось: она ревновала брата.

Лиза встала в пять часов утра, сбегала окунуться в море, выпила стакан ледяного молока из погреба, съела кусок пирога. Перед уходом она накрыла стол свежей скатертью, поставила крынку молока, пироги, варенье, яйца и брынзу для завтрака брату и, набросив на косы прозрачную косынку, вышла из дому, ведя велосипед. Дорога вилась среди желтых дюн, поросших кое-где кустами эфедры, серой полынью и розовым бессмертником, то удаляясь от моря, то приближаясь к самому берегу. Редкие ракушки хрустели под ногами.

Мощные зеленоватые волны с белоснежными гребнями с шумом накатывались на пологий берег и неслышно стекали обратно, разбиваясь на тысячи ручейков. В волнах плавали стаи черных лысух, вылавливая мелкую серебристую рыбу.

У Лизы было светло на душе. Она с силой нажимала на педали, велосипед так несся по дороге, что только ветер свистел. А там, где велосипед начинал капризничать, не признавая надоевшего врага — пески, Лиза шла пешком, ведя машину рядом. Огромная сверкающая на солнце холмистая равнина —ни одного человека. От этого движения, солнечного блеска, ветра и шума волн Лиза словно опьянела. Она громко пела, декламировала любимые стихи и снова пела, но потом вдруг притихла, ей стало грустно и досадно. Это значило, что Лиза думала о Мальшете.

Последние полгода Лиза была втихомолку занята тем, что старалась избавиться от своей любви. Это не очень удавалось, но она старалась.

Мальшета она любила много лет. Все об этом знали, кроме самого Мальшета. Когда ему говорили о ее чувствах, он не верил, отшучивался и тут же забывал.

Когда началась эта любовь? Лиза и сама не знала. Может, она полюбила в тот пасмурный день, когда босоногой девчонкой сидела с братишкой на ступенях

зброшеннага маяка и вдрoг увидела идущего Филиппа. Он шел по песку с рюкзаком за спиной, в прорезиненном плаще, спортивных башмаках и старой фетровой шляпе на густых рыжеvато-каштановых волосах. Зеленые глаза были полны юмора и нетерпеливого интереса ко всему. Как он уверенно и спокойно шел по земле! И брата, и сестру это поразило в нем больше всего.

Если бы они не встретили Мальшета, их жизнь пошла бы совсем другим путем. Он словно отдернул туманную завесу и показал им огромный блистающий мир, полный заманчивых чудес и загадок. С тех пор прошло целых шесть лет. Цель Лизы — покорение Каспия — была его цель, ее идеи были его идеями. Скоро она будет океанологом, как и Филипп. Она была верной и преданной помощницей Мальшета все эти годы. Уже студенткой Лиза все бросала и шла с ним в экспедицию поварихой, рабочим, наблюдателем, лаборантом!... Однажды Яша прочёл сестре следующее место из своего дневника: «Я вдрoг понял: каковы бы ни были наши планы, стоит только Филиппу позвать нас, и мы все бросим и пойдём за ним в пустыню или в море — куда он позовет. Мальшет не считался с нашими личными планами, как не считался и -со своими собственными». Именно так и было все эти годы. Он бесцеремонно распоряжался их жизнями, а также жизнью Фомы. (Но Фома шел не за Мальшетом, он шел за ней — Лизой...)

Мальшет поверял ей свои мечты, планы, сомнения, надежды. Еще бы, кто умел так его слушать, как Лиза!

Филипп любил ее, словно сестру, ведь у него никогда не было родной сестры. Он уважал и ценил ее безмерно. Но никогда, ни на один миг он не замечал в ней женщины, никогда она не вызывала в нем волнения, как в Фоме.

Филипп дарил ее настоящей большой мужской дружбой, а она... Лиза стыдилась самое себя. Если бы он только знал, поверил,— он бы стал ее меньше уважать и уж во всяком случае перестал бы видеть в ней преданного друга и помощника.

Эта ее неразделенная любовь с годами становилась просто смешной, она могла испортить ей всю жизнь. Время от времени Мальшет увлекался той или иной женщиной, но он никогда серьезно не влюблялся... если не считать Мирры.

С Миррой у него покончено навсегда, но Лизе не стало от этого легче. Все равно для Мальшета Лиза только помощник и товарищ.

Теперь Марфенька, с ее полудетским милым кокетством. Филипп при каждой встрече, посмеиваясь, любит ее. Он не влюблен в нее, но все-таки любит ее, каждый раз с восторгом оглядываясь на тех, кто рядом, как бы приглашая и их полюбоваться.

Конечно, Марфенька очень мила и забавна, мимика у нее бесподобна, и она любит невинно пококетничать. Даже Яше в ней это очень нравится, хотя он ни за что в этом не признается...

Да, Лизе надо во что бы то ни стало избавиться от этого... чувства. Оно уже мешает жить, работать, дружить. Мешает видеть мир во всей его праздничной безмятежности.

И столько же лет, таким же «однолюбом», как она сама, шел рядом с нею Фома. Если бы она только могла его полюбить. (О, разве можно их сравнивать!)

Фома... Правда, Янька его очень ценит. Но разве Фома тот человек, о котором можно мечтать, как о счастье? Тот неповторимый, единственный, настоящий, любимый навсегда...

Стать женой Фомы не любя, а лишь потому, что он ее любит неизменно и преданно столько лет и еще потому, что другой, к которому она тянется, как подсолнух к свету, не замечает ее? Пожалуй, она не сможет... Это так же трудно,

как отказаться от своего призвания и взяться за другую какую-нибудь работу. О, как неинтересно и тускло было бы тогда жить! Но как странно и заманчиво сознавать, что ты можешь сделать другого человека счастливым. Нечто вроде чуда, которое ты сам сотворил...

Чтобы отогнать мысли, которые становились навязчивыми и уже раздражали, Лиза опять запела громко, во весь голос, первое, что пришло в голову. Она вела за собой велосипед — ноги чуть не по щиколотку увязали в песке — и пела полюбившуюся ей песенку Жарова:

Не гляди солдаткою,
Не ходи украдкою —
Рассыпай по улице
Свой веселый смех!
Дни забот умчали
Беды и печали...

Капитанский домик с иллюминаторами стоял над обрывом, у самого моря. Над черепичной красной крышей бешено вертелся флюгер. Фома стоял в дверях с трубкой в зубах и нетерпеливо ждал Лизу. На нем была морская куртка, из-под которой виднелась полосатая тельняшка, брюки были тщательно отутюжены. Мускулистая бронзовая шея и свежее, пышущее здоровьем лицо лоснились от старательного мытья мочалкой и мылом. Густые, непокорные, как у цыгана, волосы, торчащие всегда во все стороны, были на этот раз тщательно зачесаны назад, открывая упрямый выпуклый лоб. Высок и крепок был Фома, как молодой дубок. При виде Лизы он, что называется, просиял. Видно, бедняга не очень надеялся на приход и уж очень жаждал его.

— Заходи! — буркнул он, стараясь скрыть охватившую его бурную радость.

Лиза очень много слышала о «каюте» капитана, но никогда у него не была, и теперь с любопытством осматривалась. Она сразу узнала личные вещи Фомы и удивилась:

— Разве ты перешел сюда?

— Ну да! Ты садись, Лизонька. Теперь, когда отец женится... Я рад. Что ему быть одному? Она хорошая женщина, правда, моложе отца на пятнадцать лет, но у нее трое детей. Отец на это не посмотрел и хорошо сделал. Веселее ему будет с детьми-то. (Может, еще и свои пойдут.) Я им буду только мешать. Да и мне здесь спокойнее.

Лиза никогда не видела такого жилища — словно она оказалась в каюте старого русского корабля. Иллюминаторы поражали массивностью. Медь, винты, рамы — все, как положено быть. Стены облицованы под палисандровое дерево. Койка застлана новым пушистым одеялом — на днях были такие в универмаге, значит, это уже Фома купил себе на новоселье. У койки старый, но еще такой яркий индийский ковер — его капитан когда-то привез из своих странствий. На письменном хорошо отполированном столе — черная статуэтка какого-то идола, английский хронометр образца прошлого века (стрелки уже остановились навсегда), большой бинокль, медный барометр. У противоположной стены — небольшой диван, круглый столик с инкрустациями, в углу мраморный умывальник с потускневшим овальным зеркалом.

С каким-то странным чувством, похожим на ощущение вины, Лиза рассматривала яркие, совсем не выцветшие небольшие картины с ландшафтами стран неведомых, выполненные если не рукою мастера, то, во всяком случае,

талантливо. Каждый такой этюд вызывал то или иное настроение, владевшее, возможно, художником в час создания.

— Это сам Кирилл Протасович зарисовывал в молодости,— пояснил Фома,— в ящиках стола их целая пачка. А вот морские карты, смотри: тушью прочерчены пути кораблей.

Лиза, хмуря брови, долго разглядывала морские карты, потом молча перешла к стеллажу с книгами. Одна стена полностью, от пола до потолка, была занята книгами. Вдоль полки поперек корешков сияли узкие медные полосы как бы для того, чтобы книги не выпали в качку.

Здесь были книги по навигации, кораблестроению, морскому праву, математике, физике, географии. Порывшись, она нашла редкие издания с описанием старинных путешествий, морских битв и несколько лоций, испещренных заметками капитана. Но больше всего было старых английских романов в переводе, которых она не читала.

Раздумываясь, забыв о Фоме, девушка рылась в книгах. Фома, посмеиваясь, смотрел на нее, стоя у окна-иллюминатора. Вдруг Лиза, ойкнув, схватила какой-то растрепанный томик и уткнулась в него лицом.

— Книга, может быть, грязная,— испугался Фома,— еще прыщи пойдут! Сядь и успокойся, а то я отниму это старье.

— Ты ничего не понимаешь! — возмутилась Лиза.— Я шесть лет мечтала найти эту книгу!

Лиза рассказала, как еще школьницей она достала у жены директора школы, большой любительницы чтения, журнал «Русский вестник» за 1872 год. Там был напечатан роман Коллинза «Бедная мисс Финч» — о слепой девушке, прозревшей благодаря смелой хирургической операции. Роман был просто захватывающий, Лиза с Яшей читали его вслух по очереди четыре вечера. Зимние вечера такие долгие, свистел ветер, вокруг старого маяка безлюдные дюны, и даже волки выли, а книга была такая интересная, что и отец с любопытством прислушивался, сидя за ремонтом какого-нибудь инструмента.

На самом интересном месте печатание романа прекращалось (издатели решили напечатать его отдельной книгой). Отчаянию Лизы не было предела: найти конец не представлялось никакой возможности. И вот теперь, после стольких лет, Лиза держала в руках эту «Бедную мисс Финч», с самым настоящим концом, чуть заплатам тонкой папиросной бумагой.

Лиза спрыгнула со стула и на радостях чмокнула Фому в щеку.

— Если уж так, то на чердаке есть куда более древние книги,— буркнул Фома, сильно покраснев.

Лиза взобралась по трапу на чердак. Там было чисто, жарко, пол посыпан песком. Старая сломанная мебель аккуратно сложена в углу. Лиза нашла несколько ящиков с книгами и окончательно забыла обо всем на свете. Порывшись и несколько раз чихнув от пыли, она извлекла толстый роман без обложки «Дядя Сайлас» (уже по шрифту чувствовалось, какой он интересный!). На дне ящика лежала большая Библия в кожаном переплете на русском языке. Лиза не особенно интересовалась древними религиозными книгами (правда, однажды она прочла изречения из Корана, и они ей очень понравились). Сначала она отложила Библию, но потом ей пришлось в голову, какую радость доставило бы обладание этим «фолиантом» Христине. Не меньшую, чем ее собственная радость по поводу находки «Бедной мисс Финч». Забрав «Дядю Сайласа» и Библию, Лиза спустилась вниз, Фома ожидал ее, смиренно сидя на стуле.

— Вот, смотри, давай отдадим это Христине,— предложила Лиза, показывая

Библию.— Можно?

— Мне-то, конечно, зачем она—не жалко. А не скажут ли тебе: вот комсомолка, а дарит Библию?

Лиза на мгновение задумалась.

— Но ведь это не подарок? Просто книга лежала в пыли на чердаке, а Христина была бы так рада!

В этом была вся суть — в радости Христины. Можно, конечно, скрыть от Христины эту находку, но в этом тоже было что-то не совсем красивое, как бы обман. Если религиозные пережитки — противник, с которым мы боремся, то Лиза предпочитала бороться открыто. Если Христина желает читать Библию, пусть читает, а их дело доказать ей, что это лишь фольклор древнееврейского народа. Пусть Христина сама убедится в противоречиях Библии и в путанице толкований.

Фома тщательно упаковал отобранные книги. Лиза набросила на волосы косынку.

— Ты уже хочешь уходить? — огорченно проговорил Фома.— Оставайся обедать, у меня уже все готово. Не хочешь? Посмотри, что было у капитана! — Он открыл низкий шкафчик в углу и достал оттуда несколько бутылок самой разнообразной формы, с прилипшими к стеклу ракушками и известковым наростом.

— Эти бутылки он выловил за свою жизнь. Потерпевшие кораблекрушение их бросали в море. Он еще много отдал в музей. А эти хранил всю жизнь. Как-нибудь я расскажу тебе интересные истории.

— Расскажи сейчас! — попросила Лиза и присела на край дивана.

— Потом расскажу, Лизонька. Я все-таки... хочу еще раз поговорить с тобой.

Лиза искренне огорчилась:

— О, Фома, опять...

Фома нахмурился. Глаза его смотрели грустно и пылко.

— Лизонька, неужели мы так и проживем всю жизнь — рядом и далеко? Только не расстраивайся! Мальшет не любит тебя. Разве ты не могла бы выкинуть его из сердца?

— Я... пытаюсь...— честно призналась Лиза. Фома даже побледнел.

— Пытаешься? Ну и что?

— Плохо подвигается.

Фома стукнул себя кулаком по лбу.

— А все же, значит, подвигается? — сказал он, подумав.

Девушка молчала, доверчиво и ласково глядя на Фому.

— А если... когда перестанешь о нем думать... выйдешь за меня замуж?

— Не знаю, Фома милый,— тоскливо протянула Лиза.— И почему ты не нашел за столько лет другую девушку, лучше меня?

— Находил,— простодушно сообщил Фома,— находил лучше тебя. Но... не могу я без тебя, да и только!

— Ну, до свидания! — поднялась Лиза.

— Я сам привезу книги на мотоцикле, а то тебе тяжело будет, Лизонька!

— Ладно. Спасибо, Фома... Я, кажется, проголодалась. Ну, давай обедать.

За обедом Лиза спросила:

— Фома, а за что тебя так ругал покойный капитан? Фома безнадежно махнул рукой.

— Он, видишь ли, столько меня учил, даже в море со мной выезжал, что в его возрасте не совсем полезно... Кирилл Протасович считал, что из меня выйдет

хороший капитан дальнего плавания... Ну, и сердился, что я застрял на «Альбатросе», который только ведь для наблюдений научных и хорош, а дальнего плавания на нем не сделаешь. Очень на меня за это он сердит был!

— А на «Альбатросе» ты застрял из-за меня?

— Ну да.

— И за это тебя ругал капитан?

— Нуда.

...Лиза ехала на велосипеде и думала о Фоме, о покойном капитане. Было очень грустно, что рядом жил такой интересный, много повидавший на своем веку человек— капитан дальних плаваний, а она так и не узнала его, а теперь он умер, и уже поздно. Никогда она не поговорила с ним, как говорил с ним Фома все эти годы. А Янька будет писателем, ему особенно важно было бы узнать такого бывалого человека, а он тоже пропустил, не заметил. В Бурунном посмеивались над стариком, считали его чудаком, выжившим из ума. Один Фома относился к нему с уважением и любил его, даже не подозревая, что сердитый капитан привязан к нему, как к родному сыну. Должно быть, в Фоме много есть от этого незнакомого ей капитана, но она этого не знает и то, что от самого Фомы, тоже не знает. Фома любит ее много лет. Но он не привык говорить о себе. Он молчалив, и скромн, и добр, и мужествен. Он спас жизнь Яньке, когда они попали в относ и Яша заболел, а Фома оттаивал для него лед в кружке на груди, чтоб напоить больного теплой водой. В поселке его считали хулиганом и драчуном и даже исключили из школы — из последнего-то класса!

А потом, когда Фома уехал в Москву и стал чемпионом по боксу, его портрет повесили в правлении рыболовецкого колхоза, и все гордились, что он их земляк. А Фома совсем не дорожил славой чемпиона. Он вернулся назад в Бурунный — ради нее. И ради нее он отказался от командования большим кораблем и водит бывшее промысловое суденышко.

Вот кто никогда не думал о карьере, о славе, о самом себе... Он всегда заботился только о других: об отце, о них с Яшей, о матросах, об одиноком старике капитане... А она даже не уважала его по-настоящему, как она уважала Мальшета или Турышева, никогда не интересовалась его душевным миром. Он мог бы пройти рядом всю жизнь и умереть (погибнуть в море!), а она бы так и не узнала его. Как это ужасно, как нехорошо!..

Вечером Фома привез на мотоцикле упакованные книги. Он был бы очень счастлив, знай эти мысли Лизы, но он не мог знать их, а она ничего не сказала. У Ефремовых сидела Марфенька, и все, по обыкновению, смеялись. Марфенька представляла в лицах, словно Райкин, сотрудников обсерватории, и все хохотали до слез. Фома так смеялся, что, только глядя на него, разбирал смех, Яша, кажется, очень гордился талантами Марфеньки.

А потом пришла Христина, и Лиза отдала ей Библию.

Христина, как она и ожидала, очень обрадовалась.

— Вот уж спасибо вам, и где-то вы достали? — стала она благодарить Лизу.

В этот момент зашел Мальшет.

Увидев в руках Христины тяжелую книгу, он взял ее и, конечно, потребовал объяснения.

Все молчали. Тогда Лиза коротко объяснила. Мальшет даже изменился в лице от возмущения.

Вспыльчивость его Лиза знала, но еще ни разу она не обрушивалась на нее самую, да еще с такой силой. Филипп был просто взбешен: как, он отрывает от науки драгоценные часы, стараясь убедить Христину, а в это самое время

сотрудники обсерватории — и кто же? Лиза (Лиза!) —дарят ей Библию? И это — комсомолка? Студентка? Без двух минут океанолог? О чем она думала, когда тащила ей Библию? Что она, с ума сошла или дура непроходимая?

Мальшет был просто вне себя. Христина сначала испугалась, так как она всю жизнь боялась грубости, но, взглянув на страшно побледневшую Лизу, еле удерживавшуюся от слез, она бросилась к директору обсерватории.

— Филипп Михайлович, да разве я буду от этого верить больше или меньше? При чем тут это? Лизочка хотела приятное мне сделать.

— А оскорблять не надо...— поднялся со стула Фома и подошел вплотную к Мальшету.— Сейчас же проси прощения! — Он сжал кулаки.

— Фома! — ухватил его за рукав Яша. Марфенька всплеснула руками:

— Неужели будут драться? Ой, как интересно!

Лиза, почти ослепленная слезами, выскочила из комнаты и бросилась к морю. Кто-то ее звал, кричали: «Лиза! Лизонька!» Она, как в детстве, когда ее, бывало, незаслуженно обидят в школе, бежала от всех. Зайдя так далеко, как хватило сил, она легла на песок и долго-долго плакала.

Может, и не следовало нести эту Библию? Хотя разве так убеждают человека, скрывая? Христина должна сама разобраться во всем. И разберется, непременно. Она уже не та богомолка, какой приехала сюда четыре месяца назад. И она скорее поймет, когда увидит, сколько там нелепостей, сколько противоречий.

Но зачем так жестоко?.. Разве она заслужила, чтоб ее при всех (при Фоме, при Марфеньке) называли дурой? «Ох, Филипп, Филипп! Я думала: ты только не любишь меня, а ты даже не уважаешь!»

Обида была большая, тягостная, тем более что она исходила от Мальшета!

Лиза плакала до тех пор, пока не выбилась из сил и уснула. Проснувшись она перед рассветом, продрогшая до костей — песок был как лед,— чувствуя себя невыразимо одинокой. Вскочив, она минутку постояла, озираясь: море было освещено луной, а звезды уже гасли,— и быстро пошла домой. Навстречу шел Фома. Он увидел ее и, покачав головой, стал на ходу снимать куртку, чтоб укутать: она была в одном платье. Когда он подошел ближе, Лиза увидела на его лице свежий кровоподтек и ахнула:

— Вы дрались?

— Ну да,— подтвердил Фома.— Завтра утром он попросит у тебя извинения. Мы уже помирились.

Глава шестая

ТРУДНОСТИ

(Дневник Яши Ефремова)

Все эти годы мы с сестрой смеясь вспоминали, как Мальшет в первый свой приезд дрался с Фомой во дворе маяка и открыл у Фомы способности боксера. В те далекие времена с кем только Фома не дрался! А как он избил Глеба за то, что тот провожал Лизоньку!

Но после того как мы с ним едва не погибли в отnose, он стал серьезнее и ни с кем уже не схватывался, если не считать уроков бокса, когда его упрсят бурунские парни показать им «приемы».

И вдруг он снова бросился в драку, как мальчишка. Сжав кулаки, он стоял смертельно бледный перед Филиппом и твердил одно: «Выходи на берег, будем драться».

Мальшет, страшно разозленный на Лизоньку, что принесла Христе Библию, и на себя, что назвал Лизу дурой, буркнул что-то вроде того, что ему «не до глупостей». Но Фома заладил одно: «Выходи на берег, будем драться». Женщины было выбежали за Лизонькой, только она сразу куда-то спряталась от всех: выплакаться ей хотелось. Кто-кто, а уж я понимал, что творилось с моей сестренкой.

— Фома,— зашептал я ему на ухо,— Мальшету просто неловко теперь драться, он же директор. Так может подорваться престиж.

— Ничего, я лицо не трону,—обещал Фома.

Он уже весь горел возбуждением схватки. Мальшет угрюмо посмотрел на него и, поняв, что от драки не отвертеться, с досады махнул рукой.

— А, черт! — сказал он и пошел из дому, мы — за ним.

— Не забывай: ты — чемпион, а он даже не боксер, он кандидат наук,— старался я пробудить в Фоме совесть.

— Знаю,— согласился он.— Я буду вполсилы, но взбучку надо ему задать. Давно пора.

— Балда! — вздохнул Мальшет, слышавший разговор, и снял пиджак, бросив мне на руки, как тогда.

Они дрались на песке при свете вошедшей огромной луны. Она еще недостаточно поднялась над горизонтом, но уже преобразила мир.

Марфенька с любопытством смотрела на дерущихся (по ее словам, она видела боксеров только в кино), а Христина ушла.

Весть о драке директора с капитаном Шалым каким-то образом сразу облетела обсерваторию. Сначала появились Аяксы, потом ехидно усмехающийся Глеб, инженер баллонного цеха Андрей Николаевич Нестеров, гидрохимик Барабаш, техники, механики, научные работники — собралась толпа.

Филипп и Фома дрались по всем правилам: ведь Мальшет никогда не прекращал тренировку, считая, что ученому-исследователю это необходимо уметь. Оба были крепки, ловки, выносливы, умели быстро и внезапно атаковать, у обоих была прекрасная реакция. Наслаждением было смотреть на них. Марфенька и то поняла это, а уж мужчины просто были в восторге. Авторитет Мальшета в их глазах неизмеримо вырос. Конечно, Фома сильнее Мальшета, но и Мальшет был достаточно крепок, к тому же он умел защищаться. Удары Фомы сыпались с молниеносной быстротой, сливаясь в один ритм, как пулеметная очередь. Но от большинства ударов Мальшет успевал уклониться. Скоро я понял, что в этой схватке главным были не кулаки, а голова — ум, тактика, точный расчет. Не было судей, как бывает на ринге, но ни один из них ни разу не нарушил правил.

Бой велся в отличном стиле! Фома усилил атаку, и у меня аж голова закружилась: так все мелькало в глазах, к тому же ведь не день был, а ночь. Я опомнился, когда Мальшет лежал на песке без сознания, а Фома стоял рядом и тяжело дышал. Кто-то из механиков сбегал намочил платок в морской воде и выжал на лицо Мальшету. Он заворочался и пришел в себя. Фома помог ему подняться. Я надел на Филиппа пиджак. Здесь все загалдели и стали восхищаться обоими боксерами. Фома сказал: «Филипп Михайлович давно уговаривал меня сразиться всерьез, вот и сразились». Это он соврал ради директорского престижа. Не знаю, поверили они или нет. Пришлось поверить, так как Фома и Мальшет пошли рядом, дружно разговаривая, на квартиру Мальшета.

Мы с Марфенькой долго искали мою сестру, но не нашли. Ее привел под самое утро Фома.

На другой день Мальшет просил у Лизоньки извинения, она охотно его простила, но обиды не забыла. После этого случая стала его избегать.

Мальшет был этим очень недоволен, даже страдал, так как он привык за столько лет все ей рассказывать, делиться мыслями и чувствами, и ему очень не хватало ее участия. Однажды он мне сказал: что ждет, «когда у нее это пройдет», и что он «не знал, какая Лиза злопамятная». Он же не думал на самом деле, что она неумная, а просто сгоряча обругал ее душой, к тому же просил извинения, и дрался из-за нее, и Фома ему бока намял, добавлю я от себя.

Мы по-прежнему любили и уважали Мальшета — Лизонька, я, Фома и все другие сотрудники обсерватории, из которых большинство он уже успел обругать за то или другое по своей неисправимой горячности. Это была ерунда — наши обиды. Главное состояло в том, что он знал, чего хотел, шел вперед и всех нас вел за собою. Это было очень важно, особенно для приезжих москвичей. Наступила осень, за ней суровая зима, и с ними пришли трудности. Надо было знать, ради чего их переносить.

Мы-то, здешние, привыкли ко всему, а москвичам было очень трудно, просто жаль их становилось.

Море замерзло до самого горизонта, образовалась стоячая утора. Дюны покрывались сухим снегом, но ветер тут же сдувал его, как пыль. Ветер бесновался над ледяной равниной, завывал ночами под дверью и в трубе так заунывно, что многие сотрудники не могли спать: на них тоска нападала от такого воя. Украинец гидрохимик Давид Илларионович Барабаш уверял, что ему «сумно» от этого зловещего свиста, что «у них на Киевщине ни як не може бути такого витрячого свисту. Ой, бидний Тарас Шевченко, як вин тут тильки жив десять рокив!»

С топливом было очень плохо. Мальшету обещали «обеспечить», но обещания не выполнили. С помощью Ивана Матвеевича Шалого достали немного угля и овечьих кизяков, но растопки не было.

Каждое воскресенье мы, мужчины, ходили рубить кустарник и запасали его на целую неделю.

Аяксы совсем сникли, они уже не острили и не смеялись чужим шуткам, они как-то даже вроде потускнели. Марфенька, недолголюбивающая их, втихомолку напевала:

Что позолочено — сотрется,
Свиная кожа остается.

Но я им сочувствовал, особенно после того, как их снесло со скалы. На южной оконечности нашего «острова» — он уже давно очутился на песке, море все отходит — километрах в шести от обсерватории мы укрепили на отвесной скале термометры сопротивления в свинцовых оболочках. (Такие же термометры в специальной арматуре погрузили на дно моря километрах в сорока от берега и на промежуточной глубине). На скалу поднимались по трапу из железных скоб. Вот с этого трапа обоих Аяксов снесло восточным ветром, и они сильно расшиблись. Вадим даже плакал: он чуть нос себе не свернул на сторону, нос сильно распух, и ему обидно, так как он красивый и нравится девушкам.

Однажды вечером я зашел к сотруднице океанологического отдела Юлии Алексеевне Яворской за учебником океанографии для Лизоньки. В комнате был

собачий холод и полным-полно дыма. Юлия Алексеевна сидела в телогрейке и платке на полу возле холодной печки и горько плакала. Слезы перемешались с сажей, и бедная женщина стала похожа на трубочиста. Рядом стояло ведро с углем и охапка щепок, явно со стройки, что было запрещено (прораб не хотел подвергать нас искушению). Яворская сконфуженно вскочила и в ответ на мои расспросы, всхлипывая, пояснила, что уже второй день пытается разжечь уголь, но «у всех горит, у меня одной не горит».

— Почему же вы никого не позвали? — попенял я и, сбросив пальто, открыл дверцу печи. Когда я выгреб уголь, щепки и пепел от полусгоревших черновиков диссертации, я увидел толстый лист железа, плотно закрывающий колосники.

Я был поражен такой явной глупостью, и когда разъяснил ей, почему «у всех горит, а у нее нет», она сказала, что уголь такой мелкий, «он бы просыпался в эти щели». Я только руками развел.

Она так и не научилась разжигать, и мне пришлось взять на себя эту обязанность. В благодарность она угощает меня и сестру конфетами из посылок, которые ей еженедельно шлют из Москвы ее четыре сестры. Вообще эти москвички ужасно беспомощны. Они даже воды не могут принести от цистерны, чтоб не облиться на морозе, как малые дети. Они не знают, что можно делать с первосортной ржаной мукой и арбузным медом, который нам подкинули (десять бочек!) по ходатайству секретаря райкома. От щепок у них занозы, от запаха кизяка мигрень, в уборной они простужаются, от солоноватой воды их тошнит, ветер нагоняет тоску, от мытья некрашенных полов одышка, столовка и рыба уже надоели, съездить в Бурунный на базар — целая проблема (всего девять километров!). Послушать их — просто мученики, но со всем тем работают — любо поглядеть. Та же беспомощная Юлия Алексеевна в бурю, в шквал выходила на «Альбатросе» вместе с Лизонькой далеко в море делать очередные станции. И сейчас в любую погоду ходит ежедневно пешком далеко по стоячей угоре брать пробы воды из многочисленных прорубей. И никогда не жалуется. Это не принято у научных работников. Жаловаться можно только на бытовые условия.

Марфенька пока держится молодцом. Бегаёт в свободное время по морю на коньках: мы расчистили в один из воскресников замечательный каток.

Мне только не нравится, что дома за нее все делает Христина: и стирает, и печку топит, и готовит обед, моет полы, и даже... неприятно писать об этом... Раз я захожу к ним, а Христина гладит Марфеньке юбку! Я не выдержал и пристыдил Марфу. Она вспыхнула и стала кричать на Христину: «Видишь, видишь, из-за тебя мне приходится краснеть! Дай, я сама!»

Оказывается, Христя не дает ей ничего делать. Пришлось мне убеждать Христину, но она лишь смеется и уверяет меня, что «Марфенька еще ребенок, успеет за жизнь наработаться!» А этот «ребенок» раз в десять крепче и здоровее ее. Христина молодец, она ловко управляет и на работе, и дома, и никогда не жалуется. У нее золотые руки, как у Фомы. Единственно, что она терпеть не может делать, — это шить. Если оторвется пуговица, она будет неделю закалывать булавкой, пока Марфенька ей не пришьет. Она ненавидит шитье.

Вообще эта Христина какая-то чудачка. Из-за нее пробежала кошка между Лизонькой и Мальшетом, а она, по словам Марфеньки, даже ни разу не раскрыла Библию, которая лежит у нее в сундуке, завернутая в чистое полотенце. Когда с ней заводят речь о религии, Христина съеживается и упавшим голосом соглашается со всем, что ей говорят, кроме одного: что бога нет.

Мальшет считал, что когда докажет ей все несообразности и противоречия Библии, то она перестанет верить. Но не тут-то, было. Она соглашается, но все-

таки верит. Лизонька смеется и говорит, что она похожа на того отца церкви, который сказал: «Верю потому, что это нелепо», а Марфенька только плечами пожимает. Мальшет упорно ведет с нею антирелигиозные беседы, каждая из которых кончается тем, что он непременно вспылит. Он прочел ей лекцию по истории религий, о верованиях дикарей (мы и то заслушались), и когда он уже сделал незаметно (очень ловко!) вывод о том, что верящий в бога в конце XX века уподобляется дикарю, она неожиданно сделала из всего услышанного противоположный вывод: дескать, «дикарь из каменного века и то верил, значит, что-то есть...» А противоречия потому, что «никто ничего не знает, только ищут бога и чувствуют его». Она довела в тот вечер Мальшета до исступления. Ему, наверное, очень хотелось ее поколотить. На днях я захожу к ним. Марфенька свернулась на кровати клубочком и читает «Продолжение легенды», а Мальшет агитирует Христину у стола. Он уже охрип, а Христина Савельевна сидит, потупив глаза, и молча слушает, раздумываясь от удовольствия. Я написал: от удовольствия. Не знаю, право, но у нее такой счастливый вид. Она, кажется, очень польщена вниманием директора обсерватории.

— Ты хоть поняла меня? — стукнул кулаком по столу Мальшет.

Христина покраснела еще сильнее и усиленно закивала головой.

— Как же после этого можно верить? У тебя что на плечах, кочан капусты?

— Не знаю, Филипп Михайлович!

— Что — не знаю?

— Может, и кочан...

— Я спрашиваю: как можно верить, если ты все поняла?

— Не знаю... что-то все-таки есть...

— Где есть? — рявкнул, потеряв терпение, Мальшет.

— А почему предчувствуешь, что случится? А почему сны сбываются?

Мальшет немедленно приступил к новой лекции о снах. Несмотря на свою вспыльчивость, Мальшет все же очень терпелив. У меня бы не хватило терпения твердить об одном и том же битый час, тем более что все это бесполезно. Он говорит, что сны не сбываются, это совпадение, а Христина уверяет, что у нее сбываются, и начинает рассказывать свои сны. А Мальшет то хохочет, то сердится.

Марфеньке, наверное, это осточертело. Она мигом оделась, взяла коньки, и мы отправились на каток. (А все-таки удивительно, что робкая, застенчивая Христина как будто совсем не боится Мальшета.)

Наш каток — это гигантская, словно по заказу отполированная льдина, испещренная следами от коньков. Только смерклось, мы были одни. Марфенька носилась, как птица. Было полнолуние. Свет луны отражался от сверкающего льда, играл и переливался в снежинках, осевших на Марфенькиной белой шапочке. Потом она с размаху налетела на меня и еле устояла, ухватившись за рукав моей куртки. Черные глаза ее весело сияли.

— Летим вместе! — предложила она.

Ей действительно казалось, что она летает. Мы взяли руками наперекрест и понеслись по льду так, что запел в ушах ветер.

— Яшенька, как хорошо! Ты меня любишь? — крикнула она в полном восторге.

Я, не раздумывая, ответил, что люблю. Когда тут было думать?

— Поцелуй меня! — потребовала она, резко замедлив бег.

Мы остановились, и я поцеловал ее в румяную, похолодевшую на морозе щечку. Она подставила губы, но я сделал вид, что споткнулся, и упал, а

поднявшись, бросился наутек на другой конец катка.

Показался Турышев в лыжном костюме и берете — я вздохнул с облегчением. (Он молодчина: несмотря на возраст, каждый день катается на коньках.)

А на другой день Марфенька уехала в Москву сдавать экстерном экзамен на пилота. Мы простились при всех, за руку.

Может, я дурак набитый? Так любить Марфеньку, как я ее люблю... И она явно тянется всей душой ко мне. Но... слишком непереносимо тяжело было бы убедиться, что с ее стороны это всего лишь увлечение. Я должен вызвать в ней любовь на всю жизнь.

Что касается меня самого, я знаю одно: никогда ни одна женщина, кроме Марфеньки, не будет мне нужна. Только ее я назову своей женой!

Хорошая моя Марфенька!..

...Вышла книга.

Странно вот что: почему-то я не так радовался, как можно было ожидать. Сам не знаю почему. Больше всего я радовался, когда четыре года назад получил короткое письмо из журнала с извещением, что мой рассказ «Встреча» принят. Тогда я впервые узнал, что мир воспринимается по-разному в зависимости от того, радость ли у человека, или горе, или скучное размеренное существование. Гамма красок, в которых предстает окрашенный мир, меняется от самых ярких и свежих тонов до самых тусклых и серых. С тех пор я это проверил множество раз. Серым я, по правде сказать, мир не видел, но приходилось наблюдать, что некоторые таким его воспринимают, например наша с Лизой мачеха Прасковья Гордеевна. Она умеет «гасить». Будь то улыбка ребенка, или самая одухотворенная мечта, или хоть блеск утра — она все сумеет погасить. Никогда не забуду, как она погасила (или осквернила) мою радость в тот день, когда меня приняли в комсомол.

Покойный Павел Львов, клеветник и псевдоученый, тоже умел гасить. Тот гасил с трибуны — чьи-то мечты, чьи-то теории, вынашиваемые годами. Умеет гасить и Глеб Павлович Львов. Как жаль, что он попал в наш славный коллектив. Какие у нас собрались добрые, верные, принципиальные люди, до чего среди них легко и радостно работается! И вот теперь среди них — Глеб. Его приняли в свою среду, как доброго товарища, но я-то знаю, какой он «добрый товарищ». Я все о нем знаю. Да ведь и все знают, но считают, что нельзя бесконечно напоминать человеку о том, что он совершил подлость. Он наказан и больше так не сделает... Он сделает что-нибудь другое, другую подлость, я в этом убежден. Почему он обо всех думает плохо? Во всем видит корысть и расчет? Вчера я был свидетелем такой сцены... Это было в кабинете Мальшета. Несколько сотрудников задержались у него после работы: шел разговор о последней статье Мальшета в «Известиях». Очередная статья, как всегда прямая, резкая, ставящая вопросы в лоб.

Надо отдать должное редакциям: они охотно печатали подобные материалы и сами время от времени давали очерки о каспийской проблеме.

Но дело плохо подвигалось вперед. Кто-то мешал, не то в Академии наук, не то в Госплане. Много здесь напортил покойный Львов, потом Мирра Павловна, теперь — Евгений Петрович Оленев.

Проблему Каспия можно решать только комплексно, то есть в содружестве с инженерами, биологами, экономистами, гидрометеорологами. И потому она под силу только Академии наук СССР, а не одному институту или обсерватории.

Об этом как раз и шел разговор в кабинете Мальшета. Что касается давней мечты Филиппа о дамбе через море, в Академии и слушать об этом не хотели. А

проект дамбы уже несколько лет упорно отклонялся Госпланом. Мальшет там уже всем надоел.

— Не пойму, отчего твой проект постигла такая судьба? — огорченно проговорил Иван Владимирович.

Филипп удрученно пожал плечами.

— Для сооружения дамбы даже не требуется бетона, — продолжал Турышев, — нужен только камень и земляные работы. За два-три года дамба была бы возведена. Отличный проект, я утверждал и буду это утверждать.

Все помолчали. Васса Кузьминична вздохнула. Лиза взглянула на нее. На обеих было по несколько кофточек: обсерватория плохо отапливалась. Барабаш задумчиво курил, поглядывал на карту Каспия. Глеб Львов стоял, прижавшись спиной к печи, в полосатом шерстяном свитере и настороженно прислушивался к разговору.

— И все же мой проект, я верю, будет осуществлен, — горячо заговорил Мальшет, — ведь иначе Северный Каспий уменьшится вдвое, пустыня подойдет к юго-востоку европейской территории СССР.

— Инших таких проектов пока что немає! — согласился Барабаш.

— А что касается предложения Гидропроекта о переброске рек Печоры и Вычегды в бассейн Волги, — сказал Турышев, — очень хороший проект, но он не зачеркивает работу Мальшета: одно дополняет другое!

— А когда он будет осуществлен? — вмешалась в разговор Лиза. — В плане семилетки его нет.

Давид Илларионович стукнул по столу кулаком:

— Шо им, у голови замутыло, не бачуть, що Каспий скоро буде горобцям по колино. Хай им грець!

И тогда Глеб сказал Мальшету;

— Напрасно ты так уцепился за проблему Каспия: невыигрышная это тема, поверь! На ней далеко не уедешь. В высших инстанциях считают, что никакой проблемы Каспия нет.

Мы с Лизой переглянулись, Васса Кузьминична чуть поморщилась, Турышев тревожно взглянул на Мальшета, и тот, конечно, заорал во все горло, что ему «плевать, как считают в высших инстанциях».

— Проблема Каспия должна быть решена и будет решена, черт побери дураков, которые этого не понимают! «Невыигрышная тема, на ней далеко не уедешь». Вот оно что...

Марфенька звонила по телефону. Говорил с ней Мальшет, а мы все стояли рядом и смотрели на него. Слышно было, как Марфенька смеялась в телефон.

— Экзамены выдержала блестяще, одни пятерки. Получила звание пилота-аэронавта. Завтра выезжает домой, — коротко сообщил нам Филипп, вешая трубку и широко улыбаясь.

— Она так и сказала: домой? — переспросил я его. — Да, она так и сказала: домой!

Глава седьмая

ДВА ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММА

От Глеба Львова Мирре Львовой.

«Дорогая сестра, спасибо за ласковое письмо. Очень рад, что ты с блеском защитила диссертацию. От души поздравляю со степенью кандидата наук. Другого я, конечно, и не ожидал от тебя. Желая еще много всяких знаний, пока не доедешь до академика, в чем я нисколько не сомневаюсь.

Исполняя твоё желание, подробно опишу мое здешнее житье, а также «житие» Филиппа. Он ведь у нас вроде святого. Бескорыстный чудак от науки.

Летом еще было сносно, купанье в море успокаивало нервы. Но с наступлением осени стало совсем гнусно: ветер, изморозь, гололед, туман, сырость.

Получил комнату в только что отстроенном «финском» доме. Весьма рад, что избавился от этих дураков Аяксов: надоели до чертиков. Окрашена моя комната в какой-то гнусный серо-буро-малиновый цвет. По счастью, в бурунском «универмаге» нашелся занавесочный штапель — взял два куска и обил комнату. Вернее, наш плотник обил за некоторую мзду. Когда разложил книги, развесил аля абстракционистские рисунки нашего приятеля Додика и, развалившись на тахте, закурил трубку, стало более или менее сносно.

Заходила Марфенька с этой своей юродивой Христиной, поздравила с новосельем, осмотрела Додикину стряпню, посмеялась, немного посидела и ушла.

Хороша девка! Красива, здорова, умна и, самое главное, имеет папашу-академика. Вот бы Додьке, он как раз ищет такую. Впрочем, она уже, кажется, сделала выбор...

Работа моя понемногу движется, материал для диплома соберу и поручение твоего Евгешки выполню. Из-за этого поручения приходится часто выезжать в море. Ему только чужими руками да жар загребать. Небось сам не поедет качаться по волнам.

Когда ваша свадьба? Теперь, когда ты защитила диссертацию, он, верно, опять возобновил натиск на мою красавицу сестричку? Губа у него не дура.

Ты спрашиваешь, как мое душевное настроение? Сказать откровенно — пакостное! Я живу среди людей, которые, не стесняясь, выражают мне свое неодобрение, а я их ненавижу скрытно.

Ненавижу Мальшета, Турышева, этого доморощенного писателя Яшку Ефремова, эту юродивую Христину Савельевну, названного братца Шалого Фому и др. Всех их ненавижу до потемнения в глазах. За что? Черт его знает за что... Должно быть, за то, что у них смолоду сбережена «честь», что они могут взирать свысока на таких, как я. Ни один из них не стоит ломаного гроша, а как их все уважают!

Особенно я ненавижу своего бывшего дружка Филиппа! Я страдаю от одного звука его голоса, от его уверенной манеры ступать по земле — ты знаешь, как он ставит ногу не глядя, словно земля сама должна бережно ее принять.

Какие это ограниченные люди! Все их интересы сводятся к одному: работа, работа и работа. О чем бы они ни начали разговор: о музыке, книжной новинке, последней пьесе — все сведут к одному: обсерватория, дамба, Каспий.

Я тоже, как ты знаешь, умею работать, и даже очень, но это средство к цели, а не сама цель.

И среди этого полудурья движется, как солнечный зайчик, Лиза... Прости, ты ее, кажется, не жалуешь. Что поделаешь? Я, видно, как Тургенев, однолюб. Лизу мне не выкинуть из головы. Не знаю, Мирра, любовь это или страсть, но я думаю о ней засыпая и думаю просыпаясь. Десятки раз я мысленно обнимал ее, а потом плакал и скрежетал зубами от бессильного гнева. Ибо она для меня недостижима!

Я потерял ее навсегда в тот штормовой день, когда высадил на каспийский лед

ее братца Яшку и сына нашей мачехи Фому. Такая не забудет, не примирится. К тому же она любит Мальшета. Он герой. А женщине хоть блоху убей, но с героизмом. Извини, к тебе это не относится.

Каждый день я в бессильной ярости смотрю, как Мальшет идет в их домик, просиживает там вечера. Их тесная компания: Мальшет, Лиза, Яшка, Фома, супруги Турышевы и Марфенька.

Летом они часто уходили вдвоем — Филипп и Лиза — далеко по берегу моря. Они друзья. Вряд ли есть что большее: я бы почувствовал это, от меня не скроешь. (Кстати, Шалый до сих пор ее любит. Тоже безнадежно.) Но эта дружба неизбежно перейдет в любовь. Иначе не может быть: Лиза его давно любит и... не деревянный же он, наконец.

Тошно мне, сестра! Иногда я жалею, что согласился на эту поездку. Не надо было мне ехать сюда. Но я опьянел от одной мысли, что снова увижу Лизу, буду работать с ней вместе.

Но уж раз приехал, надо завершить работу, иначе Евгеша не простит. Он самолюбив и злопамятен!

Ты спрашивала о Мальшете. Что о нем сказать? Много работает, носится по восточному побережью с лекциями, бомбардирует столичные газеты статьями о проблеме Каспия. Это у него пунктик помешательства! Дамбы не построит, а врагов себе наживет. Да еще с его характером: он же, невзирая на лица, высказывает человеку все, что о нем думает, с непосредственностью пятилетнего беби. Анфан тэррибль...

Кстати (или некстати?), мне кажется, Филипп до сих пор не забыл тебя. Только этим я и могу объяснить, что он так долго тянет с Лизой.

Однажды он вступился за тебя перед Вассой Кузьминичной. Он сказал: «Вы ее не знаете... Мирра не такая, как всем кажется. Она очень порядочный человек!»

В голосе его прозвучала нежность. А у тебя все прошло? Когда-то я был уверен, что вы поженитесь.

Ну, всего. Целую ручки, твой брат Глеб.

P. S. Пришли новых романов Ремарка, нечего читать.

P. P. S. Мальшет собирается в Москву: очередной психоз с дамбой».

От Мирры Львовой Филиппу Мальшету.

«Дорогой Филипп! Вспоминаешь ли ты меня? Сможешь ли простить? Как я была неумна, как недостойна нашей дружбы!

И как я наказана бесполезными сожалениями. Я была обижена за отца. Если бы ты знал, как он тяжело умирал. И вот сделала ошибку, в которой горько раскаиваюсь. Я не хочу оправдывать себя. Это было ужасно — замахнуться на то, что тебе дороже всего.

Но я верю, что ты понял и простил.

Не собираешься ли в Москву? Может быть, позвонишь? Еще лучше, если телеграфируешь. Я тебя встречу на аэродроме, поговорим без помех, как встарь.

Твоя Мирра».

Телеграмма Мирре Львовой.

«Буду Москве двадцать четвертого астраханским самолетом Филипп».

Глава восьмая

ФИЛИПП МАЛЬШЕТ

Ночью Филипп улетал в Москву. В семь часов вечера он уже собрался. Портфель с бумагами и небольшой кожаный чемодан лежали на диване. Филипп принял душ из морской воды и переоделся в дорогу. Собираясь, он все думал о Лизе. Последние месяцы она избегала его. Лиза была приветлива с ним, ровна, но между ними словно повис противный кисейный занавес (чего Мальшет и в театре терпеть не мог), и никак ему не убрать эту кисею. Все сквозь нее видно, а что-то мешает.

Неужели Лизонька с ее умом и великодушием не может простить, что он выругался тогда сторяча? Ведь не думал же он этого на самом деле! Он сейчас же пойдет к ней и потребует наконец объяснения. Время еще есть. Филипп завел часы.

Прежде чем выключить свет, Мальшет с чисто мужским самодовольством оглядел свою комнату. Директорскую квартиру он отдал многосемейному электрику, а сам занял его комнату, рядом с Турышевыми. Женщина, которая ходила к нему убираться, держала ее в чистоте. Здесь ему больше нравилось, чем в его московской квартире. Там на всем лежал отпечаток вкуса матери, ее деспотической материнской любви, а здесь он обставил свою комнату, как нашел нужным.

На стенах вместо ковров, панно и картин — морские карты. Вместо лакированных книжных шкафов — некрашенные стеллажи с книгами, научными журналами и запакованными приборами, хранящимися до поры, когда они понадобятся. Письменный — простой канцелярский — стол завален бумагой, черновиками рукописей, гранками, газетами, блокнотами. Среди кажущегося беспорядка память отлично хранила, где и что лежит. (После уборки матери он никогда не мог ничего найти.) Узкая кровать застелена пледом — подарок матери. На длинной полке — образцы ракушек и камней, собранных в экспедициях.

Мать все собиралась приехать и «навести порядок». Филипп надеялся, что она так и не соберется. Они почти каждый день разговаривали по телефону, обменивались новостями. У нее были свои друзья — писатели, художники, издательские работники.

Набросив меховую полудошку, Мальшет направился к Лизе. Яша, конечно, был у Марфеньки, а Лиза писала за круглым столом, на котором были разложены учебники, отпечатанные на машинке лекции, тетради, словари.

Лиза очень похудела. Серые светлые глаза ее смотрели как-то грустно. Со слабой улыбкой она предложила Мальшету снять пальто и стала собирать в стопку разбросанные книги и тетради.

— Ночью вылетаю самолетом в Астрахань,— сказал Мальшет, повесив в передней пальто. Он взял стул и сел возле Лизы.

— Ты хочешь опять поднять вопрос о дамбе?

— Нет. Дело не в дамбе. Пусть другой проект... хотя я не знаю пока лучшего. Но каспийский вопрос надо сдвинуть с точки замерзания. Потом всякие административные дела. Я закурю?

— Пожалуйста, Филипп!

Мальшет с наслаждением закурил. Как всегда, его охватило в комнате Лизы ощущение праздничности (долго не исчезающее потом). Никогда не появлялось у

него вблизи Лизоньки тягостного чувства обыденности, утомления, внезапной и неуместной скуки. По словам Турышева и многих других, с ними происходило то же самое. Что-то было в этой девушке, не отличающейся ни красотой, ни женской кокетливостью, действующее на людей, как свежее раннее утро, полное блеска солнца, росы, бегущих облаков. Это незримое утро окружало ее в любое время года и суток, в радости и горе, создавая вокруг нее особую атмосферу радости, чистоты и праздничности.

Зная Лизу столько лет, Мальшет не помнил ее в дурном настроении, скучной, недовольной — приземленной. Она могла заплакать, как всякая девушка, когда ее обидят или огорчат, но и слезы ее были подобны дождю при солнце. И в комнате, где она жила (или работала), всегда как бы присутствовало утро. Отблеск его играл на желтых оконных занавесках, корешках книг, накрахмаленной скатерти, в косых парусах белоснежной бригантини, стоящей на тумбочке, в углу.

И, как всегда, в присутствии Лизы Мальшета непреодолимо потянуло говорить о самом дорогом и заветном, не опасаясь ни равнодушия, ни насмешек, ни того, что он может надоест.

— Я не могу понять, Лиза,— начал он,— почему каспийский вопрос не волнует наших крупнейших ученых. Они будут серьезно рассматривать самые узкие научные вопросы — о шестикрылом муравье или спорообразовании грибов,— но едва заговоришь с ними о каспийской проблеме, глаза отводятся в сторону, лицо приобретает сконфуженное выражение. Как будто им несешь детскую чепуху. В чем тут дело, не могу понять! Убытки государства из-за обмеления Каспия исчисляются миллиардами рублей, благосостояние сотен тысяч людей зависит от уровня моря, а солиднейшие ученые страны конфузятся, когда заговоришь о проблеме Каспия. Просто мистика какая-то!

Лиза невольно рассмеялась, но тотчас же стала серьезной: она с интересом слушала. Лиза умела слушать.

— На днях я начал было читать один фантастический рассказ,— продолжал Мальшет,— бросил, не дочитав: дрянь ужасная... Герой предлагает перегнать Венеру и Марс на земную орбиту. Сатурн, Уран и Нептун расколоть на части, а осколки поодиночке подогнать поближе к Солнцу. Детей он предлагает воспитывать на Юпитере, чтоб у них окрепли кости и мускулы...

— Неужели могли напечатать такую глупость? — засмеялась Лиза.

— Как видишь! Конечно, герой предлагает это по молодости лет. Но другой персонаж, «мудрый и старый», по словам автора, говорит по этому поводу: «Ваши идеи понадобятся лет через триста»... Так вот, мы же не предлагаем расколоть на части Сатурн. При современном уровне науки и техники регулирование моря человеком — вполне доступная вещь. Почему же, когда мы в сотый раз напоминаем об этом, солидные ученые на нас смотрят, как на инфантильных? Почему?

Мальшет вопросительно смотрел на Лизу, вертя в пальцах карандаш.

— Если наука почти неопровержимо докажет, что на Марсе есть разумные существа, то солидные ученые будут последними, которые признают это вслух,— задумчиво проговорила Лиза.— Не потому, что они косные или консервативные, нет, а просто слишком много об этом писалось облегченно и несерьезно (как у твоего этого автора), и маститому ученому просто неловко всерьез рассуждать об этом. Так, мне кажется, получилось с каспийской проблемой. Много шума подняли вокруг проекта дамб и поворота сибирских рек. Самая хорошая песня, когда мотив ее становится избитым от непрерывного повторения, теряет все свое очарование.

— Вот те раз! — возмутился Мальшет.— По-твоему, мы слишком много говорили о каспийской проблеме?

— Об этом писали и говорили люди совсем некомпетентные, которых интересовала не научная постановка вопроса, а...

— А нужды народного хозяйства!— твердо договорил Филипп.

— Пусть так. Но как только вопрос о регулировании уровня Каспия человеком стал достоянием широкой толпы...

— Народа!

— Да, народа, конечно... то ученые, привыкшие к обсуждению проблем в аудиториях и кабинетах, на сугубо научном языке с применением труднопонятных формул, пришли к убеждению, что каспийский вопрос — это что-то несерьезное.

— Ты этим объясняешь...

— Да. Вспомни академика Оленева.

— К черту Оленева! Но я не согласен с тобой. Не все же такие ученые, как Оленев...

— Конечно, не все, но...

Лиза и Филипп заспорили, как они спорили прежде. И все же это не было прежним разговором. Мальшет все время ощущал невидимый занавес между собою и Лизой и досадовал.

— Лиза, мне нужно с тобой поговорить! — перебил он сам себя.

— Я слушаю тебя, Филипп!

— Лизонька, неужели ты до сих пор сердишься? Знаешь ведь, какой я вспыльчивый дурак. Ну?

— Я не сержусь.

— Но я чувствую!

— Нет, ты ошибаешься. Мальшет помолчал, огорченный.

— Лизонька, ты всегда была моим самым лучшим другом...

— Я и теперь твой друг.

— Будто?

— Ну конечно, Филипп! Я всегда буду твоим другом и помощницей — всю жизнь... Я для того и на океанологический пошла, чтоб помогать тебе. Ведь у нас одна цель — покорить Каспий. Это твои идеи. Я была девчонкой, когда ты пришел к нам на маяк и я впервые услышала о дамбе. Это мне понравилось, а потом захватило целиком. Ты же знаешь, что я всегда иду с тобой. Я твой самый преданный помощник, а больше ведь тебе ничего от меня не надо.

Мальшет неуверенно молчал. Светлые глаза честно и прямо смотрели на него. И все-таки... было в них что-то — затаенная боль? Неужто обида... до сих пор?

— Спасибо, Лиза. Но мне чего-то не хватает в твоём теперешнем отношении ко мне. Как будто ты хочешь меня чего-то лишить. Почему ты так странно смотришь на меня?

Лиза покачала головой, отодвинула стул, совсем тихонько, и стала неслышно ходить по комнате.

— Ты получил письмо от Мирры? — вдруг спросила она.

— Да. Кто тебе сказал?

— Просматривала почту и увидела. Я думала, что после той ее статьи... Она же осмеяла все, что тебе дорого. Значит, ты простил? Васса Кузьминична перестала с ней здороваться... после такой статьи.

— Я не злопамятен... Не как ты, Лизонька.—Он попытался пошутить, но шутка не получилась. Лиза смотрела на него с укором.

Филипп почувствовал, что краснеет.

— Хочешь, прочти ее письмо. Она глубоко раскаялась и просит простить ее.

Филипп достал конверт из кармана пиджака.

— Ты носишь его с собой... О нет, я не хочу его читать.

Лиза попятилась назад. Она тоже сильно покраснела.

— Филипп, мы столько лет друзья, но я никогда не спрашивала...

— Можешь спрашивать о чем угодно.

— Можно? — Лиза подошла к столу.—Если... Мирра Павловна согласится стать твоей женой, ты... женишься на ней?

Филипп несколько смутился.

— Вряд ли она согласится...

— Мне важно, как ты... ну, если она согласится?

— Лиза... видишь ли... ведь Мирра — это моя первая, мальчишеская еще, любовь...

— Так не похоже на тебя, Филипп, изворачиваться... Скажи просто: да или нет.

— Да.

Лиза медленно повернулась и подошла к приемнику, стала искать в эфире... Она стояла спиной к Мальшету, чтоб он не видел, как дрожали ее пальцы. Она делала мужественные усилия, стараясь овладеть собой, и овладела. Когда она выключила приемник, Мальшет стоял уже в пальто, явно расстроенный.

— Как вы все не любите ее...— проговорил он с усилием.— И все-таки вы ее не знаете. Кому ее знать, как не мне. Со школьной скамьи... Мне пора идти!

«Филипп!.. Ты никогда не догадывался. Не хотел догадаться. Зачем тебе...» — Этого Лиза не сказала вслух, только подумала. Но Филипп не умел читать чужие мысли. Даже своего «самого близкого», по его словам, друга.

— Мне пора,— повторил он и, охваченный непонятным ему чувством сожаления, шагнул к ней.

— Дай-ка, дружок, я тебя поцелую. Ты на меня не сердись.

Лиза подставила лицо, и он спокойно и ласково поцеловал ее в дрогнувшие губы.

Так он ушел, не понимая сам, что он теряет. Но в самолете ему было до того не по себе, что, как говорится, «хоть в петлю лезь».

— Тьфу ты черт! — бормотал он.— И чего на меня такая тоска напала? Нервы, что ли, расходились? Да ведь я отродясь не знал никаких нервов.

В Астрахани он задержался на сутки по делам обсерватории. Хлопоты утомили и рассеяли его. На следующий день он вылетел в Москву, уже успокоенный, и всю дорогу думал о своей любви к Мирре, вспоминая то один, то другой эпизод.

На аэродроме его встретила Мирра. Они долго, не в силах выговорить ни слова, смотрели друг на друга, потом обнялись. Мирра, всхлипнув, уткнула лицо в его плечо, и это было так не похоже на холодную самоуверенную Мирру, что Филипп ужаснулся. Сердце его опять заныло. Он крепко прижал Мирру к себе и поцеловал в висок. Он вдруг подумал с нежностью, что был бы счастливейшим человеком, если бы эта гордая, взбалмошная умница всю жизнь выплакивала бы свои разочарования (а их у нее будет немало!) у него на плече.

Мирра первая пришла в себя и быстро повела его к такси. Был уже вечер, в сиянии люминесцентных ламп блестели лужи, накрапывал дождь.

На Мирру оглядывались. Стройная, уверенная, красивая, она обращала на себя общее внимание.

Они сели в такси. Ошеломленный Мальшет даже не слышал, какой она сказала

адрес.

Машина неслась по мокрой асфальтированной дороге, мелькали то освещенные многоэтажные дома, то мрачные темные перелески. Дождь усиливался, косые струи хлестали в запотевшее окно, шофер что-то ворчал про себя.

— Куда мы едем? — спросил Мальшет. Мирра ласково сжала его руку.

— К нам на дачу. Там живут мои дедушка с бабушкой — хорошие старики. Ты их помнишь?

— Помню.

— Твоя мама не будет тебя ждать сегодня? Можно позвонить с дачи. Как там Глеб?

— Здоров. Работает.

— Я иногда захожу к твоей матери. Она такая интересная женщина. Изумительная собеседница. А какие у нее переводы с языков Индостана! Мы с ней большие приятели.

Филипп молчал, чувства его были смутны. Он знал, что мечтой его матери был брак его с Миррой. Она восхищалась Миррой, ее умом, красотой, познаниями в языках, умением одеваться, ее музыкальными способностями. Лиза ей не понравилась раз и навсегда, и Августа Филипповна не сочла даже нужным это скрывать. Лиза больше к ней не заходила, когда бывала в Москве. Однажды она сказала Мальшету:

— Твоя мама страстно несправедливая.

Это было верно. Августа Филипповна во все вкладывала темперамент и страстность своей природы, даже в несправедливость.

Мирра умолкла. Иногда она наклонялась вперед и делала указания шоферу такси. Они долго ехали лесной дорогой. Почему-то Филипп чувствовал себя как во сне. Он и сам не знал, счастлив ли он сейчас или нет. Машина остановилась. Мирра не дала Филиппу расплатиться, решительно, но ласково толкнув его к калитке в высоком заборе, «украшенном» сверху в четыре ряда колючей проволокой.

Дождь утих, шумел сад за забором. Было совсем темно, пахло оттаявшими морожеными листьями. Зима в этом году походила на нескончаемую осень.

Мирра отперла калитку ключом — злобно залаяла где-то рядом собака — и снова заперла калитку.

— Жека! — крикнула она, смеясь, и успокоила Филиппа. — Ничего, она на цепи.

Собака умолкла.

Мирра вела его за руку в темноте. По деревянному настилу дробно стучали ее высокие каблочки. Смутно чернели в саду клумбы, ветер качал обнаженные деревья, обдавая молодых людей дождем и изморозью.

Мирра вдруг остановилась и обняла своего спутника.

— Знал бы ты, как я люблю тебя! — прошептала она задыхаясь.

Они долго целовались в гудящем от ветра саду, где пахло оттаявшими гнилыми листьями.

— Пойдем, старики ждут! — вырвалась Мирра, поправляя шапочку.

Она провела его прямо в ярко освещенную большую кухню, где их так и обдало приятным теплом и запахом сосновых дров, кофе, жареного мяса и сдобы. Еще пахло сырой кожей: дед Мирры, Василий Ульянович, сапожничал в углу за низеньким столиком, на котором были разложены дратва, гвозди, кожа, баночки с клеем и колодки. Василию Ульяновичу было около девяноста лет. Когда-то

был бравым моряком и, наверное, не раз встречался с покойным капитаном Бурлакой: мир тесен, а теперь вот на пенсии, пристрастился к сапожному делу и чинил обувь для всех знакомых и соседей в дачном поселке, немного побаиваясь фининспектора. Это был еще бодрый, худощавый, лысый старичок, большой любитель радио, особенно последних известий.

Круглый рижский репродуктор и сейчас был включен на полную мощность. Бабушка Анна Мартыновна, полная, круглолицая, добродушная, веселая, почти без морщин, несмотря на восемьдесят лет, тотчас выключила радио и, радостно улыбаясь, по-матерински обняла Мальшета.

— Филиппушка! Помирились? Вот и хорошо, уж мы так рады с Ульянычем. Замерзли, поди, раздевайтесь скорее.

Филипп расцеловал обоих стариков.

— Мы будем ужинать в кухне! — крикнула Мирра, утаскивая Мальшета с собой.

В передней они разделлись и тотчас вернулись.

— Что же это, такого гостя дорогого да в кухне кормить? — возражала Анна Мартыновна.

— Он не обидится, бабушка. В кухне всего уютнее! Я, Филипп, когда их навещаю, всегда ем на кухне.

Мирра убежала привести себя в порядок, а Филипп сел возле старика, который хотел закончить работу: «Пару гвоздей осталось — и готово». Но Анна Мартыновна без долгих разговоров вынесла плетеный столик со всеми сапожными принадлежностями в чулан. Накрывая на стол, она расспрашивала Мальшета о его жизни — она знала его еще учеником восьмого класса.

Это были родители первой жены Львова. Когда их дочь умерла, а Львов женился вторично, старики были забыты. Помнила их только Мирра, каждый год навещала в небольшом поселке на берегу Балтийского моря. Первый свой заработок она целиком отослала старикам и с тех пор регулярно помогала им. Они нахвалиться не могли своей внучкой.

Когда у них случилось несчастье — сгорел их дом, Мирра убедила отца забрать их на дачу. Львов, подумав, согласился: все равно надо им помогать, так пусть хоть караулят дачу и садовничают. Анна Мартыновна к тому же была неплохой кухаркой, на случай гостей. Им отвели комнату возле кухни, внизу, там они и доживали свой век в неустанных хлопотах, довольные, что внучка похоронит их.

Вошла улыбающаяся Мирра в простеньком клетчатом платье с белым воротничком, подстриженная «под мальчика». Лицо ее сияло свежестью: ни пудры, ни следов губной помады.

— Бабушка, я сама приготовлю Филиппу мусс, как он любит. У нас есть лимон? — Повязав бабушкин передник, она стала, смеясь, готовить.

Поужинали, выпили шампанского, поговорили по душам. Филипп рассказал про обсерваторию, и Мирра увела его наверх. В комнатах застоялся холод, вещи покрыты чехлами, картины и люстры обернуты бумагой, словно гигантские куколки, дремлющие до весны.

— Ты, Филипп, будешь ночевать в угловой на диване, а я рядом, в своей комнате, — сказала Мирра. — Там хорошо натоплено. Посидим у тебя: уютнее, и рояль. Я сыграю тебе, как прежде. Старики прослушают последние известия и лягут спать. А мы будем разговаривать всю ночь. Ты не хочешь спать?

— Нет, — ответил Мальшет, обнимая и целуя ее.

В угловой было действительно тепло и уютно. Мирра включила свет — все

лампочки, какие были в комнате, задернула шторы на окнах и присела к роялю. Филипп устроился поудобнее в кресло.

— Что сыграть? — спросила Мирра и лукаво посмотрела на него, совсем как прежде.

— Бетховена.

— Патетическую сонату? ~ Да.

— Я люблю эту вещь, Филипп! Она потрясающа по своей выразительности. Сильного человека бьет и бьет судьба. Он не сдаётся, идет своим путем, а рок его преследует все упорнее и жестче. И вот человек плачет... Это очень страшно, когда плачет сильный человек. Когда-то я написала стихи о Бетховене, но потеряла их, помню две строчки.

И назвал он безмерную печаль свою
Сонатой «патетик»!

Для любителя Мирра играла превосходно. Не избери она себе научную карьеру, из нее бы вышла незаурядная пианистка. Мальшет заслушался... Он вздрогнул от удара крышки, когда Мирра захлопнула рояль. Мальшет потянулся за портсигаром.

— Пожалуй, и я закурю,— сказала Мирра грустно.

— Ты куришь теперь?

— Нет. За компанию, иногда.

Они сели рядом на диване, курили и разговаривали.

Мирра стала с юмором рассказывать, как она защищала диссертацию, как оппоненты пытались ее «подкузьмить», но из этого ничего не вышло.

Мальшет от души смеялся. Потом он захотел пить и пошел вниз за водой. В кухне было уже все убрано. Старики сидели на стульях рядышком, у самого репродуктора, и слушали международные новости. Мальшет пожелал им покойной ночи и забрал графин с водой. Потом он опять целовал Мирру.

— Ты меня любишь? — спрашивал он между поцелуями.

— Люблю!

— Когда мы поженимся?

Мирра ответила долгим поцелуем. Как ни был взволнован и возбужден Филипп, смутное подозрение шевельнулось в нем.

— Ты согласна быть моей женой? — настойчиво спросил он, чуть отодвигая ее от себя, чтоб заглянуть в лицо.

— Потом поговорим... послезавтра... Филипп, милый!..

Мальшет резко поднялся.

— Почему послезавтра?

Он прошелся по комнате, хмурясь достал папиросу. Мирра одернула платье, неохотно поправила прическу, надела свесившуюся туфлю.

— Эх, Филипп, ты хочешь испортить этот вечер? Зачем? Я так думала о тебе, желала этого дня.

— Ты согласна быть моей женой? — Потом поговорили бы...

— Почему не сейчас?

— Я слишком утомлена для серьезного разговора.

— А-а... Разговор будет очень серьезный.

Мальшет посмотрел на часы.

— Ты права, уже половина второго, иди спать.

— Но я не хочу от тебя уходить.

— Можешь сидеть.

— Ты не хочешь меня поцеловать?

— А я не знаю, свою я невесту целую или, быть может, чужую?

— Никогда не думала, что ты такой ханжа! При чем здесь загс?

Мальшет бросил папиросу. В нем уже закипало раздражение, но он взял себя в руки.

— Мирра,— ласково позвал он ее,— что ты хочешь делать с нашей любовью?

— Я хочу любить тебя!

— Значит, ты не хочешь быть моей женой...— упавшим голосом ответил он.

— Эх! Зачем все портить? Так было хорошо! Я хотела говорить об этом послезавтра — в понедельник. Как раз выходной день! Хоть два дня простого человеческого счастья. Я бы тебе сама варила кофе, ухаживала за тобой, как твоя жена. А ты...

Мирра чуть не заплакала от разочарования.

— Но почему два дня,— Мальшет сел рядом и ласково взял ее руки в свои,— когда мы можем быть вместе всю жизнь?

— Мы не можем быть счастливы вместе,— тихо возразила Мирра.

— Это зависит от нас самих!

— Послушай, Филипп...—Мирра обняла его, но он не шевельнулся, словно одеревенел.— Неужели нельзя обсудить это потом? Я стосковалась о тебе. Я так устала, у меня был тяжелый день...

Мальшет гневно сбросил ее руку.

— Говори начистоту все! Почему мы не можем быть мужем и женой, как все люди? Ты же сказала, что любишь меня?

Мирра села в уголок дивана и заплакала навзрыд. Мальшет угрюмо смотрел на нее, но не трогался с места. Мирра плакала долго. Она поняла, что это был конец всему, и не в «ханжестве» Филиппа была причина, а в его чувстве достоинства. Приходилось объясняться откровенно.

Мирра встала и села у стола, положив обе руки на его скользкую лакированную поверхность.

— Сядь,— сказала она Мальшету, и он тоже сел к столу.— У каждого человека свое представление о счастье,— начала Мирра.— У тебя Каспий, обсерватория... пустыня...

— Я все понимаю! — перебил ее Филипп, лицо его смягчилось.— Ты не можешь оставить Москву, свою научную работу. Я знал это. Моя мать тоже никогда бы не оставила Москвы. Я все понимаю и люблю тебя, какая ты есть. Я уже обдумал это. Ты будешь жить в Москве, я на Каспии. Я буду проводить свой отпуск в Москве, а ты свой на море. Два месяца в году вместе! Кроме того, ведь я часто бываю в Москве в командировках. Мирра, девочка моя, все это не препятствия, когда любишь.

— Ничего не получится! — расстроено вскричала Мирра.— Я так мечтала создать у себя круг знакомых: артисты, писатели, ученые, академики! Самые интересные люди столицы. У меня есть где принять... У нас же прекрасная квартира в центре, я ее обставила по-современному, а летом эта дача... два рояля, в городе и здесь... Мачеха мне в этом поможет, она умеет принять. Я уже приобрела много таких друзей и... и...

— Салон! — зло усмехнулся Мальшет.— Значит, это правда, что ты выходишь замуж за Оленева,— соображая, сказал он.— Тебе импонирует, что он академик...

«Она сухая, расчетливая карьеристка или фантазерка, которая по наивности тешит себя иллюзиями...— подумал устало Мальшет.— Тоже мечты... Но какие

убогие мечты!»

Мирра снова заплакала, опустив голову на стол.

— Чего же ты плачешь? — спросил Филипп.—Выходи за Оленева!

Мирра продолжала плакать, и Мальшет ласково погладил ее волосы.

— Кстати, ведь я не возражаю, чтоб ты принимала у себя своих друзей.

— Ничего не выйдет! Ты же всех разгонишь... О боже мой! Ты начнешь говорить им правду в глаза... Одному, что он начетчик, другому — бездарность или карьерист... или чиновник от науки. Ты способен, как тот... Яшка...назвать человека в глаза подлецом, просто чтоб объяснить, почему ты не подаешь ему руки. И всех разгонишь...

— Неужели у тебя все друзья такие?

— Нет, конечно. Они самые авторитетные, маститые, но они в грош не ставят каспийскую проблему и... и наверняка покажутся тебе бюрократами или дураками...

— Все это такая чепуха, Мирра! Поверь, что это несерьезно. На кой черт тебе нужен этот салон?

— Что ты!

— Тьфу! Ты выходишь за Оленева?

. - Да.

Мальшета передернуло. И все же, подавив свое самолюбие, он сделал попытку убедить Мирру. Она же плакала — значит, любила его. Он привлек ее к себе и попытался убедить. Целовал ее мокрые от слез щеки и, как взбалмошного ребенка, убеждал, убеждал.

Она слушала, закрыв глаза, но когда Филипп сказал: «Ты устала, иди спать, а завтра пойдем в загс»,— она решительно замотала головой: нет, нет!

— Знаешь, ты кто? — вскипел Мальшет.— Ты самая обыкновенная мешанка, несмотря на все твои познания и таланты. Ничтожная мешанка новой формации в нейлоне и перлоне. А я... Ах, я дурак! Все видели, кроме меня. И ради такой, как ты, я...

Филипп махнул рукой и, не попрощавшись, пошел прочь по комнатам, по лестнице. Мирра сбежала за ним.

— Филипп, поздно, ты с ума сошел! Я не пущу тебя!

— Тише, ты разбудишь стариков, они наработались за день, убирая такую дачу.

Он надел пальто и шапку и распахнул наружную дверь. Мирра выбежала за ним.

— Там собака... Калитка заперта!

— Отпирай, или я вышибу твою калитку!

Мирра накинула на голову дедушкин бушлат и, не говоря больше ни слова, прошла за Мальшетом в сад, открыла калитку. Собака спала в своей конуре.

— Филипп!..

Но Филиппа больше не было. Он ушел. Мирра заперла дверь и тяжело поднялась по узкой лестнице вверх. Она не плакала. Она медленно разделась и легла в холодную постель. За стеной гудел на ветру сад, бросался в стекло пригоршнями капель. В шуме ветра было что-то весеннее, что будоражило и нагоняло тоску. Чтоб избавиться от этой ненужной тоски, не надо было думать о Филиппе. Она вспомнила Оленева и застонала от внезапного неприязненного чувства. Минут через двадцать она встала, нащупала в шкатулке снотворное и, приняв его, попыталась уснуть. Но снотворное не подействовало, и Мирра пролежала до утра с широко раскрытыми глазами.

Не так она надеялась провести эту ночь.

А Мальшет в это время быстро шагал по дороге к освещенной заревом огней Москве.

В предместье к нему подошли четыре личности с поднятыми воротниками и надвинутыми на глаза кепками. Личности эти вынырнули из темной подворотни, как отвратительные порождения сырой бесформенной тьмы, вроде мокриц или пауков, но бесконечно опаснее.

— Часы и деньги! — сказал тихо, но очень четко один из них.

— И раздевайся...—добавил другой, пощупав материю на его пальто, — да не вздумай пищать, друг!

Блеснули финки.

— Вам часы?! — задохнулся Мальшет.

Обманутое чувство, жегшее оскорбление, нанесенное женщиной, нарастающее ощущение вины перед Лизой, раскаяние, уже терзавшее его, сознание, что он вел себя, как самый последний дурак,— все смешалось, оборотившись поистине страшной, слепой яростью. И он сорвал ее на этих тщедушных жуликах. Первым ударом в висок он свалил одного из них. Вторым, таким же по силе ударом, он перебил нос попятившемуся любителю чужих часов. Двое сразу бежали без единого крика в темноту, а этому, с изувеченным носом, пришлось очень плохо. Он хотел ударить Мальшета ножом, но в какую-то долю секунды Мальшет опередил его и так рванул ему руку, что высадил ее из плеча. Парень дико заорал от нестерпимой боли. Он пытался бежать, как его дружки, но Мальшет нанес ему такой сокрушительный удар под ложечку, что он, согнувшись вдвое и захрипев, упал ничком на землю. Тогда Мальшет опомнился и зашагал не оглядываясь.

Он шел, не разбирая ни луж, ни строительного мусора, ни ям, переходил рельсы, поднимался на высокие насыпи, пробирался под акведуками мостов. Всю его любовь к Мирре как рукой сняло, а может, ее давно уже и не было и он берег лишь призрак юношеской любви.

Его работа — упорное стремление во что бы то ни стало покорить Каспий,— захватив полностью его мысли и чувства, была причиной того, что он не полюбил вновь. По крайней мере, так ему казалось. Но выдержать этот все поглотивший труд он мог только потому, что душа его все эти годы обогревалась в лучах Лизиной любви. Вот что ему было нужно в жизни — любовь Лизы. Вот без чего он не мог так радостно трудиться, радостно встречать каждый наступивший будничный день, как яркий праздник.

Утро и праздник — себя — вот что щедро несла ему Лиза.

И, конечно, он знал в глубине сердца, что Лиза любит его, но, радуясь этой любви, как мы радуемся свету солнца, он так же мало думал о Лизе, как мало думает любой человек о солнце — источнике жизни. И Филипп понял с ужасом, что, если бы Лиза вдруг лишила его своей любви, он был бы несчастен, как если бы его лишили солнца и лета.

А Лиза, должно быть, страдала... Мальшет вспомнил ее взгляд, когда он говорил о Мирре, и даже замычал от нестерпимого стыда.

— Какая же я скотина! — бормотал он, спотыкаясь о разрытую землю (он шел какой-то бесконечной стройкой, не соображая, где идет). Столько лет — самая верная помощница, самый близкий друг!

Он вспомнил Лизу в экспедициях, как она шла пешком в буран, по замерзшему Каспию, жалея лошадь, когда даже некоторые мужчины сели на возы. Как она вкусно готовила, просыпаясь до рассвета, когда еще все спали в своих мешках, кроме, конечно, Фомы, который был всегда рад помочь ей.

Готовила, стирала, делала метеорологические наблюдения. И ни одной жалобы на усталость, на холод. Он вспомнил ее в обсерватории: всегда хлопочет, всегда занята, но вокруг нее — утро. И всегда приветлива, светла. Такой он видел ее на метеорологической площадке, такой она каждый день шла по стоячей уторе в своем пуховом платочке брать очередную станцию в проруби, такой клала кирпичи на строительстве обсерватории.

Шесть лет идти рядом и не видеть ее!.. Надо быть слепым!

Он вдруг вспомнил ее во второе свое появление (после того как он однажды уже забыл ее) на старой метеостанции у взморья. Как она стояла, тоненькая и стройная, в новом серебристом платье, в том самом, что ей прислала заслуженная артистка Оленева, и так смотрела на него, будто одного его только и видела. В светло-серых глазах ее была такая по-детски горячая просьба о душевном, настоящем. Почему же он никогда не откликнулся на этот немой призыв?

Неужели потому, что она никогда не умела кокетничать — всегда искренняя и естественная? Как он мог, как смел менять ее на Мирру! Все эти шесть лет ее продолжал любить Фома, не навязываясь, не требуя ничего взамен и не изменяя. Чего он ждет — Фома Шалый?

Страх потерять Лизу навсегда охватил Мальшета. Он уже не шел, а почти бежал, перепрыгивая через кирпичи, наваленную, смерзшуюся землю.

К утру он добрался до дома матери, отмахав добрых сорок километров.

Он хотел сразу написать Лизе письмо, но просто выбился из сил и уснул. Пытался он написать ей и в последующие дни, но не мастер он был на лирические излияния и, разорвав несколько писем, решил сам сказать ей все по приезде домой.

Мальшет пробыл в Москве двадцать семь дней.

Посетил несколько редакций центральных газет, был в Госплане, в Академии наук, добился разговора с президентом академии, обращался в Цека. Везде он доказывал, убеждал, уговаривал, спорил. Он поднял на ноги всех сторонников быстрого решения каспийской проблемы — ученых, инженеров, журналистов. В печати тогда появилось множество статей и очерков, все на эту же тему, самых различных авторов.

Географическое общество, членом которого состоял Мальшет, отвело этому вопросу экстренное заседание, на котором Мальшет выступил с большим докладом о проекте дамбы через Каспий.

Искренний и горячий доклад этот имел огромный успех. Мальшету долго и бурно аплодировали. Не меньший успех имело последующее выступление академика Оленева, который подверг и проект, и доклад, и докладчика столь остроумной, злой и уничтожающей критике, что даже сторонники каспийской проблемы не могли удержаться от невольной улыбки.

Кажется, Оленев развил не меньшую энергию, доказывая, что никакой каспийской проблемы не существует, так как в связи с ослаблением солнечной активности шестидесятые годы будут переломными, и уровень Каспийского моря начнет (уже начал!) подниматься. У Оленева имелось много сторонников — к сожалению, самые маститые ученые.

Оленев всюду появлялся со своей невестой, дочерью покойного ученого Львова, — молодой, поразительно красивой женщиной, одетой всегда изысканно и со вкусом.

Возле нее сразу собирался кружок восторженных почитателей ее красоты и талантов. Многим хотелось попасть в число ее друзей, но она приобретала знакомых с большим разбором. Встречался с ней не раз и Мальшет, но, коротко

поклонившись, проходил мимо.

На очередном заседании Академии наук выступил с длинной речью доктор технических наук профессор Сперанский, поддержавший и значительно усовершенствовавший проект Мальшета о дамбе через море. Он привел научные и экономические данные в защиту этого проекта, к тому же не требовавшего чрезмерных денежных затрат. Речь была выслушана в гробовом молчании, после чего стали обсуждать другие вопросы.

И все же каспийской проблемой где-то понемногу занимались. Госпланом СССР было принято предложение гидропроекта о переброске стока рек Печоры и Вычегды в бассейн Волги. Проект сам по себе грандиозный, осуществление которого должно было обогатить целый край — Запечорье, но... не могло быстро поднять уровень Каспийского моря. Эффект его должен был сказаться не ранее десяти лет после окончания работ.

Все же разговор с президентом Академии наук и другими учеными имел свои хорошие последствия. Обсерватория в дюнах получила название Центральной каспийской обсерватории, дали денежные средства на расширение научных опытов и скорейшее завершение строительства здания обсерватории и жилых домов. Более чем втрое увеличили штат сотрудников.

В день, когда средства были утверждены, окрыленный Мальшет говорил по телефону с Турышевым. Иван Владимирович был в восторге. Недостаток денег мешал ему осуществить некоторые, крайне необходимые для науки, аэрологические исследования. То же самое было и с другими отделами обсерватории.

— Как у нас все будут рады, когда узнают! — воскликнул он. — Когда же домой, Филипп Михайлович?

— Через два дня вылетаю! — сообщил Мальшет. -- Ну, как у нас, все живы и здоровы, новостей нет?

- На другом конце провода замялись.

— Гм! Личного порядка новости, Филипп Михайлович...

— Ого! Не поженились ли Марфенька и Яша?

— Нет. Лиза вышла замуж. За Фому Ивановича. Свадьбу не праздновали, отложили до вашего приезда. Лизонька уже перебралась к Фоме в Бурунный... Филипп Михайлович? Алло! Алло! Филипп, ты меня слышишь?..

Иван Владимирович проворчал что-то насчет того, что разъединили раньше времени, и повесил трубку...

Лиза вышла замуж за Фому.

Теперь надо привыкать жить без ее любви.

Оглушенный Мальшет сел на кровать и несколько часов просидел не шевелясь, глядя в одну точку.

Услышав, что пришла мать, он быстро разделся и, отвернувшись лицом к стене, притворился спящим. Так он и пролежал всю ночь лицом к стене, не открывая глаз, но без сна, крепко стиснув зубы, словно от невыносимой физической боли.

Августа Филипповна любила работать ночами и раньше четырех утра не ложилась. Она несколько раз заглядывала к сыну. Ее смущало, что он не поужинал, не дождался ее прихода. Они всегда долго разговаривали перед сном. Поцупав его лоб, она на цыпочках вышла из комнаты.

Почему-то она вспомнила, как еще в детстве, когда Филипп остался на второй год — это было, кажется, в шестом классе, — ее сын, всегда живой и шаловливый не в меру, точно так же лежал недвижно, лицом к стене, переживая свой первый

позор.

Глава девятая

ЛИЗА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

(Дневник Яши Ефремова)

Сестра Лиза вышла замуж, и я остался один.

Произошло это так. Пришел к нам вечером Фома и шепнул мне умоляюще, чтоб я вышел на часок. Я понял, что он решил сделать Лизе предложение... в сотый раз. Зная по опыту, что ничего из этого у него не выйдет, но не желая бедняге мешать, я приоделся и пошел к Марфеньке — на другую половину дома. Марфенька решала задачи с Христиной, которая училась в заочной средней школе, в восьмом классе.

Мы тут же отправились на каток (Христина переключилась на историю). Вечер был чудесный, на катке собрались чуть ли не все сотрудники обсерватории. Очень было весело. Васса Кузьминична делала на коньках такие фигуры, что все диву давались, пока Иван Владимирович, опасаясь за ее сердце, не запретил ей категорически.

Часов в одиннадцать я вернулся домой. Зашел к себе и внутренне ахнул: Лизонька с Фомой сидят рядышком на моей койке и как-то странно и весело смотрят на меня. Лиза раззурмянилась, будто с мороза, а когда я пристально на нее посмотрел, покраснела еще пуще. Грешным делом, я подумал: не целовались ли они?

Я стоял посреди комнаты, как был, в лыжном костюме и вязаной шапке, и подозрительно смотрел на них. Они оба рассмеялись.

— Янька, друг мой...— торжественно начал Фома, и у меня так и екнуло сердце,— Лиза согласилась быть моей женой. Мы теперь поженимся.

У меня, наверное, так и вытянулось лицо, потому что сестра моя рассмеялась опять и стала меня тормошить и целовать в нос и в щеки, чего я терпеть не мог.

— Все будет хорошо, Янька! — уверила она меня.— Я буду каждый день тебя навещать.

— Значит, ты... уедешь? — тупо спросил я.

— Всего лишь в Бурунный. Я переселюсь к Фоме, раз уж он станет моим мужем.

Чудеса, да и только! Я чуть не брякнул: а как же Мальшет? Ведь кто-кто, а уж я-то знаю, как она любила Мальшета.

Мальшета, а не Фому. И совсем не похоже на Лизоньку, чтобы она вышла замуж не по любви.

Кажется, они оба прекрасно поняли, что я подумал. Фома заметно помрачнел, а Лиза ласково сжала его руку, как бы в утешение, и он снова повеселел. Вскоре Фома ушел, а Лиза проводила его и заперла за ним дверь (обычно я запираю за ним).

Когда он ушел, я долго молчал, совершенно обескураженный, а Лиза, тихонько напевая, ходила по комнате и прибирала. Потом она подмела пол и села на стул возле бригантины.

— В чем дело, Янька, выкладывай! — сказала она.— Разве я не могу выйти

замуж, как все девушки?

— Я ничего не понимаю...— многозначительно произнес я.

Я вертелся на своей койке, как юла, то облокачивался на подушку, то разваливался, упираясь головой в стенку, то опирался на спинку кровати. Случайно я увидел свое лицо в овальном зеркале напротив и поразился, до чего у меня глупый вид. Почему-то я чувствовал себя глубоко обиженным.

Лиза испытующе посмотрела на меня и сказала, вздохнув:

— Хорошо, Янька, я попытаюсь тебе объяснить... если ты поймешь.

— До сих пор, кажется, все понимал! — буркнул я негодуя.

— А что тебя смущает? — спросила Лиза.

— Разве можно жениться... выходить замуж не любя?

— Значит, можно... иногда, — как бы сама удивляясь, ответила Лиза.

— Но ведь ты любишь Мальшета, я знаю! — закричал я вне себя.

— Чего ты кричишь? Все, все знают, что я люблю Мальшета, — с горячностью начала Лиза, — кому надо и кому не надо знать об этом. Но ведь ему не нужна моя любовь! В этом есть что-то унижительное: любить столько лет без взаимности. Я не хочу его любить, понимаешь? Мы с тобой, Яша, слишком идеализировали Мальшета.

— Ах, ты уже разочаровалась в нем? Ну, а я нисколько!

— Не разочаровалась. Он сам будет всю жизнь идти к одной цели и других поведет за собой. Я всегда буду ему верным другом и помощницей в делах. (Пойми, что ему ничего больше от меня и не нужно!) Но... нельзя так идеализировать человека... И у него есть недостатки.

— У Мальшета? — недоверчиво переспросил я.

— Да, у Мальшета. Я просто изводила себя, не находя взаимности, а он... он еще рассказывал мне с умилением о Мирре. И когда он уезжал, вот в этот раз тоже... он прямо сказал, что женится на ней, если она... соизволит согласиться.

Я наконец взбунтовалась. Я не хочу его любить. Не хочу. Если он мог любить такую женщину, как Мирра Павловна, значит, в нем есть такое, что способно принять те качества, которые так отталкивают нас в ней. Вот о чем я думала долго. Если хороший человек любит недобрую женщину, значит, он сам не так хорош, каким кажется. Мирра ведь тоже из породы гасителей, как ее покойный отец, как наша мачеха. Способность гасить все благородное, чистое и возвышенное, что попадает на пути, — это страшная способность. Все мещане таковы: они смеются над тем, что выше их, я боюсь и ненавижу таких людей! Как же мог Филипп увлекаться ею столько лет?

— Страсть, может быть, — глубокомысленно возразил я. — Вспомни кавалера де Грие и Манон Леско.

— Ведь я была совсем девчонкой, когда уже любила Филиппа, почему же ему ни разу не пришло на ум помочь мне освободиться от этого чувства, раз оно ему не нужно? Откуда у него, коммуниста, такая душевная бестактность, такой бессознательный эгоизм? Может, от матери? Она так несправедлива! За что она меня невлюбила? Что я сделала плохого? А Фому я не обманываю.

— Но ведь ты его не любишь?

— Люблю его, как самого близкого друга — глубоко и нежно, вот! Прежде я была дурой и не ценила его, а теперь ценю. Он очень хороший человек! Разве он не спас тебе жизнь, когда вы были в отnose? Знай, Янька, что я хочу полюбить его еще сильнее, чем... Если я буду его женой — всегда и во всем рядом с ним, — я скорее полюблю его, чем живя вдалеке. Я такая же женщина, как и все. Я тоже хочу иметь семью. Приветливого, доброго мужа и детей. Я не хочу больше быть

одна так долго, пока не засушитесь сердце...

Лизонька заплакала, опустив голову на тумбочку, где стояла наша бригантина с пышными парусами. Бригантину чуть не свалилась, но, покачавшись, удержалась.

Мне стало совестно, что я так расстроил сестру. Я подошел и неловко поцеловал ее в косы.

— Не плачь, Лизонька,— сказал я.— Очень хорошо, что ты выходишь за Фому. Он славный парень, мой лучший друг!

Лиза еще поплакала немного, потом поцеловала меня в щеку, грустно вздохнула и пошла стелить постель. Мы еще немного поговорили о предстоящей свадьбе и легли спать. Но я слышал, как Лиза всю ночь ворочалась в своей постели. Если бы я не был двадцатилетним парнем, я бы тоже, может, всплакнул. Признаться, у меня точно кошки скребли на сердце. Словно я терял сестру, словно она уезжала куда-то далеко-далеко. Подходил полдень жизни, и вот уже у Лизоньки все оборачивалось не так, как это мечталось и планировалось утром. Только у меня, дуботолы, словно по нотам разыгрывались и общественные и личные мои дела. Я начинал думать, что «родился в рубашке». Марфенька явно меня любит, несмотря на все мое недоверие. Все, что я сочинял, неуклонно принималось в печать. Обо мне уже и в газетах писали: молодой, начинающий, яркое дарование и так далее. Только захотелось стать пилотом — и вот я уже пилот! Какая-то чересчур облегченная у меня жизнь!

И в ту долгую ночь, когда я то задремывал, то просыпался, слыша, как Лизонька ворочается с боку на бок, сердце мое разрывалось от жалости к старшей сестре. У нее вот жизнь складывалась не особо важно.

Они зарегистрировались в воскресенье в бурунском загсе.

Празднование свадьбы было отложено до приезда Мальшета, а пока были приглашены только самые близкие, просто «немного отметить».

Иван Матвейч был счастлив: лучшей жены сыну он никогда и не желал и с самого утра ходил немного подвыпивший на радостях и всем рассказывал, как он доволен. Зато наш отец с мачехой очень меня удивили: они никак не реагировали на это событие, будто пришли на очередные именины.

Были, конечно, Иван Владимирович с Вассой Кузьминичной, моя Марфенька, Христина, наш бывший классный руководитель Афанасий Афанасьевич (он постарел, но все такой же милый энтузиаст), две школьные подруги Лизоньки (одна уже врач, другая — бригадир рыболовецкой бригады) и несколько друзей Фомы — капитаны промысловых судов, механики, рулевые.

Кажется, всем было очень весело. Я тоже под конец, подвыпив, развеселился и даже хотел танцевать с Марфенькой, но она посоветовала сначала научиться и танцевала с кем угодно, только не со мной (преимущественно с долговязым рулевым!). Фома был очень бледен, почти не пил и выглядел каким-то растерянным. Лиза, наоборот, смотрела ясно и весело. Косы она уложила в модную прическу, взбив отдельные пряди волос и закрепив сзади свободным узлом. Несколько коротких прядей упали на высокий чистый лоб. На ней было нарядное светлое платье, на шее прозрачный кулон на золотой цепочке — подарок Вассы Кузьминичны. Фома был одет в новехонькую капитанскую форму. Черные волосы лежали почти гладко. Он женился на любимой девушке, но не был уверен в счастье. Мне сделалось его очень жаль, и я от всей души пожелал ему счастья, когда мы стали прощаться. Кто расцеловал новобрачных, кто пожал им руки, все пожелали им счастья и разошлись, оставив их начинать новую жизнь в доме капитана дальнего плавания Бурлаки. Морской барометр на стене показывал ясно.

Отец с мачехой, такие же невозмутимые, как и в начале вечера, отправились на лошадях на свой линейный участок, а мы все, обсерваторские, уселись в грузовую машину и со смехом, шутками, песнями поспешили восвояси. Мстя за рулевого, я сел между супругами Турышевыми, пока Марфенька не упростила Вассу Кузьминичну подвинуться, и так ехала рядом со мной. Пока мы доехали, и хмель мой прошел: ветер выдул его из головы.

Когда я, отперев дверь, вошел в дом и включил свет, какой пустой показалась мне наша комната без Лизоньки! К горлу подкатил комок, и я чуть не разревелся, как мальчишка. Но мне было уже двадцать лет, я был мужчина, пилот. И надо было привыкать жить без старшей сестры.

Я долго стоял посреди комнаты (было дьявольски холодно, потому что я забыл сегодня протопить печь) и думал, как отнесется к этому Мальшет. Иногда мне казалось, что он все же любит Лизоньку, просто он с головой ушел в работу. Каспий поглотил его чувства. Тошно ему будет, если он очнется и осознает эти свои запрятанные глубоко чувства. В общем, кто его разберет! Я быстро разделся и лег в Лизину постель: моя койка была хуже, и Лиза перед уходом вынесла ее в сарай.

А наутро была целая история с Глебом Львовым.

Он, оказывается, ничего не знал о том, что Лиза выходит замуж. Рассказали ему о свадьбе Аяксы. Глеб чуть не придушил одного из них: зачем он не сказал ему раньше? Потом Глеб, наверное, сообразил, что ведет себя как сумасшедший, и ушел куда-то в дюны на целый день — то есть совершил прогул!

Лиза взяла очередной отпуск. На работе ее не было, и в обсерватории без нее тоже было пусто. Все на это жаловались. Вообще я не помню, чтоб хоть одна свадьба вызывала столько уныния, просто удивительно, каждый почему-то чувствовал себя так, словно его ограбили. Чудеса! Я — еще понятно: родной брат, но им-то всем что?

Недели через две приехал Мальшет. Выглядел он утомленным. Филипп проделал в Москве огромную работу: выступал, пропагандировал, добился добавочных ассигнований на опыты, достал всякие редкие приборы и самое главное — новые аэростаты.

На старых были слишком тяжелые оболочки. Трудно было удерживать шар на необходимой высоте. Вследствие большой инерции такой тяжелый шар набирает излишнюю высоту при сбрасывании балласта и, наоборот, опускается чересчур низко при стравливании газа, а потом просто душу изводит долго не затухающими колебаниями. Такие оболочки нам подсунули в Долгопрудном, а теперь Мальшет достал совсем новые.

И мы сразу начали готовиться к перелету через море. Мы давно уже мечтали об этом, весь аэрологический отдел. Турышеву хотелось пересечь на аэростате Каспийское море для того, чтобы определить залегание слоев различной влажности от берега до берега, и тому подобное — я в этом не особенно разбираюсь. А молодежь интересовал самый перелет через море на воздушном шаре. Все только об этом и говорили в обсерватории. Марфенька очень волновалась, как бы вместо нее не назначили пилотом меня, но Мальшет сказал: полетят сразу два аэростата. Так что мы с ней поведем каждый свой аэростат.

В день приезда Мальшет заглянул ко мне уже поздно вечером. Я читал, лежа на кровати, «Потерпевший кораблекрушение» Стивенсона, когда Филипп просунул голову в дверь.

— Ты один, Яшка?

Он вошел и, не раздеваясь, тяжело опустился на стул у самой двери.

«Эк его перевернуло!» — подумал я с жалостью. Взгляд его удлинённых зелёных глаз, всегда таких ярких, словно притух и выражал самое глубокое уныние.

— Расскажи все, как было! — потребовал он таким тоном, как бы сказал: «Расскажи, как она умерла!»

И я рассказал, по своей привычке ничего не утаивая, как было на самом деле. Лизины слова о нем я передал почти дословно.

Филипп слушал, страдальчески морща нос, и даже застонал раза два.

— Да ведь и я ее любил, Яша! — сказал он, потрясенный.

— Она не знала!

— Я и сам не знал. Потерял ее по собственной глупости.

Филипп низко опустил голову, закрыв руками лицо.

«Хоть бы он поплакал,— подумал я,— все бы ему легче стало». Но он не мог плакать, только мотал изредка головой, словно отгоняя мух.

Пока он так мучился, я сбегал на кухню за чайником — он у меня кипел весь вечер на плите (уголь нам уже подбросили в достаточном количестве), — накрыл на стол и уговорил Мальшета снять его полудошку.

Потом мы с ним ели воблу и брынзу, пили чай с кизилковым вареньем — двое холостяков — и беседовали о предстоящем перелете через море. Он постепенно оживился и стал советоваться со мной как с пилотом, нельзя ли вместо плетеной ивовой гондолы взять лодку.

— Если бы достать пластмассовую лодку,— сказал я, поразмыслив,— а обыкновенная лодка слишком тяжела.

— Где ее достанешь! — вздохнул Филипп.

Он стал заходить ко мне чуть не каждый вечер, так что Марфенька даже и сердиться начала. Тогда она тоже стала приходить ко мне, с Христиной вместе, и намекнула Филиппу Михайловичу, что Христина все еще, кажется, верит в бога. Мальшет снова занялся ее «распропагандированием». Он очень был занят и убеждал ее от одиннадцати вечера до половины первого.

Христине это как будто очень нравилось, а мы уходили на каток, чтоб не мешать антирелигиозной агитации.

Скоро у Лизоньки кончился отпуск, и она стала ездить на работу на мотоцикле или на машине со строителями.

Сестра нисколько не изменилась с замужеством: все такая же радостная, приветливая, добрая, готовая каждому помочь. Ко мне она забегала каждый день и наводила уют. Чтоб ее не утомлять уборкой, я на ночь сам драил пол и вытирал пыль. Все равно она находила себе дело.

Я вздохнул с облегчением: все пошло почти как прежде. О том, что Филипп ее любил, я ей не сказал и его убедительно просил не говорить. Всею душой надеялся я, что моя сестра никогда не узнает, как она лишь немного не дождалась Филиппа Мальшета. Еще бы две недели подождать, и она бы стала его женой. Мне было грустно, когда я об этом думал. Значит, человек может отказаться от своей мечты за полчаса до того, как она сбудется, и даже не догадаться об этом.

Сегодня я опять задумался над Лизиным словом «гасить».

Страшное слово, недаром она его произносит всегда с содроганием.

Гасить можно по-разному. Покойный Львов гасил иронией. Здравствующий поньне Оленев гасит всем своим авторитетом. Некоторые гасят практицизмом. Сомнение не гасит, равнодушие гасит... медленно, но неуклонно. Можно погасить мысль изобретателя. Можно погасить мечту. Можно погасить веру в свои силы. Можно ли погасить талант? Не знаю. Должно быть, все же нельзя, если талант

большой.

Наша мачеха, Прасковья Гордеевна, гасит похвалой. Оказывается, и похвала может гасить, если это похвала человека ничтожного и гнусного.

Во всех этих случаях все зависит от самого себя— от того, кто несет колеблющееся пламя. Только от него зависит, даст ли он пламени погаснуть или, упорно охраняя его, поможет разгореться снова.

Недавно я навещал отца... Расскажу по порядку. Я получил довольно большую сумму за свою книгу. Надо было подумать, куда девать эти деньги. Я распределил их на пять частей. Одну часть как свадебный подарок — Лизоньке и Фоме. Другую часть — отцу. Третью — на путешествие. Я решил отправиться в отпуск путешествовать. Осмотрю Ленинград, я никогда не был в Ленинграде. Проеду по рекам Печоре, Вычегде, Каме и посмотрю места будущих водохранилищ, которые хоть немного поднимут уровень нашего моря. На севере я тоже никогда не был. Четвертую часть отдал на пополнение бурунской библиотеки, а пятую оставил на всякий случай. Сам не знаю на какой — непредвиденный. Мне вполне хватает моей зарплаты. Я купил себе только новый костюм (серый в полосочку) и мотороллер.

Вот на этом-то мотороллере я и решил съездить в выходной день к отцу, так как давно его не навещал и он уже стал обижаться. По телефону мы каждый день разговаривали, но это, разумеется, не то.

Конечно, по таким пескам и на мотороллере пока доберешься — все же я добрался.

Отец очень мне обрадовался, даже прослезился, обнимая меня; мачеха тоже хорошо встретила. У них все по-прежнему, только им построили новый дом на длинных сваях, а старый занесло песком, и его разобрали.

На этом месте построили еще один хлев — теперь у них шесть хлевов, настоящий зоологический сад домашних птиц и животных, даже верблюжонок растет. Слонов и буйволов только нет.

Пока они хлопотали, готовя угощение, я обошел вокруг дома, заглянул в новую баню с предбанником, постоял у деревянной калитки. Вдали темнели развалины старого поселка Бурунного, почти уже занесенного песком.

Мне стало грустно, как всегда, когда я попадал домой. Ветер качал провода междугородной линии связи, на которой столько лет работал отец, гудел в столбах. И столбы заносило песком. Каждый месяц их отрывали, а их опять заносило песком. И только старый заброшенный маяк еще стоял высоко на фоне желтых холмов и синего моря. Крыша его совсем облупилась, вся краска слезла, узкие окна полопались от мороза и зноя. Некоторые рамы исчезли целиком. Я догадываюсь, кто- их взял. Тут и догадываться нечего: я видел окна в бане.

Я еще помнил то время, когда здесь шумело море, качались парусные реюшки, сушились на ветру бесконечные сети, а в свайных домиках жили рыбаки.

Тогда маяк еще светил людям, а теперь фонари его погасли, и он заперт на огромный ржавый замок.

И, как всегда, думая о маяке, я вспомнил слова Мальшета, сказанные им несколько лет назад. Помню их наизусть, так запали они мне в душу. «Что бы я ни делал, куда бы ни шел, заброшенный маяк всегда передо мною, как укор моей совести коммуниста и ученого! Для меня он как скованный Прометей. Маяк был воздвигнут, чтобы освещать путь людям — целым поколениям славных каспийских моряков. А он стоит, темный, заброшенный среди мертвых дюн и медленно дряхлеет. Не будет мне ни минуты покоя, пока я не добьюсь, что море снова будет биться у его подножия и на заброшенном маяке зажжется свет».

Зажжется ли свет? Вернется ли сюда наше море?

Я с ненавистью смотрел на песок. Коварный, мертвящий, он быстро — слишком быстро — надвигался на море, замедая все, что попадалось ему на пути: кустарники, травы, колодцы, целые селения. Он был страшен и отвратителен в своей безнаказанности! Каждый год он отнимал у моря несколько метров. Мертвый песок наступал, а живой и гневный Каспий пятился назад. В этом было что-то нелогичное, противоестественное, как если бы добро отступало перед злом.

Чем я мог помочь Мальшету, боровшемуся за добро против зла? Моя работа в Каспийской обсерватории, она была нужна науке. Но результаты ее были так отдаленны. А мне хотелось помочь немедленно, теперь...

Слово... художественное слово — вот чем я располагал! Я помогу.

Взволнованный, я вернулся в дом. Меня уже звали. Отец приоделся: новый китель, белоснежная полоска над воротником. Прасковья Гордеевна надела новое шелковое платье; масляные волосы, как всегда, забраны в тощий узелок на самой макушке.

Выпили московской водки, закусили, мачеха стала делиться своими планами, отец, чуть захмелевший, с улыбкой поддакивал.

Вот выйдет на пенсию отец — они переедут в Астрахань (Гурьев ближе, но это такое захолустье!), купят там себе полдома, а если хватит средств, то и целый дом. У них есть кое-какие сбережения, а теперь еще я им стал помогать... Я — добрый сын и так далее... Прасковья Гордеевна очень благосклонно относилась ко мне. Оказывается, я гораздо умнее Лизы. У нее была возможность стать женой Глеба Павловича Львова (какой человек, какая квартира в Москве, двухэтажная дача!), а Фома... хоть он и родной ей племянник, но она скажет честно: свою бы дочь не отдала за него: неважная партия, но разве Лиза когда ее слушалась? Фома такой же грубый, как его отец Иван Матвееч, — два сапога пара. Простые, необразованные люди. Иван Матвееч — председатель рыболовецкого колхоза, а что от него толку? Лодки не даст на базар съездить масла продать. А Фома рыбой отродясь не угостит. Капитан!.. Другие в его годы пассажирским парохомом командуют, какую зарплату получают, а он прилип к этому «Альбатросу». Каспийская консерватория, подумаешь! Она хотела сказать: обсерватория. А Лиза — не простая рыбачка какая-нибудь, с хорошими культурными людьми работает. Если бы она хоть немного понимала собственный интерес, не упустила бы Глеба Павловича!

— А ты, Яков, молодец! — расхваливала Прасковья Гордеевна, покрасневшись от вина, чая и удовольствия. — Мы с отцом даром что на отшибе живем, а кое-что слышим про тебя. Насчет дочки академика... Вот это невеста! Такой тесть завсегда поможет продвинуться. Если еще вступить тебе в партию, в нынешнее время без этого далеко не...

— Папа! — закричал я, выскакивая из-за стола. — Папа, ты ей скажи...

— Не ори, Янька! А ты, Прасковья, помолчи: про это так прямо не говорят. Соображать надо немного мозгами.

— Да я что, я же не браню его? — удивилась мачеха моей горячности. — Я, наоборот, хвалю: умный парень, ничего не скажешь!

Я летел обратно, погоняя мотороллер, как ленивую лошадь, и чуть не плакал от злости.

Гнусная, подлая баба! Гнусные похвалы! И как она произнесла: не простая рыбачка. Она часто напоминала отцу, что его первая жена была рыбачка. И как она смела хвалить меня за то, что я полюбил Марфеньку! Какая подлая! А я, как

дурак, даже не подумал ни разу, что Марфенька—дочь академика. Выгодная невеста! Ох! И мать ее — заслуженная артистка РСФСР. То-то Аяксы мне намекали не без зависти, а я тогда и не сообразил. Что же теперь делать? Не жениться на ней из-за ее родителей? Но ведь она не виновата, что у нее отец академик? Хорошо, если бы Оленев в чем-нибудь проштрафился (например, впал в идеализм), и его бы прорабатывали на всех собраниях, во всех газетах. Тогда Марфенька бы сразу стала невыгодной невестой. Но Оленев никогда в жизни не впадет ни в какой идеализм, если это не нужно для его карьеры.

Подъезжая к обсерватории, я уже успокоился и решил: пусть обо мне говорят что угодно — все равно я женюсь на Марфеньке... как только буду убежден в ее любви.

Марфенька, хорошая моя!

Глава десятая

МАРФЕНЬКА СОВЕРШАЕТ ПОДВИГ

Все дни напролет кричали птицы. Пронзительные и жалобные крики разносились далеко над морем и дюнами, утомляя, вселяя в душу безотчетную тревогу.

— Здесь всегда так много птиц? — удивлялась Марфенька.— Это и есть птичий базар?

Больше всего было чаек. Они кружили, кричали, хлопали крыльями. Они кричали всех громче и жалобнее: «а-а-а-а!»

— Вот еще плакальщицы! — передергивала Марфенька плечами.

Друзьям Аяксам надоело каждый день при наблюдениях протирать и очищать приборы, установленные на скале: их снова и снова покрывал густой слой птичьего помета.

Над Каспием проносились бесчисленные стаи птиц из далекой Месопотамии и Аравии, с берегов Нила и Средиземного моря: они возвращались на родину. Летели зимовавшие на южном Каспии гуси, утки, бакланы и чайки, чайки...

Пронизывающий свет солнца, нестерпимый блеск песка и воды, плывущего льда и облаков слепили глаза. Большинству научных работников с наступлением весны пришлось носить темные очки.

В обсерватории все были заняты по горло. Уже давно никто не помогал на строительстве: своей работы хватало. Прибыло несколько новых сотрудников, должны были приехать еще, но план научных исследований настолько расширился, что никак не хватало времени.

Больше всех хлопотали в аэрологическом отделе: готовились к перелету через море. Проверялись навигационные приборы, самописцы давления, температура и влажность воздуха, аппаратура для наблюдения за оптическими явлениями.

Христина в синей спецовке с выпущенным воротничком белой блузки, разругавшаяся от забот, хлопотала в баллонном цехе: каждый день шла приемка материальной части. Христина сама тщательно рассматривала каждую деталь оболочки. А потом началась сборка...

Нужно было полностью предотвратить малейшую возможность аварии.

Христина плохо спала ночью, ворочалась, садилась на постели,

прислушивалась к ровному дыханию Марфеньки, удивляясь ее спокойствию и хорошему настроению. Ей грозило столько опасностей! Мог воспламениться водород. Мог произойти случайный разряд статического электричества, появляющегося от трения непроводящих материалов: прорезиненная материя оболочки могла зарядиться от трения о воздух при подъеме или спуске аэростата. Филипп Михайлович вчера возмущался, что статическое электричество так мало изучено. Налетел на электротехника Гришу, а тот огрызнулся: «Чего вы с меня-то спрашиваете, я же не профессор!»

Христина вздохнула. Над землей не так страшно лететь, а это над морем... и парашют не поможет.

Приземляться на воду... Прибыли надувные спасательные пояса. Рассказывали, как прошлым летом, чтоб испытать их прочность, один из научных работников проплавал с таким поясом двадцать три часа! В гондоле будет и радиостанция. Марфенька с Яшей столько вечеров учились у радиста, как самим обходиться с этой радиостанцией. Для радиста места в гондоле аэростата не было. Еле трое уместятся: пилот и научные сотрудники. Столько приборов! Мешки с песком!

А вдруг гроза? Может убить, "оглушить, воспламенить оболочку. А Марфенька ни о чем таком не думает даже...

Марфенька думала, но не об опасности, а о том, как она проведет полет. Ответственность была непомерно велика. Недавней школьнице, ей будут доверены человеческие жизни, ценный научный эксперимент, к которому готовилась вся обсерватория, которого ждали в Академии наук. В глубине души — никто не догадывался об этом — Марфенька еще считала себя девчонкой, и ее немного смущало, что окружающие видели в ней серьезного человека, пилота. Старому ученому Турышеву и в голову не приходило усомниться в ее правах вести аэростат: экзамены на пилота были выдержаны на одни пятерки; с тех пор Марфенька постоянно тренировалась в полетах, особенно когда наступил апрель. Почти каждое утро она стартовала на аэростате. Иногда с ней в гондоле был Турышев — он охотился за облачными частицами, — иногда Лиза, или Мальшет, или кто другой из научных сотрудников. Иногда оба штатных пилота, Яша и Марфенька, отправлялись вместе, по очереди ведя аэростат, пока ученые занимались своими наблюдениями.

Аэростат плыл вместе с ветром так низко над землей, что можно было хорошо разглядеть каждую ракушку на берегу, узор ледяной пены в морских зеленоватых волнах, листушки распускающегося кустарника, береговые знаки, установленные для мореплавателей, след ветра на бесконечных отмелях, косах и пересыпях.

Курс диктовал ветер. Иногда он нес их на север к густым зарослям темного сухого камыша — черням. Мелькала и скрывалась узкая тропинка, протоптанная дикими кабанами, крикливые гуси хлопали крыльями. Потом сизый дым окутывал камыш, испещренный алыми прожилками: разгорался низовой пожар. Марфенька торопливо хваталась за совок. Освободившись от балласта, аэростат взмывал ввысь.

В другой раз ветер, избрав южное направление, заносил аэронавтов далеко в пустыню. Воздушный шар скользил над безлюдным каменистым плато с обрывистыми краями, над малодоступными из-за мелководья необследованными островами, отмелями, простирающимися на десятки миль.

Полузасохшие русла рек, желтые долины с остатками тающего снега, светлая вода на мелководье и темная на глуби, рифы, вокруг которых злобно бушевали волны, даже когда наступал штиль. Дрожь света на песке, нестерпимый блеск

воды и облаков, резкие стоны морских птиц, внезапная тень от облака, бегущая по земле и воде.

Марфенька глубоко вдыхала свежий морской воздух и со счастливой улыбкой оборачивалась к своим спутникам.

— Чудо как хорошо, как славно!

Странное, безотчетное чувство все чаще охватывало Марфеньку — она была настолько счастлива, что ей становилось не по себе: и хорошо и грустно, как будто душа ее не в силах была вместить в себя столько радости, простора, света и любви.

Она любила Землю, со всеми ее радостными чудесами, от крохотной мушки-однодневки до грозных океанов, любила людей — ей так хотелось, чтоб они были счастливы, чтоб им было хорошо. Не хотелось думать о несправедливости, подлости, страдании, муках — ужасно не хотелось! Ее счастье омрачала тень могущей разразиться водородной войны. Об этом надо было помнить. Впереди была и естественная смерть, как у всех людей, — когда-нибудь, очень нескоро. Но Марфенька, по правде сказать, не очень-то в это верила. Она чувствовала себя бессмертной. Может быть, это происходило от ощущения участия в бессмертных делах нашей эпохи?

Марфенькины современники, такие же точно люди, как она, запускали искусственные спутники, межпланетные корабли, обращали вспять реки, создавали моря. Мальшет требовал, чтобы уровнем Каспия управлял сам человек. Турышев разрабатывал теорию долгосрочного векового прогноза климата планеты. Яша писал книгу о коммунистическом обществе. Сама Марфенька пожелала стать пилотом-аэронавтом и стала им.

Ей было девятнадцать лет. Мир был полон чудес, каждый наступающий день приносил радостные открытия, мир был прекрасен и сам по себе, но он был в тысячу раз лучше потому, что в нем жил Яша Ефремов.

Такого, как Яша, не было нигде и никогда: он был совсем особенный, к нему тянуло. Он незаметно входил в комнату, полную народа, например на собрание или ученый совет, и сразу возникало тревожно-радостное ощущение: он здесь, даже если Марфенька не видела его, сидела к нему спиной. И то, что она всегда могла почувствовать его присутствие, тоже было изумительное чудо, как вся жизнь, как мир.

Они еще не объяснились в любви. Яша упорно молчал — не признаваться же было Марфеньке первой! Она ждала. И ожидание — тоже было счастье и чудо.

В канун перелета через море Яша и Марфенька весь день просидели вместе с инженером Сережей Зиновеевым в комнате при баллонном цехе; проверяли все аэростатические расчеты. Серело недавно появился в обсерватории. Он был славный парень, только уж очень «пастельный»: у него были синие глаза, розовые щеки, желтые, как цветущий овес, прямые волосы. Марфенька от души жалела его за такую немужскую наружность, но девчонки из баллонного цеха находили его красавцем.

Работа была головоломной — Марфенька покраснелась, у Яши выступили на носу бисеринки пота, но Зиновеев был невозмутим. Тонко очиненный карандаш его (Марфенька сразу сломала бы такой) летал над столбцами цифр. Нужно было рассчитать подъемную силу аэростата, начальную сплавную силу и вес балласта.

Длительность перелета требовала самого тщательного расчета: здесь учитывалась каждая мелочь. Например, потеря подъемной силы при охлаждении газа холодной ночью. Подсчитывалась высота, которую достигнет аэростат в результате расхода балласта и действия перегретого газа, и тому подобное.

Марфенька — в недавнем прошлом лучший математик школы — с удовольствием углублялась в расчеты, Яше они давались с большим трудом. Он вздохнул с облегчением, когда все было наконец кончено.

Подошел Мальшет. Вид у него был утомленный, волосы давно следовало бы подстричь, а рубашка, кажется, не глажена, но зеленые яркие глаза смотрели весело.

— Ну, как будто все предусмотрели, что возможно! — сказал он с удовлетворением.— Стартуем завтра в семь часов вечера. С Марфой Евгеньевной летят Турышев и Лиза. С тобой, Яша, выхожу я, лаборанта мне не нужно.

Вечером все собрались у Турышевых — пили чай, беседовали, спорили: как всегда, немного помечтали о будущем. Мальшет нарисовал картину — очень образно,— какой станет Земля, когда исчезнут пустыни. Яша внимательно слушал и даже записал кое-что в записную книжку. Были Фома с Лизой. «Они не похожи на счастливых влюбленных»,— подумала о них Марфенька. Лиза делала явные усилия, чтоб казаться веселой, Фома выглядел подавленным, что так не шло к его мужественному бронзовому лицу на могучей шее, ко всему его облику Геркулеса.

«Бедный чемпион, бедный капитан, а у нас с Яшей не так будет,— решила Марфенька,— мы любим».

Они проводили Фому и Лизоньку до дороги. Лиза поцеловала брата и Марфеньку, села на мотоцикл позади Фомы, и они уехали в Бурунный, в дом с иллюминаторами вместо окон.

Очень светлая была тогда ночь, полнолуние и ни одной тучки. Ветер улегся на каком-то острове спать. Марфенька повела Яшу к скале с приборами. Ракушки хрустели под ногами. Вода чуть плескалась, набегая на сырой песок. Пахло морем, а крикливые морские птицы спали. Изредка какая-нибудь кричала спросонья в кустарнике.

— Ты счастлив? — спросила Марфенька, останавливаясь и заглядывая Яше в глаза.

— Очень! А ты?

— Ох! Я, наверное, самый счастливый человек на всей планете! Больше уж некуда быть счастливым, понимаешь? Яша, скажи... я хочу знать... я имею право, наконец... Ты...

— Марфенька, я все скажу тебе после перелета.

— Разве ты знаешь... что я хотела спросить?

— Знаю,— серьезно подтвердил Яша.

— А поцеловать ты меня можешь... до перелета?

Они до самого рассвета бродили у моря и целовались. Утром можно было спать сколько хочешь: они были свободны до четырех часов дня.

И, конечно, Яша не выдержал и сказал Марфеньке все, что ей так хотелось услышать. И, конечно, утром ни он, ни она не уснули ни на один час.

На стартовой площадке было тесно и весело, как в праздник. Огромный качающийся воздушный шар придавал какую-то особую торжественность проводам, и Марфеньке почему-то вспомнилась Москва, Красная площадь, елки у зубчатой кремлевской стены, толпы народа...

Кто-то жал аэронавтам руки, кто-то желал удачи, председатель Бурунского исполкома, кажется, произносил речь, а какая-то старуха стала громко и жалобно причитать, что было, пожалуй, несколько неуместно. И все покрывал тоскливый пронзительный крик чаек: «а-а-а-а!»

Христина порывисто обняла Марфеньку, которая в синем комбинезоне на меху и кожаном шлеме выглядела заправским пилотом.

— Береги себя! — шепнула Христина, подбородок ее задрожал.

— Буду осторожна, не волнуйся!

Марфенька крепко поцеловала ее в губы и на момент почувствовала себя виноватой за свое непомерное, незаслуженное счастье.

— Не волнуйся, милая... — повторила она ласково, — все будет хорошо!

— Христина Савельевна сегодня придет ко мне ночевать, не так тоскливо вдвоем будет, — услышала Марфенька голос Вассы Кузьминичны и, обернувшись, поцеловалась и с ней.

Ну, все, кажется, готово... В Марфенькином планшете — карта Каспийского моря, задание на полет и удостоверение, что она является командиром-пилотом аэростата.

Вместе с Иваном Владимировичем и Лизой, тоже одетыми в меховые комбинезоны, Марфенька взбирается в гондолу.

Последний взгляд на снасти и приборы, на мешки с балластом, укрепленные с наружной стороны гондолы.

— Выдернуть поясные! — Это кричит стартер.

Ох, Христина все-таки плачет! Ну зачем она плачет? Марфенька будет летать всю жизнь, сразу после перелета через Каспий начнется подготовка к полету в стратосферу — и Христина будет каждый раз лить слезы? Вот чудачка, славная, дорогая, родная чудачка! Аэростат отпущен, гондола еле заметно отрывается от земли. Школьники кричат «ура».

Марфенька быстро развязала мешок с песком — первый мешок балласта. Люди вокруг гондолы расступились и вдруг начали быстро уходить в сторону и вниз.

Аэростаты плыли бок о бок, можно было переговариваться, чем занимались главным образом оба пилота. Солнце, коснувшись краешка земли, бросило на аэростаты свой отблеск, и они вдруг сделались похожими на два пунцовых детских шарика, которые упустили в небо.

— Марфенька, а ты выбрала лучшую долю, — радостно заметила Лиза.

Ей и страшно было немножко с непривычки, и дыхание у нее захватывало от восторга.

Ночью аэростаты отошли друг от друга далеко. Марфеньке ужасно хотелось спать (совсем малая плата за вчерашнюю ночь!). Утром, когда безбрежное зеленоватое море засверкало на солнце, сонливость ее прошла. Яшин аэростат то скрывался, то появлялся в голубой дымке над горизонтом. Полет совершался пока удачно. В десять часов утра Марфенька занесла в бортовой журнал: «Высота — 500 м. Температура — 2°. Израсходовано 20 мешков балласта. Летим над Каспийским морем. Земли не видно. Скорость полета — 40 км/час».

Турышев и Лиза все время были заняты у приборов. Позавтракали кефиром и хлебом. Есть совсем не хотелось. Разговаривать тоже не было охоты. Время от времени Марфенька присаживалась к радиостанции и начинала отстукивать точки и тире, потом переходила на прием: обменивалась с Яшей радиограммами о ходе полета. К полудню стало довольно жарко: аэростат двигался вместе с ветром, получалась иллюзия штиля. Впору было снять меховые комбинезоны — все трое расстегнули вороты. Солнце так калило, что, когда попали в тень от облака, вздохнули с облегчением. Это было огромное кучевое облако, и Турышев попросил Марфеньку подняться: ему были нужны облачные частицы. Марфенька стала травить балласт, и воздушный шар сразу взмыл кверху. Аэронавтов окутал плотный туман. Тихонечко напевая без слов на мотив «не ходи украдкой, не смотри солдаткою», Лиза нажала спусковой рычаг заборника — облачные

частицы стали осаждаться на стекло.

— Какое плотное облако! — удивилась Лиза.— Смотрите, Иван Владимирович: стекло даже залилось водой...

— Бери пробы с малым отверстием,— заметил ей ученый.

Иван Владимирович очень был доволен: перелет будет продуктивным. Он взял микроскоп, проверил с помощью вольтметра освещение и взял предметное стекло.

В облаке пробы были долго. Забор облачных проб начали с нижней границы облака — сразу при потере горизонтальной видимости, затем облачные пробы брались каждые двести метров, вплоть до верхней границы. Лиза аккуратно отмечала в тетради, в какой части облака взята проба. Так на разграфленных страницах последовательно появилось: «Проба взята при пересечении облака, проба взята при входе в облако, внутри него, при выходе из него»...

Когда вышли, Марфенька вздохнула с облегчением: снова солнце, синева, простор, прекрасная видимость.

Облако осталось позади и внизу. А через несколько минут Марфенька чутким ухом услышала легкий свист... Песчинки пыли подпрыгивали вверх с прутьев плетеного дна гондолы. Марфенька бросила быстрый взгляд на прибор: перо чертило прямо, сверху вниз. Они падали.

— Помогите травить балласт! — громко сказала Марфенька, высыпая песок за борт.

Лиза бросилась помогать, Турышев, не подозревая беды, продолжал заниматься микроскопом. Мешок за мешком высыпали девушки за борт, но стрелка альтиграфа по-прежнему чертила вертикальную прямую.

Марфенька внимательно оглядела оболочку. Видимо, когда шар попал в тень от облака, он быстро сжался от охлаждения, и полотнище разрывного приспособления, так старательно заклеенное руками Христины, отклеилось— газ со свистом выходил из оболочки.

Может, клей был плохой?

— Что-нибудь случилось? — испуганно спросила Лиза. Светлые глаза ее не отрывались от подруги.

Марфенька ничего не ответила, высыпая новый мешок балласта. До воды осталось метров полтора. Турышев поднял голову от микроскопа, устало щурился глазами.

— Почему так низко идем? — осведомился ученый. Но в этот момент шар, освободившийся от большого количества балласта, ринулся вверх. Нагретый на солнце газ опять расширился — полотнище крепко прижалось к раздувшейся оболочке. Вскоре аэростат оказался на высоте трех тысяч метров. Марфенька повела его ровно и четко на постоянной высоте, немного изменив курс. Кучевые облака, чуть не погубившие аэронавтов, теперь белели далеко внизу. Море в просветах облаков потускнело, побледнело, окуталось голубоватой дымкой.

— Попрошу вас снизиться,— сказал Турышев с досадой.

— Нельзя. Пойдем так,— с твердостью возразила Марфенька.

— Да отчего же нельзя?

— Объяснение будет дано по приземлении. Занимайтесь своим делом...

Иван Владимирович не стал спорить, они с Лизой опять углубились в наблюдения. Они ничего не заметили и не поняли. Марфенька решила их не тревожить. Пусть спокойно работают, пока еще есть возможность. Она была очень бледна и с нетерпением вглядывалась в горизонт, ища землю. Она знала, что аэростат продержится только до вечера. Пока греет солнце... Зайдет солнце, и

он упадет. Хоть бы не переменялся ветер!..

Марфенька несколько раз взглянула на радиостанцию... Нет, она ничего не скажет. Зачем? Только зря волновать Мальшета и Яшу: они ведь ничем не могут помочь.

Второй аэростат плыл в другом воздушном потоке — уже над землей. У них все шло хорошо.

Солнце опускалось все ниже и ниже. Оно сядет в тучи, завтра будет плохая погода... Будет ли завтра? Похолодало...

Марфенька еще раз проверила парашюты и плавательные пояса.

— Тебе нездоровится? — озабоченно спросила Лиза. Ей чего-то стало страшно. Марфенька не походила на Марфеньку — бледная, угрюмая, неразговорчивая.

— Я здорова! — буркнула она и отвернулась.

Опять со свистом выходит газ из оболочки — еле слышный зловецкий свист, словно преступники сговариваются в ночи. Но уже показались голубые леса — гористые берега Дагестана. Аэростат медленно опускался, по мере того как выходила жизнь из его оболочки.

— Наблюдения прекратить! — скомандовала Марфенька. — Надеть парашюты и... пояса.

Иван Владимирович посмотрел на Марфеньку, на сморщивающуюся оболочку и бросился к приборам.

— Авария, Лизонька, — сказал он, и вдруг стало видно, что он уже старый человек. — Надо уложить результаты наблюдений. Их надо спасти!

— Кладите в балластные мешки, пять минут на сборы! — крикнула Марфенька и опять бросила взгляд на радиостанцию.

«Ну чем они помогут?» — Она стала освобождать один балластный мешок за другим. Все за борт, что только можно.



— Иван Владимирович, Лиза, помогите... Марфенька пыталась поднять тяжелый брезент для упаковки оболочки. Брезент полетел за борт. Аэростат рванулся вверх и тут же снова стал опускаться.

Марфенька, прерывисто вздохнув, выбросила за борт радиостанцию и еще кое-какой груз.

— Время истекло. Надеть парашюты! Слушайте приказ командира! — звонко крикнула Марфенька и бросилась помогать Турышеву надеть и закрепить парашют.

Он никогда не прыгал. Лиза немного тренировалась в прыжках, но все позабыла сразу, начисто. Марфенька помогла и ей. Руки ее не дрожали, она словно подобралась вся.

— Мы уже над землей! — воскликнул Турышев.

— Значит, спасены! Вы прыгаете первым, Иван Владимирович!

— А пробы воздуха...

— Я позабочусь, Иван Владимирович! Садитесь на борт и прыгайте! Скорее!

— Ценные приборы...

— Эх! Я же пилот, я только последней прыгну!

Тогда Иван Владимирович, хоть неуклюже, но перекинулся за борт. Лиза тоже не посмела препираться, боясь погубить Марфеньку. Она прыгнула, зажмурив глаза, ровно через минуту после того, как раскрылся парашют ученого.

Облегченный аэростат сразу замедлил скорость падения. Марфенька предвидела это. Она уже крепила на себе парашют, но не прыгнула, а стала торопливо кидать в пустой мешок из-под балласта самописцы, счетчики — все приборы, какие не успел уложить Турышев и которые она могла снять. Туда же она сунула бортовой журнал и, крепко стянув мешок узлом, прикрепила его вместе с мешком Турышева к запасному парашюту.

Выбросив за борт парашют с приборами, она совсем близко увидела землю — и ужаснулась.

Оболочка воздушного шара свернулась веретеном, но еще держала в себе остатки водорода. Поправив дрогнувшей рукой лямки, Марфенька подтянулась на стропах аэростата и села на борт корзины. Не впервые прыгала она, но первый раз прыгала так нехорошо. Она разжала пальцы и камнем упала вниз.

Земля сразу приняла ее на ломающиеся ветви орешника, не дав раскрыться парашюту, ожгла огнем и окутала туманом, плотным, как давешнее облако...

НАСТАЛ ПОЛДЕНЬ

Глава первая

ЕСЛИ ТЫ ЕСТЬ...

В ночь, когда наши аэронавты пересекли Каспий, Христина ночевала у Вассы Кузьминичны. Обе женщины долго не ложились спать: разговаривали о перелете. Благоприятным ли будет ветер, не холодно ли над темным морем? Правда, была договоренность с синоптиками, но и синоптики порой ошибаются. Спали беспокойно, раза два ночью вставали и шли к дежурному по радиостанции, с которым оба аэростата должны были держать связь. Дежурный их успокаивал: «Все идет, как часы!»

Потом настало холодное ясное утро с его хлопотами. Христине неожиданно пришлось выехать с грузовой машиной в Бурунный для приемки стратостата. Упакованный стратостат походил на большую детскую игрушку. Христина благополучно доставила его в баллонный цех.

Христина очень устала, главным образом от гложущего ее беспокойства за дорогих ей людей. Она в виде исключения раньше отпустила работниц из баллонного цеха и, прочитав очередную радиограмму с аэростатов, ушла домой отдохнуть до следующей радиограммы.

Она не ожидала, что уснет, но уснула сразу, как пришла, и увидела сон.

Ей снилось, что она стоит на высокой горе в яркий солнечный день и любитесь большим цветущим городом. И будто бы началось сильное землетрясение. За несколько минут все было кончено, развалины заволокла пыль, а когда пыль улеглась, по-прежнему светило солнце. Христина в ужасе и смятении взирала на развалины.

Проснувшись она вся в поту, с гулко бьющимся сердцем — кажется, она плакала во сне — и сразу вскочила на ноги в безусловной уверенности: случилась беда. Или с Мальшетом, или с Марфенькой... О, только бы не с Филиппом, только бы не с ним!..

Долго потом она не могла простить себе этой произвольной мысли.

Кто-то громко застучал в стекло. Чувствуя, что ноги ее подкашиваются, Христина бросилась к окну. Это был один из Аяксов.

— Васса Кузьминична просила вас позвать... Идите к радиостанции, там все собрались.

— Катастрофа? О господи!..

— С аэростатом авария, Марфа Евгеньевна расшиблась. Говорят, еще жива. Я сам плохо знаю.—Он быстро ушел.

Впоследствии, вспоминая этот страшный час, Христина удивлялась одному обстоятельству: у нее сразу потемнело в глазах, ей сделалось дурно, но она не могла терять ни минуты времени и, преодолев непомерным усилием воли слабость и дурноту, в темноте нащупала дверь и прошла шагов двадцать по направлению к радиостанции, пока снова стала видеть.

Сотрудники обсерватории действительно собрались возле радиостанции и горячо обсуждали происшествие, некоторые женщины плакали: Марфеньку

любили.

Васса Кузьминична, бледная и расстроенная, обняла Христину.

— Иван Владимирович и Лизонька приземлились благополучно. С Марфенькой несчастье... — сообщила она. — Но ты сейчас упадешь!..

— Нет, я не упаду, — сказала Христина. — Где Марфенька?

— Теперь уже в Москве, в институте нейрохирургии. Звонил профессор Оленев... просит тебя приехать ухаживать за Марфенькой.

— Меня!

— Он же знает, как ты ее любишь... Через сорок минут будет самолет — все договорено. Летчик доставит тебя до Астрахани. На аэродроме ждут наши, Ваня... Иван Владимирович, Мальшет. В Москву вылетите пассажирским самолетом. Идем, я помогу тебе собраться. Ах, какое несчастье!

Эта ночь потом вспоминалась смутно: отдельные яркие, будто внезапно озаренные лучом эпизоды, и опять туман, ничего.

Васса Кузьминична и Сережа Зиновеев усадили ее в кабину двухместного самолета, поставили возле нее чемодан с платьем и бельем. Христина не помнила, поблагодарила она хоть или нет, совсем не заметила летчика, словно летела в пустом, автоматически управляемом самолете.

— За ней самой надо, кажется, ухаживать: вот-вот свалится... — заметил Вассе Кузьминичне Сережа на обратном пути.

На астраханском аэродроме Христина сразу попала в объятия плачущей Лизы.

— У Марфеньки шок! -♦ сказала, всхлипывая, Лиза. Здесь же стояли Иван Владимирович, Яша и угрюмый Мальшет.

Потом Христина вдруг увидела себя сидящей в самолете, переполненном пассажирами, а рядом сидел Мальшет и с тревогой смотрел на нее.

— Может, дать тебе понюхать нашатырного спирта? — спросил он нерешительно.

— Зачем? А где же они... Лиза?

— Отправились домой: ничем же не могут помочь... А там беспокоится Васса Кузьминична. Яша здесь, он сидит позади тебя.

— Тебе плохо, Христина? — услышала она голос Яши. Потом Яша подошел вместе со стюардессой, и они заставили ее что-то выпить. .

— Почему произошла катастрофа, почему? — спрашивала Христина у Мальшета и Яши.

— Неизвестно, комиссия будет расследовать причину аварии, — неохотно отозвался Мальшет. — Ты об этом не думай, не волнуйся.

Ночь длилась и длилась, а они всё летели. Пассажиры почти все дремали, откинув кожаные кресла, убаюканные мерным подрагиванием самолета, негромким рокотом моторов. Христина не могла ни спать, ни даже плакать. Мальшет ласково уговаривал ее подремать, «хоть немножко». Христина, не понимая, смотрела на него, широко раскрыв голубые, чуть выпуклые глаза.

— Эх, — сказал Мальшет, — бедная ты моя!

Он никогда не был с нею груб, только бесконечно терпелив и ласков. Он взял ее захолодевшие маленькие огрубелые руки в свои большие и теплые, чтоб согреть.

— Марфенька поправится, еще летать будет! Мы с тобой спляшем на ее свадьбе, — сказал он, чтоб хоть чем-то облегчить ее горе. Она слабо отозвалась на пожатие.

Мальшет в сотый раз мысленно пересматривал все этапы подготовки к перелету. Где была ошибка, в чем, отчего аэростат потерпел аварию? Иван

Владимирович тихонько сказал ему: отклеилось полотнище разрывного устройства. О том, чтоб Христина небрежно приклеила его, не могло быть и речи: все в обсерватории видели, знали, как она работает. Значит, плохой был клей. Там на месте, под крышей баллонного цеха, клей казался хорошим, а претерпев сырошь, нагревание, внезапную смену температуры, когда аэростат попал в тень от плотного облака, клей показал свои плохие качества. Как на это взглянет комиссия? Еще начнут «таскать» Христину. Как ее спасти от новой травмы? Если она только подумает, что по ее вине разбилась Марфенька... да она с ума сойдет.

Виноват в первую очередь он — директор обсерватории: чего-то недоглядел, недомыслил. Виноват завхоз, доставивший в баллонный цех этот проклятый клей. Виновата та фабрика, что выпустила недоброкачественную продукцию.

Неужели Марфенька умрет... или останется калекой? Такая сильная, отважная, веселая. Сколько мужества к этой девушке, радости жизни. Нет, только не это!

И что тогда будет с Христиной: ведь у нее, кроме Марфеньки, никого нет на свете. Нет, есть — друзья! В первую очередь, он сам. Только Марфенька ей всех дороже на свете.

Христина осторожно высвободила свои руки и, привалившись к окну, надвинула на лицо пуховый платок, будто собираясь спать. Ей хотелось побыть одной, подумать. В то же время ей было бесконечно отратно, что она сейчас не одна, что рядом свои.

Она пыталась молиться: «Господи, сохрани Марфеньку! Не сделай ее калекой!» Бога она хотела убедить, как человека: «Ведь я никогда ничего не просила для себя — удачи или счастья. Не для себя прошу, для Марфеньки — она безгрешная. Господи, пожалей Марфеньку!»

Но она уже не могла молиться, как прежде, с ребяческой верой. Перед Христиной с холодящей душу закономерностью предстали бесчисленные случаи, когда он не жалел.

Разве он жалился над ее ребеночком? Ведь она тогда тоже просила только об одном: чтобы сын вырос, а он погиб, так ужасно. Ее муж, Василий Щукин, он фанатически верил, с самых пеленок, и все же вера не удержала его от страшного, отвратительного преступления.

Теперь бы сыну было уже девять лет! В школу бы ходил, в третий класс. Она бы помогала ему уроки готовить. Как же можно было его, двухлетнего, не пожалеть?

Со все разрастающимся ужасом в сердце Христина вспомнила проштудированные ею страницы мировой истории, беспристрастно и деловито рассказывающей про бесконечные войны, голод и моры, про власть и произвол жестоких.

Он не жалел...

Простая мать, если хватит у нее на то сил, никогда не допустит так мучить своих детей, как позволяет их мучить тот, кто всемогущ, всеблаг и всемилостив.

Священник с амвона говорил, что бог дал людям свободную волю, а они употребляли ее во зло. Что страдают они по грехам своим. Но страдали во все времена больше всего беззащитные и невинные, те, кто не делал никому зла. И уж совсем никакого прародительского греха не мог нести на себе слабый зайчишка в лесу, когда его заживо терзали волки.

Может, бог был природа — чудесная и великая, с ее неколебимым законом целесообразности? Но тогда не было там места человеческим качествам: великодушию и состраданию, разуму и способности перерешать. И невозможно было убедить, вымолить пощаду.

Тогда зачем называть богом? Природа — не бог.

Но откуда тогда потребность молиться? Почему она чувствует в душе своей бога? Бог.... Может ли бог быть недобрым? Это противоречило самому понятию божественного, святого. Бог есть добро. И все же он не добр.

Священник говорил: неисповедимы пути его. Он знает для чего, а мы не знаем. Но для чего было нужно, чтоб двухлетний сын ее погиб так страшно? А что, если там ничего нет?..

Некому молиться. Не на кого надеяться, кроме как на людей и на самое себя. Марфенька могла выжить или не выжить — это зависело от степени повреждения ее тела, природного здоровья да искусства врачей. Бог не сохранил ее сына, как же теперь она может верить, что он сохранит ее Марфеньку? Ох, нет, он должен спасти ее — любящую, добрую, радостную, умную Марфеньку! Что же будет, если бог отступится? Господи... если ты есть... сохрани Марфеньку!

Так маялась Христина всю дорогу, пока в небе не занялось зарево огней. Они вышли на пахнувший дождем аэродром. На стоянке взяли мокрое от дождя такси. Никто из троих не говорил ни слова. Яша делал вид, что смотрит в окно, желая скрыть неуместные мужские слезы. Мальшета невольно вспомнил, как полгода назад в такой же дождь и ветер ехал он с Миррой на ее дачу. Со смутным раскаянием и не осознанной тогда еще любовью к Лизе.

Христина сухими блестящими глазами смотрела на расступающиеся улицы, ничего не видя,— душа ее раскалывалась на части, словно льдина в хмурое весеннее половодье.

Потом они вошли в просторный теплый вестибюль с зеркальной чистоты паркетом и стали чего-то ждать. Было, кажется, половина четвертого ночи.

За стеклянными дверьми по коридору провезли, из операционной наверное, кого-то, накрытого одеялом, с забинтованным лицом, и все трое содрогнулись.

В кресле в уголке сидела красивая молодая женщина в распахнутом модном пальто. Ее шапочка, сумка и перчатки лежали рядом на столике. Она тоже чего-то ждала, и ей, видимо, очень хотелось спать, но, когда она увидела вошедших, сон ее сразу прошел. Поколебавшись, она поднялась и нерешительно подошла к ним.

— Филипп!—позвала она. Полные свежие губы ее как-то жалко дрогнули.

Мальшета недружелюбно взглянул на нее и, поздоровавшись сквозь зубы, пошел искать дежурного врача.

Мирра Павловна, не взглянув на спутников Мальшета, вернулась в свое кресло и, закрыв лицо, заплакала совсем просто, по-бабьи.

Из коридора вышел Оленев, бледный, как будто его трепала лихорадка. На нем был белый халат и докторская шапочка. Он мельком взглянул на Христину и бессильно опустил на стул возле жены.

— Какой ужас, Мирра, какой ужас! — простонал он.— Ты... плачешь? — Он был приятно потрясен слезами жены.— Дорогая, я никогда не забуду твоих слез! Но Марфенька не страдает. Сначала у нее был шок, а теперь ее усыпили. Это была опасная операция: три позвонка размозжены. Ее делал сам академик. Я только что говорил с ним. Он боится, что Марфенька никогда не сможет ходить. Какой ужас! Но жить она будет... Если бы у нее была мать, как человек, но ведь Люба, кроме своего искусства, ни о чем не думает! Какое несчастье...— Евгений Петрович замычал даже.

Резко зазвонил телефон. Пожилая веснушчатая сестра в белом халате, и косынке торопливо прошла через вестибюль к телефону.

— Вас просят...—проговорила она и почтительно передала Оленеву трубку, когда он старческой походкой подошел к телефону.

Вернулся Мальшет и сел рядом с Яшей. Христина ждала с минуты на минуту самого ужасного. Оленев, переговорив по телефону, подошел к ней и поздоровался за руку.

— Звонила Любовь Даниловна,— сказал Оленев.— Она не может спать от тревоги. Я сказал ей, что операция кончена. Теперь дело в хорошем уходе. Я обо всем договорился с главврачом. У Марфеньки отдельная палата. Вам, Христина Савельевна, поставят вторую кровать. Прошу вас ходить за ней... Я... я отблагодарю вас щедро.

— Меня пустят к Марфеньке? — обрадовалась Христина. Лицо ее просияло.— Я все время смогу быть с ней?

— Я же сказал... Я надеюсь на вас. Марфенька столько вам сделала. И я отблагодарю.

Христина изумленно взглянула на Оленева. Она не догадалась заверить его, что будет добросовестно ухаживать за Марфенькой.

— Разве вы не видите, что она готова жизнь отдать за вашу дочь? — резко заметил Мальшет.— И надо же иметь такт.

Подошла та же пожилая сестра и принесла Христине накрахмаленный халат и косынку. Помогла ей это все надеть.

Христина оживилась и крепко пожала руки Филиппу и Яше.

— Мы будем тебе звонить каждый день,— сказал Мальшет.— Пойдем, Яша.

Яша должен был ночевать у Мальшета. Но он вдруг заволновался:

— А как же я? Я должен видеть Марфеньку! Я так не уйду!

Сестра пожала плечами.

— Сейчас к больной никого не пустят. Приходите в приемный день. И если врач разрешит...

— С какой стати! — возмутился Оленев.— Сейчас к ней могут пускать только самых близких.

— Марфенька— моя невеста! — в отчаянии выкрикнул Яша.

Сестра посмотрела на него с сожалением.

— Попробуйте зайти завтра! — посоветовала она. Христина кивнула головой и пошла за сестрой, сама теперь похожая на медицинскую сестру, в белоснежном халате и косынке, повязанной по самые брови. Они поднялись по широкой лестнице, залитой электрическим светом, и долго шли гулками пустыми коридорами, куда-то поворачивали, пока не остановились перед дверью.

— Когда устанете, можете немного прилечь,— сказала сестра,— но лучше сегодняшнюю ночь не спать: больная очень плоха. Она пилот? Расшиблась? Как жаль, такая молодая! Я буду заглядывать. Если что, позовите меня. Вот звонок, смотрите.

Сестра поспешно ушла.

Христина робко подошла к кровати. Марфенька лежала животом вниз, голова ее была неловко повернута, длинные темные ресницы резко выделялись на восковой щеке. Она еще не проснулась после операции. Одна рука свесилась, как у мертвой.

Христина опустилась на колени возле кровати и поцеловала эту обескровленную руку,—как она целовала крохотную ручку своего ребенка, потом осторожно положила ее под одеяло. Села рядом с постелью на стул и грустно огляделась. Палата была значительно больше в высоту, нежели в ширину, как железнодорожный контейнер, только ослепительно белый. Вместо окна — дверь на балкон с открытой фрамугой наверху. Воздух в палате был свеж и влажен, все же явственно проступал запах какого-то сильно пахнущего лекарства.

До утра несколько раз заходил очень молодой дежурный врач, толстогубый, черноглазый, добродушный. Он сообщил, что его зовут Саго Сагинянович, подробно растолковал Христине, как ухаживать за больной. Приходила пожилая сестра, делала Марфеньке укол и уходила. Сестра сказала, что Марфенька спит и что это хороший признак. Христине стало немного легче.

Коротая остаток ночи у постели самого дорогого ей человека, она продолжала думать все о том же — о боге.

Всю свою жизнь беспристрастно, как бы со стороны, пересмотрела Христина. Почему она жила так нехорошо, так нескладно? И с какого момента началась эта нескладность?

Была обыкновенная детдомовская девочка Христя, очень робкая, привязчивая, мечтательная. Она росла, как ее подруги, ничем не выделяясь, разве что своей робостью.

На нее никто не обращал внимания. Озорниками педагоги занимались много, даже в нерабочее время: их надо было воспитывать. А Христя ведь никогда не нарушала правил.

Просто удивительно, как мало знали ее и воспитатели, и учителя — ее способности, стремления, надежды. Очень плохо шьет? Ах, какая неспособная, неразвитая! Только этим незнанием и можно объяснить, что ее устроили после детдома на... швейную фабрику. «Почему я не ушла с швейной фабрики, ведь мне там очень не нравилось?— с недоумением вспомнила Христина.— Ведь я же была свободным человеком, что меня удерживало?»

Все то же: робость, страх перед жизнью.

А злосчастное ее замужество?.. Не сумела уйти от Щукина!

Христину передернуло при одном воспоминании о Василии. Она густо покраснела. Как она могла жить с таким?! До чего она была несчастна! Как ее душа жаждала утешения. И она нашла его в религии. Да, религия дала ей утешение, мир, покой, благо, но религия же окончательно подавила ее волю, и без того слабую, сделала из Христины безгласную рабу.

Она молила бога сохранить сыночка, а сама не сумела его уберечь.

А потом была тюрьма... Христина и там прошла незаметной. Она делала безотказно любую работу, которую ей поручали.

Душевная ее боль неизмеримо превосходила внешние трудности, да она их просто не замечала, занятая своим страданием. Христина все ждала, что скоро умрет, но почему-то не умерла. Потом «зачеты» — ее выпустили раньше срока. Она вернулась в Москву, не зная, что с собой делать, для чего жить, чувствуя себя недостойной хорошей жизни, «как у людей».

«Почему же я все-таки не поступила на работу? — думала Христина, уже не понимая ту, прежнюю, Христину.— Как я могла пойти просить милостыню?»

Ею тогда овладела ложная идея искупления: пострадать за свою вину перед ребенком. Душевные муки были по-прежнему нестерпимы, значит, бог еще не даровал прощения.

«А ты поклонись честному народу в ножки,— будто рядом услышала она елейный голос монашки,— гордыню-то усмири свою, может, бог и простит... бог любит нищих духом...» --:

— Может, я тогда была ненормальная? — вслух произнесла Христина и с пылающими щеками порывисто поднялась и вышла на балкон.

Деревья сильно раскачивались в густом саду, роняя на балкон холодные капли дождя. Небо почти очистилось от туч. Бледно сияли звезды: уже занимался рассвет холодного апрельского дня. Млечный Путь поблек в отсвете зари.

Христина долго, не шевелясь, смотрела в небо. Грудь ее вздымалась от странного — жуткого и восторженного в одно и то же время — ощущения, нарастающего крещендо, как сказал бы музыкант.

Чудесная была земля, чудесными были звезды — далекие миры, где бушевала извечная материя,— чудесной была каждая живая травинка, повторяющая в строении вещества своего самое Вселенную. Чудесным был человек, слабый и могущественный, разгадывающий тайны мироздания и не умеющий защищать себя от зла. Но уже не было во всем этом бога для Христины.

Глава вторая

НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ХОДИТЬ...

Марфенька болела долго и тяжело. Прошли апрель, май, июнь, июль, прежде чем она немного поправилась и к ней вернулся ее юмор. Все эти месяцы Христина самоотверженно, нисколько не жалея себя, ухаживала за нею.

— Счастье — иметь такого преданного друга,— сказал как-то Саго Сагинянович.— Она ухаживала за вами, как родная мать!

— Смотря какая мать! — усмехнулась Марфенька. «Моя не всегда находила время меня навестить...» — мысленно добавила она.

— Когда же я буду ходить? — спросила она, пристально наблюдая за молодым врачом.

Саго Сагинянович невольно отвел глаза.

— Вот еще подлечим вас...

— Как щенок с перебитыми лапами,— задумчиво протянула Марфенька. «Неужели навсегда?»

Жестокая правда, как ее ни скрывали, дошла до Марфеньки. Предвестниками ее были заплаканные глаза Христины, растерянно-недовольное выражение отца, особая, щемящая душу ласковость санитарок и сестер, нарочито бодрое отношение врачей...

Привел все к одному знаменателю грубоватый парень, лишившийся рук. Он иногда заглядывал к Марфеньке.

— Зашел проститься, выписывают,— сказал он, рассматривая Марфеньку, лежавшую в гипсовой «кроватьке».

У него были веселые блестящие карие глаза, в глубине которых притаилось бешенство. Высокий, жилистый, сильный, рукава болтаются, как подрезанные крылья.

Христина ушла в город за вишнями.

— Заново нам с тобой придется учиться жить... — сказал он сурово.— Первой-то жизни увидели краешек, даже не догадались, что это и было счастье... А другая — долгая — трудной будет. Ты, Марфа, хоть подвиг совершила, про тебя вон в «Комсомольской правде» писали. За подвиг, наверное, не так обидно расплачиваться, а я... Совсем по-дурному. Выпимши был... у братухи свадьба. А тут ночная смена. Перед рассветом так спать захотелось, прямо клевал носом. Вот и сунул обе руки под молот — сам не помню как.

— А ты от кого узнал... насчет меня? — небрежно поинтересовалась Марфенька.

— Докторица же, Раиса Иосифовна, меня и утешала. Ты, говорит, хоть передвигаться можешь, а злишься, ропщешь на судьбу и на людей, а Марфенька Оленева никогда не сможет ходить, а ей всего девятнадцать лет, и как бодря. В пример, значит, тебя ставила... А что ты так побледнела? Гм! Может, ты еще не знала?

— Догадывалась! — коротко ответила Марфенька внезапно охрипшим голосом.

— Значит, это я первый ляпнул языком... Тогда прости. Эка я парень нескладный какой... Идти надо. А поцеловать тебя на прощанье можно?

— Можно.

Парень поцеловал ее в щеку и ушел навсегда. Больше она его никогда в жизни не видела.

Христина возвратилась оживленная, покрасневшая, потная: на улице было очень жарко. Принесла вишни, помидоры, сливы, шоколадные вафли, пирожное.

— Звонил Евгений Петрович, сегодня зайдут с Миррой Павловной, — сообщила она.

Пришли сразу Оленев с женой и Любовь Даниловна с мужем — встретились случайно в вестибюле. Было шесть часов вечера, день неприятный, но для таких высоких гостей главный врач всегда делал исключение.

В небольшой палате стало тесно, шумно, запахло дорогими духами и табаком.

— Ой, сколько родителей сразу! — всплеснула Марфенька руками.

Христина хотела выйти, но Евгений Петрович убедительно попросил ее остаться.

Улыбающаяся санитарка принесла еще стульев, и все кое-как расселись. Христина забила в угол за Марфенькиным изголовьем.

«Похоже, будет семейный совет по поводу «куда меня девать», — подумала Марфенька, с любопытством разглядывая неожиданных гостей. Режиссер заговорщически подмигнул ей.

Любовь Даниловна выглядела, как всегда, молодой и красивой, осанка, как у королевы (оперной), особенно когда она взглядывала на Мирру. А Мирра почему-то «облиняла» в последнее время, на лице появились коричневые пятна.

Все по очереди поцеловали Марфеньку, высыпали на постель и на тумбочку подарки, осведомились о здоровье и самочувствии.

— Хорошо! — весело ответила Марфенька. («Очень плохо, хуже некуда быть...») — Скоро буду ходить, — лукаво добавила она.

Одна Мирра не отвела глаз — ей, впрочем, было все безразлично. Евгений Петрович закашлялся.

— Это будет не скоро. Кха, кха! Сегодня мне звонил главврач... Христине Савельевне больше нельзя здесь уже оставаться: ждут комиссию, неловко. Еще месяца два-три, и Марфеньку выпишут... В больнице ведь не держат хроников, то есть, кха, она дома еще будет долечиваться. Надо посоветоваться. Хорошо, что как раз и Любочка... Любовь Даниловна здесь. Необходимо обсудить.

— Что же обсуждать? — пожала своими точеными плечами Любовь Даниловна. — У нас ведь не шесть комнат... Кстати, Женя, как тебе удалось так удачно устроить с квартирой?

— Поменялся с соседями Мирры, потом пробили дверь, — с довольной улыбкой пояснил Оленев, но тут же лицо его приняло строго-серьезное выражение.

— Так вот, товарищи, я продолжаю... Конечно, Марфенька — мое любимое дитя, я ее воспитал, больше ведь никому не было дела, возложили на меня.

Теперь, когда случилось несчастье, кроме меня... Кха! Марфеньку придется брать мне. Мирра тоже не возражает.

— Гена может отдать Марочке любую комнату,— тихо, но очень отчетливо сказала Мирра.

— Дело в том, кто будет за ней ухаживать. Вот почему я пригласил Христину Савельевну остаться.— Оленев мельком взглянул в горящие глаза Марфеньки и повернулся к Христине.

— Я надеюсь, Христина Савельевна, что вы не бросите нас в таком положении? Кха! Просто в безвыходном... Моя дочь столько для вас сделала... Я положу вам шестьсот рублей в месяц... Это почти ваша зарплата в баллонном цехе. И вы...— кха! — будете вести хозяйство и ухаживать за Марфенькой. Кха! За Марой... Вы согласны, Христина Савельевна?

— Я не знаю планов Марфеньш.. Как она скажет, так я и сделаю,— ответила торопливо Христина.

— Этого никогда не будет! —отчеканила Марфенька.

Щеки ее зарделись, черные глаза сузились. Она попыталась подняться выше, но никак не могла подтянуться. Христина поспешно подсунула ей под плечи вторую подушку, со своей кровати.

— Что не будет? — с недоумением уставился на нее Евгений Петрович.

— Христина никогда уже не будет домработницей. Это прошлое, которое необратимо — по счастью! Христина уедет обратно в обсерваторию и станет работать в баллонном цехе. Место оставлено за ней: Мальшет обещал мне!

— Но кто же тогда будет за тобой ухаживать?

— Не знаю. Сдайте меня в инвалидный дом. Но Христина никогда уже не пойдет в домработницы! Это так же невозможно, как если бы предложили поступить в домработницы Мирре Павловне.

— Марфенька, ты грубишь!.. Конечно, больная, нервная, но все же...

— Я совсем не нервная! И я не грублю! Видишь ли, папа, единственное, что я сделала хорошего в жизни,— это однажды помогла хорошему человеку. Больше я ничего не сделала — не успела... И если Христина любит и уважает меня хоть немножко, она сделает так, что я буду гордиться ею. Христина, ты понимаешь меня?

— Я понимаю... Как же я смогу тебя оставить? — прошептала Христина и отвернулась, скрывая наворачнувшиеся слезы.

— Но как же тогда быть с тобой? — начал было Оленев.

— Не будем больше возвращаться к этой теме,— непреклонно отчеканила Марфенька.

Обескураженные родители скоро удалились. Виктор Алексеевич, расстроенный — ему было жаль Марфеньку, которую он искренне любил,— шепнул ей, прощаясь, чтоб она не унывала.

— Меньше слушай врачей, я уверен, что ты будешь скоро ходить! — добавил он, целуя ее.

— Как я смогу жить без тебя? — настойчиво спросила Христина, когда они остались одни.— Почему ты меня прогоняешь?

— Так это не я прогоняю, а главный врач!

— Я пойду к нему и попрошусь в санитарки! — воскликнула Христина.— Им как раз нужны санитарки, я видела объявление. Тогда я постоянно буду при тебе.

Марфенька рассмеялась, очень довольная.

— Сядь. Не надо мне такой жертвы. Ведь ты будешь тосковать по обсерватории... по Мальшету. Ты нашла там себя, разве не так? Ведь тебе не

хватает этих людей, ты с ними уже сработалась? Правда?

— Не хватает...— честно призналась Христина.—Такие хорошие люди: Васса Кузьминична, Лизочка, электрик Гриша, Давид Ларионович... Но ты мне дороже всех, и ты... хворает. А разве я тебе не нужна?

Марфенька улыбнулась, прося:

— Конечно, нужна! Страшно даже подумать: вдруг тебя не было бы совсем... Слушай, Христина, я решила. Ты поедешь домой, на Каспий, и будешь работать как работала, давно пора, так можно потерять место. Я постараюсь подлечить себя, а потом... Ты слушаешь? Ну, чего ты плачешь?

— Как я оставлю тебя одну? — всхлипнула Христина. Сердце ее, что называется, надрывалось от жалости к Марфеньке.

— Не плачь! Ты слушай... Меня здесь долго не продержат, не беспокойся!.. Ведь я хроник... Слышала, папа проговорился. А когда меня выпишут, я тебе телеграфирую, и ты приедешь за мной. Не идти же мне действительно в инвалидный дом или к этой... Мирре. Придется тебе уж... за мной ухаживать.

— Марфенька! — смеясь и плача, Христина обняла ее. — Примешь меня к себе? — строго спросила Марфенька.— Примешь, да?

— Марфенька!

— Да, да, я знаю, что никто не будет мне так рад, как ты... Но ты еще молодая женщина и можешь выйти замуж... И тогда я буду помехой... Но я что-нибудь придумаю, Хрестя!

— Я никогда не выйду замуж,— просто сказала Христина.

— Не будем загадывать далеко, а пока я поживу у тебя... Кто-то должен меня принять?.. Вот какое... Ну ничего, ты не расстраивайся, Христина. Я непременно что-нибудь придумаю. Какой-нибудь выход. И ты меня не жалея. Я сильная, даже если перебиты какие-то там позвонки.

— Почему же все-таки случилась авария? — в сотый раз спросила Христина.

— Тень от облака... От солнца — сразу в тень. Даже аэростат не выдержал,— непонятно сказала Марфенька.

Вошла улыбающаяся сестра и передала Марфеньке пачку писем. Четыре письма были из обсерватории — от Яши, Лизы, Мальшета и супругов Турышевых. Остальные от незнакомых людей.

После того как в «Комсомольской правде» появилась заметка «Подвиг Марфы Оленевой», где довольно красочно описывалось происшествие на Каспии, к Марфеньке стало поступать множество писем от совсем незнакомых людей. Марфенька очень любила эти письма, то и дело перечитывала их, сортировала и непременно отвечала на каждое.

Так и теперь прочли вслух все письма, и Марфенька спрятала их под подушку, что очень не нравилось медсестре, находившей это негигиеничным.

В этот вечер подруги разговаривали долго-долго, умолкая, когда к двери подходила дежурная сестра.

Вплоть до отъезда Христины Марфенька казалась очень веселой и спокойной, и та уехала с облегченным сердцем. Теперь она будет готовиться к приезду Марфеньки — ждать ее. Разлука — всего месяца на два. Скоро они увидятся! Марфенька не предугадала только одного: чем станут для нее эти «всего два месяца».

Как только Христина уехала, в опустевшей палате стало для Марфеньки нестерпимо одиноко. На нее вдруг напал страх перед надвигающейся ночью. Она попросила лечащего врача Раису Иосифовну перевести ее в общую палату. Но та неожиданно воспротивилась.

— Ваш отец договорился об отдельной палате для вас...

— Мало что он договорился! Я желаю в общую.

— Ну, я поговорю с ним по телефону.

Как назло, Оленев выехал в Ленинград в научную командировку, и телефон его был неизвестен. У Марфеньки уже были стычки с Раисой Иосифовной. Как только Марфенька пришла в себя после операции, она попросила переложить ее лицом к окну, точнее — к балкону, но ждали комиссию, и лечащий врач нашел, что «некрасиво, когда больные лежат в палатах в разные стороны».

Марфенька, разумеется, заявила, что ей «плевать на комиссию» и она требует, чтоб ее немедленно переложили, так как она «должна видеть небо». Это сделали вечером, когда Раиса Иосифовна ушла. С тех пор Марфенька невзлюбила ее и нисколько этого не скрывала. То, что Раиса Иосифовна явно заискивала перед ее отцом и Миррой, отнюдь не расположило Марфеньку в ее пользу.

Марфенька потребовала к себе главного врача, но он не пришел, так как ему, видимо, не доложили. Вместо него опять появилась Раиса Иосифовна и фальшиво-ласковым тоном стала уговаривать больную «не нервничать, быть умницей».

— Переведите меня в общую палату! — твердила Марфенька, с чувством унижения сознавая свое полное физическое бессилие.

— Не надо капризничать, здесь вам лучше! — безапелляционно изрекла Раиса Иосифовна.— Выпейте валерьянки!

Наверное, папа «благодарил» ее, сообразила Марфенька. Она пришла в ярость.

— Вы не переведете меня в общую палату?

— Я лучше знаю, где вам лежать. Вам требуется покой!

— Хорошо, тогда я объявляю голодовку!

Раиса Иосифовна от удивления даже открыла рот. Лицо ее покрылось пятнами, высокий бюст возмущенно заколыхался.

— Разве в больницах объявляют голодовки? Это лишь в тюрьмах! — пояснила она.

— А я объявляю! Буду голодать, пока меня не переведут в общую палату. И воды пить не буду. А лечиться я у вас не желаю. Вы — плохой врач! Уходите!

Через полчаса принесли обед, Марфенька к нему не притронулась. И подарила санитарке Дусе все продукты, которые были в тумбочке. Эту же Дусю она упростили сходить за Саго Сагиняновичем. Молодой врач выслушал гневный, сбивчивый рассказ Марфеньки и немедля отправился к главврачу.

Так с боем Марфеньку перевели в общую палату. Весь вечер оттуда неслись взрывы смеха: Марфенька рассказывала «в лицах», как она объявляла голодовку. Сестры и санитарки под всякими предлогами заходили в палату и тоже хохотали.

Женщины оказались очень славными. Они были довольны новой больницей, такой веселой и забавной. В палате их, кроме Марфеньки, четверо: инженер Мария Степановна—худенькая, добродушная, общительная пожилая женщина; научный работник астроном Августа Константиновна — высокая, красивая, спокойная, каждое движение ее было необыкновенно красиво, курила ли она папиросу или протягивала руку за книгой. Она походила больше на артистку, чем на астронома... пока не заговаривала о проблемах своей науки. Ее муж, тоже астроном, приносил ей папиросы, цветы, фрукты и свои письма. Он называл ее Ата.

Третья больная — она считалась выздоравливающей и скоро уже выписывалась — была на удивление пустышкой женщиной неполных восемнадцати лет, по имени Жанна, по метрике — Анна. Она работала

паспортисткой в гостинице для интуристов и, кроме как о мужчинах, ни о чем говорить не могла. В палате она находилась только во время обхода врача, а то ходила по всей больнице — преимущественно по мужским палатам, а вечером смотрела с приятелями телевизор.

Четвертым обитателем седьмой была африканка Жюльена — студентка Университета. Она неплохо говорила по-русски, интересовалась всем на свете, любила Москву, но тосковала по своей Африке и не могла без слез и взрыва ярости вспоминать об убийстве Патриса Лумумбы, речь которого она однажды слышала и знала, что не забудет никогда.

Марфеньку сначала положили на койку возле двери, но добрая африканка уступила ей свое место возле окна. Лето было душное, знойное, окно и балконная дверь круглые сутки были открыты, и Марфенька смотрела на проплывающие в прямоугольнике рамы белоснежные лучевые облака. Где-то в этой стороне был аэродром, и в поле зрения часто мелькали самолеты.

Все восхищались Марфенькиным мужеством, бодростью, стоицизмом. Встречая соблезнувший взор, Марфенька чувствовала себя униженной и потому — из гордости — не допускала, чтоб ее жалели.

Письма ее друзьям тоже были веселы, полны юмора, словно она писала с курорта. И ни один человек не догадывался о силе ее скрытых от всех мук.

Если горе осиливало ее днем, она делала вид, что хочет подремать, и накрывалась с головой простынкой, оставив щелку для дыхания. А ночью, когда все спали, можно было не скрываться — ночью она бунтовала против судьбы.

Глава третья

ГОЛОСА ЗЕМЛИ

Чем бы ни занималась Марфенька: читала ли книгу, или шутила с женщинами, принимала ли лекарство, давала ли себя колоть и выслушивать, писала ли письма далеким друзьям — все это происходило как бы на фоне одного и того же видения — неторопливо текущей реки.

То были места ее детства — обмелевшая Ветлуга с ее бесчисленными островами, желтыми отмелями, дремучими сосновыми борами, голубым можжевельником, высокими лиственницами, верхушки которых, казалось, задевали за плывущие облака.

Не Москва, разбегающиеся улицы которой шумели за окнами, не зеленые в белоснежных гребнях волны Каспийского моря и сверкающие прибрежные дюны, не декоративные красоты Крыма, где она не раз бывала с отцом, а всегда одно и то же — родная Ветлуга ее детства.

Видение то отодвигалось, будто она смотрела с высокого гористого берега села Рождественского, то приближалось, показываясь крупным планом. По песчаной отмели далеко внизу бежала босоногая загорелая лет десяти—двенадцати девчонка в платье с напуском... Неужели это она сама — Марфуша Оленева? То она переходила вброд Ветлугу, то рвала яркие полевые цветы или искала грибы в сыром бору, устланном серебристо-голубоватым мхом. То с целой оравой школьников ехала на трясущейся телеге на сенокос, копнила пахучие травы, бежала с крынкой в лес за ключевой водой.

Как она была счастлива — та чумазая девчонка в длинном платье с напуском, в красном цветастом платочке, подвязанном под подбородком!

«Зачем я ездила с папой в Крым? — думала Марфенька, терзаясь раскаянием.— Надо было на Ветлугу съездить. Найти подружек, ребят. Теперь уже не смогу. Никогда?»

Это «никогда» смущало ее. Врачи, родные, товарищи по палате — все безоговорочно признали это «никогда». Одна Марфенька не верила. Этого не могло быть, чтоб она никогда не смогла уже ходить... Какая-то страшная, вроде ночного кошмара, нелепость. Но Марфенька была не из пугливых. Ей все казалось, что только надо что-нибудь придумать, и все пройдет.

Придумывать было пора: уже полгода в постели, наступала осень...

Было несколько вопросов, требующих самого неотложного решения... Например, был в воскресенье папа и посоветовал поступить заочно в университет.

— Не надо поддаваться болезни,— сказал он строго.— Педагоги придут к тебе в палату принять экзамены. Тебе помогут "учиться.

Марфенька обещала подумать. Она не любила спорить, а в случае ее отказа отец стал бы утомительно доказывать. А согласиться на заочную учебу в университете в данном случае было бы началом приспособления к новой жизни.

Выписали Жанну-Анну. Прощаясь, она посоветовала Марфеньке написать роман, как Николай Островский. Марфенька обещала написать симфонию для струнного оркестра.

Потом выписалась Мария Степановна. Она сердечно простилась со всеми. Марфеньку обняла и поплакала. Она посоветовала изучить какое-нибудь мастерство, например делать бумажные или восковые цветы.

— Для чего? — удивилась Марфенька.

— Самая работа для инвалида!

— Для чего их делать — бумажные цветы? Кому они нужны, если есть живые?

Потом выписалась Жюльена. Она ничего не советовала, только обещала навещать и сдержала обещание.

Африканка была единственная, кто не советовал. Даже в письмах из разных городов — их уже стало совсем мало, этих писем: ведь про нее больше не писали в газете — каждый почему-то советовал, многие напоминали о Николае Островском, убеждали написать книгу. Очевидно, они думали, что для создания книги, кроме свободного времени, ничего не требуется!

Марфенька собрала все эти письма — советы, ранние и последние, и попросила санитарку Дусю вынести их из палаты. Марфенька злилась на всех непрощенных советчиков. Кто их воспитывал? Почему у них нет самого примитивного такта?

Только там, дома, в далекой Каспийской обсерватории ничего не советовали, они просто с нетерпением ждали ее возвращения и были абсолютно уверены, что она независимо от состояния здоровья будет всю жизнь Заниматься каспийской проблемой.

Яшины письма были такие, как если бы она просто болела, например воспалением легких. Он каждый раз спрашивал, когда ее наконец выпишут.

Яша писал ей, как будущей жене, строил планы их совместной жизни...

Какой жизни? Разве он не знал, что она никогда не сможет ходить? Врачи уже «успокоили» ее, уведолив, что она получит инвалидность первой группы...

Марфеньку просто злил Яшин сверхнаивный тон. Что он, маленький, что ли? У него слишком много юмора. Не потому ли она так любит его? С ним так светло и радостно!

И все же надо было написать ему всю неприкрытую правду.

Марфенька не может быть его женой, потому что она инвалид первой группы, то есть — инвалид беспомощный, за которым требуется уход... Жена!..

Неужели это правда? И она должна отказаться от Яши?

Марфенька накрывается с головой одеялом, чтоб никто не видел ее слез. Под одеялом жарко. Она сбрасывает его на пол, натягивает на лицо простыню. Слезы такие горячие, словно кипятки.

Марфеньку и астронома Ату, успевших подружиться, перевели в другую палату, двухместную — довольно просторную комнату, тоже с балконом, выходящим в сад. А их прежняя палата стала теперь мужской.

Евгений Петрович сердился на Марфеньку, что она не хочет учиться. Прошли все сроки, в этом году ей уже не поступить в университет. Разве похлопотать? В виде исключения... Все-таки дочь академика и заслуженной артистки, и к тому же погибла, то есть разбилась, как героиня... И в газетах писали, у него хранятся все вырезки. При ее выдающихся способностях к математике она сможет и в своем положении стать крупным научным работником, академиком, как ее отец.

Марфенька отмалчивалась.

Евгений Петрович и Мирра ждали сына... теперь уже скоро. Беременность захватила Мирру врасплох, но она все же решилась... К тому же мачеха, страдавшая от одиночества и очень уважавшая Евгения Петровича, изъявила желание воспитывать маленького. Всем троим очень хотелось мальчика!

Приходили письма от Христины. От них становилось легче. Неуклюже и сердечно выражала в них Христина свою любовь к Марфеньке. Она с нетерпением ждала дня свидания. Все спрашивала у Марфеньки, каковы ее планы и решения на будущее. А отец и все другие, кроме Яши, считали, что теперь можно решать за нее. Это было просто унижительно! И потому Марфенька поступала как раз наперекор всем этим советчикам.

Она не хотела верить, не хотела смириться...

Это случилось так. В субботу Марфенька забыла при обходе сказать врачу — ее теперь лечил Саго Сагинянович,— что у нее что-то очень болит кожа на пояснице, просто печет.

В воскресенье она от боли еле разговаривала с навестившей ее Любовью Даниловной. Гипсовая «кровать» нестерпимо давила. Поясницу жгло огнем. Ночью она плохо спала. Пожаловалась дежурной сестре. Та подсунула большой кусок ваты.

Утром, при обходе, сестра сразу привела Саго Сагиняновича к Марфеньке.

— Посмотрите, доктор, какие пролежни...— сказала она шепотом, но Марфенька услышала.

Вот что... пролежни!

Марфеньке оказали всю необходимую помощь: смазывали, бинтовали, делали уколы...

Почти весь день Марфенька лежала, накрытая с головой простыней, делая вид, что спит. Ата пыталась с ней заговорить, развлечь ее, но ничего не вышло, и она углубилась в книгу.

Вечером Марфенька отбросила простыню и попросила санитарку достать из тумбочки бумагу и авторучку.

Письмо было не особенно длинное.

«Милый Яша, давно следовало мне разъяснить тебе все: никогда я не буду твоей женой.

Надо взглянуть беде в лицо, а не малодушничать. У меня разбиты три

позвонка, ходить я уже не смогу. Это хуже, чем ты думаешь. Будут пролежни, а потом начнут постепенно атрофироваться все органы, кроме мозга. Мозг, наоборот, будет развиваться. Так что от меня останется что-то вроде «головы профессора Доуэля». Я знаю, ты меня любишь. И я тебя люблю! Но видишь, не сбыться нашим мечтам. Постарайся взять себя в руки и не думать обо мне. Самое лучшее для тебя—поллюбить другую девушку.

Твой друг Марфа Оленева.

Р. С. Яша, очень прошу тебя, не пиши и не говори больше об этом, пожалей меня. Проникнись мыслью, что наша любовь в прошлом. Как если бы я умерла. Марфа. 4 октября 196...»

Письмо было переписано, запечатано. Санитарка обещала опустить его сейчас же в почтовый ящик на углу.

Марфенька сразу закрылась простыней.

Спать в этот скучный вечер Ата легла рано. Она не страдала бессонницей, и скоро Марфенька осталась все равно что одна. Электричество наконец выключили. Балконная дверь по просьбе обеих больных раскрыта настежь. В палате было очень светло, потому что наступила ночь полнолуния. Так светло, что виден желтый и красный цвет листьев в больничном саду... Листья не шелохнутся: стоял полный штиль. В небе не было ни облачка. Только самые яркие сияли звезды — первой величины.

Марфенька знала, что в эту ночь не уснет. Это была особенная ночь. Марфенька осталась с глазу на глаз со своей бедой.

Теперь она уже знала. Странно, что убедили ее... пролежни.

Ей было девятнадцать лет. Она была крепкая и сильная, она и сейчас после полугодового лежания все еще была сильна. Но она была обречена на беспомощность. До сих пор она отгоняла эти мысли... Настал момент, когда надо было продумать все до конца.

По натуре своей Марфенька тянулась всегда к радости, простору, яркой деятельной жизни, полной опасности, риска, преодоления трудностей. Отважная парашютистка, способный пилот-аэронавт, пловец, конькобежец... Старые мастера спорта прочили ей большое будущее. Надо же было именно с ней приключиться такому несчастью — лежать!

Марфенька с детства не любила думать о печальном, о страдании. Она не переносила Достоевского, Гаршина, Шевченко. Не могла спокойно читать в газетах о расовой дискриминации, линчевании негров, несправедливости, эксплуатации.

Так любить жизнь, радость, простор — и вдруг все это потерять! Все равно как если бы ее посадили в тюрьму. Этим летом она ни разу даже не плавала. Как она далеко заплывала в море, так, что совсем скрывался берег...

Больше она плавать не будет. Больше не поднимется на аэростате в голубое небо. Не прыгнет с парашютом, не побежит на коньках с Яшей. Они не будут путешествовать вместе. Они вообще не будут вместе.

Когда-нибудь, успокоившись и примирившись, он женится на другой. Яша станет большим писателем, будет много путешествовать... вместе с другой женщиной. А может, ему попадетя домоседка, хозяйка, мать, и он будет путешествовать один. Тогда он будет грустить о ней, Марфеньке.

А она как будет жить? Никакой особой проблемы не было, с ее способностями к математике... Отец очень умно и практично все распланировал за нее. Окончит

заочно Московский университет имени Ломоносова — математический факультет. Потом закончит аспирантуру, тоже заочно. Математиком можно быть и без движения.

Постепенно, по мере того как все дальше и дальше будут отходить от нее юношеские радости и мечты и само воспоминание о них, она станет все сильнее и сильнее привязываться к математике. Чувства ее замкнутся в сурово очерченном кругу абстрактных истин. Она будет писать серьезные научные работы, их напечатают в специальных журналах. Быть может, она выдвинет новые гипотезы или опровергнет прежние. В мире будущего математика будет иметь огромное значение. Полеты в космос, кибернетика, проникновение в глубь вещества — все грандиозные мечты современного человека зависят от достижений математики. Научная работа даст Марфеньке «душевное удовлетворение, положение в обществе и материальное обеспечение» — так сказал отец, и он безусловно прав. Это единственный путь победить инвалидность, сделать себя ценной для Родины. Она и пойдет этим путем...

Она станет сухонькой, бледной, преждевременно состарившейся, очень ученой и, наверное, желчной, насмешливой... озлобленным инвалидом, слишком умным, чтоб позволить себе раздражаться открыто, как это делают некоторые несчастные старые девы. Не жизнь чувств, а холодная работа мозга ждет ее теперь.

Так уж получилось...

Марфенька посмотрела на часы — было всего половина десятого. Тоска становилась непереносимой, хоть буди Ату. А что, если чуть-чуть постонать? Наверно, станет легче. Если Ата услышит, можно сказать, что болит спина, она и правда болит. Марфенька хотела уже застонать, но ей стало совестно: ведь она может терпеть, она сильная.

Как это бабушка Анюта сказала ей перед смертью? «Слабого человека встретишь — помоги ему, сильного — на его силу не надейся, своей обходишься. Корни у тебя крепкие — выдюжишь... Сдается мне, жизнь у тебя нелегкая будет... Но ты не бойся... живи по правде, как твоя совесть подсказывает, и весь сказ...»

Зачем ты умерла так рано, бабушка Анюта?

Ничего так не жаждала Марфенька в этот горький свой час, как сердечной человеческой ласки — единственного, что не умели дать ей ни знаменитая мать, ни маститый ученый-отец.

Марфенька пошарила рукой на тумбочке и надела наушники, в которых давно уже жужжала музыка — передавали большой концерт. Разрастаясь, пронесся гул аплодисментов. Хорошо, что концерт. Марфенька прерывисто вздохнула, подложила свернутую простынь под поясницу — пролежень - таки горел, словно ожог,— и, прижав руку ко рту — жест уныния и душевной слабости,— приготовилась слушать.

— Заслуженная артистка РСФСР Любовь Даниловна Оленева исполнит...

«О!.. Поет мама...»

Марфенька знала наизусть весь ее репертуар, еще девчонкой на Ветлуге. Она вдруг вспомнила занесенное снегом Рождественское, узоры трескучего мороза на стекле. Бабушку Анюту, гладко причесанную, с лучистыми серыми глазами на обветренном коричневом лице, в неизменной сборчатой юбке и кофте с напуском, с пуховым полушалком на плечах, в валенках. Бабушка у накрытого чистой скатертью стола читает Шолохова, чуть шевеля губами, а Марфенька с подружкой Ксеной залезли на горячую печку и блаженно слушают концерт из Колонного зала Дома союзов. «Выступает заслуженная...»

«Бабушка, слышишь, поет мама!» Анна Капитоновна откладывает книгу и,

заметно покраснев от невольного материнского тщеславия, слушает голос дочери...

«Зачем ты ушла так рано, бабушка? Может, к лучшему, теперь бы расстраивалась, плакала надо мной, а жизнь и так у тебя была нелегкой».

...Как хорошо вступление — рояль.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Пела Любовь Даниловна. По-прежнему чист и свеж был ее страстный, тоскующий голос, по-прежнему звал к любви, к простому человеческому счастью.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Марфенька, почти не дыша, прослушала весь концерт. Медленно, слабым движением сняла наушники. Луна застыла высоко в небе, с кровати ее было хорошо видно. Марфенька остановившимися глазами, не мигая, смотрела в светлое ночное небо. Проходил час за часом, а Марфенька все смотрела и смотрела в открытую дверь. Дверь была открыта в мир. Луна спряталась, но свет ее еще озарял небо.

Марфенька поняла, какая опасность грозила ей. Опасность была в том, что засушится сердце. Она уже и сейчас делается насмешливой и злой. Разве не издевалась она над простодушными письмами, над глупенькой Жанной?

Опасность была в том, что она могла стать со временем ценным ученым, но сухим, желчным, бесполом жестким существом.

Нельзя было жить только наукой, трудом, успехами, честолюбивыми замыслами: в этом была страшная опасность. Чувства — добрые, пылкие, щедрые чувства — вот что было главным в жизни. Вот что она должна была сохранить для людей и для себя во что бы то ни стало.

В палату заглянула сонная медсестра. Марфенька, чтобы успокоить ее, притворилась спящей, и та ушла. Стало свежеть, из сада потянуло сыростью: скоро утро. Где-то далеко-далеко загудел паровоз. Когда Марфенька прислушалась, до нее долетела стройная переключка паровозных гудков: поезда бежали по всем направлениям. Потом крикнула в саду птица, ей отозвалась другая, третья. Вдруг зашумели деревья в саду: подул предрассветный ветер. Марфенька вспомнила, как полтора года назад она темной ночью летела на аэростате с Турышевым и Яшей, и они слушали голоса Земли.

Воспоминание было так остро, что она даже ощутила запах леса, над которым они пролетали. Снова услышала гул сосен, плеск речки, крики ночных птиц, лай собак, когда они проносились над заснувшей деревенькой, и звонкий смех девушки, прощающейся с парнем. «Настенька, ты придешь завтра в клуб?»

Где-то еще живет и радуется жизни неведомая Настенька. Марфенька от всей души пожелала счастья Настеньке. Потом ее мысли перекинулись к Турышеву, Вассе Кузьминичне, Христине, Лизе, Фоме (о Яше лучше было не думать). Сколько друзей, как они беспокоятся о ней, ждут! Какие от них теплые, хорошие

приходят письма!

Пока есть дружба, разве может зачерстветь сердце? Надо только беречь и хранить эту дружбу, как зеницу ока... Так говорили в старину, хорошее сравнение.

Если когда-нибудь она почувствует, что становится озлобленной, черствой, равнодушной, она только прислушается к голосам доброй и щедрой Земли и опять обретет любовь к жизни, к людям.

Глава четвертая

ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ

(Дневник Яши Ефремова)

...Я все время порывался к Марфеньке, находя, что она слишком залежалась в больнице, но меня отговаривали Васса Кузьминична и Лиза, уверяя, что я не должен мешать ей лечиться.

Оказалось, что прав был я.

Письмо Марфеньки меня ужаснуло: как это не похоже на нее! Прочитав его, я тут же направился к Мальшету и потребовал отпуск. Филипп было замялся, так как по плану у нас полет, ждали только благоприятной погоды, но я сказал, что еду за своей женой, и он сразу сдался. Я даже дал ему прочесть Марфенькино письмо — он тоже ужаснулся. Вот до чего довели ее в этой хваленной «пейробольнице»!

«Голова профессора Доуэля»! Это моя красавица Марфенька? Долечили, что называется.

Христина, узнав, что я еду, тоже побежала к Мальшету и в свою очередь выпросила отпуск. Она решила ехать вместе со мной. Это на случай, если Марфенька не пожелает выходить за меня замуж, — тогда она ее заберет к себе.

Ехать мы должны были в 12 часов утра, пароходом, так как была нелетная погода и самолеты не курсировали. Вечером я отправился на мотороллере к сестре.

Я нашел Фому в каком-то невменяемом состоянии, вроде как он малость свихнулся. Лизы не было дома, и я сразу испугался, не случилось ли чего.

— Лизу забрали в родильный дом! — сообщил Фома растерянно и, сморщившись, словно у него стреляло в ухе, сел вместо стула на порог.

Я так и ахнул.

— Почему же в родильный, разве она...

— А ты разве не знал?

— Она мне ничего не говорила!

— Она думала, ты знаешь.

— Откуда же я мог знать, если мне, брату, даже не сказали! — рассердился я.

— Что теперь будет? Что теперь будет? — застонал Фома.

Я хотел сказать, что будет мальчик или девочка, но получилось бы вроде клоунской остроты. А потом мне сразу передалась его тревога, я вспомнил многочисленные случаи, когда умирали от родов, и у меня пересохло во рту и похолодело под ложечкой. Вдруг Фома наклонил голову к самым коленям и словно начал икать: это он плакал.

Я бросился к Фоме и, сам чуть не плача, стал его стыдить.

— Ты ничего не знаешь, Янька! — сказал он и опять застонал так, что у меня мурашки по спине побежали.

— Роды ведь преждевременные... Врачиха говорит мне: «Она у вас умрет!..» Да с такой злостью... Она считает, я виноват!

Это была просто страшная ночь. Мы бегали то в родильный дом, то обратно. Санитарка Маруся, хорошая знакомая Фомы, каждый раз выбегала на крыльцо и подробно информировала нас.

Часа в четыре ночи Фома чуть не бился головой об стену. Я еле с ним справился.

— Янька, дорогой! — закричал Фома.—Я один виноват во всем. Ведь я знал, что она не любит меня, и все-таки шесть лет уговаривал выйти за меня замуж.

Он вскочил и бросился опять в больницу, я за ним, натываясь в тумане черт знает на что. Как мы каждый раз находили родильный дом. уму непостижимо: туман стлался сплошной пеленой, так что ни зги не было видно. Где-то на море непрерывно гудела сирена — туманный сигнал — зловеще и тоскливо. Я совсем пал духом, как и Фома: Лизонька умрет!

Но Лизонька выжила. Ровно в семь утра, в воскресенье, у нее родился сын. Нас к ней не допустили, но мы посмотрели на нее в окно, которое нам нарочно открыла Маруся. Лиза крепко спала. Маруся показала ребенка. Вполне хороший мальчишка, очень похож на Фому: черные глаза, выпуклый лоб, такой же упрямый подбородок. Фома так и просиял и на радостях чуть не задушил меня в объятиях. Окно захлопнулось.

— Мы назовем его Яшкой... в твою честь! — сказал Фома.— И Лизе будет приятно, она так любит тебя. Может, и моего сына будет так же любить!

Фома был счастлив. Он уже забыл ночные свои муки. Я поговорил с врачом, она меня заверила, что с сестрой все благополучно, и ровно в двенадцать дня мы с Христиной выехали в Москву.

Ввиду нелетной погоды пришлось тащиться поездом. Билетов в купированный вагон уже не было, я взял в мягкий. Народу было совсем мало. В наше купе так никто и не подсел до самой Москвы.

Мы с Христиной всю дорогу говорили о Марфеньке. Но, разговаривая, я незаметно разглядывал Христину. Очень она меня поражала. Чем? Она совершенно неузнаваемо изменилась. Сколько я ее знаю, она почти постоянно неузнаваемо меняется. Чудеса, да и только!

Последнее время я ее мало видел. То есть видел-то каждый день — комнаты наши рядом и работаем в одном аэрологическом отделе,— но просто я не присматривался к ней. Эти несколько месяцев, что Марфенька лежит в больнице, я, спасаясь от тоски, почти каждый вечер проводил в Бурунном у сестры. Фома был мне очень рад, а Лизонька и подавно. Часто я оставался ночевать. Мне предоставили письменный стол покойного капитана Бурлаки. Там я иногда работал, Лиза читала своего Уилки Коллинза или занималась, разложив на обеденном столе толстенные книги с -формулами и старые свои записи: она уже готовится к защите диплома. Юлия Алексеевна Яворская, заведующая океанологическим отделом обсерватории, уверяет всех, что это не диплом, а настоящая диссертация — столько в нем самостоятельных мыслей и наблюдений. Удивительного ничего нет: ведь Лизонька несколько лет работала на гидрометеостанции и в экспедиции ездила, а теперь в обсерватории исполняет обязанности океанолога.

Так вот: я пишу, Лизонька занимается, а Фома себе курит, поглядывая с гордостью то на жену, то на меня. Он весьма нами обоими гордится.

А когда мне не писалось, мы разговаривали или читали вслух. Вот почему я почти не видел Христины. Она подружилась с Турышевыми, а особенно, как это ни странно, с Мальшетом.

Что у Филиппа Михайловича могло быть общего с Христиной? Кажется, ничего. Просто он, утерев Лизоньку, чувствовал себя очень одиноким и, наверное, находил у Христины не хватавшее ему душевное тепло.

Он просиживал у нее целые вечера, рассказывая о своей работе, по обыкновению не делая ни малейшей скидки ни на развитие, ни на образование. А потом Христина поила его чаем и пекла для него оладьи, которые он очень любит.

Правда, Марфенька в каждом письме к Мальшету — он давал мне читать ее письма — просила его не оставлять Христину одну. (Меня она почему-то никогда об этом не просила.)

О религии они больше не спорят, кажется, Христина уже больше не верит. Она не любит об этом говорить.

И вот дорогой, наблюдая за Христиной, я сделал открытие, что она еще раз почти неузнаваемо изменилась. Она стала женственнее, спокойнее, веселее и уверенней в себе, у нее даже юмор появился. И очень уж она похорошела. Марфенька будет довольна: она ее очень любит.

В больнице был неприятный день, и нас не пропускали к Марфеньке, но Христина вызвала хорошо ей знакомого молодого врача, видимо армянина, и он, оглядев меня с большим любопытством, провел нас каким-то черным ходом.

Марфенька крайне поразились, увидев нас, у нее прямо язык отнялся. Еще более она была поражена моим заявлением, что я приехал за ней.

— Вы оба с ума сошли! — воскликнула она растерянно.

Я сделал знак Христине, и она вышла в коридор. В палате была еще одна больная, но я в тот момент ее не заметил. Я присел к Марфеньке на кровать и стал ее страстно целовать, не обращая ни на кого внимания.

— Ты будешь моей женой, — сказал я. — Ты обещала. Я приехал за тобой.

— Но я не могу ходить! — крикнула Марфенька со слезами.

— Я буду носить тебя на руках.

— Это вначале, а потом тебе надоест!..

— Когда надоест, купим тебе коляску.

— Ты можешь полюбить другую... здоровую, а я стану тебе в тягость.

— Тогда ты немного пострадаешь, но это будет жизнь — настоящая, с радостью и страданием, а не «голова профессора Доуэля». Эх, ты!.. Долежалась...

Марфенька засмеялась, потом заплакала. Она смеялась и плакала, когда в палату вбежала женщина в белом халате, похожая на вампира: бледная, с кроваво-красными губами. Она оказалась дежурным врачом и стала тащить меня от Марфеньки.

— Завтра утром выписывайся! — только смог я крикнуть, и меня потащили мимо перепуганной Христины.

Не успел я опомниться, как уже очутился в кабинете главного врача. Там сидело еще несколько врачей, и... я вдруг почувствовал себя школьником, которого привели в учительскую для выговора. С меня потребовали объяснений, как я попал в палату к тяжелобольной.

Я объяснил.

— Оленевой рано выписываться, — заметила «вампир».

— Наоборот, самое время. Тут она совсем падет духом. И вообще она проживет без уколов и анализов.

— Вы хотите на ней жениться? — спросил главврач, игнорируя мою

дерзость»— Считаю своим долгом предупредить вас... Оленева никогда не будет ходить.

И он объяснил мне по-русски и по-латыни, почему Марфенька не сможет двигаться.

— Вы даже не сумели скрыть этого от нее! — упрекнул я.— А может, вы еще ошибаетесь.

— К сожалению, мы не ошибаемся.

Я попросил его не чинить препятствий при выписке, заверив, что и в Бурунном у нее будет неплохой врачебный уход. Христина уже ждала меня в вестибюле. Мы переночевали в гостинице и с самого раннего утра начали хлопотать о досрочном «освобождении» Марфеньки.

Врачи позвонили ее отцу, но профессор не протестовал — кажется, он был рад. К вечеру врачи сдались, но поставили непременным условием сделать Марфеньке кожаный корсет. Оленев ускорил дело с корсетом и достал для нас санитарный самолет.

Что значит тесть академик!

И вот я женат.

Моя жена лежит на низкой широкой кровати, у самого окна. Ей слышно, как шумит море. Оно еще не замерзло, и неизвестно, замерзнет ли: уж очень в этом году теплая, «сиротская», зима.

Заслуженная артистка РСФСР Оленева и академик Оленев прислали для своей единственной дочери свадебный подарок — мебель — в контейнерах, большой скоростью. Христина и Васса Кузьминична переставляли ее с места на место целое воскресенье и несколько следующих вечеров. Хватило на обе комнаты — нашу и Христинину. Мы живем одной семьей — втроем.

Мачеха, совершенно переставшая меня уважать, когда узнала о моей женитьбе на «безногой», после прибытия мебели поколебалась и, кажется, пришла к убеждению, что я умнее, чем все думают.

Отец с Прасковьей Гордеевной навестили нас, и Марфенька их очень любезно приняла. Мачеха принесла нам в подарок полпуда сала от выкормленного ею самолично кабана, а Марфенька преподнесла ей бархатную скатерть в огромных белых и красных розах. Кстати, это, в свою очередь, был подарок Мирры... Прасковье Гордеевне скатерть понравилась, она была в восторге.

Вначале мы ни одного вечера не оставались одни, к нам шли и шли все друзья и знакомые. Мы с Христиной просто устали готовить всякие пироги, закуски и каждый раз ставить самовар.

Но Марфенька так каждому радовалась, так звонко смеялась шуткам гостей, что я готов был превратиться навсегда в повара, лишь бы ей было весело. Но потом все навестили, обо всем переговорили и стали заходить главным образом по воскресеньям. Только самые близкие друзья забегали каждый день.

Вот близкие друзья и решили помочь мне убедить Марфеньку. Дело в том, что моя милая жена — юридически мне совсем не жена, и ничего здесь не поделаешь: Марфенька упряма, как молодая ослица, она наотрез отказалась оформить наш брак в загсе. Ее уговаривала Лизонька — она приезжала с сыном Янькой, он и на меня немножко похож,—уговаривала Васса Кузьминична, Мальшет, сам Турышев, даже девчонки из баллонного цеха — кто только ее не убеждал! — она все твердила одно: «Регистрироваться пойду, только если выздоровею!» Это она облегчает мне будущий развод, когда я полюблю другую — «здоровую». Ее

уговаривали до тех пор, пока она не пришла в ярость и не запретила категорически поднимать разговор на эту тему.

«Яша мой муж, а я его жена,— сказала она, сверкая черными глазами и сильно раскрасневшись, Вассе Кузьминичне и Мальшету.— Мы — муж и жена перед всеми людьми и перед самими собой. Нас венчала любовь! И только любовь может заставить Яшу жить с беспомощной инвалидкой, но не долг и не жалость, потому что я никогда не примирилась бы, чтоб со мной жили из долга или жалости! Пусть он будет совсем свободен, чтобы оставить меня, когда жизнь со мной покажется ему в тягость».

Хотя я прекрасно знаю, что никогда не оставлю Марфеньку — потому что не разлюблю, я ни разу не сказал этого моей хорошей. Наоборот, я ее заверил, что как только полюблю «другую», так сразу и уйду к ней. Незачем моей жене быть чересчур уверенной во мне: так она, чего доброго, сама меня еще раньше разлюбит. Пусть немножко поволнуется из-за меня — это женщинам полезно!

Марфенька лежит у самого окна и слушает шум моря, гул ветра, пронзительные крики морских птиц. В окно ей виден берег и новый маяк вдалеке. Над кроватью, так что она может достать,— полка с ее любимыми книгами. Рядом низкая тумбочка: на ней мы поставили радиолу, чтоб Марфенька сама могла включать ц, выключать радио или ставить пластинки. В ящике туалетные принадлежности: всякие щетки, духи, склянки, гребенки. Прямо на кровати сбоку мы ей кладем ларец с писчебумажными принадлежностями, на случай, если она пожелает писать. Сотрудники обсерватории несут ей ракушки, камни, яйца птиц, еще влажные водоросли. Она всегда радуется этим гостинцам моря, как ребенок.

Гидрохимик Барабаш чуть не свихнул себе шею: лазил для нее на скалу за яйцами чаек.

Утром мы все трое пьем чай у постели умытой и причесанной Марфеньки, а потом мы с Христиной уходим на работу, набросав ей на постель книжек и «игрушек», а также учебников: Марфенька решила с осени поступать на математический факультет университета имени Ломоносова — конечно, на заочное отделение — и готовиться к экзаменам. Вообще она охотно занимается математикой и просто для собственного удовольствия. Математику она любит с детства. А теперь это все, что ей осталось... По-моему, она страстно тоскует по воздухоплаванию. Она — прирожденный аэронавт! Я даже боюсь ей говорить о своих полетах: только расстраивать, но она заставляет рассказывать, вникая в каждую мелочь. Щеки ее тогда горят, большие черные глаза смотрят грустно, она крепко сжимает губы. Я готов часами любоваться ее похудевшим, но прекрасным лицом, удивительным сочетанием огромных черных глаз и светло-русых прямых волос. Теперь, где бы я ни был, всегда помню, что дома меня ждет моя жена, и я невольно тороплюсь к ней.

Прошел месяц, другой, и старый врач из Бурунного Андрей Павлович, который лечит мою жену, нашел, что она поправилась и поздоровела: любовь и воздух Каспия сделали это. Но она по-прежнему не может ходить. Диагноз врача: повреждение позвоночника и спинного мозга при падении с высоты. Правда, она уже сидит — в кожаном корсете, с подложенными под спину подушками. Так она читает, занимается, смеется, поет, разговаривает со всеми — в полулежачем положении.

Марфенька решила, что мне пора вплотную заняться моим романом о будущем, потому что со дня женитьбы я почти ничего не написал.

— Ты будешь писать рядом со мной. Я тебе не помешаю?

Я заверил, что нет. Сначала все же мешала... Как всегда после большого

перерыва в работе, у меня не шло, и я подолгу сидел -над чистой бумагой с авторучкой у рта, и мне было неловко перед Марфенькой и Христиной. Жена моя боялась зашелестеть страницей, Христина ступала на цыпочках, а я слушал, как они стараются мне не мешать... не смотреть на чистый лист бумаги,— и стеснялся.

Наконец я вспылел, отругал их обеих, велел им громко разговаривать, включил радио, а сам ушел писать на кухню. Марфенька была огорчена, но старалась этого не показывать.

Христина предложила мне писать в ее комнате, что я и сделал, а она перебралась со своими учебниками на мое место возле Марфеньки и только выиграла, так как Марфенька стала заниматься с ней по математике, химии и физике.

Несколько дней я очень мучился, а потом пошло. Мы завели порядок: первый черновик я писал в комнате Христины, чтоб быть наедине со своими героями, а переписывать и отделявать шел к Марфеньке. А потом я привык, и она мне действительно не мешала.

Я работал за письменным столом, придвинутым вплотную к Марфенькиной постели, а она читала или смотрела на меня, раздумываясь, с сияющими, похожими на две большие вишенки глазами. Христина занималась здесь же, за круглым обеденным столом.

В мою последнюю поездку в Москву я купил пишущую машинку и стал учиться печатать. По совету самоучителя я сразу стал печатать всеми десятью пальцами. Пальцы заплетались, я ошибался, злился, чертыхался. Марфенька с Христиной хохотали. Все же я выучился, а за месяц набрал быстроту. Теперь я только первый и второй черновик писал сам, а третий уже печатал на машинке. Но без этого первого — с глазу на глаз — единения с бумагой я обойтись не мог. С машинкой не получалось такой дружеской близости.

Иногда во время работы я вдруг чувствовал себя настолько незаслуженно счастливым, что сгребал рукопись в ящик стола и начинал целовать Марфеньку, а потом заодно и Христину, к которой я очень привязался (как к двоюродной сестре — родную сестру Лизоньку я все же любил неизмеримо больше). Христина хохотала, а потом бежала ставить самовар, поить нас чаем. Пока она накрывала на стол, я бежал за Мальшетом. Он всегда радовался моему приходу, бросал научную статью, над которой он сейчас работает, и охотно шел к нам. Тогда Марфенька стучала три раза в стену, вызывая Турышевых, и они или отвечали двукратным стуком, что означало: уже легли спать; или однократным: работают; или градом ударов, вслед за чем появлялись сами с каким-нибудь пирогом или горшком меда к чаю.

Круглый стол придвигался к кровати, и Марфенька, оживленная и нарядная, возлежала, как древняя римлянка, играя в хозяйку. Конечно, настоящей хозяйкой была у нас Христина. Не знаю, что бы я без нее делал!

Часто на огонек забредали к нам Давид Илларионович Барабаш и Сережа Зиновеев. Становилось совсем весело. Обсуждали последние научные новости, спорили, шутили, смеялись. Это были самые хорошие дни не только для нас с Марфенькой, но и в обсерватории.

Уехал Глеб Павлович Львов, за ним сбежал — буквально дезертировал — один из Аясов (Валерий Дмитриевич), уже давно тяготившийся «каспийской ссылкой». Сразу стало словно легче дышать в нашей обсерватории. Их у нас недолюбливали, и все радовались, что они уехали. Жаль только, что не сбежал второй Аяк — Вадим Петрович Праведников. Пустой он человек: мелочный,

завистливый, недалекий. Мещанин новой формации, как говорят про таких. Учился — думал о дипломе, а не о знаниях, теперь думает не о науке, а о карьере. Я уверен, что если он еще не дезертировал, как его друг, так это лишь потому, что он еще чего-то ждет от работы здесь.

Скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты! Вадим дружит с Глебом Львовым. Значит, два сапога пара!

Зима прошла хорошо, радостно — в работе, дружбе, творческих исканиях.

А потом неожиданно разразились неприятности...

Это было уже в апреле, когда мы как раз готовились к полету в стратосферу.

Глава пятая

МЫ БОРЕМСЯ ЗА МАЛЬШЕТА

(Дневник Яши Ефремова)

Началось с телефонного звонка в смутный весенний день, когда оглушительно кричали морские птицы, а небо заволокло тучами. Мальшета предупредили, что с ним «будет говорить Москва». Москва говорила устами молоденькой секретарши Академии наук Алочки, весьма расположенной к зеленоглазому директору Каспийской обсерватории. Потому было сказано больше, чем говорится в подобных случаях, и более мягко, с женским тактом и явным сочувствием.

Поговорив по телефону, Мальшет сморщился, словно проглотил какую-то нечисть, вроде мокрицы, и бросился к Турышеву.

— Теперь апрельские планы к черту полетят, — пожаловался он, — вместо работы будем заниматься черт знает чем!

Оказывается, мой тесть (я сразу подумал: как расстроится Марфенька!) потребовал отстранения Мальшета от руководства обсерваторией, как «не соответствующего своей должности».

На Мальшета «имелись» грозные «сигналы»... Если бы даже секретарша не сообщила подробностей, было вполне очевидно, откуда дует ветер: Глеб Львов.

Конечно, и сбежавший Аякс приложил свою руку, а может, и другой Аякс — Праведников. Неудивительно, что когда это дело возглавил академик Оленев, то была назначена комиссия.

Комиссия прибыла на самолете первого апреля. Я бы на их месте задержался хоть на денек. Но они были люди пожившие, с лысынами и брюшками (кроме одного — тощего, заикающегося, с волосиками дыбом) и уже давно, видимо, забыли детскую присказку насчет первого апреля.

Комиссия поглядывала на всех нас мрачно и недоверчиво, я бы даже сказал, недоброжелательно. Наверное, у них уже заранее отлилось мнение, крепкое, как медь.

Гидрохимик Барабаш сказал мне, что это честные ученые, которые хотя звезд не хватают, но добросовестно трудятся на поприще науки. Все дело было в том, что они искренне считали Оленева большим ученым (положение-то он занимал большое) и не могли понять, как мог климатолог Турышев идти в своих научных высказываниях вразрез со взглядами профессора Оленева.

Суть дела заключалась именно в Турышеве. Ведь он давал научное направление обсерватории. Другой директор, сторонник теорий Оленева, — и

работа обсерватории пойдет совсем по другому пути.

Судьба Мальшета была решена еще в позапрошлом году в посещение Оленева, но Евгений Петрович чего-то выжидал, может, материала покрепче? Ведь нельзя же было снять Мальшета за то, что он принимал теории Турышева и отвергал теории Оленева?

«Материал» подобрали. О нет, Глеб не клеветал, как когда-то его отец: не те были времена, не те нравы. За клевету можно и перед судом предстать, очень просто!

«Материал» был подобран именно в духе Глеба Львова: все хорошее не замечено, обойдено, зато недостатки так выпячены, так подмазаны черной красочкой, что неискушенного человека оторопь брала: как могли назначить на пост директора обсерватории такого несерьезного человека, как Мальшет?

Комиссия заседала в кабинете Мальшета, разумеется изгнав оттуда его самого. Туда вызывали по одному сотрудников обсерватории и с пристрастием допрашивали их как свидетелей.

Ни сам Турышев, ни его жена, ни Лиза, ни я и никто из тех, кто знал Мальшета особенно близко (и подозревался в дружеских с ним связях), не допрашивались.

Тогда я пошел к Сереже Зиновееву, секретарю нашей комсомольской организации.

— Ну, Сережа, хватит тебе заниматься членскими взносами и очередными мероприятиями: пора настала показать, что значит комсомольцы!

Я ему втолковывал это часа полтора, все же втолковывал— помогли Барабаш и девчата из баллонного цеха.

Сережа пошел и потребовал именем комсомольской организации от комиссии обсудить все открыто, при народе, на собрании сотрудников обсерватории.

Члены комиссии от открытого обсуждения уклонились.

Комсомольцы тогда пожелали узнать, в чем, собственно, обвиняют их директора. Комиссия и здесь уклонилась.

А потом Мальшета вызвали в Москву для объяснений, и хуже ничего не могло быть. Мальшет умел работать, умел бороться за Каспий, но он совсем не умел бороться за себя, к тому же он был страшно вспыльчив и несдержан на язык.

С ним почему-то вызвали и Вадима Петровича Праведникова.

Мы все просто пали духом и в самом подавленном состоянии ждали телефонного звонка.

Вместо телефонного звонка явился вдруг сам Мальшет. Прямо с аэродрома он прошел в баллонный цех, не переодевшись, не поев. Он присел на табурет возле столика Христины, и мы сразу окружили его плотным кольцом в ожидании новостей, но он пока молчал, посматривая на нас.

Скоро подошли сотрудники из других отделов. Мальшет был небрит, осунулся, зеленые глаза его лихорадочно блестели: он не спал ночь. Сразу было видно, что он привез плохие вести.

Подошли Иван Владимирович с Лизонькой, и все расступились. Кто-то подал Турышеву стул. Остальные уселись кто на что попало, некоторые просто на корточки. Почти все задымили папиросами и сигарками, благо это было место, где разрешалось курить. Стало так тихо, что слышно было в открытые двери, как пронзительно кричат чайки: «а-а-а-а!» и отдаленный гул прибора.

И тогда Филипп совсем просто, словно он сидел дома и кругу родных, сообщил свои новости. С поста директора его сняли. Предлагают работу в Азербайджанской Академии наук, даже о квартире для него договорились, в самом центре Баку. Разумеется, Мальшет категорически отказался уходить из

обсерватории. Он может работать и рядовым океанологом!..

В течение ближайших дней он обязан сдать обсерваторию новому директору. Кому бы вы думали? Вадиму Петровичу Праведникову, оставшемуся Аяксу. Вадику, у которого отродясь не было ни одной собственной мысли, зато он знал множество цитат, которые рассыпал с легкостью необыкновенной.

— Вот и все! — сказал Мальшет устало и посмотрел на нас ясными зелеными глазами.

— Совсем не все! — возразила громко Лиза.

— Дело не в моем директорстве... — добавил Филипп задумчиво. — Если бы вместо меня поставили директором Ивана Владимировича Турышева, работа обсерватории только выиграла бы. Но директор — Вадик... Этого нельзя допустить!

— Мы и не дамо! — сказал Барабаш и добавил непонятное украинское ругательство: — Цур тобі пек!

— Это не все, это только начало! — повторила каким-то ломким голосом Лиза. Светлые глаза ее потемнели.

— Это начало, — подтвердила Юлия Алексеевна Яворская — она тоже, оказывается, была здесь и смотрела очень строго и неодобрительно. — Придется научным сотрудникам самим взяться за это дело... вплоть до того, что ни один из нас не останется работать при таком директоре... Это же просто анекдот! Вадим Петрович — директор обсерватории? Я во всяком случае не останусь! Вадим Петрович здесь? Тем лучше... Я бы на вашем месте немедленно послала в Москву телеграмму с категорическим отказом.

— И не подумаю! — огрызнулся Аякс. — Я все слышал, что вы здесь говорили. Напрасно агитируете, Филипп Михайлович, это вас не спасет. А вас, Юлия Алексеевна, я не удерживаю. Ваша воля! Если даже в обсерватории останется одна молодежь...

— Молодежь не останется! — перебил его возмущенный Сережа Зиновеев.

— Молодежь останется, — поправил я, — но Вадим директором не будет. Мы этого никогда не допустим!

Стало очень тихо, и опять было слышно, как дрались и кричали морские птицы и шумело море.

В этот же день состоялось заседание партийного бюро, которое постановило: 1. Мальшету пока дела не сдавать. 2. Немедля послать в Москву своих представителей, которые должны расследовать, кому и зачем нужно снимать Мальшета.

Представителей избрали на открытом партийном собрании. Трех. Давида Илларионовича Барабаша, Ивана Владимировича Турышева и меня, учитывая, что я в случае надобности могу написать и в газету, а пресса в таких случаях — великое дело!

Было составлено письмо на имя президента Академии наук, подписанное всеми сотрудниками обсерватории (кроме, конечно, Вадима). Барабаш заодно прихватил и характеристику Мальшета от райкома, в которой подробно излагалась его лекционная и общественная деятельность на северном и восточном побережьях Каспия.

В общем, мы готовились вовсю! Вадим ходил с вытянутым лицом, надувшись, и без конца звонил в Москву друзьям и единомышленникам.

Мальшет пока не сдавал дела, работа обсерватории продолжалась, как если бы ничего не произошло. Вышел в море «Альбатрос». С Фомой отправились для океанологических наблюдений несколько молодых океанологов под

руководством Юлии Алексеевны Яворской. С ними была и Васса Кузьминична как ихтиолог, и мой приятель Ефимка — матрос и моряк. Лиза пока еще в море не выходила, так как не отняла маленького от груди.

Мы должны были вот-вот выехать в Москву, ждали только президента Академии наук, который был за границей. Как только наш добрый гений секретарша Аллочка уведомила, что президент в Москве, мы сразу вылетели самолетом.

Марфенька написала строгое письмо отцу и просила меня передать в собственные руки.

Мне не хотелось оставлять жену даже на несколько дней, но надо было ехать. Уже одетый, в пальто и кепи, я стоял перед ней и не в силах был уйти. Румяная, свежая, моя жена совсем не походила на больную.

— Вы должны отстоять Мальшета! — напутствовала она меня. — Они подлые — те, кто это все устроил. Вот... Мой отец сделал подлость! Он ненавидит Мальшета... За то ненавидит, что он ему тогда надерзил, в тот приезд, помнишь? За то, что Мальшет не уважает его. Филипп назвал отца кабинетным ученым, и он ему этого не простил. Есть еще одна причина... ты знаешь?

— Знаю.

— Да. Он ревнует к нему Мирру. Все это очень нехорошо. Мне жаль, что папа такой... Ну что ж, родителей не выбирают. И все-таки мне его жалко, отца... Но ты, Яша, не молчи об этом из-за меня... Президент должен все знать... Иди... Вы должны победить во что бы то ни стало!

Москва встретила нас солнцем, блеском вымытых после зимы окон, пахучими фиалками на углах. В скверах играли дети и разгуливали голуби, блаженно жмурились пенсионеры, загорая на скамейках. По улицам тащили какие-то транспаранты, фонарики, вывески, лестницы, веревки: готовились к Первому мая.

Мы бы ни за что не попали до праздника к президенту — то его вызывали в Цека, то он кого-то принимал, то сам куда-то ехал, — если бы мы все трое не засели перед его кабинетом с твердым намерением подкараулить. Нас каждый день убеждали, что это невозможно. Но мы не покидали своего поста. Обедать решили ходить поочередно. Так дело пошло на лад. Президент увидел Турышева и сразу пригласил наев кабинет.

Я первый раз в жизни видел настоящего, живого президента Академии наук СССР, в академической шапочке, какие носят члены академии. Он мне очень понравился! Не называю его имени и воздерживаюсь от описания наружности: как-то неловко, ведь он и по сей час президент.

Иван Владимирович спокойно изложил ему, по какому делу мы пришли. Он не угрожал, что уйдет из обсерватории, но как-то само собой стала очевидной вся нелепость того, что такой ученый, как Турышев, должен работать под началом Вадика, и, следовательно, все другие научные работники. Об этом он даже не упоминал. Говорил он о Мальшете, о его планах, которые сделались нашими планами и на осуществление которых уже положено много труда.

Президент слушал молча, а потом вызвал по телефону какого-то Василия Васильевича, и тот явился прямо с «делом» Мальшета — довольно объемистой папкой. Принимая во внимание, что президент ни словом не обмолвился по телефону о Мальшете, было просто удивительным, как тот мог догадаться: чтением мыслей на расстоянии, что ли, он занимался?

Мои спутники не обратили на это внимания, должно быть, волновались, но президент усмехнулся и, уловив мою улыбку, довольно сухо попросил ознакомить его с причиной увольнения Мальшета.

Кстати, этот Василий Васильевич оказался одним из трех членов «комиссии», что приезжала в обсерваторию, — тот, который худой, шуплый и жидкие волосики стоят дыбом.

И вот он начал знакомить президента с «обвинительным заключением». Ловко были подобраны факты. Если бы мы не знали так хорошо Мальшета, то, верно, тоже согласились бы с тем, что директор из него «липовый».

Прежде всего он «не имел никакого авторитета в обсерватории». Он вступал в драки с неким Фомой Шалым, которого исключили за хулиганство из школы и комсомола. Мало того, этого же исключенного Шалого он назначил капитаном на научно-исследовательское судно «Альбатрос».

Руководителем баллонного цеха он поставил Христину Савельевну Финогееву, бывшую профессиональную нищую, отбывавшую заключение. Более чем странно, что именно эту сомнительную личность он поставил бригадиром баллонного цеха.

Неудивительно, что по вине этого бригадира произошла авария аэростата, в результате которой разбилась и получила инвалидность первой группы Марфа Евгеньевна Оленева — дочь академика Оленева.

Всю работу обсерватории Мальшет построил так, что во главу угла ставилась подготовка к строительству дамбы через море, хотя этот проект Мальшета, бездумно поддержанный некоторыми крупными учеными, категорически забраковали в Госплане. Еще покойный П. Г. Львов доказал, что этот злополучный проект не выдерживает критики.

В общении с сотрудниками обсерватории Мальшет допускал грубость, оскорбления, на что ему неоднократно указывали товарищи по работе, но он игнорировал эти замечания... Использовал служебный транспорт в личных целях — для любимых прогулок на заброшенный маяк и т. д. и т. п.

В этом роде было состряпано все обвинение против Мальшета.

Меня удивило другое: то, что некоторые сотрудники обсерватории при проверке комиссии дали показания в тон самому заявлению. А ведь они работали с ним изо дня в день, видели его преданность их общему делу, то, что он нисколько не жалел себя в труде.

А может быть, именно в этом была причина?

Мальшет, относясь страстно и самозабвенно к работе, того же требовал и от сотрудников. Его выводила из себя всякая небрежность, несообразительность, медлительность помощников. Вероятно, работать с ним было для некоторых нелегко. И не только из-за его требовательности: этим «некоторым» было трудно поспевать за его страстным движением вперед, за его новыми и новыми увлечениями. Только успевали освоиться с одной задачей, как у него уже появлялась новая идея, которую нужно было осуществить. Поэтому тем, кто жаждал тишины и спокойствия, размеренной жизни на побережье, вряд ли все это могло понравиться.

Я не знал, что у него были недоброжелатели. Оказывается, были.

Люди с мелким самолюбием не умеют прощать ни насмешки, ни резкого тона, ни недостаточного внимания к себе. Филиппу совсем были чужды условности — чисто внешняя форма общения с людьми. Многие считали его невоспитанным. Он был слишком умен, чтоб не понимать неразумность некоторых своих поступков, и не раз давал слово Турышеву сдерживать себя, соблюдать с людьми известный такт, но на деле не выдерживал, хлопал дверьми, не подавал руки, говорил дерзости. И вместе с тем Мальшет отнюдь не склонен был уделять много внимания «бабьим» раздорам и препирательствам. У него просто времени не

было.

Мальшет был вспыльчив, но отходчив. Умел прощать другим то, что прощал себе. Он совершенно не был злопамятен и искренне забывал о мелких неудовольствиях сотрудников. И вот теперь он наткнулся на них, как на подводные препятствия!

— Филипп Михайлович — несомненно выдающийся ученый и отличный организатор...— медленно произнес президент,— ведь это он главным образом сумел привлечь к Каспию внимание прессы. Но в научных кругах у него репутация тяжелого, неуживчивого человека.

Я постараюсь разобраться в этом вопросе, обещаю вам!

Президент отпустил тощего Василия Васильевича, кинувшего в нашу сторону мрачный взгляд. Папку президент оставил у себя.

Турышев, затем Барабаш стали говорить в защиту Мальшета. Они сказали все, что надо было сказать, и все же не сумели нарисовать портрет того Мальшета, каким мы знали его все эти годы. А когда я пытался что-нибудь добавить, им казалось, что я говорю не то, что можно говорить президенту Академии наук (как будто он не такой же человек, как я!), и они конфузились почему-то.

Тогда я решил во что бы то ни стало поговорить с президентом наедине. Только я стал раздумывать, как бы это устроить, секретарша доложила, что машина ждет и ему пора ехать.

Президент взглянул на часы и заторопился.

— Простите, я должен быть сегодня...— он назвал какой-то научно-исследовательский институт,— а туда ехать более часа!

Он обещал разобрать наше заявление в самом срочном порядке и заверил, что во всяком случае насчет директорства Вадима Петровича Праведникова мы можем не беспокоиться, это, конечно, анекдот. «Невеселый анекдот!» — подумал я.

Мы простились и вышли из кабинета. Но в коридоре я незаметно отстал и тут же юркнул обратно в кабинет. Секретарша не остановила: наверное, решила, что я забыл что-нибудь.

Президент надевал пальто и удивленно взглянул на меня.

— Я очень прошу вас,— торопливо начал я (при этом я, кажется, покраснел и на носу у меня выступили капельки пота),— возьмите меня с собой!

— С собой?

— Ну да, в автомобиль! Довезите меня, пожалуйста... Меня вам не представили... Я — пилот-аэронавт из аэрологического отдела обсерватории. Мне бы хотелось с вами проехаться.

Президент академии как-то странно взглянул на меня, крякнул, но не решился отказать: деликатный, должно быть, человек. Он молча пошел вперед, а я за ним, решив, что молчание — знак согласия.

К счастью, наши не видели меня, а то еще отозвали бы. Они, верно, искали меня в коридоре и на лестнице, а мы спустились другим ходом.

Президент хотел сесть рядом с шофером, но я умоляющим тоном попросил его сесть рядом со мной, а то мне, дескать, будет трудно говорить.

— Говорить?

— Мне крайне необходимо поговорить с вами, потому я и решил ехать в этот институт. Вы сказали: больше часа ехать... все успеем переговорить.

— Ах, вот что!

И вот мы говорим, то есть, собственно, говорил один я, а президент слушал, сначала молча, потом заинтересовался и стал понемногу задавать вопросы. За

полтора часа дороги я рассказал академику все, что хотел рассказать. О первом появлении Филиппа Мальшета на маяке, как он писал проект дамбы через море, с ненавистью поглядывая на сыпучие пески. Как он навсегда захватил каспийской проблемой Лизоньку, меня и Фому. О наших двух экспедициях, о том, как Филипп боролся за свою мечту словом и делом. О дружбе Турышева и Мальшета, его ученика и последователя. Напомнил, как Мальшет добивался открытия Каспийской обсерватории. Подробно остановился на приезде профессора Оленева и на стычке между Мальшетом и Евгением Петровичем.

Кстати, я высказал все, что думал о самом Оленеве, кабинетном ученом, боящемся, что климатическая теория Турышева, рожденная самой жизнью, опровергнет или умалит его мертворожденные научные теории.

— Гм! В результате плохой организации перелета у Оленева разбилась дочь...

— Марфенька разбилась не из-за плохой организации... Мы с ней вместе сами готовились к перелету через Каспий... Она моя жена.

— Дочь Оленева — ваша жена?

— Ну да... И она нисколько не винит ни Мальшета, ни Христину Финогееву. Наоборот, очень любит и уважает их. Христина Савельевна живет с нами, как член нашей семьи.

— Так это вы своего тестя так? — рассмеялся президент.

Я рассказал историю Христины (она произвела большое впечатление на президента, еще большее на его шофера — он так заслушался, что чуть не проехал нужный поворот). И как Мальшет читал ей антирелигиозные лекции, кажется успешно. И о капитане «Альбатроса» Фоме Шалом рассказал я, о его верной любви к Лизоньке, их свадьбе и рождении сына. И рассказал все о Глебе Львове — авторе грязного пасквильного доноса...

Машина мягко остановилась возле огромного двухэтажного здания в густом лесу.

— Вы подождите меня, Яков Николаевич, — сказал президент, потрепав меня по руке, — можете пока пообедать, здесь неплохая столовая. На обратном пути мы продолжим нашу беседу.

Пообедали мы вдвоем с шофером, славным веснушчатым парнем, который всю дорогу внимательно слушал мой рассказ, с интересом разглядывая меня в зеркальце.

Ждать пришлось долго, около трех часов. На обратном пути я живо рассказал о работе нашего директора обсерватории, когда он одному дает срочную работу, другого распекает, с третьим выясняет всякие текущие вопросы. О его страсти к науке, о том, что он не боится никакой, самой черновой работы: ходил в море на «Альбатросе», сам лично участвовал в перелете через Каспий на моем аэростате и даже лаборанта не взял — все наблюдения сам выполнял.

— Он такой прямой и принципиальный — Филипп Мальшет! — горячо уверял я. — В принципиальных вопросах он никому не уступит, будь это хоть не знай какой мировой авторитет, хоть глава правительства.

— Хоть президент академии! — хохотнул академик. — Что верно, то верно! Он меня раз выругал, потеряв терпение.

— О! А кто был прав?

— Я, разумеется! — лукаво ответил президент, и мы все трое весело рассмеялись.

Президенту, наверное, надоело слушать похвалы Мальшету, и он стал расспрашивать обо мне самом, о Марфеньке. Он очень жалел мою жену и обещал прислать к нам самолетом хорошего хирурга. Его очень заинтересовали также

мои книги, и он даже записал в блокнот их названия.

Академик тепло попрощался со мной и ссадил меня по моей просьбе возле станции метро «Калужская».

Сияющий, я вернулся в гостиницу и ничего не сказал Барабашу (Турышев ночевал дома).

Я был убежден, что теперь Мальшета у нас не отнимут.

Через два дня, закончив кое-какие попутные дела, мы выехали домой. К тестю я так и не сходил: просто не мог. Письмо опустил в почтовый ящик.

Глава шестая

СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Дома у нас я застал Лизу с маленьким Яшкой. Марфенька и Христина пригласили ее погостить, Пока не возвратится «Альбатрос». Что-то в этот раз Лиза очень беспокоилась за Фому.

Все очень мне обрадовались. Крику, смеху, поцелуям не было конца. Даже Яшка мне улыбнулся. К моему удивлению, Марфенька очень с ним подружилась. Днем, когда Лиза с Христиной уходила на работу, Яшку оставляли с Марфенькой. Она сама пеленала его, пела ему песни, а когда он засыпал, осторожно укладывала на подушку к стенке.

Тотчас накрыли круглый стол, придвинули его к Марфенькиной постели. Мы пили чай с пирогами и обменивались новостями.

Я передал с подробностями о нашем посещении президента Академии наук. Когда я рассказывал, как попросился к нему в машину, Марфенька хохотала до слез. Потом долго гадали, оставят Мальшета директором или нет. Марфенька почему-то думала, что его снимут, а мы все были уверены, что оставят.

Потом пришел Филипп. Он уже поговорил с Турышевым и Барабашем. Пришлось (несколько более сдержанно) передать ему мой разговор с президентом. Он выслушал. Но вообще казался более вялым, чем обычно... Я бы сказал даже — апатичным.

Он все поглядывал на маленького Яшку. Тот его явно отличал: улыбался и тянулся к нему. Мальшет взял его на руки, и не вверх ногами, а как следует.

— Вам надо жениться, и у вас будет такой! — посоветовала Марфенька так непринужденно, что я почти не ощутил неловкости.

— Пора, скоро тридцать лет, — спокойно согласился Мальшет. — Может, ты меня сосватаешь?

Лизонька не слышала разговора о сватовстве. Она стояла у барометра, лицо ее было напряженно.

— Падает... — проговорила она со вздохом. — Вы знаете, все время падает...

— Сейчас переговаривались с «Альбатросом», — сообщил Мальшет, — дали распоряжение срочно возвращаться.

— До бури не успеют, — расстроено заметила Лизонька.

— Фома — опытный капитан, — успокаивающе сказал Мальшет.

Пришли Турышев, Барабаш, Сережа Зиновеев, а потом еще несколько сотрудников обсерватории. Все были очень довольны, что хоть Аякса не оставят директором. Он так и не вступил в должность, потому что Мальшет отказался

сдать ему дела. Немного посмеялись над его явным разочарованием. Ему уже, конечно, сообщили, что президент отказался утвердить его. Аякс сказал: это к лучшему, так как он возвращается в Москву.

Немного поговорили о делах обсерватории, о последнем фильме и разошлись по домам. Убрав со стола, Лиза взяла ребенка и ушла в комнату Христины.

Ветер громко завывал над крышей и так бросался песком в окно, что я, опасаясь, как бы не разбилось стекла, вышел закрыть ставни. Тьма была крошечная. Лицо сразу стало влажным от водяной пыли. Я еле закрыл ставни — так рвал их ветер из рук. Лизонька стояла в дверях.

— Ты слышал, какая идет буря? — сказала она тревожно и, поцеловав меня, ушла к себе.

Я разделся и прилег возле жены.

— Без тебя плохо,— прошептала она.— Ты и не знаешь, как я тебя люблю! Я так счастлива только потому, что у меня есть ты!.. Несмотря ни на что, счастлива... Если бы еще я смогла ходить, хоть на костылях.

— Ты будешь ходить,— сказал я спокойно, подавляя щемящее чувство жалости.

— Я бы хотела всю жизнь пройти с тобой... для этого я хочу ходить,— произнесла Марфенька и как будто сама прислушалась к своим словам...

Я крепко спал, когда что-то разбудило меня: какой-то разговор, скрип двери или неистовый рев урагана. Я быстро привстал: вроде говорила Лизонька, даже как будто плакала...

Наспех одевшись, я вышел в переднюю. Лиза, совершенно одетая — не ложилась она, что ли? — ломала руки, всхлипывала, а Христина в халатике с лампой в руке (электричество гасло в двенадцать часов ночи) уговаривала ее.

— Янька, ты слышишь, какая буря? — бросилась ко мне сестра. Лицо ее было искажено страхом и горем.— Я знаю, он погибнет, как погибла в море наша мама. Я знаю это! Что же делать, а?

Я предложил сходить к дежурному радисту узнать, что сообщают с «Альбатроса».

— Я с тобой! — Лиза стала поспешно надевать пальто, не попадая в рукава.

— Лучше не ходи, там же ураган! Тебя с ног собьет,— уговаривала ее Христина, тоже бледная и расстроенная.

— Нет, нет, я тоже иду!

На улице нас чуть не сбilo с ног, я захлебнулся ветром, сестра укутала лицо платком. Крепко держась за руки, падая, спотыкаясь, мы кое-как добрались до баллонного цеха. У радиста уже сидели Мальшет и Турышев, оба нервничали. У Ивана Владимировича, кажется, было плохо с сердцем: его жена ведь была тоже на «Альбатросе».

— «Альбатрос» погиб? — вскрикнула Лиза, прижав обе руки ко рту.

— Тише,— сурово приказал Мальшет,— «Альбатрос» терпит бедствие. К нему на помощь повернул танкер «Мир». Будем надеяться.

Иван Владимирович заботливо усадил Лизоньку на диван и сам тяжело опустился рядом.

Мальшет стоял позади радиста, пристально смотрел на рацию, будто читал по ней. Постепенно подходили другие сотрудники — друзья и родные тех, кто был на «Альбатросе». Переговаривались шепотом.

Это была нескончаемая, тяжелая ночь. На Лизоньку было жалко смотреть: так она страдала. Все умолкли, застыв, словно надгробные памятники. Шевелились только, когда радист снимал наушники и оборачивался к нам.

Я старался не представлять того, что творилось сейчас на «Альбатросе», думать о другом, но не мог. Ведь я сам плавал когда-то матросом на этом самом судне и знал каждую переборку на его борту, чуть не каждый болт.

Я слишком хорошо знал, что сейчас там происходит, в темном разбушевшем море. Знала это и Лиза.

Так мы встретили рассвет. Лиза поднялась с посеревшим лицом.

— Надо идти кормить Яшку.

Я отвел ее домой. Буря не утихла, только стало видно, что делается на море: там ходили валы высотой с трехэтажный дом, они сталкивались и разбивались — начиналась каспийская толчая.

Вот когда «Каспий показал себя», по выражению Фомы.

Друг мой милый, Фома, как тебе плохо сейчас приходилось там, во взбаламученном море!.. И ничем мы не могли тебе помочь. В этом было самое ужасное — в нашем бессилии.

Небо полностью скрыли огромные свинцовые тучи, клубящиеся и сталкивающиеся, как будто и в небе начиналась толчая.

— Он погибнет, я знаю... — побелевшими губами шепнула Лиза и вошла в дом.

Марфенька уже проснулась. Янька был у нее на руках и плакал: хотел есть. Христина прибирала в комнате, но у нее, кажется, все из рук валилось.

Стало совсем светло, но море грохотало по-прежнему. Передав Яшку Марфеньке, Лиза опять оделась, чтобы идти к радисту, и тут горе осилило ее.

— Фома, родной мой... — рыдала, ломая руки, сестра, — ты даже не знаешь никогда, что я люблю тебя!

Лизонька вбила себе в голову, что Фома погибнет. Ей представилось это именно потому, что она чувствовала себя виноватой перед мужем. Видно, никогда она ему не говорила о своей любви.

— Он был бы так счастлив, если бы это знал, — всхлипывала сестра, — ведь я не дала ему никакого счастья. Он вечно сомневался и был угнетен. Я видела это и все же оставляла, как есть. А теперь вот знаю, что люблю его, а его нет!

Кое-как овладев собой, Лиза умылась холодной водой, и мы пошли в радиоузел. Все стояли и возбужденно переговаривались, но, увидев нас, смолкли.

— Не пугайся! — сразу сказал сестре Иван Владимирович. Жилка на его виске болезненно дергалась. — Может, наши еще живы...

«Альбатрос» потонул, танкер вылавливает людей: они сели в лодки, но их сразу перевернуло. Радировали только сейчас с танкера...

А потом нарушилась связь. Я уже не помню: то ли у нас испортилась рация, то ли с танкера перестали отвечать. Возможно, мешали атмосферные условия.

Настал такой безрадостный, темный день, какого я не припомню в своей жизни. Хуже всего была неизвестность! Никто не мог работать. Все были на своих рабочих местах, но ничего не делали. То и дело ходили в радиоузел. Мальшет и Турышев вообще не выходили оттуда. Лиза едва держалась на ногах. Я ужасно боялся, что она окончательно свалится и заболит.

Девчонки из баллонного цеха бродили с заплаканными глазами, приговаривая: «Бедная Васса Кузьминична! Она же старая, разве она выплывет? Бедная Юлия Алексеевна! Бедный Фома Иванович! Бедный...» Так они перечисляли горестно весь экипаж «Альбатроса».

«Альбатрос» уже не существовал. А на танкере «Мир» теперь оказывали помощь тем, кто остался в живых...

В полдень вызвали к междугородному телефону Мальшета и Турышева. Говорил сам президент Академии наук. Барабаш и я стояли рядом и пытались

что-нибудь понять из односложных ответов Мальшета. Видимо, все обстояло хорошо, если Филипп сказал: «Спасибо, я очень рад!» Потом он кратко рассказал президенту о гибели «Альбатроса» и о нашей тревоге. Мальшет передал трубку Ивану Владимировичу. Турышев издал невнятное восклицание и стал в чем-то убеждать президента, но тот не соглашался. Турышев выслушал его, чуть сморщившись, с каким-то виноватым видом.

И вдруг я понял: директором обсерватории назначили Ивана Владимировича.

Так оно и было. Мальшет должен был теперь возглавить океанологический отдел, а Юлию Алексеевну Яворскую (так и не научившуюся топить углем) отзывали обратно в Москву.

Она будет рада. Ей здесь тяжело: она не умеет преодолевать бытовые трудности.

У меня заняло сердце: была ли она жива, бедная женщина?

В поселке тоже царило смятение, так как буря застала рыбацьи суда на глуби. К вечеру ветер стал немного стихать, но море еще сердилось. Отец Фомы был в Астрахани по колхозным делам и не знал о гибели «Альбатроса». Наш радист кое-как пробился к танкеру «Мир» и перешел на прием. Лицо его сразу словно осунулось. Мы стояли рядом — Мальшет, Турышев, Барабаш и я,— не сводя глаз с этого осунувшегося, измученного лица, ждали худой вести.

Вошли Лиза и Христина и по нашим лицам поняли, чего мы ждем... Радист, небритый, опухший, медленно снял наушники.

— На «Альбатросе» погибли двое,— сказал он хрипло,— остальные спасены. На танкере не знают, кто именно... Спасенные перешли на бурунский флот и под защитой плавучего рыбозавода возвращаются домой. С нашими реюшками...

И прошла еще одна ночь — в самой мучительной неизвестности.

Утром мы наскоро попили чаю, Лиза оставила Марфеньке своего Яшку, и мы отправились в Бурунный на мотороллере. Иван Владимирович и Филипп уехали раньше нас на машине.

Море еще волновалось, понемногу стихая, но уже поднялся свежий южный ветер и разогнал обрывки туч. На пристани собралась громадная толпа. Все стояли в суровом молчании и смотрели на горизонт — там показались реюшки... Я вдруг вспомнил день, когда мы узнали о гибели нашей матери.

Так же сверкало солнце на гребнях тяжелых зеленоватых волн. Так же лежали на ослепительно желтом песке перевернутые вверх дном свежоокрашенные — будто те самые — суда. Так же качались от ветра развешанные на берегу для просушки рыбацкие сети. Так же покачивались у пристани десятки лодок, блистающие осмоленными бортами, а над песком плыл сизый дымок сушняка.

Суда шли медленно, совсем как в тот день. И так же плескались на ветру полуспущенные вымпелы — сигнал бедствия. И так же резко и жалобно кричали чайки, носясь над водой. Лизонька стиснула мою руку. Светлосерые глаза ее смотрели с отчаянием.

— Помнишь? — спросила она.— Совсем, как тогда. Фомы нет и не будет, как мамы. Он так и не узнал, что я его люблю!

Я почему-то обернулся. Рядом стоял, понутив голову, Мальшет. Сломанные, искалеченные реюшки с порванными парусами пришвартовались к берегу. Ловцы молча один за другим сходили на землю. Среди них мы вдруг увидели сотрудников обсерватории с «Альбатроса» — измученных, почерневших, в изодранных платях. Они поочередно попадали в наши объятия — нервный смех, всхлипывания, восклицания...

Я не сразу узнал Вассу Кузьминичну — так она постарела. Иван

Владимирович, прижав к себе жену, плакал, не скрываясь.

— Нет с нами нашей Юлии Алексеевны,— сказала Васса Кузьминична строго и чуть отстранилась, стесняясь радости мужа.

Кто-то из спасенных женщин, смеясь и плача, тряс Лизу за плечи.

— Твой муж жив! Слышишь? Жив! Что с тобой?

Фома сошел последним. Я встретился с ним взглядом, и мне стало не по себе. Эх его перевернуло! Я крепко обнял его, умышленно опередив сестру.

— Возьми себя в руки, дружище мой милый! — шепнул я ему.

— Лучше бы я потонул,— сказал Фома.

Каким подавленным и несчастным выглядел он после крушения «Альбатроса» и гибели Юлии Алексеевны Яворской и студентки-практикантки! Я ее почти не знал. Она только прибыла на практику и первый раз вышла в открытое море. После приезжали ее старенькие родители из Ленинграда. Нашу Юлию Алексеевну мне было жаль до слез. Так и не состоялся ее перевод в Москву...

А сестра моя с потрясенным, залитым радостными слезами лицом без конца целовала Фому и твердила одни и те же бессвязные слова.

Пройдет время, и она с нами вместе будет грустить о Юлии Алексеевне и других погибших — утонуло несколько рыбаков, которых мы знали,— но в тот час неожиданной уже встречи она могла только одно — радоваться, что ее муж не погиб.

Мальшет медленно пошел куда-то прочь. Я догнал его, теперь я был не нужен сестре.

— Это ты, Яков,— сказал безо всякого выражения Мальшет.— Мне хочется съездить на старый маяк. Поедем? Довези меня.

Я охотно согласился и стал заводить мотороллер. Я чувствовал, что было бы жестоко оставить сейчас Мальшета одного. Как ему было, наверное, тоскливо! Он молча сел на багажник позади меня, и часа за полтора мы добрались до маяка.

Маяк стоял такой же крепкий и несокрушимый, но ступени его уже занес песок. Громадный замок на дверях заржавел. Всюду, насколько хватал глаз, простирался песок. Ветер гнал его, словно снежную поземку. И дворик занесло песком. Если здесь раскопать, то обнаружатся каменные плиты. Мы переглянулись и, откопав со злостью, прямо руками, верхнюю ступеньку, присели на нее покурить. Я некурящий, но на этот раз взял у Филиппа папироску, для компании.

Мы курили и думали. Я вспоминал первое появление океанолога Филиппа Мальшета. Как он уверенно шагал по земле с рюкзаком за спиной, веселый, зеленоглазый! Таким его увидала впервые Лизонька... То было раннее утро, а теперь настал суровый полдень. Еще так недавно я был школьником-мальчишкой, теперь я пилот и женатый человек, и даже писатель... А жизнь моя, пожалуй, будет не из легких!

И вдруг до меня впервые по-настоящему «дошло», что Марфенька, возможно, никогда не сможет ходить и как это будет тяжело для нас обоих. И у нас никогда не будет ребенка, такого, как маленький Яшка, потому что

ведь Марфеньке нельзя родить. И никогда мы вдвоем не пройдем по земле...

Я знал, что никогда не раскаюсь, что женился на ней, просто я осознал, как нам будет тяжело.



— Черт побери! — разразился вдруг Мальшет. — Я побежден, разгромлен! Я добит! Знаешь, кто меня добил? Лиза! Сегодня я ее потерял окончательно. Она любит Фому.

— Она любит Фому, — повторил я, как эхо.

— Все мечты мои потерпели крах, — продолжал с каким-то даже удивлением Мальшет. — Ты понимаешь, друг мой, — все до одной!.. Ты видишь! Маяк заносит песком. На нем не зажжется свет. Море не будет плескаться у его подножия. Дамбы... Помнишь, как я на маяке чертил проект дамбы? Тогда я верил, что дамба перегородит море. И вот проект забракован окончательно. Даже директора из меня не получилось... Сняли меня. Наломал дров... А Иван будет лучшим директором, правда?

— Это хорошо, что Иван Владимирович — директор обсерватории, тебе же лучше! — сказал я. — Больше времени останется для научной работы. Ведь ты же ученый, зачем тебе административная работа?

— Верно, — согласился Филипп и грустно посмотрел на меня своими зелеными глазами. — Директорство — это чепуха, я не жалею. Так, вроде обидно немножко, ну, самолюбие, что ли, страдает. Но я не могу отказываться от своей

мечты... Человек должен сам регулировать уровень Каспия!

— Зачем же отказываться от мечты? — удивился я. — Не отказывайся. Надо добиться ее осуществления, вот и все! Если не дамба — пусть другим способом.

— Вот именно, пусть хоть другим способом! — тяжело вздохнул Филипп.

— Я хочу написать о покорении Каспия человеком, — сказал я. — Мечта океанолога Филиппа Мальшета (у меня он, разумеется, зовется иначе) осуществляется. Человек разворачивает на Каспии грандиозные работы, чтоб самому управлять уровнем изменчивого моря... Действие происходит в двухтысячном году.

— В двухтысячном?! — так и ахнул Мальшет. Лицо его вытянулось. — Не раньше?

— Раньше, конечно. В двухтысячном строительство завершается. А потом ведь жизнь теперь обгоняет фантастику.

Я подробно рассказал Мальшету сюжет романа. Он сразу отметил все противоречия и неясности.

— Есть у меня в плане просто «белые пятна», — со вздохом признался я, — никак не схвачу самого главного: как именно это осуществится. Помог бы ты мне?

— Помогу! — твердо обещал Мальшет. Очень его заинтересовала моя новая мечта.

— Собственно, эта твоя книга — продолжение борьбы за Каспий, — задумчиво проговорил Мальшет. — Значит, ты продолжаешь бороться?

— Ты же меня и вовлек в эту борьбу, а уж я не отстану. И Лиза не отстанет, и Турышев, и многие, многие другие, которые даже не видели тебя никогда, только читали твои горячие статьи. Ты, Филипп, поведешь нас всех за собой, как вел все эти годы.

Мальшет пристально посмотрел на меня и рассмеялся.

— Г Ты, Яшка, славный парень! Не ошибся я, когда отдал тебе в подарок свою единственную лоцию... Теперь, как только получим другое судно, — продолжал Филипп, — приступим к главной теме вплотную. Давно я до нее добирался... Все ж таки как мешало это проклятое директорство! Я уже говорил Барабашу и Лизе. Тема комплексная, под силу только большому научному коллективу.

— Какая тема?

— Сверхдолгосрочные прогнозы Каспийского моря, — усмехнулся Мальшет.

— Филипп, — спросил я, — почему все-таки не приняли твой проект? Я часто думаю... Это не отец Марфеньки помешал?

— Оленев? Нет! Такие люди могут тормозить, портить до поры до времени, но, когда дело касается государственных интересов, — они бессильны.

— Так почему же?

— Может, слишком рано. Проблема регулирования уровня целого моря не ставилась еще ни в одной стране. Видишь ли, Янька, я лучше кого-либо вижу и достоинства, и недостатки моего проекта. Против дамбы запротестуют все республики, лежащие в среднем и южном Каспии, и они будут со своей точки зрения правы: дамба спасет от обмеления Северный Каспий, но ничем не поможет остальной его части.

Что ж... проект дамбы — моя юность. Подошла зрелость... Будем искать другие пути регулирования моря, более эффективные: искать надо, потому что проект переброски северных вод, при всем его колоссальном значении, полностью проблемы Каспия не решает.

«Как не решил бы твой проект дамбы, если б его приняли», — мысленно

закончил я.

Мы еще поговорили о море, о научных планах, о летней экспедиции. Надо было срочно подыскивать новое судно, так как был дорог каждый день.

Мальшет поднялся повеселевший.

— Домой пора,— сказал он,— там нас, поди, заждались.—И пошел, насвистывая, к мотороллеру — теперь правил он, а я сидел позади.

БРИГАНТИНА РАСПРАВЛЯЕТ ПАРУСА

(Эпилог)

По решению Академии наук наша обсерватория получила новое судно, только что вышедшее из доков. Оно было специально приспособлено для научных наблюдений на море. Там были просторные, светлые лаборатории и удобные каютки для научных работников. Оно было оборудовано самой новейшей аппаратурой для океанологических и гидрохимических исследований. Оно все блистало лаком и красками — я не видел ничего прекраснее. Оно походило на ту белоснежную бригантину, что подарил когда-то Лизоньке Иван Владимирович.

Судно еще не имело имени. Работникам обсерватории предоставлялось право самим назвать его.

Никогда не забуду собрания в баллонном цехе (пока еще это был самый просторный наш зал, и там проходили все заседания и митинги). Новый директор обсерватории, поглаживая серебряные виски и смущенно улыбаясь, предложил назвать судно «Марфа Ефремова» в честь пилота обсерватории, пострадавшего при исполнении служебных обязанностей. Какой шум поднялся, какие аплодисменты! Предложение было принято единогласно при одном воздержавшемся... Это был я,— просто я растерялся.

Я думал, что Марфенька будет радоваться такой невиданной чести, но она вместо того загрустила.

Она лежала молчаливо с картой в руках и чертила карандашиком маршруты «Марфы Ефремовой». У меня сердце переворачивалось, глядя на нее.

Фома Шалый был назначен капитаном. Мы теперь его почти не видим. Он дни и ночи проводит на корабле, готовясь к экспедиции.

Лизонька ездила в Москву защищать диплом. Теперь она была уже океанологом и выходила в море вместе с мужем.

Маленького Яшу брал пока к себе дедушка, Иван Матвеевич Шалый. Я, кажется, писал, что он женился на вдове с детьми, женщине доброй и веселой. Это именно она сама предложила взять к себе на время экспедиции Яшу.

Фома сказал, что через два-три года сын повсюду будет ездить с ним.

В море уходила и Васса Кузьминична, как ихтиолог, и гидрохимик Барабаш, и мой друг детства Ефимка (механиком), и многие друзья Марфеньки.

Они приходили к нам и, естественно, только и разговаривали о предстоящей экспедиции. К нам стал часто заходить новый пилот, присланный на место Марфеньки... Он был, в общем, славный парень, мы с ним поднимались в стратосферу и остались довольны друг другом, но моя жена его невзлюбила. И напрасно: он ничего у нее не отнимал.

Мальшет тоже был страшно занят и забегал к нам только после одиннадцати.

Осталось четыре дня до выхода в море «Марфы Ефремовой». Уже готово все было к рейсу, укомплектованы кадры (кажется, только кока все не могли подходящего найти) — ждали только какого-то мудреного прибора из Москвы.

Ночью Марфенька плакала, а я жмурился, делая вид, что сплю. Утром я встретил на дороге Фому: он шагал вразвалку за женой, и я предложил ему пройти со мной к директору. Перед этим я звонил Мальшету, он был у Ивана Владимировича, и я попросил их подождать меня.

— А чего ты хочешь? — поинтересовался Фома. Он теперь был счастливым человеком и стал более разговорчивым и любопытным.

— Увидишь,— неохотно ответил я.

В кабинете Турышева сидел и Барабаш, они обсуждали какие-то детали экспедиции. На письменном столе лежала изодранная карта Каспия.

— Ты что, Яша? — спросил Турышев, отрываясь от карты.

Поняв по моему лицу, что я зашел не на минуту, он предложил присесть. Мы сели на диван — я и Фома.

Я порылся в кармане и положил перед Иваном Владимировичем свое заявление, написанное поутру: утро всегда мудренее. Он взглянул на меня с удивлением, а когда прочел заявление, лицо его выразило неудовольствие.

— Разве ты уже охладел к авиации? — спросил он с укором.

Я замялся...

— Не в этом дело!

— А в чем же?

— Не знаю. Может, и охладел.

— Ты же хороший пилот! — огорченно сказал Турышев.

— Это ты его уговорил? — спросил Мальшет у Фомы.

— Да я ничего не знаю! — обиделся Фома.— А что случилось-то?

— Ничего особенного,— буркнул я.— Прошу назначить меня поваром на «Марфу Ефремову».

Фома даже рот открыл. Обветренное скуластое лицо его так и просияло.

— Яшка, дружище, вот хорошо, вот ладно! — закричал он, и так на радостях меня обнял, что чуть не сломал мне ребра.

Мальшет вытаращил глаза.

— Ты, Яков, с ума, что ли, сошел? Ты же отличный пилот, даже обидно как-то...

— Подумаешь, отличный, я ведь никогда особенно не увлекался авиацией... На твоей же лодке воспитан. Зачем дарил лодку? Зачем вы, Иван Владимирович, дарили бригантину? Пришло время ей расправить паруса.

— Но поваром!..— вскричали они оба вместе.

— А хоть и поваром, какая разница? Я же привык готовить. Вы сами оба говорили, что готовлю вкусно. Куплю еще поваренную книгу. Ну и, конечно, буду, как и в прежних экспедициях, помогать в научных наблюдениях. И матросом могу. И статью в газету написать, если понадобится помощь прессы. Где вы еще такого повара найдете?

— А Марфенька?— строго спросил Давид Илларионович Барабаш и что-то пробурчал по-украински.

— Мы ведь месяцев на семь-восемь уходим в море,— не глядя на меня, заметил Турышев,— одной-то ей...

— Почему одной? Каюту нам дадите? Или повару не положено?

Теперь все молчали, а я смотрел в пол.

— Ты хочешь и Марфеньку...— наконец выговорил Турышев.

— Нуда.

— Больную?

И здесь я просто взбеленился — так вспылил. Кажется, я вгорячах произнес целый монолог.

— Ничего она не больна! Давно уже выздоровела после падения. Она же очень сильная и здоровая, только ноги ее не ходят. В этом и все несчастье ее, что она сильная и здоровая, а вынуждена лежать, словно больная. Никакой болезни нет, поймите! Всех моих друзей буду просить это запомнить раз и навсегда. Она лежит целый день одна, слушает шум моря и крики птиц и мечтает о путешествиях, как о чем-то самом прекрасном, но уже несбыточном. Почему несбыточном, спрашиваю я? Все можно сделать, чтобы человек был счастлив! Когда я женился на ней, я поклялся про себя, что сделаю ее счастливой. Но ей одной только любви мало! Понимаете? Мало! Она — прирожденный путешественник, так пусть себе путешествует. Она сможет и работать понемногу, Иван Владимирович, ей-богу! Вести журнал, делать расчеты, наклеивать этикетки на бутылки с пробами воды, мало ли чего? Она же с цифрами обращается, как жонглер с шариками, любо смотреть на нее. Зарплаты нам, конечно, никакой не надо, на нее хватит и моей. Как же может Марфа Ефремова не поехать на своем корабле? Сами посудите. Да она с тоски зачахнет, когда вы все уедете в море.

...Я дописываю эти строки в каюте научно-исследовательского судна «Марфа Ефремова». Это лучшая каюта на корабле, капитанская: Фома заставил нас принять ее, а сам занял другую, похуже.

Тетка корабля лежит сейчас на палубе, куда я ее только что отнес. Она очень занята эти дни: Лизонька просила ее произвести расчеты ветровых волн, а для Мальшета она вечно сводит какие-то балансы. Сильна Марфенька во всех расчетах! Турышев, который часто навещает нас в море на гидросамолете, уже предлагал ей штатное место лаборанта. Она решила его принять, хотя я не советовал: с осени она начнет заочно учиться на математическом факультете Московского университета и ей будет тяжело совмещать работу и учебу. Но она и слышать не хочет.

— Я очень сильная и справлюсь! — говорит она весело.

Прилетал на гидросамолете известный московский хирург, маленький, толстенный, в огромных очках, чем-то похожий на мистера Пикквика. Тот самый, которого, помните, обещал прислать президент Академии наук. Он оставил после себя надежду... Все теперь надеются. На корабле только и разговоров об этом.

Профессор тщательно осмотрел Марфеньку, подумал, еще раз осмотрел — лицо его просветлело.

— Марфа будет ходить? — поняв, закричал я. Моя жена, побледнев, пристально смотрела на хирурга.

— Я надеюсь! — с ударением сказал профессор.— Конечно, сначала на костылях... гм... в гипсовом корсете.

Марфенька засмеялась и заплакала. Я машинально подал доктору приготовленное заранее чистое полотенце. Доктор сам вытер Марфеньке слезы этим полотенцем.

— Это хорошо, что вы ушли в море,— сказал он задумчиво,—из комнаты, где пахнет лекарствами,— в море... К большой работе, опасностям, настоящей жизни. Хорошо, что вы счастливы.— Он лукаво и добродушно взглянул на меня.— Ведь счастливы?

— Очень! — смеясь и плача, подтвердила Марфенька.

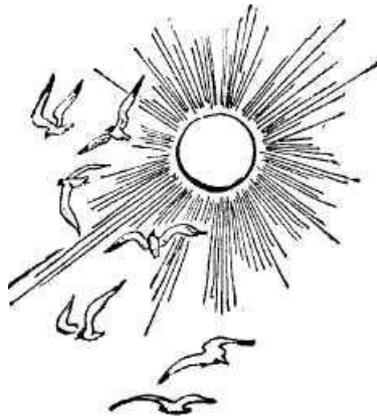
— Ну вот! Как известно, счастье — лучший целитель. Когда вернетесь на берег, применим один новый метод...

В открытый иллюминатор задувает горячий ветер, пропитанный всеми запахами моря. Зной, нестерпимый даже в море, а на берегу, наверное, нечем дышать. В синем сверкающем небе ни одного облачка. Слышен скрежет лебедки, поскрипывание якорной цепи, шуршание переборок — корабль полон невнятных, приглушенных звуков: шорохи, вздохи, скрипы.

Мы встаем на якорь — очередная станция. Надо идти помочь Васе Кузьминичне произвести лабораторный анализ рыбы. А потом я эту же рыбу зажарю всей честной компании на ужин.

Поваром все довольны, чему я сердечно рад.

Мой роман о двадцать первом веке что-то не подвигается вперед. Придется его отложить пока в дальний ящик... Сказать откровенно, мне больше хочется писать о тех людях, которые живут и работают рядом со мной, с которыми у меня одни цели, одни мечты, одни страдания и радости!



СОДЕРЖАНИЕ

ОБСЕРВАТОРИЯ В ДЮНАХ

Марфенька

- Глава первая.* Необычайное приключение школьницы . . . 227
Глава вторая. Она сама себя воспитала..... 232
Глава третья. На Каспийском море живет Яша Ефремов . . 249
Глава четвертая. Христина..... 253
Глава пятая. Нищие духом..... 268
Глава шестая. Брат и сестра..... 274
Глава седьмая. Появляется Яша Ефремов..... 284
Глава восьмая. О себе (*Дневник Мирры Львовой*)..... 293
Глава девятая. Аэронавты..... 300

Утром

- Глава первая.* Высадка на песчаном мысу..... 307
Глава вторая. Выздоровление....., 319
Глава третья. Замыслы, сомнения, надежды (*Дневник Яши Ефремова*)..... 328
Глава четвертая. Академик Оленев..... 334
Глава пятая. Наследство капитана Бурлаки..... 345
Глава шестая. Трудности (*Дневник Яши Ефремова*) . . . 356
Глава седьмая. Два письма и телеграмма..... 366
Глава восьмая. Филипп Мальшет..... 370
Глава девятая. Лиза выходит замуж (*Дневник Яши Ефремова*) 389
Глава десятая. Марфенька совершает подвиг..... 401

Настал полдень

- Глава первая.* Если ты есть..... 413
Глава вторая. Никогда не сможет ходить....., 423
Глава третья. Голоса Земли..... 431
Глава четвертая. Ты будешь моей женой (*Дневник Яши Ефремова*)
Глава пятая. Мы боремся за Мальшета (*Дневник Яши Ефремова*)
Глава шестая. Сигнал бедствия..... 461
Бригантина расправляет паруса (*Этилог*)..... 472

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге просим присылать
по адресу: Москва, А-47, ул.
Горького, 43. Дом детской книги.*

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Мухина-Петринская Валентина Михайловна

СМОТРЯЩИЕ ВПЕРЕД. ОБСЕРВАТОРИЯ В ДЮНАХ

Ответственный редактор *И. В. Пахомова*. Художественный редактор *И. Г. Холодовская*. Технические редакторы *В. К. Егорова* и *Г. А. Подольная*. Корректоры *Л. И. Гусева* и *Э. И. Сизова*. Сдано в набор 30/1У 1965 г. Подписано в печать 6/IX 1965 г. Формат 84 X 1087м — 15 печ. л. 25,2 усл. печ. л. (24,84 уч. изд. л.) Тираж 75 000 экз. ТП 1965 № 589. А 00776. Цена 1 руб. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1. Типография «Красный пролетарий» Политиздата. Москва, Краснопролетарская, 16. Заказ 3075.